

МУРАД
МУХАММАД
ДОСТ

**ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГАЛАТЕПЕ**

МУРАД
МУХАММАД
ДОСТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЛАТЕПЕ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

Перевод с узбекского

Москва
Советский писатель
1987

ББК 84. У3 7
М92

Художник Клара Высоцкая

М $\frac{4702570200-411}{083(02)-87}$ 349-87

© Состав и оформление. Издательство
«Советский писатель», 1987





КРОТКИЙ МУСТАФА

Мустафа живет на западной окраине Галатепе, на склоне холма, сразу за прудом Ибодулло Махсума. Справа от него разместился двор Камиля Письмоноши, а слева — двор Маматкула. Он пустует уже десять лет, с тех самых пор как Маматкул переселился в новый каменный дом на другой стороне долины. Старый же его двор остался пустовать. Случается, в зимнее время пригоняют сюда овец, чтобы на завтра поутру продать. Накормят их, напоят, а рано утром погонят, сытых и отдохнувших, на большой воскресный галатепинский базар. Летом старый двор обыкновенно пуст. У иного такой двор давно бы превратился в обитель сов и ядовитых змей. Но Маматкул человек прилежный и обстоятельный, и каждую осень, едва спадет жара, он принимается обновлять свой двор. Чинит дувал, ворота, мажет крыши густым месивом из глины, и, смотришь, — перед тобой двор как двор, почти новенький, и только тем и нехорош, что человек в нем не живет.

Другой двор, что справа от Мустафы, трудно даже и двором назвать, поскольку в нем начисто отсутствует дувал... Пять или шесть батманов дикой земли, заросшей бурьяном и тамариском, маленький домик без айвана, лицом к солнцу, чуть правее — коровник, где пегая корова Камиля Письмоноши соседствует с почтовой клячей, — вот и весь двор. Что касается двора самого Мустафы, то он тоже без дувала, но это уже особая статья... Вместо дувалов Мустафа вбил когда-то в землю колы тала и хлебной джиды. Колы эти оказались живучими. Прошло немного времени, и они принялись выпускать побеги, а те — еще побеги, так и пошло: вверх, вбок, ввысь, вкось, — и выросла сплошная живая изгородь, такая густая, что даже кошке не пролезть. Этим и красив теперь двор Мустафы: войдешь — и глазам радостно! Со всех сторон живая, метров в пять высотой, изгородь, напротив ворот, в самой глубине двора, — аккуратный домик с айваном и двумя молодыми чинарами по бокам,

справа от ворот — большой хлев, круглая кошара для овец под широким брезентовым навесом о шести высоких жердях. Во дворе еще четыре равных клочка земли, три из них засеяны клевером, один кукурузой, а на межах между ними растут несколько низеньких скоропелых яблонь.

Ранней весной изгородь Мустафы желтая — это талы распускают свои сережки. Затем сережки упадут, и изгородь вся покрасится в зеленый цвет таловых листьев. Так и стоит она до самого лета, зеленая-зеленая, а летом снова меняет цвет. Серееет изгородь, серееет, серееет, пока совсем не превратится в серебристую — теперь уж считай, что пришла очередь за джидой. Когда джида начнет выпускать цветочки, дней на десять изгородь станет опять ярко-желтой, отпадут цветочки — снова серебристая с зеленой полоской талов сверху, а к осени еще раз пожелтеет... Мустафа любит свою изгородь, ухаживает за ней, словно молодуха за цветником в первый год замужества. Благо вода рядом, старый арык, с эмирских еще времен, огибая холм, протекает чуть выше двора Мустафы. Стоит коснуться кетменем, и тут же побежит вода вниз — к Мустафе, а там, глядишь, и до Камиля Письмоноши. Но Камилю Письмоноше вода ни к чему. Огорода у него нет, деревьев тоже нет, и вообще ничего подобного у Камиля Письмоноши нет. Есть у него одна пегая корова и еще одна старая кляча, на которой он разъезжает от зари до заката по кишлаку, развозит людям письма, газеты, деньги... И жену подобрал себе под стать, не любит она дома сидеть, стоит Камилю Письмоноше сесть на свою клячу, как она берет в охапку прялку с клоком шерсти и уходит куда-нибудь посудачить.

Мустафа и Камиль Письмоноша не дружат. И жены их не дружат. К тому же у них большая разница в возрасте: Камиль молодой, ему еще и шестидесяти не исполнилось, а Мустафе прошлым летом перевалило за семьдесят. Слава аллаху, сил у него пока достаточно. Ни к кому он не лезет, живет себе тихо, скромно, спокойно.

Денег у Мустафы хватает. У него их столько, что жить бы им с женой припеваючи до конца своих дней. Но не умеет сидеть Мустафа без дела. Едва наступает весна и чуть оживет земля, Мустафа начинает пахать. Пашет он выше эмирского арыка, на верхнем склоне холма. Опояшет холм одной бороздой, принимается за вторую, потом за третью, четвертую — и так до самой

макушки холма. На вспаханной земле Мустафа сеет клевер, сажает дыни, кормовые арбузы для коров. А коров у него много, целых четыре. Еще он держит баранов на убой. Откормленных Мустафой баранов всякий мясник считает за счастье купить. Ходила даже легенда, будто однажды Мустафе пришлось подставить под курдюк своего барана большой табурет, до того оказался жирный баран... Но это, честно говоря, чистейшая выдумка, на которую способны лишь одни мясники. Нет у Мустафы никакого табурета. Это другой человек, Манзар-палван, а не Мустафа, так похвалялся перед Ибодулло Махсумом. Но и другое верно. В день, когда мясник Салех достиг возраста пророка, то есть когда ему исполнилось полных шестьдесят три года, он купил у Мустафы гиссарского барана с огромным курдюком, и мясо этого барана оказалось таким жирным, в пиршественном казане плавали одни лишь белые кусочки. Отличная тогда получилась шурпа у мясника Салеха. Перед тем как разрубить тушу барана, мясник Салех повесил ее на рогатине яблони и, позабыв, что сам угощает народ, долго любовался этой тушей, всячески прищелкивая языком и приговаривая:

— Ах, Мустафа!.. Велика же твоя доброта, Мустафа!.. Ты воистину мусульманин, Мустафа, ибо сам пророк наш Мухаммед любил такое мясо, хорошее, вкусное мясо и упитанных женщин!..

Сам Мустафа тоже был на этом пиршестве, но, когда его спросили, каким же образом удалось ему откормить столь божественного барана, так и не смог ничего толком сказать. Пришлось за него ответить Ибодулло Махсуму:

— Видать, он научился у Манзара-палвана подставлять под курдюк табурет.

И удивился народ искусству Мустафы. А вот когда резали барана у самого Манзара-палвана, то хоть и хватался он своим табуретом, не было такого удивления. Да и баран Манзара-палвана, хоть и подставлял Манзар под его курдюк табурет, не оказался таким жирным, и шурпа из того барана не получилась такой вкусной, как у мясника Салеха. Покойный мулла Данияр, любивший отменно покушать, оказывается, подлил в казан целый черпак кунжутного масла, видать, шурпа из барана Манзара-палвана показалась ему слишком постной.

Что-что, а откармливать баранов Мустафа умеет. У других так не получается. Поэтому зря завистники по-

смеиваются над ним. Скажем, всем галатепинским мужикам странно, что Мустафа ни разу в жизни не стриг своих баранов. Но тут все проще простого, не стоит даже и удивляться. Мустафа это делает исключительно ради бараньей шкуры. Даже продавая баранов на убой, он может скинуть с каждой головы по пять — десять рублей, но ни за что не отдаст шкуры. Шкуры он оставляет себе. Его старуха выскребет потом из шкуры остатки мяса и крови и начнет разминать так и сяк, пока шкура совсем не отмякнет, потом умастит ее соленым творогом и опять помнет... После окончательной выделки, которая, впрочем, длится не одну неделю, она возьмет несколько таких шкур и сошьет из них коврик. Оба они, и она и Мустафа, люди уже пожилые, овчина им пригодится, особенно зимой. Иногда старуха выделывает шкуры специально для Мустафы. Тогда Мустафа берет в руки шило, большие ножницы, дратву, воск и шьет себе и жене мягкие кауши. Если захочет, то может сшить и сапоги. И такие сапоги очень пригодятся зимой. Да и весной они удобны. Если есть тонкие портянки, то их можно носить даже в летнее время. Слатает Мустафа одну-две пары таких сапог, сядет на своего осла и поедет в Сарсан, где кузнец Салим сделает им набойки. А до Сарсана совсем недалеко — стоит перейти один перевал, а там, при подъеме на другой перевал, уже виден Сарсан. После кузнеца надо будет сапоги как следует натереть бараньим салом, высушить в тени — и вот они уже готовы. Надевай и иди вброд хоть через Зерафшан, вода в них не попадет.

В самом Галатепе мало ценителей таких сапог. Тут народ «чересчур культурный», как сетует иногда Ибодулло Махсум, и носят они готовые сапоги из магазина. Да есть еще у них какое-то дурацкое суеверие, верят они, будто сапоги, подбитые желтыми гвоздями, хороши, а белыми — никудышны. И носят они большей частью сапоги с желтыми гвоздями, хотя и те и другие разваливаются через каких-нибудь полгода. Мустафе иногда даже обидно бывает, что в родном кишлаке не ценят его сапог. Но зато в Сарсане, который вовсе не его родной кишлак, не встретишь ни одного кузнеца (а там, почитай, одни кузнецы и живут) без мустафинских сапог. Мустафа за свое изделие денег не берет. Один, едва открыв в воскресенье на галатепинском базаре свою походную кузницу, подкует у Мустафы ослика, другой делает ему хорошие шила, третий — железный кол для привязи скота,

четвертый — еще что-то, не важно что, но очень полезное и хорошее. Словом, каждый старается отблагодарить тем, на что горазд. Скажем, шорник Мавлян из Чонкаймыша сам не носит мустафинские сапоги, но поскольку жене его по вкусу мустафинские кауши, то шорник снабжает Мустафу воском, нитками и жилками собственной выделки. Да и тесемки из бараньей шкуры у шорника Мавляна очень хорошие. А без этих тесемок Мустафе просто не обойтись. Мустафа, сам хоть и не делает, подобно шорнику Мавляну, конские седла, зато умеет мастерить крепкие седла для ослов, конские покрывала и потники.

Конские потники, которые делает Мустафа, тоже славятся на всю округу. Тут уже требуется хороший воск, липкий, без лишней примеси. Не смажешь нитки таким воском, считай, что потников у тебя нет, назавтра же подопреют все нитки и потники, развалятся. Конь — это тебе не ханская жена, он потеет. Да и ханские жены, по свидетельству Ибодулло Махсума, потели, но им потники были ни к чему, а вот коню они необходимы.

Иногда Мустафа покупает у колхозного амбарщика серый войлок. Из такого войлока потники или покрывала для коней не сошьешь. Но для коров он просто незаметен. И делает из него Мустафа тонкие покрывала для своих коров. Баранам — нет, у них шерсти полно, а вот коров все-таки надо держать в тепле, особенно в зимнюю стужу. Впрочем, один только Мустафа во всем Галатепе и держит коров под покрывалом. Остальные так не делают. А у Мустафы это идет, так сказать, от самой его природы — Мустафа и сам не выносит холода. Зимой он ходит в большом тулупе, а летом — в шерстяном чекмене. Сперва в этом чекмене кажется очень жарко, потом становится еще жарче, пот так и катит градом с тебя, но дальше уже прохладно делается, как только собственная же твоя влага начинает остужать тебя. Но это хорошо, когда особенно жаркая погода и нет ветра, при ветре опасно так потеть, можно простудиться.

Мустафа, хоть и кажется великаном в своем тулупе и чекмене, в самом деле отнюдь никакой не великан. Ростом он даже ниже среднего, но жилистый, сильный. Оттого, что жилистый, незаметно даже, стареет он или нет. Какой был тридцать лет назад, такой же остался и по сей день, всё тот же Мустафа, сын Хамракула, внук Нуркула, трудяга, вечно занятой человек.

Трудно что-либо сказать о других стариках, но Му-

стафа один в состоянии нагрузить на осла пудов пять. Может ли он нагрузить пять пудов на коня, мы не знаем, ибо Мустафа еще ни разу не держал коней. Мустафа считает, что кони — это удел больших людей, пускай они и ездят на них. Поэтому, хотя он не слишком разбирается в скачках, но то и дело расхваливает пегого мерина колхозного председателя. Даже грудастый белый скакун Якуба-козлодера, чистейший карабаир, не кажется ему таким породистым, как тот щупленький председательский мерин. «А почему это лошадь Якуба-козлодера так вперед рвется? Да все оттого, что у нее душа болит, — думает он. — Якуб-то козлодер бьет своего коня без пощадки, как же ему не прорваться сквозь толпу всадников? Попробуй не побеги, когда тебя камчой по голове бьют! Якуб-козлодер бьет, а ему еще за это деньги платят...» Так Мустафа думает о белом скакуне Якуба-козлодера, но об этом никому не говорит. Даже своей старушке. Боится, как бы старушка не засмеяла его. Но выскажи он ей свои мысли, она бы его не засмеяла. Слишком она уважает своего старика. Она-то знает, что многие одногодки Мустафы давно передвигаются только с помощью палки, стали ворчливы, как дети, а Мустафа — нет, держится сам, бодро тащит пока свои кости... Есть еще, значит, сила, есть, значит, за что уважать старика. Скажем, Назар Махдум, сын муллы Сунната, одногодка Мустафы, сперва взберется на осла, а потом кричит жене, чтобы та отвязывала осла от привязи. Да еще сердится, что жена такая нерасторопная. Это называется, он едет на мельницу... Да и там, на мельнице, пальцем не пошевелинет, ждет, пока мельник сам не погрузит на осла мешок с мукой. И еще ворчит на мельника, он, мол, такой да сякой... Разве Мустафа так когда-нибудь поступил бы? Вон сколько лет живут вместе, хоть бы слово дурное сказал!.. Совесть, значит, есть у старика. Умрет, но никому не станет обузой!..

Когда надо резать бычка у Мустафы, мясник Бако всегда приходит один. Больше никого не приглашают. Вдвоем они быстро справляются с бычком, схватят и мгновенно свалят его на землю. Мустафа сам свяжет бычку ноги, потом уйдет, чтобы не видеть крови. А мясник Бако спокойно развяжет свой холщовый мешок, возьмет оттуда топор и бьет по голове лежащего на земле бычка, наметив попасть ему между глаз. Это он так

привык работать на большой городской бойне. Там всегда топорами оглушают быков. Этого бычка можно даже не оглушать, так он смиренно лежит у ног, но мясник Бако так уж привык — оглушает. Только потрет свой длинный тонкий нож и вонзает его в шею бычка...

Пока мясник разрезает шкуру бычка, Мустафа сидит за воротами возле большой навозной кучи и наблюдает за кишлаком. Отсюда, со склона холма, кишлак хорошо виден. Каждый раз, когда Бако режет скот у него во дворе, Мустафа приходит сюда и смотрит на лежащий под ним кишлак. Если дело происходит летом, то он больше смотрит на колхозный сад, который начинается сразу же за прудом Ибодулло Махсума. Если выдался большой урожай, то Мустафа думает, что урожай большой, значит, и денег будет много; если плохой урожай, то он думает, что урожай плохой, значит, и денег будет мало. В последнее время Мустафа часто думает о том, какими плохими стали урожаи и как мало за них выручают денег... Постарели яблони, и урюки постарели, а персики, те и подавно стали дряхлые, стволы покрылись шишками, много на них белого жира клейковины, муравьев, которые пожирают эту клейковину... Земля зря пропадает, думает Мустафа, пора уже вырубать сад... Если вырубить, то дров много будет. Детей Апсамата попрошу, не откажут, надеется Мустафа, могут же они и ко мне во двор занести несколько охапок дров... Хороший был сад, думает Мустафа с грустью, хороший был сад, если не считать ненужных двух лип, то все деревья плодоносили. Плодов было много, и денег за них много выручали, жаль, теперь весь сад превратится в дрова...

Зимой Мустафа старается не смотреть на колхозный сад. Зимой сад неприглядный: всюду снег, деревья голые, сплошь и рядом торчат из-под снега обломанные ветки... Смотрит Мустафа то на белый снег, то на свою белую бороду и думает, что и сам уже постарел, вот и борода совсем белая стала... Думать о старости ему неприятно. Поэтому он любит смотреть в сторону Чонкаймыша, большой снежной вершины на востоке. Думает тоже только о Чонкаймыше. Если на вершине много снега, то Мустафа думает, что будущей весной непременно обрушится сель. Лишь бы только этот сель не унес дом Сатвалды, у самого обрыва над речкой. Почему этот Сатвалды до сих пор не удосужится откочевать в безопасное место?.. В позапрошлом году селом унесло у него годовалого телка, а в прошлом году утону-

ла рыжая корова... Сам без конца хвастал перед людьми, что рыжая по два ведра молока в день давала, сам же и сглазил ее... Не хвалился бы Сатвалды, может, и корову его не унесло бы селем... И вообще, сель не разбирает, какая корова много молока дает, какая мало, уносит — и все. Эх, дурень же этот Сатвалды!..

Думать, что Сатвалды дурень, Мустафе тоже неприятно. Тогда он попристальней вглядывается в снежную вершину и думает о другом. Если в субботу в Чонкаймыше выпадет много снега, размышляет Мустафа, то никто не придет на базар продавать морковь, и многие галатепинцы останутся без плова. Ему становится жалко и чонкаймышцев, которые из-за снега не придут продавать морковь, и своих несчастных галатепинцев, которые не смогут сварить себе плова. Потом его взгляд переносится на близлежащие холмы. Снега полно навалило, думает он, если еще две-три недели так будет идти снег, земля насытится, травы будет много, и урожай дынь будет большой... То, что урожай дынь будет большой, радует Мустафу. Дынь много, значит, и корок от них много, куда же их денешь, не пропадать же коркам... Баранов ими можно кормить... И Мустафа тут же решает купить еще пару баранов. Мысль о баранах возвращает его снова во двор, где он оставил мясника и бычка. И он вспоминает те дни, когда этот самый бычок, которого он помог Бако свалить, был еще теленком и все бегал по двору, высоко задрав хвост, а потом, вялый и вымотанный жарой, подолгу лежал в тени под навесом...

Грустный, очень грустный возвращается Мустафа во двор. В это время мясник Бако уже успевает содрать полшкуры и теперь принимается за вторую половину. Увидя скорбное лицо Мустафы, он ухмыляется и тут же лезет за голенище сапога, вынимает нож и как ни в чем не бывало протягивает его Мустафе. Тот поневоле занимает место рядом с мясником и тоже принимается кончиком ножа отдирать шкуру. Хороший был бычок, думает он, очень хороший... Ему до того жаль несчастного бычка, что он изо всех сил старается не порезать его шкуру. Мустафа — плохой мясник, вернее, совсем никакой не мясник, он страшно боится крови. Вот это-то больше всего и забавляет мясника Бако. Он начинает остервенело сдирать шкуру большим стальным ножом. Под руки он не смотрит, знает — работа его спорится, он смотрит на Мустафу — очень уж забавен этот старик. Смотрит на Мустафу, а сам сдирает шкуру. Сдирает

и ругается всеми ругательствами, которым научился на городской бойне. Мустафа, хоть и ни слова не понимает по-русски, чувствует, что Бако нехорошо ругается, думает даже остановить его, сказать: «Не ругайся, Бако, не оскверняй мясо недозволенными словами...» Но не хватает у него смелости обуздать мясника Бако. Ему бы только не думать про этого бычка.

Мустафа старается думать о его грехах, что мясо от его ругани осквернится, что именно Бако, а не он, Мустафа, будет виноват перед аллахом, и таким образом мало-помалу он забывает про бычка. Сдирает Бако шкуру, сдирает шкуру Мустафа и видит только руки мясника, его большой нож, синеватую шкуру, и вдруг ему начинает казаться, что вся эта куча мяса так всегда и была только кучей мяса, а бычка и вовсе не было. Потом один за другим приходят покупатели. Разговоры, ругань мясника, недовольство покупателей, что он их обвешивает, все больше и больше отвлекают Мустафу, и он совсем забывает о своем бычке.

Когда мясо продано, Мустафа рассчитывается с мясником за его труды. Такса мясника Бако неизменна. За бычка тридцать рублей, за барана — десять. Отдает Мустафа ему эти тридцать рублей. Бако берет их, сует в большой карман грязного фартука, потом требует еще десятку. Он почему-то не верит в щедрость Мустафы, поэтому всегда требует с него лишних десять рублей. И каждый раз, когда Мустафа послушно отдает ему эту десятку, мясник Бако удивляется, но деньги не возвращает, видимо, какое-то крошечное сомнение все же остается в душе мясника. После расчета Бако делает знак жене Мустафы убрать весы, а сам начинает собирать лежащие на шкуре бычка «запретные» жилки и бросать их в свой холщовый мешок. Слишком уж нетерпелив этот мясник Бако, не любит он отдирать эти богом запрещенные жилки чистенькими, а вырезает их с большими кусками мяса, чтобы потом как следует почистить у себя дома... Мустафа все это видит, и хочется ему призвать мясника побояться бога. Но Мустафа не решается и рта раскрыть. Надо ли ссориться из-за проклятых жилок? Расскажет Бако людям, скрягой еще обзовут. А Бако тем временем убирает в мешок свои ножи, топор, разные дощечки, заворачивает шкуру бычка и говорит Мустафе:

— На, старик, носи домой.

А сам смеется. Мустафа на минуту теряется, не знает,

как ему быть. Он понимает, можно и не брать шкуру домой, но и отказаться не осмеливается.

— Неси, старик, неси! — повторяет мясник. — А то мухи ее разукрасят!

На этот раз Мустафа вроде бы находит здравый смысл в словах Бако. «Лучше уж правда унесу, а то мухто вон как много...» — думает он, но опять останавливается. Не дает Бако спокойно ему уйти. Но как только отрывает Мустафа от земли тяжелую шкуру, мясник начинает хохотать:

— Неси, старикан, неси! Коврик шить будешь!..

Мустафа поднимает голову, чтобы возразить, но опять не решается... Как же тут возразишь, когда Бако сам прекрасно знает, что из шкуры бычка овчины не получится, шерсти-то у бычков, считай, совсем нету... Мустафу обижает насмешка мясника, но тут же, сам того не замечая, он опять начинает оправдывать Бако. «Сапоги сошью, — думает он, — коврика из нее не сошьешь, а вот сапоги можно... Если хорошенько обработать, то хорошие сапоги получатся».

— Неси, неси, старик! — уже третий раз призывает мясник Бако.

Мустафа со шкурой в руках молча направляется в дом. Голова у него опущена вниз, да и весь он будто уменьшился в размерах, грустный такой идет... Старуха удивленно взирает на него. Мустафе стыдно, он старается не встретиться с женой взглядом. И старуха молчит. Она думает, что шкура очень тяжела, что ее, язву такую, опять надо будет вынести из дома для обработки...

Немного спустя Мустафа выходит из дома и видит, что мясник стоит, уставившись на его точильный брусок. Давно хочется Бако унести этот брусок, но никак не решается он это сделать. Просить как-то совестно — на дне речки полно таких камней. Но у Мустафы он какой-то особенный, ровный, длинный, словно настоящий кинжал, только без рукоятки. Бако прекрасно знает, что Мустафа ему не откажет, но все же не может попросить этот проклятый брусок, который ему так нравится. Не может потому, что он взял с Мустафы лишние десять рублей, и еще потому, что Мустафа ему не откажет... Бако сам удивляется на себя, ему становится как-то жалко Мустафу, и оттого, что душа у него размягчается, он опять начинает ругаться. Кроет Мустафу отборными словами... Но Мустафа его не понимает. Поскольку он не пони-

мает, Бако начинает злиться еще пуще, еще искренней и, сам того не замечая, переходит на родной язык.

— Обабился, старик! — кричит он Мустафе. — Чего ж это ты бабой-то стал, а? Может, скажешь? Не скажешь? Баба ты, баба и есть. Крови боишься, ножа боишься... Баба ты, не Мустафа, а баба!..

Бедный Мустафа никак не может взять в толк, за что на него так обрушился мясник. Стоит и молчит. Молчит и молит бога, чтобы не забрел сейчас ненароком племянник Усман, чего доброго, отлупит он мясника. Посматривает Мустафа украдкой в сторону ворот, но нет, все тихо, племянник вроде не идет.

Мясник Бако, злой как черт, уходит. Мустафа его не провожает, садится в сторонке и начинает размышлять. «Бако больше не позову, — думает он, — никогда больше не позову этого бандита резать бычка». А сам чувствует, что позовет. Поэтому он еще раз пытается распалить себя, чтобы вовсе не позвать мясника, вспоминает, с каким наслаждением Бако обозвал его бабой. Но ему что-то не верится, что он баба... Смотрит Мустафа на свою белую бороду, теребит ее, начинает говорить вслух, чтобы послушать, похож ли его голос на бабий. Потом зовет жену, прислушивается к ее голосу, сам начинает говорить с ней, сравнивает свой голос с ее тоненьким старушечьим и остается довольный. Нет, его голос, пусть хоть и немного мягок, совсем не похож на бабий...

Однако что бы там ни было, но после каждого визита мясника Мустафа начинает громко басить. Однажды Ибодулло Махсум даже удивился, услышав, что Мустафа говорит каким-то странным голосом.

— Вы, Мустафа, так, пожалуйста, не говорите, — сказал он. — Так вы совсем не похожи на Мустафу.

— Ведь у меня совсем мягкий голос, — смутился Мустафа. — Очень даже мягкий. Махсум...

— Мягкий, слов нет, мягкий, — подтвердил Ибодулло Махсум. — Аллах дает каждому свое, даже голос...

— Люди смеются, что у меня такой мягкий голос, — пожаловался Мустафа.

— Так они, должно быть, пошли от обезьян, если смеются по такому поводу, — рассудил Ибодулло Махсум. — А вы попробуйте, Мустафа, немножко простудиться, может, и голос чуть огрубеет, а?

— От простуды меня лихорадит, — сказал Мустафа.

— А раз лихорадит, так уж тогда не простужайтесь, — сказал Ибодулло Махсум. — Вы потеплее одевайтесь, Мустафа, раз вас лихорадит...

Так сказал Ибодулло Махсум и ушел.

В другой раз Мустафа хотел пожаловаться на свой голос старику Хуччи, хотя тот ничего странного в его голосе не заметил. Но старик Хуччи не пожелал его слушать и сам завел разговор про лошадей. Хуччи говорил, а Мустафа, которому так хотелось пожаловаться на свой голос, смиренно слушал.

— Вот вы есть Мустафа, — сказал старик Хуччи. — Никто ведь еще не назвал вас Манзаром-палваном, потому что вы с самого своего рождения Мустафа. Или я неправду говорю?

— Правда, почтенный, правда, — сказал Мустафа. — Вы правду говорите, Хуччи-ака.

— А мерин Камала мерин и есть, поэтому нельзя его назвать скауном, — продолжал свою мысль старик Хуччи. — А раз он мерин, то грош ему цена, будь он хоть трижды пегим, правда ведь?

Мустафа не очень понял, куда клонит старик Хуччи, но кивнул головой — согласился. Молча, с уважением слушал он почтенного Хуччи, некогда первого всадника во всем Галатепе.

— Теперь возьмем Якуба-козлодера, — сказал старик Хуччи. — Сам он большой дурак, но лошадь у него хорошая. Как можно назвать ее дурной, коли она хорошая? Она же не виновата, что ее хозяин дурак?

Тут Мустафа не выдержал.

— Да вот голос у меня мягкий, почтенный, — начал он. — Даже Пиримкул смеется, что у меня голос больно мягкий, — соврал Мустафа.

Уж очень неудобно было начать разговор сразу с мясника Бако.

— Пиримкул не должен над вами смеяться, — сказал старик Хуччи. — Он же вам родной брат, пускай лучше смеется над чужими...

— Кажется, и Бако немного смеется... — сказал Мустафа.

— Бако — жулик! — отрезал старик Хуччи. — Живи он в старое время, из него получился бы настоящий разбойник!

— А я, оказывается, баба. — Мустафа не мог сдержать своей обиды, сразу вылил душу перед стариком Хуччи. — Бако меня бабой обозвал...

— Вы — баба?.. — Старик Хуччи задумался. — Не знаю, Мустафа. Коли так... нет, Мустафа, вы меня послушайте, если вы баба... как же тогда? Ведь есть же у вас дочь?

— Есть, почтенный, — сказал Мустафа и глубоко вздохнул.

Старик Хуччи его понял.

— Будь у вас сын, он бы разможил этому мяснику череп, — заключил Хуччи. — Вы, Мустафа, могли бы сказать своему племяннику, Усману, он тоже неплохой парень, мог бы...

— Нет, так нельзя, почтенный, — испугался Мустафа. — Усману драться нельзя, он и без того виноватый ходит...

— Как хотите, дело ваше, — сказал старик Хуччи. — А вы сами разве не сказали ему, чтобы он унялся, чтобы знал свое место этот паршивец?..

— Уймется ли, он же такой...

— Вот сын блудницы!.. — выругался старик Хуччи. — Вы его обидели чем-нибудь, а?..

Мустафа не ответил. Опять вздохнул.

Вечером того же дня старик Хуччи пришел к Мустафе с Ибодулло Махсумом. Они не захотели войти в дом, остановились у ворот. Мустафа выкатил со двора пустую тачку, перевернул, накрыл овчиной, чтобы гости, раз уж они не вошли в дом, могли бы тут сесть, отдохнуть... Старик Хуччи не стал долго мешкать и спросил прямо в лоб у Ибодулло Махсума:

— Скажите, Махсум, скажите Мустафе самому, разве он похож на бабу?

Вопрос был совершенно неожиданный, но Ибодулло Махсум не растерялся.

— А вы сами как думаете, почтенный? — невозмутимо сказал он.

— Мустафа говорит, что Бако обозвал его бабой.

— Бако сам осел, — сказал Ибодулло Махсум.

— Это хорошо, что он осел, но очень плохо, когда такой осел обзывает Мустафу бабой.

— У него глаза как у дохлого осла, — сказал Ибодулло Махсум. — Вы ему не продырявили слегка череп, Мустафа?

— Нет, я в жизни никого не бил, Махсум!..

— А надо бы...

— Меня вот били, — вспомнил старик Хуччи. — Меня

Усман Звездочет с сыновьями бил. Один он не справился бы, а вот с сыновьями избивал.

— Я старше Бако, — сказал Мустафа, — а он меня бабой обозвал...

— Вот уж неправда, — утешил его Ибодулло Махсум. — Вы, Мустафа, если даже похожи, так на мягкую, кроткую женщину.

— Кротких баб не бывает, — возразил старик Хуччи.

— Мустафа-то кроткий?..

— Мустафа же не баба, — опять возразил старик Хуччи. — Это Бако обозвал его бабой.

— Бако не в счет, осел и есть осел, но разве грешно быть немного похожим на добрую, кроткую женщину? — спросил Ибодулло Махсум. — Не дай бог быть похожим на злую женщину! Сожрет тебя живьем такая баба! А вы, Мустафа, еще никого ведь не сожрали?

— Поймите, Махсум, Мустафа не баба, чтобы кого-нибудь жрать! — рассердился старик Хуччи. — Это Бако, сын блудницы, окрестил его бабой...

Ибодулло Махсум и старик Хуччи еще немного поспорили и ушли, оставив Мустафу в еще большем смятении...

Вернувшись в дом, Мустафа застал жену за работой. Она колотила в передней палками по куче шерсти, чтобы выбить из нее пыль. Увидев Мустафу, она сразу начала с упреков:

— Могли бы и получше что-нибудь купить, разве это шерсть!..

Мустафа промолчал. Он и без нее знает, что торговцы шерстью добавляют в нее извести и всякой другой дряни. Им нет дела, что шерсть портится. Лишь бы весила больше.

— Они совсем совесть потеряли! Вот, смотрите!.. — показала старушка и с размаху ударила палкой по тюку. Поднялась едкая белая пыль. Старуха зачихала, но палки не бросила, заколотила, будто назло, еще сильнее.

Вскоре пыль залезла и в ноздри Мустафы, и он несколько раз чихнул. Ему захотелось скорей проскочить в комнату и запереться, но он передумал — все же совестно показалось оставить жену одну глотать пыль, и Мустафа присел на край коврика рядом.

— Дались вам эти потники! — продолжала ворчать старушка. — Могли бы из серого войлока сделать.

— Из серого не годится, — тихо ответил Мустафа, — серый из плохой шерсти.

— А эта, с известью, по-вашему, хорошая? — зло спросила старушка.

— Если почистить, то... — Мустафа замялся, виновато посмотрел на жену. — Это мне Камал Раис заказал, человек он уважаемый, надо сделать.

— А он все равно вам денег не даст.

— Зачем тебе деньги? — удивился Мустафа. — У нас же есть деньги.

— Да, есть, — подтвердила старушка. — Их даже больше, чем надо. Что с ними делать-то?

Мустафа только удивился наивности жены.

— Вдруг какой негодяй пронюхает? — всполошилась она.

— Ты что так испугалась? Тебя, что ли, придут воровать?

— Меня? Вот богатство-то! — Старушка засмеялась мелким дребезжащим смешком.

— Нет, Гульсара, украдут, так деньги украдут, а тебя не тронут!..

Мустафа сказал и вдруг вспомнил, что его жену зовут Гульсарой. Это девичье имя удивило его, старухе совсем не подходит такое — Гульсара.

Сколько ни тужился Мустафа, но никак не мог представить жену девушкой. Гульсара была его вторая жена. Когда первая жена, Майрам, умерла, старики в Галатепе не захотели оставлять Мустафу вдовцом и женили его на Гульсаре. Она тоже тогда была вдовой после смерти мужа, торговца кунжутным маслом. Давно это было, лет сорок назад.

— Ты не бойся, Гульсара, — сказал Мустафа. Он нарочно назвал ее Гульсарой. Сейчас ему очень забавно было называть ее Гульсарой. — Тебя не украдут, Гульсара!

— Да кому я нужна!.. — отмахнулась старушка. — Только вот думаю, все же что-то надо делать, раз есть деньги.

— Скажи, сделаем, Гульсара...

— Может, поминки по Майрам-апа справим?

— Это ты хорошо придумала, Гульсара. — Мустафа обрадовался, что она вспомнила про его первую жену. — Но поминки мы уже делали. Помнишь, резали тогда еще большого белого барана? Я его совсем маленьким купил у Ибодулло Махсума.

— Что-то запамятовала, — призналась старушка. — Но если небольшие поминки, тогда, может, я сама что-нибудь испеку, зажгу пару свечек?

— Хорошо, Гульсара, ты зажги пару свечек, — согласился Мустафа. — Бедная Майрам порадуетя.

— Дай бог, чтоб порадовалась! А то ее дух стал часто навещать нас, вы не заметили?

Мустафа сделал вид, будто не услышал. Он не любил говорить о духах умерших. Верить в них верил, но говорить не любил. Дух одного возвращается и поет сверчком, другого — цикадой. Дух у кого-то еще оборачивается даже змеей. Тут ничего нельзя предугадывать, и лучше уж не тревожить духов лишними разговорами. Мустафа хорошо помнил, как дух умершего ишана обернулся змеей и укусил его же собственного сына Салимхана. Вообще этих духов никогда не поймешь, и они, кажется, не слишком разбираются, виноват ты или нет, свой ты или чужой, раз дух обернулся змеей, так он непременно ужалит. А Салимхан тот был человеком тихим, покорным, сроду никого не обижал, а отца своего и подавно — отец резкого слова от него никогда не услышал. И сам покойный ишан был неплохой человек, но, увы, дух его обернулся змеей и ужалил его же сына, еле спасли. Так что о духах лучше не заикаться. Но жена Мустафы не догадывается об этом и все говорит о них. Мустафа сколько раз просил ее не делать этого, да что с нее взять, она ведь баба, а у баб язык без костей.

Старушка опять принялась колотить шерсть. Опять поднялась едкая известковая пыль. Мустафа засуетился и, чтобы хоть немного отвлечь жену от ее занятия, спросил:

— Ты телят накормила, Гульсара?

— Накормила, — ответила она, перестав орудовать палкой. — Рыжий что-то невесел, заболел, наверное...

— Ничего, отойдет... А ты себя особо не утруждай, Гульсара, — торопливо сказал Мустафа, боясь, что она опять приметя за свою палку. — Ты себя не мучай, зачем тебе на старости лет так надсаживаться. Сиди спокойно, и без этой шерсти как-нибудь проживем.

— А потник для Камала? — удивленно спросила жена.

— Так он не сегодня нужен, можно и повременить... Ты хоть немного отдохни, Гульсара.

— Человек без работы быстро стареет, — сказала она.

Мустафа не мог удержаться от смеха — так потешны показались ему слова жены.

— Ты же все равно старая, Гульсара! — сказал он. — Ты точно Назар Махдум, тому тоже все молодым хочется быть. Самому уже за семьдесят, а он еще...

— Это вы над кем смеетесь? — спросила старушка. — Надо мной или над Махдумом?

— Над тобой, Гульсара, над тобой!.. — сказал Мустафа. — Над кем же мне еще смеяться?

— А Назар Махдум? — чуть обиженно спросила старушка. — Над ним вы не смеетесь, он же старше меня на целых пять лет.

— И над ним немного смеюсь, Гульсара, — утешил ее Мустафа. — Ты уж не обижайся, Гульсара, это я без злости смеюсь.

Мустафа вспомнил Назара Махдума, маленького словоохотливого старичка, о котором ни один галатепинец не мог думать без улыбки. Ходил Назар Махдум важно, заложив руки за спину, — не больше не меньше председательская походка! Страшно не любил сам работать, но каждый день без всякой на то надобности выпроваживал на улицу, к большой яме под дувалом, своих внуков и заставлял их месить глину. Внуки работают, а Назар Махдум гордо расхаживает по краю ямы и заговаривает с прохожими...

— Эй, Саламбай! — кричит он. — Проходишь тут мимо моего дома, а где твой салам? Нехорошо, Саламбай, нехорошо! Думаешь, я тебя самого увидел, так мне от тебя и салама не надо?

Салам кисло улыбается — он сколько помнит себя, постоянно слышит эту шутку Назара Махдума, связанную с его именем.

— Салам-aleyкум, дед Махдум! — говорит он, подойдя поближе. — Не уставать вам желаю! Вижу, работаете тут...

— А! Какой из меня работник! — отмахивается Назар Махдум и, довольный собой, продолжает ходить взад-вперед по краю ямы. — Видишь, Саламбай, какие у меня внуки, не парни, а настоящие дэвы!.. — Он показывает на лоснящиеся от пота спины подростков в яме. — Это я раньше работал, а теперь, слава богу, эти ребятки избавили меня от всего. Но, Саламбай, что поделаешь, человек я, как ты сам знаешь, привыкший к труду, не знаю ни минуты покоя! Не могу я сидеть дома, Саламбай!

Сам удивляюсь, почему это мне не сидится дома. Ведь я мог бы и дома посидеть, а?

— Быть пиру в вашем доме, почему это вам не сидится дома, дед Махдум? — спрашивает Салам. — Не лучше ли дома-то посидеть?

— Лучше-то оно лучше, но не могу, — с достоинством отвечает Назар Махдум. — Сам подумай, всю жизнь я трудился и вдруг сидеть дома? Нет, Саламбай, такое не по мне!..

После такого разговора прохожий, если он коренной галатепинец, как этот Салам, невольно начинает думать: ведь этот Назар Махдум в жизни пальцем не ударил. А если прохожий случайный человек, то он невольно посмеется, глядя на маленькую фигурку Назара Махдума, да еще пожалеет его, а может, подумает, что вот, мол, старичок был некогда богатырем, но перетрутился и стал теперь таким тщедушным после своих адских трудов.

— Прямей бейте кетменем! — поучает тем временем Назар Махдум своих внуков. — Прямей бейте и черенок держите покрепче! Наискосок кетмень не берет землю! Горе мне с вами, несмышлениши, даже этого вы не знаете!..

Бедные внуки не смеют послушаться деда, бьют кетменем прямо, как им приказывают. Земля твердая, словно камень, ее и наискосок-то не больно возьмешь, а когда бьют прямо, кетмень и вовсе не лезет. Но Назару Махдуму нет до того дела, он доволен собой и гордо взирает на прохожего.

— Они еще совсем глупые, — говорит он, — силушки поднакопили, а опыта никакого... Вот я... Да что я? Ведь заслужил же я наконец право поваляться немного в тени карагача? Заслужил. Я свое отработал, с меня теперь и спросу мало. Только из-за них вот и держусь, Саламбай, из-за них пока и не сдаюсь смерти!.. Смотрите, какие дэвы! Не парни, а настоящие дэвы! Такая уж наша порода — работать мы любим! На что им моя сила? Им скорей нужен мой опыт, нужен мой старый, но ясный ум! Ведь не зря я потрутился столько на этой земле!..

Прохожим всегда бывает жалко внуков Назара Махдума, и они стараются избегать таких разговоров.

А что до стариков галатепинцев, то для них это потруднее. Как-никак Назар Махдум человек их круга. А старикам не очень по вкусу, когда люди помоложе посмеиваются над их товарищем. Иногда, правда, они пы-

таются сказать Назару Махдуму, чтобы он особо не кичился, люди-то не дураки, сейчас такое время, что будь ты хоть богом, тебя вмиг раскусят и сразу скажут, сколько кусков мыла дадут за тебя. Но Назар Махдум не любит, когда его учат, он сам любит учить, потому и все старания стариков галатепинцев тщетны. Какой был, такой и остался — лентяй и хвостун. А когда его сын в городе стал большим начальником, Назар Махдум и совсем голову потерял, будто это не сын его, а он сам стал начальником и тоже начал разъезжать в большой машине. Однажды на свадьбу к Раиму Раису, что живет через двор от него, он прикатил на этой машине. Только вот Ибодулло Махсума он по-прежнему побаивается. Ибодулло Махсум, несмотря на свою общительность, совсем игнорирует Назара Махдума, видимо, он считает, что уже поздно с ним нянчиться. Отчасти он прав, куда теперь учить Назара Махдума. Семьдесят лет — это не семьдесят дней и даже не семьдесят месяцев, что прилипло, то уж не отлипнет...

— Бедная Зухра жалуется на своего мужа, — сказала жена Мустафы. — Ваш друг никому покоя не дает!..

— Да никакой он мне не друг, Гульсара, — возразил Мустафа. — Мы просто с ним одноклассники, вот и заходит иногда...

— Не каждый день заходит, — уточнила старушка. — Только по субботам. Показать себя приходится, при сыне, в машине!..

— Ну это ты зря, — сказал Мустафа. — Будь у меня сын, а у сына машина, я бы тоже ездил. Назар уже старый человек, грех про него думать такое.

— Он завтра придет, — сказала старушка. — Сегодня уже пятница, а Хасан приезжает только в субботу.

— Кто его знает, может, завтра и не придет.

— Приедет, а как же?.. Весной он каждую субботу приезжает. Это он летом носа не кажет.

— Ну, летом понятно, жара, путь далекий...

— «Жара, жара»!.. — передразнила Мустафу старушка. — Летом молочных барашков не режут, вот что!..

— Ты это брось, Гульсара!.. — Мустафа недоуменно посмотрел на жену, словно впервые ее увидел. — Не ради одних барашков приезжает человек. Назар ему отец, Зухра — мать, вот к ним и приезжает.

— А вам очень скучно без вашего Махдума? — спросила старушка. — Вдруг Хасан завтра не придет, что тогда будет?

— Скучно не скучно, а поговорить можно,— неопределенно ответил Мустафа. — Человек все-таки...

— Не будет Хасана — не увидите Махдума!.. — со злорадством сказала старушка. — Он без машины и шагу не ступит!

Мустафа так и не понял, с чего это она ополчилась на Назара Махдума и его сына...

— Что он тебе сделал, Гульсара, пускай живет себе спокойно.

— Помните, когда сыновья Шадмана упекли Раима в тюрьму и поставили председателем брата Махдума? Ваш Махдум в то же утро пошел в колхозную конюшню и забрал себе белого скакуна Раима Раиса. Взял себе самого лучшего белого коня!

— Нет, Гульсара, неправда, он взял тогда гнедого жеребца, — улыбнулся Мустафа. — Конь Раима был похож на хозяина, чужих не признавал, так никого и не подпустил к себе после Раима. Пришлось отвезти его в Каттакурган и сдать на мясо. Назар выбрал себе тогда гнедого жеребца, но и на нем ему ездить почти не пришлось, быстро отобрали...

— Вот видите, — обрадовалась старушка. — А вы еще такого человека ожидаете! Не приедет Хасан, так и Махдума вашего не увидите вам как своих ушей...

— Хасан-то приедет наверняка...

— А если не приедет?

— Ну ты словно ребенок, Гульсара, — рассердился Мустафа. — Заладила себе: приедет, не приедет!.. Тебе-то какое дело? Приедет Хасан.

— А вот и не приедет!

— Брось ты, Гульсара, он приедет.

— Не приедет!.. — чуть ли не закричала старушка и, быстро вскочив, стряхнула с платья белую известковую пыль и демонстративно вышла из дома.

Мустафа покачал головой ей вслед, будто бы осуждая: старуха, мол, а ведет себя как девчонка, пора бы и образумиться. Но на душе у него все же было радостно.

Назавтра Хасан все-таки приехал.

В этот день Мустафа с утра таскал воду из эмирского арыка, смешивал прошлогодний навоз с опилками и делал из этого месива круглые, с маленький тазик, таппи, чтобы зимою было чем топить печку. Он хотел было по-

просить племянника пособить немного, но нашел постель его уже холодной, видно, Усман или не ночевал дома, или куда-то ушел спозаранок. Других людей Мустафе не захотелось тревожить. Усман — это одно, он свой человек. Лучше уж одному работать, чем кого другого просить, так даже спокойнее.

Дело в том, что Мустафа сорок лет тому назад зарыл под этой кучей навоза целых полсотни эмирских золотых монет. С тех пор он каждые десять лет раскапывает богатство: убедится, что золото цело, и опять закопает. Монеты зарыты довольно глубоко, да еще навозная куча сверху, не сразу доберешься. Они достались Мустафе от его отца, Хамракула, а тому от его отца, Нуркула, и вот уже сорок лет лежат в земле. Странное бывает чувство у Мустафы, когда он думает о золотых монетах, ведь их некому продать, если даже раскопаешь, не возьмут. Тридцать лет назад он вручил две монеты арабу Узаку, а тот дал взамен верблюда. Но Мустафа так и не научился обращаться с верблюдом, пришлось продать его колхозу. Остальные монеты, теперь уже, считай, сорок восемь, все еще покоятся в земле — у Мустафы и без них достаточно денег. Но что ни говори, золото есть золото, а человек устроен так, что его лихорадит от одного только названия золота, то ли страх, то ли жадность, не поймешь. Стоит кому-нибудь повнимательней посмотреть на кучу навоза, и Мустафе сразу становится не по себе. Нет, он не боится, что золото отберут, пускай забирают, не велика беда, но ведь после всего начнут таскать повсюду, расспрашивать, откуда да почему. Попробуй докажи, как оно у тебя оказалось, хорошо, если поверят, а коли нет?.. Что тогда делать? Ведь тебе не семнадцать, а все семьдесят, пора уже присматривать клочок земли поближе к предкам...

Занятый этими мыслями, Мустафа даже не заметил, как приехал Назар Махдум. Оглянулся, когда просигналили снизу, и увидел, что Назар Махдум уже поднимается к нему по узкой тропинке. Сын его, как всегда, сидел на берегу пруда под горбатеньким старым талом и терпеливо ждал возвращения отца.

Мустафа встал, весь испачканный навозом, и, опершись на черенок лопаты, стал дожидаться Назара Махдума. Наконец тот подошел к нему, остановился и чуть выжидательно посмотрел. С тех пор как его городской сын сделался начальником и сам Назар Махдум начал разъезжать в его желтой машине, он больше уже не здо-

ровался первым. И на этот раз было так — он дождался, пока Мустафа его поприветствовал, затем важно обошел вокруг навозной кучи, остановился, снисходительно оглядел испачканную одежду Мустафы и только потом раскрыл рот:

— Здравствуйте, Мустафа, здравствуйте... Работаете, значит?

— Да вот... — ответил Мустафа, смущенно глядя на свои грязные руки. — Работаю... Тапи делаю...

— А я хочу купить коня, — сказал Назар Махдум. — Пришел заказать вам потники.

Мустафа знал, что Назар Махдум боится лошадей с тех еще времен, как упал с гнедого жеребца, и уж наверняка не купит лошадь, и поэтому легко согласился:

— Вы сперва купите, а что до седла, так это мы сделаем за два дня.

— Я просил потники, Мустафа, — сказал Назар Махдум. — Седло у меня есть. Отцовское, совсем крепкое.

Мустафа не ответил. Он уже видел отцовское седло Назара Махдума: старое и совсем не крепкое, ничем не лучше низкого калмыцкого, каким обычно седлают в Галатепе крупных ослов.

— Вы бы тут дорогу какую проложили, — сказал Назар Махдум. — Сколько я к вам ни езжу, машину внизу оставлять приходится. Ведь широкая дорога лучше, чем эта ваша тропинка?

— Конечно, широкая, она лучше, — согласился Мустафа.

— Тогда почему же вы не проложите широкую дорогу?

— Незачем, — ответил Мустафа. — Проложу, а она опять зарастет. Некому тут ходить-то по ней, наши коровы да мы со старухой...

— А Усман, ваш племянник?..

— Конечно, и Усман ходит, но все равно нас мало, дорога опять зарастет.

— Кругом одни колючки, — сказал Назар Махдум. — Могли бы убрать хоть эти верблюжьи колючки?.. Вырубите их, Мустафа, не оставляйте так, я бы на вашем месте...

— Еще рано их трогать, Махдум, — ответил Мустафа. — Они только в рост пошли, даже не зацвели еще, подожду уж, пока сахару наберутся, иначе овцы не будут есть.

— Поймите, Хасанбек не может сюда подниматься, —

продолжал свое Назар Махдум.— Он всегда внизу остается стеречь машину.

— Разве у него нет шофера? — спросил Мустафа.

— Шоферу платить деньги надо, — разъяснил Назар Махдум.— Но наш Хасанбек сам водит свою машину, а раз он сам водит, то государство может и не платить шоферу деньги.

— Выходит, он сам и за шофера получает?

— Нет, за шофера никто не получает, — объяснил Назар Махдум. Его немного злило невежество Мустафы, но все же он объяснил: — Ведь наш Хасанбек человек государственный, вот он и экономит государственные деньги.

Мустафа опять не понял Назара Махдума. Ведь у государства столько денег, подумал он, так зачем же отнимать немного денег у одного бедного шофера.

— У шофера, должно быть, тоже семья, дети... — несмело начал он.

— Хасанбека все уважают. — Назар Махдум не обратил внимания на слова старика. — Помните, Мустафа, я когда-то пришел сватать вашу дочь, а вы тогда не согласились. Потом наш Хасанбек поехал учиться. А вот сегодня, видите, он уже большой человек, все его уважают. Хорошо, что он не остался тогда в Галатепе.

Мустафа вспомнил, как Назар Махдум действительно ходил сватать его дочь за своего сына. Мустафа тогда не отказал, он просто попросил дать ему немного подумать. Очень совестно было с первого же разу согласиться, вдруг люди подумают, будто Мустафа рад избавиться от своей дочери, может, у нее там не все на месте?..

— Видать, судьба такая... — как бы сожалея, проговорил Мустафа.

— Хасанбек стал большим человеком, — повторил Назар Махдум и ободряюще похлопал Мустафу по плечу. — Ничего, Мустафа, вы только не думайте, будто я вас упрекаю. Разве вы знали, что так получится. Сейчас вы бы отдали за него свою дочь, правда ведь?..

— Может, и отдал бы... — поспешно кивнул Мустафа.

Снизу послышался сигнал. Назар Махдум обернулся и помахал сыну рукой: подожди, мол, я сейчас, затем опять обратился к Мустафе:

— Вы о потниках-то не забудьте, Мустафа!..

Мустафа еще раз кивнул.

Назар Махдум пошел по тропинке вниз. Шагал он,

как всегда, важно и ровно, чуть развернув плечи, и даже создавалось ощущение, будто человек идет по ровной плешине такыра, а не по крутому склону холма.

Проводив Назара Махдума, Мустафа сел на землю и бросил под язык щепотку насвая. И он, острый, жгучий, быстро подействовал на него: чаще забилось сердце, на лбу выступили капельки холодного пота. Приятно закружилась голова... Хорошо думается, когда насвай под языком, мысли теснятся одна на другую, и такое ощущение, будто думы сами думаются, а ты тут ни при чем. По всему телу разливается легкое опьянение, такое сладостное, что даже немного грустно становится. В двух шагах от тебя куча навоза, а под ней — золотые монеты, и кажется, будто они чужие и будто ты спишь и видишь их во сне. Очень странное это чувство, когда тебе вдруг кажется, будто золото ничем не отличается от навоза... С навозом, пожалуй, даже лучше, его хоть можно месить, делать из него таппи, протопить ими зимою печку... А от золота какой прок? Ведь и не продашь? Это так дико, так кощунственно — продать золото, продать деньги...

Мустафа выплюнул насвай из-под языка, сполоснул рот из стоявшего рядом медного кувшина, отдышался... Теперь он в соседстве золота с навозом вроде бы нащупал какой-то смысл, но он показался таким зловещим, что его до конца даже разгадывать не хотелось. Мустафе вдруг стало тревожно и неудобно. Желая отвлечься от неприятных мыслей, он встал и с двумя ведрами в руках поплелся к эмирскому арыку. Он принялся считать, сколько перетаскал ведер. За десять раз принес двадцать ведер, за двадцать — сорок, за тридцать — шестьдесят... Только после ста ведер он сел на прежнее место, немного отдышался, снова поднялся и стал утрамбовывать лопатой края разжиженной навозной кучи, выкопал рядом маленькую ямку, куда бы сливалась лишняя вода. Затем он опять сел отдохнуть. Но сколько ни старался не думать, противные мысли упорно лезли в голову... Ему было очень жалко, что эти золотые монеты так и останутся под землей. Дед умер, они остались, отец умер, они остались... Теперь вот Мустафа умрет — а они останутся... Проклятые монеты! Чтоб им сгнить!

Мустафа не выдержал, он опять вскочил, вытер локтем пот со лба и снова принялся за работу...

...Мустафа страшно не любит покидать свой дом. Иногда под каким-либо предлогом сам угощает народ, иногда со стариком Хуччи и Ибодулло Махсумом ходит на свадьбы или на похороны, но все это, как говорится, дань тому, что ты человек и живешь среди себе подобных. А так, без крайней надобности, он почти никуда не выходит и ни с кем не общается. Изредка к нему приезжают дальние родственники из Бухары, каждый раз они просят его хоть недельку погостить у них. Мустафа каждый раз обещает, но ехать туда не едет. Бухарские родственники, те хоть далекими считаются и далеко живут, но даже со своими родными братьями, что в двух шагах от него, Мустафа видится не часто. Удивительно даже, когда они успели так отдалиться друг от друга. Пока были живы родители, братья казались неразлучными. И все говорили: вот они, братья... Нишанбай, Мустафа, Пиримкул, Апсамат... сыновья Хамракула... внуки Нуркула... Дай бог каждому иметь таких братьев!

Разлад начался с Нишанбая, самого старшего из братьев. Когда началась революция, он уехал к Мадаминбеку. Он и Мустафу уговаривал уйти, но тот не согласился. Ему, еще молодому парню, непривычно было покидать родной кишлак, и он остался дома, подружился с Раимом, сыном Гайбара Заики, и ухватился за него, как малый ребенок за подол матери, — куда Раим, туда и Мустафа. Раим был тогда совсем молодой, сильный, храбрый, смерти еще не боялся. Подобрал он себе в команду тридцать горячих парней, и вместе они выступили против басмачей. Много тогда сновало вокруг басмачей: с запада шел Акбаш-курбаши, с востока — Мамадали Пансад, каждый с сотней, не меньше, нукеров. Но с парнями Галатепе нелегко было сладить, они пустили в ход кинжалы, ружья, но приблизиться к кишлаку не дали. Вскоре из Каттакургана пришла подмога, Мамадали Пансада разбили. Раим взял с собой Мустафу, и они вдвоем поехали в пристанище Акбаша-курбаши, в древние пещеры, что в ущельях Паландары. Мустафа не надеялся вернуться живым, но оказалось, что басмачи уже были не те, ослабели вояки, обносились и могли теперь только выкрикивать бранные слова. Раим предложил им сдать. Кто-то из басмачей согласился, кто-то стал возражать. Но к единому решению они так и не пришли. Раим был горяч, нетерпелив, увидя нерешительность и разногласия басмачей, он закричал:

— Ведь все люди отвернулись от вас, на что вы на-

деетесь, сукины вы дети!.. Всего жить вам осталось считанные дни, какого вы черта ломаетесь, будто бабы! Сдавайтесь, кладите оружие и катитесь на все четыре стороны... Так уж и быть, простим мы вам, сукиным детям, ваши грехи. Всем простим, кроме курбаши!.. А вашего Акбаша расстреляем под забором, как собаку!..

Басмачи стали смеяться. Кто-то даже сказал:

— Не петушись, сын Заики! Был бы здесь Акбаш, он бы пикнуть тебе не дал. Содрал бы с тебя шкуру на чучело!..

И тут, словно сама судьба, подъехал к пещерам, окруженный свитой, Акбаш-курбаши.

— Приведите-ка сюда того щенка. Сына вшивого Гайбара Заики, — потребовал он.

Раима и Мустафу вывели к курбаши. Акбаш сидел на саврасом высоком коне, старый, седой, в богатой одежде. Увидев Раима, он прикрикнул:

— Эй ты, красный ублюдок, чего приперся морочить им головы? — и, вынув из ножен саблю, помахал над головой.

Мустафа насмерть перепугался. «Ну, вот и все, — мелькнула мысль, — теперь он и меня, и Раима разрубит». Но рука Акбаша, маленького тщедушного старичка, который ни разу в жизни не рубился, быстро устала, он убрал саблю в ножны и вынул висевший на боку маузер. Старик был разгневан и наверняка застрелил бы их обоих, но нашлись люди, знавшие Нишанбая, брата Мустафы. Нишанбай служил у Мадаминбека, у самого умного курбаши, как тогда поговаривали люди. Акбаш, узнав об этом, разозлился еще больше, но все же сдался — назначил каждому по двадцать розог и отпустил.

Неделю спустя басмачи сами приехали в Галатепе и привели с собой избитого связанного Акбаша. Они передали курбаши Раиму, а сами, как было договорено, разошлись по кишлакам.

Акбаш сказал Раиму:

— Я тебя, красный, не убил, и ты меня не убьешь. И бить ты меня не будешь, меня уже мои же щенки потрепали...

Но Раим был непреклонен, он сам продиктовал писарю сельсовета мулле Саттару приговор: «Именем революции... расстрелять как вредного и ненужного элемента!..»

Потом Ачил, помощник Раима, вывел Акбаша на

окраину кишлака, к зимовью сбежавшего бая, и разрядил в курбаши винтовку. Мустафе дали кетмень и велели закопать труп Акбаша. Мустафа завернул труп в старую кошму, погрузил на осла и повез на кладбище. Но сторож Карим, он же могильщик, наотрез отказался пустить их за ограду.

— Твой Акбаш не человек, — сказал он, — я не могу пустить его к людям.

Пришлось Мустафе ехать в Кзыл-Таш. Там он похоронил курбаши под стенами старого рабата. Вырыл маленькую ямку, положил туда мертвеца и кое-как засыпал землей. Но на обратном пути ему стало жалко Акбаша, ведь того даже не омыли, не отпели, бросили в яму, как бездомного пса... Мустафа вернулся к рабату, выкопал рядом новую могилу, глубокую, с широким сводом сбоку, и похоронил Акбаша. Обложил холмик камнями, потом даже прочел аят, стоя на коленях у могилы. Долго-долго не мог он забыть, как хоронил тогда старого курбаши, ему все казалось, будто он поступил с мертвецом не так, как полагается. Только тогда и успокоился, когда родственники откопали и увезли прах Акбаша к себе...

Вскоре поймали и брата Мустафы — Нишанбая. Честно говоря, его даже не ловили. После того как Куршермат-курбаши отрубил Мадаминбеку голову, Нишанбай сам вернулся в кишлак. Пришел пешком, без оружия, очень подавленный, остановился не дома, а у молоденькой вдовушки, где его и взяли. Нишанбай не сопротивлялся, спокойно дал себя связать, но, когда его вывели на улицу, он все же не выдержал и грустным голосом попросил отпустить его к туркам. Больше он не проронил ни слова. Раим не стал его расстреливать, кажется, он пожалел Мустафу. Нишанбая отправили под конвоем в Каттакурган, откуда через месяц пришла весть о его расстреле. Мустафа поехал в Каттакурган на арбе и выпросил тело брата. На этот раз сторож кладбища Карим оказался не таким строгим. Он долго смотрел в суровые, отрешенные лица Мустафы и его братьев, потом сам помог им выкопать могилу. Нишанбая предали земле по всем обычаям, омытого, с молитвами...

Мустафа очень любил брата. После его расстрела он возненавидел Раима, пошел к нему домой, полный обиды и гнева, пришел и застал того в постели с простреленной грудью, харкающего сгустками крови... И он пожалел Раима и опять встал на его сторону. «Видно,

так мне на роду написано, — подумал тогда Мустафа, — оказался с ними в одной упряжке, теперь идти мне с ними до конца».

Через год в Галатепе организовали первый колхоз. Раима выбрали председателем, Мустафа стал его помощником. Вспоминаются теперь те годы, и не верится: будто все это было не с ними, а с кем-то другим. Ведь ничего тогда не имели, кроме голых рук и страстного желания трудиться. Все создавали из ничего! Раим был горячий словно огонь. Поднял он галатепинцев, и все они, и стар и мал, все как один, вышли в Джамскую степь пахать дикую землю из-под бурьяна и горькой полыни. Раз в неделю люди возвращались в Галатепе, и то не всегда и не все, спали прямо на открытом поле, положив головы на свежие межи, пахнувшие полынью и сырой землей. Ночи бывали прохладными, но днем такая жара — губы трескались. Воды было мало, ее отдавали в первую очередь младенцам и их матерям... Мустафа сколько раз видел, как молодые женщины, обнажив груди, прижимались к прохладной свежераспаханной земле, чтобы хоть немного унять жажду. Трудно пришлось людям. Мустафа и Раим работали рядом, каждый со своей парой волов. У одной пары в поводырях шла Анзират, жена Раима, у другой — Майрам, жена Мустафы, вели они за собой свои пары, а их мужья сзади, нажимая изо всех сил на ручки сохи, вгрызались в дикую степную, в давно переставшую родить землю. Не успеешь осилить и батмана, а уже меняй сошники. Даже железо не выдерживало... Трудно было, эх как трудно! Железо крошилось, а человек выдюживал... Одна борозда, почти незаметная в высоком бурьяне, пролегла на поле, смотришь, вторая, третья... все вширь, вширь расходятся круги, и вдруг — целое поле вздыбилось и задымило черным паром!..

Мустафа в те времена еще не знал, что такое усталость, он мог бы шагать за волами хоть целые сутки, но и он все же время от времени останавливался, отрывал грудь от сохи и кричал жене:

— Постой, Майрам, осадь волов, я больше не выдержу!.. И ты, эй, Анзират, остановись... Раимбай, заставь жену передохнуть!..

Но отдых был нужен не так ему и женщинам, как Раиму с его старой раной. Раим не садился отдыхать, ему, мужчине, было совестно показывать свою слабость, он наверняка знал, что не встанет, стоит ему сесть, и по-

этому, еле держась на ногах, опершись на могучие шеи волов, делал вид, будто осматривает ярмо... Женщины уходили к палаткам на другой конец свежей пашни, Анзират принималась кормить грудью маленькую дочку, Майрам присаживалась посидеть немного с заскучавшим сыном. Сыну Мустафы тогда исполнилось пять лет. Временами, любуясь, как сын его бегаёт за крупными, залетевшими с сырых тугаев, стрекозами, Мустафа говорил Раиму:

— Видишь, Раим, пашем мы тут с тобой, а дети наши тем временем растут, дай-то бог, чтоб у них сложилось все получше нашего!.. Дети подрастут, мы чуть-чуть постареем, и вот однажды приду я к тебе...

— Покороче, Мустафа, — смеясь прерывал его Раим. — Я знаю, что ты собираешься сказать: придешь сватать мою дочь, будешь точно так же нудить... Ладно уж, Мустафа, так и быть, выдам я дочку за твоего сына!..

Но сыну Мустафы не суждено было жениться на дочери Раима. Восемнадцати лет он ушел воевать с немцами. Мустафа никогда в жизни так не боялся смерти, как в те годы. Нет, не за себя он боялся, он думал о сыне, о молодом, восемнадцатилетнем веселом парне, каким он запомнил его в последний раз. Долгими ночами Мустафа молил бога: «О господи, верни мне Базара живым, если тебе нужна чья-то жизнь, возьми лучше мою, но верни мне Базара, пускай он даже не увидит меня, пускай он только вернется живым...» Но, видно, молитвы Мустафы не дошли до бога — Базар не вернулся.

Потом Мустафа потерял жену Майрам. И женился на Гульсаре. Ведь должен же хоть кто-то испечь в доме хлеб, разжечь огонь в его очаге, присмотреть за маленькой дочкой. Теперь дочь уже замужем. Лет десять прошло, как Мустафа не видел ее. Честно говоря, он и не хочет ее видеть, так уж получилось, лучше о ней не думать. Отчасти и из-за нее он не заходит во многие галатепинские дома. А братья — кто полюбил богатство, кто женщину, кто еще чего, и вот сегодня, глядишь, не такие уж все они братья, каждый живет сам по себе. Был еще племянник — сын Нишанбая, но тот забыл о своих родственниках по отцу. Ушел с матерью к ее братьям. Братья матери дали ему кров, братья матери женили, теперь он от них ни на шаг. И горе и счастье — все пополам. А до братьев отца ему и дела нет, повстречает — поздоровается, и на том спасибо.

Мустафа давно привык к этому миру, все перечувствовал, все перевидал, никого он не упрекает и ни на кого не обижается. Иногда в летнее время ходит на кладбище навещать родных. Присядет у могилы отца, пошепчет молитвы, поговорит... «Вот один я остался, отец, была мать, были вы, были родные братья, а теперь стали просто родственники...»

Так говорит Мустафа. А могила отца безмолвствует. Все вокруг безмолвствует. Никто ему не отвечает. Мустафа медленно поднимает голову, оглядывает другие могилы... Рядом могила его деда Нуркула, чуть правее, у ног отца, могила Нишанбая... Дяди, двоюродные, троюродные братья... Две тети... И все по отцовской линии. Иногда Мустафа ловит себя на том, что считает могилы и начинает молиться. За отцовской могилой есть еще кусочек земли, заросший густой, в пояс, травой. Мустафа берет серп и принимается тщательно срезать ее. Когда трава скошена, площадка вдруг становится большой. Мустафа отмеряет на ней пять шагов — это для него самого, еще пять шагов — для Пиримкула, еще — для Апсамата. Но земли все еще много остается, широкий простор тянется аж до самого кладбищенского дувала. На кладбище все торжественно, спокойно, с боков встали высокие молчаливые холмы, сверху чашей повисло небо. Кладбищенская тишина успокаивает Мустафу. Ему не страшно, что он себе и братьям отмерил будущие могилы. «Все равно ведь помрем, — спокойно думает Мустафа, — кто раньше, кто позже, но все там будем. Только я уйду первым, первым пришел в этот мир, первым и уйду». Мустафа сознает справедливость такого порядка, и ему на какой-то миг становится даже легко при мысли о смерти. Ни о чем другом он больше не думает. Другие мысли тут, на кладбище, кажутся малозначительными, ненужными... Что тут странного, ты умрешь, тебя похоронят, он умрет, его похоронят. Вон сколько тут зарыто людей, и все они когда-то были живые, потом умерли, потом их похоронили... И вот теперь спокойно лежат в земле. И даже не верится, что они когда-то могли обижать или обижаться, радовать или радоваться. Всех их сравняла смерть, мужчин и женщин, богатых и бедных, добрых и злых... Все хорошее и плохое остается здесь, в этом мире. Конец всему именно здесь, на кладбище, где обрываются все дороги, куда бы они ни вели. Все человеческие дразги покоятся под этими вот маленькими холмиками, потом, для уверенности, их

придавят плоским камнем, на котором напишут твое имя, кто ты, чей, откуда... Это хорошо, когда на камне есть твое имя, взглянет прохожий и подумает мимоходом: вот, мол, и такой человек жил, оказывается, на этом свете...

Недавно, после похорон своего сверстника мельника Алима, Мустафа наконец решил заказать себе могильную плиту. Дал Усману двести рублей на мрамор и еще пятьдесят на дорожные расходы и еду. Утром Усман поехал в Самарканд и исчез на целых три дня. На четвертый день утром все же наконец объявился, но вдрызг пьяный, еле держался на ногах. Вошел в дом, упал на ковер возле неразобранного сандала и заснул мертвым сном. Долго спал Усман. Только под вечер, перед возвращением стада, очнулся, кое-как дополз до стены, приклонился спиной и сказал старухе Гульсаре:

— Позовите старика, пускай войдет!..

Мустафа сидел перед домом, рубил жмых для коровы. Он вошел в дом, держа топор в измазанной кунжутным маслом руке.

— Ура, явился меня зарубить! — радостно воскликнул Усман. — Смотрите-ка, старик пришел меня зарубить, ура!!

Мустафа смутился. Бросил в угол топор, присел на край ковра рядом с Усманом.

— Деньги мы пропили, дядя, — сообщил Усман. — Так и быть, теперь аллах запишет на наш счет парочку ваших грехов.

Мустафа промолчал. И что он мог сказать, раз Усман ему не чужой человек, а племянник, сын его родного брата. Что ты ему скажешь?

— Значит, деньги мы пропили... — повторил Усман.

— Зря ты так, Усманбай... Мог бы привезти мне камень...

— Я не привык врать, дядя, — сказал Усман. — Слушайте, дядя Мустафа, вы ведь поверили бы, скажи я вам, что плита будет готова через неделю? Ведь поверили бы, а?

— Поверил бы, Усманбай...

— А я вот не стал вам врать, — сказал Усман. — Пропил деньги, так и сказал. Правду сказал. Разве плохо, когда говорят правду?

— Хорошо, что ты сказал правду, — признался Муста-

фа. — Но было бы еще лучше, если бы ты привез кусок мрамора...

— Не горюйте, дядя, я еще привезу вам самую большую плиту, — пообещал Усман. — Три локтя в ширину, пять локтей в длину — самую большую плиту!

— Нет, Усманбай, это очень много для меня, — сказал Мустафа. — Зачем мне такой большой камень? Хватит и поменьше.

— Нет, я самую большую плиту привезу и поставлю на вашу могилу! Вот попробуйте тогда сказать, что Усман вас обманул. Я вас не обману, дядя, для меня это все равно что отречься от своего имени!.. Да лучше уж расстаться со своим именем, чем вас обмануть!

Кажется, эти слова вконец разжалобили Усмана, в его глазах заблестели слезы. Мустафа больше не мог обижаться на племянника.

— Да ты уж не утруждай себя, Усман, — сказал он. — Откуда тебе взять столько денег?

— В Сырдарью поеду, дядя, — сказал Усман. — Не могу тут больше. В Сырдарье земли много, а председателей мало, раз-два и обчелся. Только я считать не умею, но это не беда, найму два лишних учетчика, они за меня и будут считать.

— Тебя не сделают председателем, Усманбай, — сказал Мустафа. — Ты неплохой парень, но вот слава о тебе плохая... Ты бы хоть поменьше пил...

— А если брошу пить, выберут меня председателем? — спросил Усман.

— Бог его знает, Усманбай, вряд ли...

— Ведь так и погибнуть можно, дядя!.. — сказал Усман. — Может, и я перестал бы пить, если бы выбрали меня председателем. Вот Камал Раис ведь не пьет?

— У Камала больной желудок, ему нельзя.

— А-а!! Все равно... Будь я председателем, начисто бы завязал! А сейчас в моем положении. — Усман вовсе упал духом. — Кому я сейчас такой нужен? Помру, некому и поплакать над моей могилой. Сейчас я никому не нужен. А был бы я председателем, одному зарплату побольше дашь, другому барана подешевле уступишь. Ведь это хорошо, дядя, когда ты людям добро делаешь!.. И они рады, и ты сам рад, и все вокруг тебя рады и счастливы! Посмотрите на меня, дядя, неужели я похож на зверя, ведь я человек, дядя, такой же, как вы!..

Мустафа украдкой взглянул на племянника. Усман все еще был пьян. Только в глазах засела давняя грусть,

и, кажется, ее никакой водкой не заглушить. Не повезло парню, жалко, тысячу раз жалко, но не повезло ему, кажется, с самого начала. В двадцать лет он ни с того ни с сего вдруг влюбился в старшую дочь счетовода Тилло, влюбился и взбаламутил все Галатепе своими песнями. Нараспашку и грудь и душа, бродил Усман по кишлаку, точно блаженный дядя Мурад, пел о ней песни, думал о ней думы, горел в любви, тонул... всяко пробовал, но ничего не помогло. И всю свою обиду вложил парень в песню. Иногда даже казалось, будто он решил мстить самой песне — с таким надрывом пел человек! Чуть свет, а Усман уже шастает у ворот Тилло со своей песней, вечером — опять мозолит глаза со своей песней... Пел он о ней по-разному, то хвалил, то проклинал, но неизменным в его песнях оставалось одно: Усман выбрал эту девушку из тысячи тысяч, и без нее, любимой и проклятой, он ни дня не может прожить — погибнет...

В Галатепе до Усмана никто не пел о любимых во всеуслышание. Первым запел он. У других было попроще, они покоряли женщин втихую, пели тоже втихую, в одиночку или только вдвоем. Иные обходились и вовсе без песен. Но Усман даже с песней не смог покорить эту девушку. А может, любовь его потому и оставалась без ответа, что он пел?..

Мало нашлось таких, кто смеялся бы над его песнями. Однажды, после полуденной молитвы, когда зашла речь об Усмани, мулла Данияр — да продлится память о нем до самого судного дня! — не сумел совладать с собой, выругался прямо под сводами божьего дома, позабыв даже о своем звании. «И чего только надо этой счетоводовой сучке? Может, Усман для нее не хорош? Может, ей надо кого-нибудь из табуна Нормурада? Тилло глуп как осел, не будь он глуп, давно бы справился, связал бы ей руки да ноги и бросил через порог. Была бы у меня дочь, не выдал бы ни за кого другого, а было бы у меня две дочери, обеих бы выдал за Усмана!..»

Назавтра мулла Данияр вместе с Мустафой пришли сватами к счетоводу. Самого хозяина дома не застали, вышла его дочь, та самая, которую они решили сватать, вышла, позабыв всякий стыд, закричала:

— Убирайтесь вон, я не собираюсь замуж.

Мустафа повернулся было уходить, но мулла Данияр, добрая душа, его не пустил. Схватил за рукав и сказал:

— Нет, Мустафа, ее слова не в счет, есть над ней еще отец и мать, и решать им. Не годится, если мы так и уй-

дем, не поговорив с ними. Люди знают о наших делах, я еще с утра гонца прислал...

Мустафе пришлось последовать за ним. Войдя во двор, они направились к маленькой супе. Она оказалась голой, без паласа. Хозяева даже не удосужились ведерком воды смахнуть с нее пыль, хотя и знали, что появятся сваты. Увидя все это, Мустафа опять стал просить:

— Уйдем же отсюда, уважаемый, ничего хорошего у нас не выйдет...

Но мулла Данияр не согласился. Они присели на краешек пыльной супы и стали ждать, когда подойдет к ним хозяйка дома, которая в это время доила корову. Долго пришлось им ждать. А дочь ее, вместо того чтобы подменить мать и самой подоить корову, прислонилась к косяку двери и стала презрительно их оглядывать, будто это не люди уважаемые к ним пришли, а какие-нибудь там цыгане. Так и простояла, скрестив руки, грудастая, дерзко красивая, пока наконец не пришла ее мать. Мулла Данияр был человеком ученым, не зря десять лет проучился в бухарском медресе, он умел говорить с людьми, помнил все обряды, знал, когда как надо поступать. Он развязал узелок со сладостями и двумя лепешками. Но жена Тилло тоже была не дура, она знала: отведать хлеба другого, значит, во веки веков быть у него в долгу. Она принесла свой дастархан и разломилась свою лепешку. Мулла Данияр не растерялся, с невозмутимым видом он взял кусочек хлеба и положил в рот. Долго жевал он этот кусок, никак не лез он ему в горло. Наконец мулла проглотил свой хлеб и заговорил:

— Вот пришли мы к тебе, Ойпарча, пришли с хлебом и с такими же святыми и дозволенными мыслями, как этот белый хлеб... Давай разломим теперь эту лепешку, и пускай одна ее половина останется у твоей дочери, а другую мы возьмем с собой и отнесем к будущему жениху...

Но Ойпарча, жена Тилло, не торопилась разломать лепешку, она сказала, что дочь ее еще молода и хочет учиться.

— Зачем ей учиться, Ойпарча? — удивился мулла Данияр. — Ведь учение дозволено богом для одних мужчин. Выдавай свою дочь за Усмана, а уж он наверняка прокормит ее хоть сто лет.

Ойпарча ничего не ответила. Она не сказала даже, что не вольна решать, пускай, мол, муж скажет свое слово. Норовистая была женщина, играла своим мужем как хо-

тела, захочет, так тот заплещет под ее дудку на десять ладов. И сваты поняли, что Тилло никогда не пойдет против ее желания. Мустафе даже страшно стало при мысли, что придет вдруг человек и опозорится перед сватами, мужчина все же как-никак...

Прибрела к супе какая-то собака. Черная, смиренная, немного грустная. Собака к добру, подумал с надеждой Мустафа, пророк наш погладил кошку по спине, и она с тех пор никогда не падает на спину, и собаку он благословил на верную службу людям, хотел, чтобы она была с людьми в божьем раю и служила им... К добру это, дай бог, чтобы это оказалось к добру... И Мустафа, будто собака могла ему чем-то помочь, взял с дастархана кусок хлеба и бросил ей. Собака унесла хлеб подальше, съела и снова вернулась к супе, подобострастно виляя куцым хвостом. Но Мустафа не стал больше отвлекаться, он взглянул на муллу Данияра и с его молчаливого согласия начал:

— Я родной дядя Усмана, пришел вот к вам сватать вашу дочь. Парень он неплохой, надежный... Правда, по молодости немного осрамил он вас своими песнями, но вы на него не сердитесь. Все это из-за любви к вашей дочери. Давайте, уважаемая Ойпарча, сыграем свадьбу, позovem все одиннадцать кишлаков вокруг...

Мустафа однажды уже ходил сватать. Тогда с ним был не мулла Данияр, а Имам, тоже мулла, но только из соседнего Шуркудука, родной дядя будущего жениха. Тогда мулла Имам говорил отцу девушки: давайте, мол, сыграем свадьбу, почтенный, и позovem все одиннадцать кишлаков вокруг Галатепе. После таких слов отец девушки враз согласился, встал, обнял муллу Имама, потом Мустафу, повеселел и стал говорить, что вот, слава богу, теперь они через жениха и невесту породнятся навеки, поздравил сватов с будущей свадьбой, затем сваты поздравили его... Все тогда было прекрасно, по всем правилам, по-мусульмански. Сейчас Мустафа вспомнил про то сватовство и повторил слова муллы Имама об одиннадцати кишлаках. Но женщина на это не обратила никакого внимания. Тогда Мустафа сказал:

— Каждой девушке полагается жених, Ойпарча. И каждому парню полагается невеста, а потом жена, чтобы оберегать его очаг от дурного глаза, чтобы служить ему верой и правдой.

— А моя дочь не служанка, — оборвала его женщина. — У нее такие же права, как у мужчин. Вы не ду-

майте, будто она какая-нибудь там забитая, ошибается!..

Мустафу такие слова женщины глубоко обидели. Он и сам видел, что ее дочь отнюдь не забитая. Но так говорили испокон веков все сваты, про очаг, про верность... Пожалел он, что бросал перед этой спесивой женщиной такие хорошие слова.

— Ты хоть немного устыдила бы свою дочь, — попросил мулла Данияр. — Научи ее, чтоб не показывалась она при сватах-то. Должна же невеста немного робеть перед сватами!..

— Она человек вольный, — засмеялась женщина. — Вот я, женщина, ведь разговариваю с вами, почему же и ей не стоять здесь? Ваши законы давно устарели, мулла...

— Может, нам прийти, когда будет твой муж? — с последней надеждой спросил мулла Данияр.

— Да как хотите, дед мулла, дело ваше... — опять засмеялась женщина, знала, что муж у нее будет как попугай повторять за ней ее слова.

Сваты примолкли. Черная собака опять подошла к супе. Тихо заскулила и, точно больная, жалким комочком легла у супы, положив узенькую мордочку на ее край. Странно она сейчас выглядела — туловищем внизу, на земле, морда на супе, глаза несчастные, будто она что-то хочет сказать и не может... Мустафа, почувствовав недоброе, резко обернулся и увидел дочь Тилло. Та все еще стояла у дверей, опершись спиной о косяк, внимательно рассматривала браслет на смуглом запястье. Вдруг ее брови взметнулись вверх, она резко оттолкнулась от косяка и, тряся грудями, подошла к сватам. Собака вскочила и, жалко скуля, побежала прочь. Девушка схватила узелок муллы Данияра и швырнула его вслед черной собаке. Лепешки и сладости посыпались на землю. Собака на мгновение остановилась, взглянула на валявшееся в пыли добро, но не дотронулась, стремглав выбежала со двора, прижав между ног обрубок хвоста...

— Боже милостивый, покарай ее, — взмолился Мустафа. — Собака, и та поняла человека, но эта девица ничего не поняла, собаке совестно стало, а ей хоть бы хны... Покарай же ее, господь!

Дочь Тилло еще пять лет просидела в родительском доме — не нашлось больше охотников на нее. Не только свои, но даже из тех одиннадцати кишлаков вокруг Гала-

тепе никто не пришел ее сватать. Но она все же добилась своего. Поехала в город учиться, в городе нашла себе ученого мужа. Кроме отца и матери, никто из галатепинцев не поехал на ее свадьбу...

Вернулись сваты домой подавленными. Мулла Данияр позвал к себе Усмана, который с нетерпением ждал их возвращения, и сказал:

— Выкинь эту дурь из головы, сынок, лучше на всю жизнь остаться холостяком, чем жениться на таком скорпионе...

Усман все понял и молча вышел из дома с опущенной головой. Мустафа тоже было хотел последовать за племянником, но мулла остановил его:

— Вы, Мустафа, чуть погодите, хочу вам сказать напоследок несколько слов.

Мустафа остался. И тогда мулла Данияр обратился к Мустафе со следующими словами:

— Запомните, Мустафа, раз женщины так сильно потянулись к благодати знаний, то пришел мужчинам конец, они уже выродились, не смогут больше влиять на женщин и не смогут больше прокормить их своим трудом. Еще ан-Наззам об этом говорил. Никто не отнимет знаний у человечества, но ученые исчезнут. А когда не останется больше ученых, хороводить будут глупцы. Заблуждаясь сами, они еще потянут за собой других... Живите, Мустафа, пока есть на земле умные люди...

В тот памятный вечер не слышно было песен Усмана. Люди напрасно ждали до поздней молитвы — они уже привыкли к его песням, и без них странно тихими и пустынными показались улицы Галатепе. Усман больше не пел. До глубокой ночи сидел он на обратном склоне Коровьей вершины и только потом, когда уже погасли все огни, озираясь как вор, вернулся по глухим оврагам домой. Вернулся и лег в постель. Но заснуть не смог, снова встал, вышел из дома, обошел весь кишлак, все его улицы и закоулки, словно собирался навсегда их покинуть, прошел и мимо голубых, ставших еще неприступнее, ворот счетовода Тилло. Только под утро воротился обратно и пошел прямо к новому дому в глубине сада, куда думал привести свою будущую жену. Дом освещала луна, окна и двери пахли и блестели свежими красками, и весь он, белый, нарядный, казался мертвым и никому не нужным. Усман еще утром выровнял последнюю яму у стены, откуда брали глину. Теперь здесь валялся тяжелый кетмень, тускло поблескивая нато-

ченным лезвием. Усман схватил кетмень и что было сил ударил им по стене дома. Стук разбудил собаку, и она тревожно заскулила. Заревел осел на задворье. Залились лаем другие собаки, затрубили другие ослы... Усман зло отшвырнул кетмень в сторону, принес из угла сада охапку сена и, разбросав по полу дома, чиркнул спичкой...

Одним словом, не повезло парню. После того как он в сердцах спалил новый дом, отец и мачеха прекратили с ним всякие отношения. Некоторое время он ночевал у старшего брата Расула. Тогда и запил в первый раз. Потом, крепко повздорив с Низамбаем, целый год проболтался где-то под Бухарой, то ли в Кермене, то ли в Учкудуке, говорят, обжигал там кирпичи. Вернулся оттуда и снова запил... Старший брат, стыдясь людей, построил для него маленькую лачугу под Коровьей вершиной, подальше от кишлака, чтобы Усман, живя там, не мозолил глаза. Но Усмана это не устроило. Уж если жить отшельником, так лучше всего в какой-нибудь пещере, сказал он и ушел в горы. Но долго не смог жить отшельником, вернулся снова в кишлак, однако не в расуловскую лачугу, а к Мустафе.

— Вот пришел теперь к вам, дядя, может, приютите до зимы?

Мустафа приютил, и стало их в доме три человека, как-никак поуютней зажилось, поживей... Но и здесь Усман не сразу выправился. Снова запил. В кишлаке живет — пьет, в город отправится — и там пьет, дерется, в милицию попадает... Только два года, как Усман немного остепенился. Целый год совсем крепко держался, не пил... Подсобил Мустафе по хозяйству, потом все же пошел к Камалу Раису просить какую-нибудь работу. Камал Раис ему не поверил:

— Ты опять запьешь, Усман, верить тебе нельзя. И, пожалуйста, без клятв, для пьяниц клятвы не существует...

— Это для шлюх и воров клятвы не существует, — ответил Усман. — А ты мне дай ферму и увидишь, как через год я увеличу твое поголовье в два раза.

— Не мое поголовье, а скота, — поправил Камал Раис. — Нет, Усман, все же тебе нельзя верить. Учетчиком еще куда ни шло, а ты вон куда замахнулся, в завфермой метишь!.. Нет, брат, так не пойдет!..

— Да я бы рад и учетчиком, — сказал Усман, — но не люблю считать. Скучное это дело, Раис, ты бы меня лучше завфермой...

— Запьешь ты, Усман, — третий раз повторил Камал Раис. — Нельзя тебе верить.

— А как же тогда быть? — спросил Усман. — Я же целый год не пью. Ты мне хоть раз в жизни поверь, Раис, пойми, мне очень нужно, чтоб ты мне поверил, ведь я погибну, если мне не будут верить!..

Камал Раис немного смягчился.

— Ладно, приходи через день, — сказал он. — Может, суну тебя телятником к Мирзаеву. А про учетчика ты позабудь, это я так, для слова сказал..

— Иди ты к черту! — разозлился Усман. — Я к тебе как к человеку, а ты мне что предлагаешь, разве я баба, с телятами возиться. Уж лучше бы ты мне жабу какую дал, и то бы охотнее проглотил! Дай мне другую работу, пускай самую черную, но чтобы я чувствовал себя мужчиной!..

Не поладили они тогда с Камалом Раисом. Тот наотрез отказался дать Усману другую работу. Усман от злости снова запил на целых три дня. Огородился в комнате бутылками крепкого мусалласа и пил, никого к себе не пуская..

Потом все же не выдержал, опять пошел к Камалу Раису. К тому времени оба они немного отошли, и Камал Раис без лишних разговоров зачислил Усмана телятником. Так и тянет Усман по сей день, платят неплохо, работа вроде пустяковая. Утром напоит телят сывороткой из сепаратора, в полдень — опять сывороткой, вечером еще какой-нибудь бурдой, и иди себе домой. Одно хорошо, что есть у него какая-никакая работа. Правда, не для мужчины, но все же работа. Другое плохо: не может он до сих пор забыть дочь счетовода. У той уже дети взрослые, и сама она (Мустафа изредка видит ее, когда она приезжает с мужем в гости к родителям) стала совсем другой, располнела, расползлась вширь, вроде бы не на что поглядеть. Но что поделаешь? Любовь зла, чужая душа потемки, а человек все видит так, как сам того желает. И вот Усман никак не может ее забыть, увидит — и сам не свой становится.

Многое хочется сказать Усману... Усадить его перед собой и сказать примерно так: «Эй ты, человек, сын человека, вроде бы вовсе и не дурак, так зачем же зря себя мучаешь? И вообще, стоит ли из-за одной вздорной бабы терпеть столько позора? И стоит ли она твоих

страданий? Свет на ней клином не сошелся!.. Присмотри себе другую и женись. Только на девушек не заглядывайся. Время твое уже прошло, ты уж не молод и, будь у тебя хоть помет золотой, девушек ты не прельстишь. Но ты не отчаивайся. Вон сколько разведенных женщин вокруг — выбирай любую, а не хочешь иметь дело с разведенными, посватайся к вдовушке, есть и такие. Кому ты, собственно, мстишь? Времена Фархада и Меджнуна давно миновали. Кто сейчас бьется головой о камни из-за женщин? То были другие женщины, они стояли того, чтобы царевичи гибли из-за них! Но ты-то не царевич, Усман, ты всего-навсего сын Пиримкула Скрыги, сборщика земельных налогов, ты только племянник Мустафы, обычного человека, и та твоя избранница не была царевной. Назло клопам постели не сжигают! Не позорь себя, Усман, будь человеком!..»

К сожалению, все это надо не говорить, а кричать. Иначе Усман не услышит. Многие учили Усмана уму-разуму, многое вдалбливали ему в голову, вот и стал теперь Усман глуховатым, не сразу понимает, что ему говорят. Надо или криком кричать, или плакать. А Мустафа человек робкий, кричать он не умеет, и плакать ему как-то непривычно... Даже те слова, что он хочет высказать своему племяннику, произносит только про себя или совсем тихо и смущенно. Никого у Усмана не осталось, кроме Мустафы. Родители, те давно уже от него отказались, даже видеть не хотят. И у Мустафы никого, кроме Усмана, нет. Зачем же ему такие горькие слова говорить? Зачем терзать душу? Думает об этом Мустафа и молчит. Молчит и горюет про себя. А старуха Гульсара все пристает да пристает: поговорите, мол, с Усманом, скажите ему, пускай больше не пьет. Ладно бы говорила она это просто так, как чужие люди, но нет, говорит, а сама плачет — душа у бедной старушки болит за Усмана. В такие минуты весь мир чернеет перед глазами Мустафы. И он утешает старушку: «Не убивайся, Гульсара, что я могу ему сказать, авось вразумит и его господь бог».

Вскоре после того злополучного случая с могильной плитой Усман три дня не ночевал дома. Мустафа только через других узнал, что засел он в каморке базарного сторожа и режется в карты. Все три дня старики держали его долю в казане, вдруг образумится, придет, поест. Мустафа эти дни ходил сам не свой, ни к какой работе притронуться не мог, то выйдет из ворот, посмотрит

в сторону базара, то опять вернется и возьмет в руки шило, но делать ничего не может — муторно на душе. Вдобавок ко всему истерзали его причитания Гульсары, все плачет старуха да плачет, клянет себя, свою судьбу, клянет Саломат, мачеху Усмана. Почему они, женщины, не сумели приглядеть за Усманом, это только из-за них он пропадает... Не вытерпел Мустафа, отправил сына Камиля Письмоноши за Усманом. Слава богу, Усман не пренебрег просьбой старика, пришел домой после полудня, голодный и невыспавшийся. Пришел, сел...

— Я тебя звал, Усманбай... — промолвил Мустафа.

— Говорите, дядя...

Сказал «говорите», а сам не смеет взглянуть в глаза Мустафе. Жалко стало старику парня. «Пугливый какой стал, — подумал Мустафа, — видно, от упреков, вот даже в глаза мне смотреть не может». Так и просидели они минут пять молча. Наконец Мустафа сказал:

— Может, деньги тебе нужны, Усманбай, ты скажи...

Усман очень устал. Он кинул носом, но тут же очнулся, как от испуга.

— Деньги нужны, — пробормотал он. — Сто рублей мне нужно. Проигрался я в карты, дядя, не повезло мне сегодня. Вчера выиграл триста, а сегодня опять все спустил до копейки...

— Кто же обыграл тебя?

— Мясник... Бако...

— Зачем ему деньги? — удивился Мустафа. — У него и так их девать некуда.

— Деньги нужны всем, старик, — объяснил Усман. — Но мир этот так несправедливо устроен. Деньги идут к тому, у кого их много. Странно как-то, у него денег полным-полно, просто преют они под подушками, а у тебя ни шиша, и ты все равно проигрываешь...

— А ты не играй в карты, тогда и проигрывать не будешь.

— А что мне еще делать, дядя? — удивился Усман. Мустафу вопрос парня поставил в тупик.

— Поменьше играй, — сказал он немного погодя.

— Ладно, — неожиданно согласился Усман. — Завтра же брошу, дядя. Но мне сегодня надо выиграть хоть сто рублей. Мне уже осточертело проигрывать, дядя, поймите, противно так все время проигрывать!..

Усман опять ушел играть в карты. Выиграть сто рублей ему не удалось. Вернулся он домой расстроенный и весь по горло в долгах. Назавтра Мустафа погнал двух

баранов на базар. Усман стоял в стороне, пока дядя продавал своих гиссарских баранов, потом взял деньги и отнес их мяснику Бако. Домой они возвратились вдвоем. По дороге ни он, ни Мустафа не проронили ни слова. Обоим было стыдно и неудобно. Мустафа ехал впереди на своем сером осле, Усман — пешком в кирзовых сапогах плелся сзади, отставая все больше и больше.

На полпути, проезжая мимо ворот Назара Махдума, Мустафа немного придержал своего осла и стал ждать, пока подойдет Усман. «Скажу ему, — твердо решил Мустафа, — пускай только подойдет, скажу ему так: сынок, ты только больше не уходи от нас, денег я тебе дам, не хватит денег, вон, в земле лежат эмирские золотые, достань их, трать сколько хочешь. Все, что мое, — то твое, Усман, бери все и женись, а мы со старушкой будем нянчить твоих детей... Ты все у меня забери, Усман, и пускай мне выколют глаза, если я хоть словом тебя упрекну!»

Усман поравнялся с дядей, остановился и посмотрел на него рассеянным, бесконечно усталым взглядом. Но Мустафа ничего ему не сказал, оробел, из головы вылетели все слова... Усман с минуту постоял перед ним, затем резко повернулся и зашагал прочь от дороги к тропинке, что ведет по пустырю в сад старика Хуччи. Но все же не решился далеко уйти, на полдороге обернулся и увидел дядю посреди дороги, по-прежнему косо сидевшего в седле серого осла. Усман опять вернулся и стал перед дядей, растерянный, несчастный. Мустафа смутился и суетливо ударил осла по шее:

— Хых, хых!..

Но голос его прозвучал так слабо, что хитрый осел даже и не подумал сдвинуться с места. Мустафа острым концом палки ткнул его в самый круп. Осел отчаянно припал на левый бок, потом выправился и побежал рысцой... Усман двинулся за ним. «Чем виновато это бедное животное, — подумал Мустафа. — Он же не виноват, что у нас все так нескладно получается...»

Наконец они вернулись домой. Мустафа снял с седла полный хурджун с покупками, и старуха повела осла к привязи. Мустафа вынул из хурджуна покупки: изюм, халву, килограмм зеленого чая, отрез ситца для старухи, а хурджун с оставшейся зеленью и овощами бросил под супу.

— Перец вот забыли купить, Усман, — сказал он. — У

меня ума совсем почти не осталось, ты хоть напомнил бы...

— А у меня ума вообще нет, — ответил Усман.

Мустафа засуетился. Подумал, вдруг войдет сейчас Гульсара и совсем некстати затянет свою вечную песню...

Так оно и случилось. Старушка вернулась с подворья, куда отводила осла, присела на край супы и спросила.

— Сколько дали за баранов, Усманджан?

«Дура! — подумал Мустафа. — Усману и без тебя тошно, а ты к нему с такими вопросами лезешь!» Ему захотелось выбежать со двора. Лишь бы никого не видеть: ни старухи, ни Усмана, ни самого себя... Выбежать со двора и уйти куда глаза глядят... Перемахнуть перевал, добраться до Сарсана, а там еще дальше в горы уйти, заблудиться, забыться...

— Ты пока раскрывай дастархан, — сказала старуха. — Я пойду за чаем...

А сама никак не уходит, смотрит не спуская глаз на Усмана, жаль ей его, не хочется одного оставлять... И с глупого языка опять срываются слова, которых не надо было бы говорить:

— Устал ты, поди, Усманджан, вон как осунулся весь... Рано поднялся на базар.

Усман молчит.

— Рыжий баран-то был поплотнее, — говорит тем временем старуха. — За него-то вам хоть получше заплатили?

Усман опять молчит.

— Иди, принеси нам чай, Гульсара, — не вытерпел Мустафа, — больно много ты стала говорить. Принеси нам лучше чаю. Страсть как пить хочется!

Старушка ушла. Мустафа со страхом понял, что опять один на один остался с Усманом.

— И ты иди, Усманбай, — сказал он. — Иди переоденься, грязный какой-то весь ходишь, доброму мусульманину стыдно с тобой рядом сидеть...

Усман удивленно посмотрел на старика. Ему показалось странным услышать такие слова от дяди. Но возражать он не стал, поднялся с супы и, волоча пыльные кирзовые сапоги, направился в дом.

Мустафа еле дождался, пока Усман исчез за дверью, потом поспешно надел кауши и вышел со двора...

...Спустившись к пруду Ибодулло Махсума, Мустафа сел в тени старых талов, снял с левой ноги кауш, высыпал попавшие туда зернышки ячменя в воду. Пожелтевшая от таловых листьев вода в пруду вдруг ожила, пошла кругами от бесчисленных прыжков маленьких рыбок, собравшихся под зернышками. Через минуту поверхность воды была уже чистой. Мустафа и из правого кауша высыпал зернышки ячменя, но не стал смотреть, как их начнут делить рыбки, обулся и пошел в другую сторону пруда. У арчовых ворот он увидел Ибодулло Махсума, сидевшего с грустным видом на лавочке. Старики поздоровались, потом Ибодулло Махсум сказал:

— А почтенный Хуччи продал своего скакуна. Дешево продал, как воду... Понимаете, всего за тысячу рублей продал! Я сам хотел купить, да не было денег. А хоть бы и были, все равно не купил бы за тысячу рублей, это ведь так дешево... Мне было бы стыдно перед Хуччи. А теперь новый хозяин меньше чем за полторы не отдаст.

— Тогда почему же продал за тысячу? — спросил Мустафа.

— Это почтенный Хуччи продал за тысячу, — сказал Ибодулло Махсум. — Теперь он уже не хозяин своему коню. Купил-то его кто, вы знаете? Салим, да-да, этот самый Салим Разбойник! А теперь он меньше чем за полторы не отдаст. Вы, Мустафа, знаете цену хорошему коню, скажите, сколько бы вы отдали за коня почтенного Хуччи?

— Я в конях совсем не разбираюсь, — ответил Мустафа. — Но конь у него вроде был неплохой... Тысячи на две бы потянул...

— Вот. А он за одну тысячу продал, Мустафа. Да что толку говорить!..

Ибодулло Махсум встал.

— Идемте, — сказал он Мустафе. — Идемте со мной, посмотрите.

Мустафа послушно пошел за ним. Они вошли во двор Ибодулло Махсума. Но хозяин не пошел к своему дому, а свернул налево, к хлеву. Заглянув в хлев, Мустафа увидел на земле каменных баб, какие-то вытесанные из камня головы.

— Вот, смотрите!.. — сказал Ибодулло Махсум.

— Да, видно, такая уж работа у вашего сына. — Мустафа подумал, будто Ибодулло Махсум жалуется на

своего сына, каменотеса, который недавно опять переехал жить в город. — Что поделаешь, раз у него такая работа...

— Нет-нет, вы туда посмотрите, Мустафа!.. — показал Ибодулло Махсум в глубь хлева.

Мустафа посмотрел и увидел огромного белого осла.

— Вот, — сказал Ибодулло Махсум.

Они снова вышли со двора.

— Все это бабьи козни, Мустафа, — сказал Ибодулло Махсум. — А так у меня есть свой осел, вы видели, черный, с такими отвислыми ушами, как у Турабая. Но я не мог отказаться и от этого белого. А знаете, как все получилось? Когда почтенный Хуччи продал своего коня, он купил двух белых ослов. Сам-то почтенный Хуччи не слушается баб, но у него есть сын, Иргаш, учитель, ясно, это он пошел у них на поводу. Я знаю, они давно надоедали почтенному Хуччи своими требованиями, продай коня да продай, зачем тебе на старости лет конь, упадешь и разобьешься, смотри, какой он у тебя резвый... Ну что из этого, что резвый, какой же это конь, если не резвый? Эх, Мустафа, я бы на его месте ни за что не продал. Теперь ему трудно придется. Салим Разбойник будет ездить мимо его ворот на его же коне, а почтенному Хуччи остается только смотреть... — Ибодулло Махсум сел на лавочку. — Да, вот продал он своего коня и купил двух ослов, — сокрушенно продолжал Ибодулло Махсум. — Оба осла белые, пускай у нас с тобой будут одинаковые ослы, говорит, по свадьбам будем вместе разъезжать. Будь моя воля, я завел бы этих ослов в дом самого Иргаша, сына почтенного Хуччи, пусть бы там постояли с недельку, быстро бы он понял, каково вынуждать отца продавать коня. Что вы на это скажете, Мустафа, ведь я правильно говорю?

Ибодулло Махсум с надеждой посмотрел на Мустафу. Но тот молчал, не знал, что ответить.

— А я все равно откуплю у Салима Разбойника этого коня, — сказал Ибодулло Махсум. — Душу свою заложу, а коня откуплю. Без коня почтенный Хуччи совсем зачахнет, трудно ему придется, Мустафа.

Ибодулло Махсум вынул из кармана халата маленькую тыквинку с насваем, высыпал щепотку на ладонь и бросил под язык. Остатки насвая на ладони смел кисточкой из козлиного хвостика, укрепленной в затычке. Но и насвай, кажется, не отвлек его от горестных мыслей, он быстро выплюнул его из-под языка и продолжал

молча сидеть, низко опустив голову. Мустафа топтался рядом, ожидая, когда он заговорит.

— Ладно, я, пожалуй, пойду, — сказал Мустафа немного погодя.

— У меня на душе кошки скребут, а вы уходите, — сказал Ибодулло Махсум, не поднимая головы. — Могли бы немного и посидеть...

Мустафе все равно было некуда идти. Он легко согласился, присел рядом на лавочку. Оба долго молчали. На холме показался Усман. Он медленно спускался к пруду Ибодулло Махсума, ведя на поводке бычка.

Усман напоил бычка и пошел обратно по тропинке. Ибодулло Махсум некоторое время следил за ним, затем обернулся к Мустафе:

— А Усман-то как похудел, что твой цыган в долгую зиму, просто страшно смотреть на человека. Могли бы вы хоть получше о нем позаботиться? Я бы на его месте сжег за это ваш дом. И не только дом, еще и сад бы спалил.

— Сад не сгорит, Махсум, — тихо возразил Мустафа, — там всего-то несколько яблонь, да и те очень редко посажены, не будут они гореть.

Ибодулло Махсума такой ответ очень обидел.

— Что вы заладили: будут не будут. Сбросить бы мне годков двадцать, я бы и воду поджег. Почему вы думаете, что ваш сад не будет гореть?

— Так ведь трудно же, Махсум, — сказал Мустафа, словно оправдываясь. — Это же не сухие дрова, думаю, сразу не загорятся.

— Если надо, загорятся, — сказал Ибодулло Махсум. — Вы мне не возражайте, Мустафа, мне и без того муторно.

— Да я и не возражаю, Махсум, — сказал Мустафа. — Но вы зря говорите, будто я об Усмани не забочусь. Быть мне последним псом, если я перестану о нем заботиться! — Мустафа сказал это так резко, что даже сам смутился. — Он ведь у меня словно сын, Махсум, — продолжал Мустафа уже более спокойно. — Видит бог, я душу свою не пожалею ради Усмана. Только вот старуха моя не всегда умеет умно сказать, иногда такое ляпнет.

— Старухи все дуры, — подытожил Ибодулло Махсум. — Вы мне о них лучше не говорите, Мустафа. Все они круглые дуры, что у вас, что у почтенного Хуччи, что у меня — все до единой дуры.

— Усман парень неплохой, жаль только, иногда выпивает.

— А вы его заставьте пни корчевать, — посоветовал Ибодулло Махсум. — Мой покойный отец частенько меня так наказывал, когда я приходил домой навеселе.

— Да неужели, Махсум!.. — удивился Мустафа. — Я никогда не слышал, что вы пили.

— Было и такое, — скромно признался Ибодулло Махсум. — Известное дело, молодость, Мустафа, даже сам наш господь бог не сразу познал себя. Вы предложите Усману пни покорчевать, здорово помогает!

— Как я могу ему такое предложить? — смутился Мустафа.

— Да будьте вы хоть раз мужчиной, Мустафа!.. — Ибодулло Махсум не на шутку рассердился. — До чего же вы добренький, даже тошно делается... Чего вы стесняетесь? Заставьте, и пускай корчует, пока не свалится от усталости. Вот и пить меньше будет!

— Теперь он вроде совсем мало пьет... — сказал Мустафа.

— Тогда какого черта вы на него жалуетесь? — вспылл Ибодулло Махсум. — Бросьте вы свое нытье. Все, кому не лень, ездят на вас, как на безропотном осле. Скажите, Мустафа, вы хоть раз в жизни от души выругались?

— Да нет, Махсум, не приходилось... — засмутился Мустафа.

— Тогда уходите, Мустафа, — сказал Ибодулло Махсум. — Уходите. Мне что-то не хочется с вами больше разговаривать.

Мустафа покорно встал.

У ворот ему встретилась Гульсара с лопаткой в руках.

— За водой пошла, клевер полить, — весело сообщила она. — А Усманджан дрова колет. — Она вдруг понизила голос, словно собиралась открыть древнюю тайну: — Сам вызвался. Я не стала перечить, так-то все же лучше, чем слоняться без дела...

Мустафе не понравилась веселость старушки, но он промолчал.

— Пускай он займется полезным делом, — сказала она. — А то ходит проигрывает ваши деньги. — И, исполненная сознанием полезности дела, гордо вскинула голову.

Мустафа не выдержал.

— Да пускай он хоть меня самого проиграет! — неожиданно вскричал он.

Старушка опешила, даже выронила лопатку и ошале-ло уставилась на мужа, словно не узнавая его.

— Не будь же такой дурой, Гульсара, — продолжал Мустафа. — Не перегибай палку. Нельзя относиться к нему так безбожно. Ладно, иди уж, пусти воду.

Старушка Гульсара подняла лопатку и зашагала вверх, к эмирскому арыку.

Во дворе Мустафа увидел, как Усман пилит большой ножовкой таловые бревна. Сидит на сложенном вчетверо старом коврике под стеной кошары, рядом топор, и отпиливает от бревна коротенькие поленца. Силы парню не занимать, ножовка не выдерживает его усердия, гнется, застревает в бревне. Усману явно не по себе. Он пыхтит, чертыхается, сидит красный от прилившей к лицу крови, но ножовку не бросает...

Мустафе не хочется ему мешать, он осторожными шагами идет к хлеву, отводит от стены тачку. Через несколько минут, уже с нагруженной до краев тачкой, Мустафа стоит за воротами возле злополучной навозной кучи, под которой зарыты золотые эмирские монеты. «Вот возьму и раскопаю их сейчас, будь они прокляты, — со злостью думает Мустафа, — раскопаю и уничтожу... Нет, закопаю их к черту! — мелькает мысль, и Мустафа неожиданно улыбается: — Какая чушь. Ведь они и так закопанные лежат!..»

Старушка Гульсара вернулась с эмирского арыка и вслед за Мустафой вошла во двор. Но Мустафа даже не обернулся в ее сторону, внимание его привлекло куриное перо на колесике тачки, забавно было смотреть, как оно с каждым оборотом колеса возвращается на старое место. Мустафа и не заметил, как очутился в другом конце двора. Когда колесо тачки заехало в маленький арык, Мустафа спохватился. Ему показалось, что старушка неотрывно следит за ним. Он поборол искушение обернуться, как ни в чем не бывало вытащил тачку и принялся расчищать арычок от набившегося туда мусора и кусочков засохшего дерна. Освободив путь для воды к клеверному полю, Мустафа покатил тачку обратно к хлеву, прислонил ее к стене и украдкой посмотрел в сторону кошары. Под низкой стеной кошары лежали аккуратно сложенные с десятков круглых болванок. Усма-

на во дворе уже не было. Мустафа выпрямился, вздохнул и пошел в дом сменить одежду.

— А куда Усман делся? — спросил он у жены, принимая из ее рук свой старый чекмень.

— Ушел, — ответила Гульсара, — за кетменем, говорит, пойду.

— А где наш кетмень? — удивился Мустафа.

— Говорит, такой ему не годится, очень легкий он для мужчины.

— Вот это уже хорошо, Гульсара. — Мустафа улыбнулся. — Хорошо, если он почувствовал себя мужчиной... А мой-то кетмень тоже не из легких. Слава богу, уже два года обрабатываю им землю. Кетмень у меня хороший, Гульсара.

— Вы уже пожилой человек, он молодой, — сказала старушка. — Ему нужен кетмень потяжелее.

— Ты правильно говоришь, Гульсара.

— Вы бы сперва хоть чаю попили, с утра ведь ни крошки во рту не держали.

— Чай потом, Гульсара, — сказал Мустафа. — Интересно, какой участок он собрался обрабатывать? Неужели клеверный? Клевер-то у нас еще совсем молодой, только три года, как засеяли.

— Нет, сказал, кукурузный.

— Тогда другое дело, если кукурузный, — сказал Мустафа. — Но мне все равно надо пойти.

Надев свой чекмень, Мустафа вышел из дома, взял кетмень и принялся обрабатывать кусочек земли под кукурузу. Земля была податливой, ее нетрудно было взрыхлять. Не прошло и пяти минут, как появился Усман с тяжелым, килограммов в пять, кетменем, который он взял у Ибодулло Махсума, и занял место рядом с Мустафой.

— Вы идите, дядя, — сказал он. — Один справлюсь.

— Я тебе не помешаю, Усман, — сказал Мустафа. — Ты будешь работать, а я буду следить, чтобы земля ложилась ровно.

Усман ничего не ответил. Он сел на межу, снял тяжелые кирзовые сапоги, закатал штанины до колен. Обнажились белые, как у больного, ноги. Кажется, это его смутило. Он поднял комочек сухой глины и начал его растирать. Буря земля потекла сквозь пальцы мелкими струйками к ногам, но белизну не скрыла. Усман чуть покраснел и воровато оглянулся на Мустафу. Вдруг он резко вскочил, взял в руки кетмень.

— Не путайтесь под ногами, старик! Уходите домой, пока вас не обидели!..

Мустафа, волоча за собой кетмень, отошел на несколько шагов в сторону. Усман босыми ногами ступил на землю, поднял над головой кетмень и что было сил ударил... Кетмень вошел в землю до самого черенка. Усман легко бросил под ноги вывернутую землю. Работал он нервно, рывками и даже не заметил, как выросла целая горка земли. Мустафа неодобрительно следил за его работой и, как только Усман отодвинулся, подошел к горке и выровнял ее. Усман, поглощенный своей работой, даже не посмотрел в его сторону. Мустафа чуть осмелел, ударил тыльной стороной кетменя о твердую межу, проверил, крепко ли держится черенок, и взялся за дело. Но теперь Усман заметил его вторжение, поднял голову и прохрипел сквозь зубы:

— Уходите, дядя, уходите, худо вам будет!..

Пока Мустафа соображал, как бы покладнее возразить, к его радости, из дома вышла Гульсара с прялкой в руке и направилась в их сторону.

— Эй, Гульсара! — крикнул Мустафа. — Принеси нам воды!..

Усман еще какое-то время сердито смотрел на дядю, потом махнул рукой и снова взялся за кетмень. Больше он уже не цеплялся к Мустафе. Пришла старушка с кувшином воды.

— Пора бы уж тебе жениться, Усманджан, — сказала она, присаживаясь на меже. — Вон как ладно работаешь, можешь две семьи прокормить!

Усман действительно работал с увлечением. Но, услышав слова Гульсары, резко обернулся и сказал, не скрывая раздражения:

— Хватит ворчать, слушать тошно.

— Нет, не хватит, — вдруг заявила старуха с несвойственной ей смелостью. — Что, так и будешь ходить бобылем до судного дня? Должен же ты жениться!

— Хватит, я сказал!.. — Усман отложил кетмень. — Я женюсь лишь на том свете, и то после судного дня! Ясно? Или повторить еще раз?

Старушка надулась. Нижняя ее губа отвисла от обиды. Мустафа стал беспомощно озираться по сторонам, не зная, кого из них осадить, жену или Усмана.

— Сидела бы себе лучше дома, Гульсара. — Мустафа решил Усмана не трогать. — Иди свари нам похлебку.

Гульсара ушла, шмыгнув носом, — сильно обиделась.
— Ты не сердись на нее, Усман, — сказал Мустафа.
— На, бери свой кетмень.

Вдвоем они опять взялись за работу и быстро, в какие-нибудь полчаса, разрыхлили почти весь участок. Присели на межу передохнуть.

— Дайте-ка, дядя, ваш платок... — попросил Усман.

Мустафа снял с пояса свой шелковый платок, передал Усману.

— Почему вы меня избегаете, дядя? — спросил Усман, вытирая со лба пот. — Я же не прокаженный какой. Или вы меня боитесь?

— Обидеть тебя боюсь, Усманбай, — признался Мустафа.

— Обидеть меня невозможно, — сказал Усман. — Я же веселый человек.

— Вот что, Усманбай... — начал Мустафа. — Ты у меня один-единственный, и за сына, и за дочь...

— Я не баба, дядя, — перебил его Усман.

— Ты не возражай, Усманбай, я это так, к примеру, — сказал Мустафа. — Старуха права, тебе надо жениться, хватит в холостяках ходить.

— Нет, дядя, я сперва съезжу на Сырдарью, — сказал Усман. — Попробую на бахче потрудиться, выплачу все долги... И вам долг верну... Если уж опять сорвусь, то останется мне только тюрьма, там хоть кормят бесплатно.

— Ну зачем, зачем же ты меня унижаешь, Усман? — Мустафе вдруг стало страшно обидно. — Разве я тебе говорил о каком-нибудь долге? Не обижай так меня, я тебе не враг! Почему ты без конца твердишь о своей Сырдарье? Неужто не найдешь кусок хлеба здесь, на родной земле?

Усман метнул на дядю быстрый взгляд. Слова Мустафы, кажется, подействовали на него, и он чуть смягчился.

— Хорошо, дядя, я останусь здесь, — согласился он. — Наверное, мне придется жениться на бывшей жене Юльдаша.

— Нет-нет, она не годится, — испугался Мустафа. — О ней всякое говорят, я не хочу ее судить, но она тебе не будет хорошей женой, Усман. Ты сам, наверное, слышал, что о ней болтают?

— Ну и пусть болтают! Ведь мы с ней как раз друг другу под стать. Какое запястье, такой и браслет!..

Усману самому понравилось это сравнение, и он громко расхохотался.

— А баба она мировая, дядя!.. — продолжал Усман. — Я ее видел в позапрошлом году, на выборах. Вот стерва! Сказала, будто я не имею права избирать! Ну и я соответственно: мол, уже три года, как не обжигаю кирпичи и имею право не только избирать, но и жениться. А она мне, будто в ответ, бедрами так и виляет. Смеется, чертовка, и с томненьким таким видом спрашивает: «А на ком это вы, миленький, жениться собираетесь, не на чужой ли?»

— И ты сказал, что на ней женишься? — с опаской спросил Мустафа.

— Нет, дядя, я не дурак. Я вообще стараюсь о бабах поменьше думать. Тогда я немножко выпивши был, но не сказал, что на ней женюсь.

— Она тебе не пара, Усман,

— А подыгрывать она умеет. Лихая бабенка!

— Она стыд потеряла, — сказал Мустафа. — Ты себе лучше другую найди, Усманбай. Потом мне скажи, мы с Махсумом сходим посватаем. А эта тебе не годится.

— На водяного ужа похожа!..

— Вот-вот, у нее очень холодное лицо, — подтвердил Мустафа.

— Нет, дядя, я не об этом, лицо у нее даже очень теплое, — сказал Усман. — Скользящая она, дядя, понимаете, скользкая, как водяной уж! Никакими руками ее не удержать — ускользнет!

— А у тебя есть кто на примете? — серьезно спросил Мустафа.

— Не будьте глупым, дядя! — грубо оборвал его Усман. И даже изменился от злости в лице. — Нет такой женщины, которая за меня бы пошла, разве что только самому родить!..

Усман резко встал и снова принялся за работу, но без прежней охоты. Сделав несколько ударов, он выпрямился и бросил кетмень.

— Не по мне все это, дядя. Не умею я быть порядочным, меня мутить начинает!..

Усман сел на межу, надел сапоги. Выражение лица его не предвещало ничего хорошего. Мустафа испугался, а вдруг Усман опять что-нибудь вытворит...

— Не могу я быть другим, дядя, — сказал Усман. — Лучше уж пойду своей дорогой.

— Куда же ты пойдешь?

— Куда-нибудь, где можно поспокойней сдохнуть, выпью напоследок граммов пятьсот.

— Ты только сейчас совсем другим был, Усманбай, — с укором сказал Мустафа. — Нельзя же так, пожалуйста, не дури.

— Нет, дядя, ничего не могу обещать. Вы же знаете — для вора и шлюхи клятвы не существуют!

— Но ты же не вор, Усманбай.

— Тогда я — шлюха, дядя.

— Нет, Усман, не говори так...

— Тогда я — пьяница, это вас устраивает? Не мешайте, дядя, сгинуть человеку. Не поможет!..

Вечером к Мустафе пожаловал милиционер Низамбай. Выглядел он растерянным, все мялся, не зная, как начать. Мустафа сразу понял, что Низамбай пришел из-за Усмана.

— Он что-нибудь натворил, Низамбай? — с тревогой спросил старик.

— Пока еще не успел, — сказал Низамбай. — Вы бы его прибрали к рукам, почтенный Мустафа. Как-никак мы с вами ведь не чужие, еще деды наши дружили. Мне стыдно, если будут болтать, что вот, мол, Низамбай пошел против своего ближнего. Я уже один раз арестовывал Усмана за драку, год он отсидел, мне хватит и того позора.

— Он что, напился, да?

— Нет, и до этого еще не дошло. Да оно, может, и лучше было бы, если б напился, я бы его тогда одним пинком успокоил. Но нет, совсем трезвый был. Опозорил он меня перед всем народом, бороться заставил. А я ведь не городской участковый, я там всяким приемам да самбам не обучен, я, слава богу, свой, галатепинский... Ваш Усман еще молодой, а мне, считайте, под пятьдесят, разве я могу тягаться с таким быком!..

— Бороться, говорите?.. — Мустафа не поверил своим ушам.

— В том-то и дело, что бороться! — сказал Низамбай. — Пускай сам подтвердит, сказал ли я ему хоть одно обидное слово. И ладно бы дома, так нет, прямо на улице, когда я при исполнении служебных обязанностей... Подошел и взял меня за бока!..

— Вот глупый человек! — Мустафа мог только почувствовать Низамбаю. — Сил у него много, не знает, куда их деть.

— И вчера он приходил ко мне, просил его арестовать. Еле выгнал из дома! Ну что из того, что сил много, угодит в тюрьму, будет бесплатно работать. Там направят его силу куда надо.

— Вы уж не арестовывайте его, Низамбай, — взмолился Мустафа. — Я с ним поговорю.

— А! Он сам себе роет яму. — Низамбай махнул рукой. — В Галатепе живет семь тысяч человек. Вы видели, чтобы хоть один из них потешался над милиционером? Над милиционером потешаться нельзя.

— А ваши друзья, они разве не шутят с вами? — с надеждой спросил Мустафа.

— Какой он мне друг, ваш Усман!.. Мне уже под пятьдесят. — Низамбай еще раз напомнил свой возраст. — Ваш Усман мне в сыновья годится, нашел над кем шутить! Вы хоть знаете, сколько дадут за оскорбление милиционера?

Этого Мустафа не знал, но, глядя на рассерженное лицо Низамбая, понял, что дадут много.

— Еще раз такое вытворит, арестую, — пообещал Низамбай. — Так ему и передайте. Если не терпится угодить в тюрьму, пускай едет в город и пристанет к городскому милиционеру. Там-то хорошо знают, что с такими хулиганами делать. А мы разбаловали тут вас. Каждый, кому не лень, ходит на голове!

— Не сердитесь, Низамбай, — сказал Мустафа. — Не обижайтесь на Усмана, я сам с ним поговорю.

— Дело ваше, поговорите или не поговорите. Впрочем, я не уверен, что он вас послушается. Отца своего не слушался, так будет вас, дядю, слушаться!.. А с меня хватит. Если сам не справлюсь, вызову подмогу из города... Вот дурак, еще хвалится, будто спит на одной подушке, а другую оставил там, в тюрьме!..

Мустафе кое-как удалось успокоить Низамбая. Они выпили по пиалушке чая, но от ужина милиционер отказался, обещал сегодня поужинать у Назара Махдума. Мустафа не настаивал, он был даже рад отпустить гостя. Человек суеверный, он хотел поскорей пройти в комнату Усмана и проверить, действительно ли у него всего одна подушка. Проводив Низамбая до ворот, Мустафа поспешил в комнату Усмана и увидел на краю тюфяка одну подушку. Он пошарил под сундуком, среди сложенных одеял, но другой подушки не нашел... Мустафа принес из другой комнаты совершенно новую подушку, положил ее рядом и только тогда немного успокоился...

Усмана ждали до полуночи, но он не пришел. Наконец Гульсара встала и погасила свет. Тихо всхлипывая в темноте, прошла к своей постели и легла. Мустафа при свете еще стеснялся жены, но, едва погас свет, тоже дал волю чувствам и так разволновался, что встал поперек горла какой-то комок, даже дышать стало трудно...

— А все потому, что он нам не родной, — причитала старушка. — Унизил он вас, еще не хватало вам на старости лет с милицией иметь дело!..

— Да я и сам вижу, как мучается парень, — сказал Мустафа. — Люди перестали верить друг другу. Вот и Усман мне не верит. Думает, когда-нибудь да упрекну его в чем... Бог наказал нас, Гульсара, только не знаю за что.

— Да, наказал господь бог, — подтвердила старушка.

Оба они решили, что это кара господня, но жаловаться на бога не посмели — сразу подумалось о смерти, о судном дне. Старушка немного помолчала, но вдруг не выдержала и с плачем обрушилась на Мустафу:

— Вам бы хоть вовремя выгнать меня. Женились бы на другой, может, родила бы она вам ребенка. Горе мне, горе, бог наказал меня, не дал детей. Отпустили бы меня, мучилась бы одна, а так сколько из-за меня вам приходится терпеть горя. Так и покину этот мир, ни разу не покормив ребенка грудью!.. Горе мне, горе!.. Горе несчастной!..

— Не плачь, Гульсара, — сказал Мустафа. — Ты насколько не виновата. Другая бы родила!.. Была же у меня дочь, какое она мне дала счастье? Опозорила меня, втоптала в грязь на старости лет!..

Но старушку уже было трудно унять. Теперь она плакала навзрыд.

— Дочь была единственной вашей опорой. Сколько раз приходила к вам, билась головой о порог, но вы хоть бы раз посмотрели на нее!.. Каменное у вас сердце!

— Не говори мне о ней, — взмолился Мустафа. — Нет у меня никакой дочери. Умерла она. Понимаешь, умерла в тот самый день, когда принесли мне такую весть!..

— Не гневите бога, пусть аллах даст ей пожить, — сказала старушка. — Это шайтан ее спутал, сбилась она с пути. Вы бы простили ее, как-никак ваша дочь, плоть от плоти...

Мустафа вскочил с постели.

— Она же опозорила своего мужа! — почти закричал он. — Разве я вырастил ее для того? И муж оказался хо-

рошей свиньей, не выгнал пинком под зад, живет еще с ней, с такой! Да я бы... А, что говорить! Не было у нас в роду шлюхи, вот и решила наградить нас таким счастьем!.. Хребет мне сломала, из-за нее сколько лет выпрямиться не могу, смотреть людям в глаза стыдно! Тысячу раз пожалел, что родился!..

— Какое несчастье, какое несчастье, — всхлипывала Гульсара. — Ведь больше десяти лет прошло, а вы даже зятя на порог не пустили, он-то в чем виноват? Могли бы хоть его пустить!

— Не могу якшаться со свиньей, — отрезал Мустафа. — Хватит, Гульсара, хватит. Забыл я о ней. Сколько лет не вспоминал и наперед не вспомню.

— Вспомните, — сказала Гульсара. — Не можете вы о ней не вспомнить.

— Ну так вспомню про себя. А слов от меня о ней не услышишь.

Старушка опять принялась оправдывать дочь:

— Она же не сама впустила его. Дверь ведь выломали. Что может слабая женщина, если вломились в дом?

— Могла бы закричать, — сказал Мустафа. — Пришли бы к ней на помощь.

— Боялась опозориться...

— А так не опозорила? — Мустафа был тверд как камень. — Так, по-твоему, меньше позора?

Старушка больше не говорила о дочери. Она знала, Мустафу не сломить. Вот уже больше десяти лет тщетно старается она разжалобить его. Дочь Мустафы почти каждый год приезжает в Галатепе, издалека приезжает, останавливается у чужих, тайно навещает Гульсару, плачет, просит ее, умоляет, только что в ноги ей не кидается: «Попросите отца, попросите, пусть он простит меня...» Гульсаре жалко несчастную женщину, любит она ее как родную, обещает помирить с отцом, хотя знает — не удастся уломать мужа. Мустафа, хоть и мягкий человек, уперся, как буйвол, ничем его не проймешь. Гульсаре иногда даже страшно делается при одной только мысли, что Мустафа вдруг умрет, не простив дочери. Ведь это тяжко: лишиться благословения отца! Кем доволен отец, тем и сам аллах доволен. Не дай бог, если Мустафа умрет, так и не помирившись со своей дочерью. Та уже раскаялась во всем, живет, пришибленная позором. Это раньше она ходила с гордо поднятой головой, веселая, неприступная. Где теперь те времена!.. Похудела, осунулась, стала точно лучинка, в глаза людям не осмеливает-

ся смотреть... Еще четверо детей у нее, и о них думает, бедняга, боится, как бы проклятие отца не коснулось ее детей. Каждый раз молит Гульсару поговорить с отцом. Но что может сделать для нее Гульсара, несчастная старуха, она же не бог, чтобы вложить в сердце Мустафы хоть чуточку жалости. Последнее, что осталось у Мустафы, это его надежда — сделать из Усмана человека, но тот тоже пока не радуется старика — пьянствует, режет в карты. А Мустафа все это терпит — уж чем-чем, а терпением не обделил его господь бог. Тронь Усман хоть пальцем чью-нибудь дочь или жену — тогда все пропало! Тогда уж Мустафа не простит. Лучше умрет, но не простит.

Старики долго не могли сомкнуть глаз. Под утро, когда пропели первые петухи, они услышали, как со скрипом открылась дверь и кто-то вошел в дом. Затем раздались тяжелые шаги, грохнули пустые ведра в передней. Старики затаили дыхание. Гульсара бесшумно встала и, еле отыскав в темноте свои кауши, вышла из комнаты. Мустафа стал прислушиваться, но больше не доносилось ни звука. Минуты через две вернулась жена и легла.

— Не пьяный?.. — тихо спросил Мустафа.

— Плачет, — ответила Гульсара. — Не знаю, пьяный или нет, боязно войти...

— Пускай поплачет, — сказал Мустафа. — Может, полегчает ему, пускай немножко поплачет... Ты завтра дай ему рублей пятьсот, Гульсара.

— Зачем? — спросила старушка. — Он же их мигом пропьет.

— Не пропьет, — сказал Мустафа. — И ничего такого не говори ему. Он сам все поймет.

— Не верю, он их точно пропьет.

— Ну, ты говоришь, точно враг, — рассердился Мустафа. — Пускай он возьмет эти пятьсот рублей и отнесет Ибодулло Махсуму. Надо выкупить коня Хуччи у Салима Разбойника. Если не хватит, еще дам. Махсум прав, жалко такого коня оставлять у Салима. Надо отвести его обратно к хозяину домой.

...Назавтра над Галатепе не взошло солнце. Спустился желтый вонючий туман, да такой плотный, что вытянутую вперед руку нельзя было разглядеть. Люди бродили, словно слепые, пошаривая палками.

Салим Разбойник, сын Мансура, унаследовавший от отца его прозвище, вынес из дома старый отцовский даул, поднялся на Коровью вершину и долго бил по нему палками. Но натянутая на даул кожа уже успела намокнуть, и, сколько ни старался Салим Разбойник, его ударов не то что бог, даже он сам не мог толком слышать. С гор дул холодный ветер. Салим Разбойник замерз на вершине, спустился вниз и бросил со злости свой отяжелевший даул в первый же попавшийся арык. Пороптал на бога, который вздумал наслать им такой вонючий туман в месяце джаузе, прямо накануне саратана...

Люди еще ждали два дня, но туман что-то не собирался рассеиваться. В полдень третьего дня человек десять, в том числе и Мустафа, вышли из Галатепе и направились в соседний Шуркудук. Тут не было никакого тумана, солнце стояло прямо в зените, приятно грело.

— Вот идиоты, — засмеялись соседи. — Чтоб мерзнуть в самый саратан? Кто это придумал такую чушь? Какой может быть туман в это время года? У нас уже третий день не заходит солнце!..

Никогда еще не было случая, чтобы кто-нибудь смеялся над галатепинцами. Галатепинцы знали себе цену. Они быстренько затыкали рты даже тем, кто пытался заговорить о них с улыбкой. На этот раз люди Шуркудука открыто смеялись над ними. Но ни один галатепинец не посмел дать им отпора. У галатепинцев даже не было сил раскрыть рты. Они только что выбрались из плена мерзкого тумана и всё еще стучали зубами. Стояли, словно побитые, нет, еще хуже, словно цыплята, вышедшие из арыка, жалкие и несчастные. Потом, когда немного погрелись, кто-то попытался пригрозить шуркудукцам. Но теперь было уже поздно — в ответ слышали только смех, дружный и гадкий. Никто уже не боялся галатепинцев. Тогда бедные галатепинцы склонили головы в знак полного поражения и стали умолять соседей:

— Не гоните нас, братья, не по своей воле мы к вам, нас выгнал туман, нет ничего хуже этого желтого тумана. Мы готовы быть вашими слугами, не гоните нас обратно...

Один только Мустафа не сдавался.

— Опомнитесь, люди, — говорил он своим галатепинцам. — Что же вы делаете, это же позор для нас! Но его уже никто не слушал. Мустафа один вернулся

в Галатепе, в мрачный туман и темноту. Тут его стали расспрашивать. Мустафа им сказал:

— Мы пришли, а они стали нас по-всякому оскорблять...

— Как?! — в один голос воскликнули галатепинцы. — Как они посмели?

— Не знаю, — ответил Мустафа. — Кажется, они нас несколько не испугались.

До этого дня все галатепинцы были твердо убеждены, что обитатели соседних кишлаков немного побаиваются их, но теперь выходило, что они ошибались. Галатепинцы дали волю своему гневу.

— Люди! Люди-и! — взревел Манзар-палван. — Что вы тут стоите, идемте все за мной! Идемте на соседей! Проучим их наконец, как они смеют потешаться над галатепинцами! Так проучим, что даже их дети забудут, как смеяться при нашем имени!..

И все двинулись за Манзаром-палваном. Конные и пешие, стар и млад, все пошли на соседний кишлак. В кишлаке остались одни старухи и Мамадали, сторож колхозного сада.

— Уходите, все уходите! — запрыгал он от радости. — Все оставляйте мне! И жен своих оставляйте!

Было страшно холодно. Люди оделись по-зимнему, в тулупы и ватники. Кое-кто даже укрылся овчиной. Долго шли люди. Только через три часа выбрались из тумана. Показалось солнце. Оно стояло в зените, на том самом месте, где и должно находиться еще в полдень. Сразу стало жарко. Но никто не снял теплой одежды — все были очень напуганы внезапным холодом. Усталые и потные, они прошли еще один фарсах и уперлись в высокую каменную стену. Люди побрели в разные стороны, но стене не было конца.

— Люди! Галатепинцы! — крикнул Салим Разбойник. — Шуркудукцы оказались подлыми, это они поставили высокую стену. Они боятся нас, братья, еще как боятся, зачем бы им тогда строить такую стену! Давайте все разом навалимся на нее и свернем к чертовой матери!

Но никто не отозвался на его призыв — галатепинцам было достаточно, что шуркудукцы по-прежнему боятся их. Честь их была восстановлена. Люди стали расходиться.

— Куда же вы, братья! — взревел Манзар-палван. — Опять хотите глотать вонючий туман?

Услышав о тумане, все разом остановились. Никому

не хотелось возвращаться в туман. Манзар-палван поставил Нар-палвана и Якуба-козлодера рядом под стеной и взобрался на их плечи. Стена была очень высокой, и он еле сумел ухватиться за ее край. Но тут на стене появилась какая-то бритоголовая женщина и ударила по рукам Манзара-палвана огромной, как чабанский посох, скалкой. Пальцы Манзара-палвана разжались от боли, и он с грохотом упал вниз. Потом на стене появились другие люди, мужчины, женщины, все до единого бритоголовые. Многие были знакомы галатепинцам. Их каждое воскресенье видели в Галатепе на базаре. Но сейчас ни один из них не выдал себя, все держались словно чужие, смеялись над своими соседями. Сторож галатепинского базара Бахрам Колченогий крикнул им:

— Мы вам еще покажем, попробуйте только приехать к нам на базар!

— Мы больше не поедem к вам на базар! — последовало в ответ. — Одни торгуйте, на кой черт сдался нам ваш базар!..

Только один, посредник в торговле скотом Саидкул, сказал:

— Я бы поехал, но вы же сами видите, стену тут воздвигли, мне через нее не перейти.

Тогда Бахрам Колченогий сказал ему:

— Ты человек порядочный, Саидкул, можешь к нам приезжать, тебя мы не тронем!

— Хвала отцу твоему, Колченогий! — ответил Саидкул. — Ты тоже порядочный человек. Слушай, что я тебе скажу...

Но Саидкул не успел сказать — его тут же сбили с ног свои люди. Потом они стали кидать камнями в галатепинцев. Галатепинцы рассвирепели и стали шарить под ногами... Тут на стене появился Турабай, один из девяти перебежчиков, сдавшихся в полдень на милость шуркудукцев. Турабай уже успел побрить голову и теперь вел себя как чужой человек.

— Идиоты, — засмеялся он, увидя своих односельчан. — Только идиоты могут мерзнуть в саратан. Идиоты, все галатепинцы идиоты.

И он пустился в пляс на стене. Манзар-палван бросил в него посох и сбил его с ног. Турабай свалился со стены к шуркудукцам. Свалился он к галатепинцам, те растерзали бы его на клочки — до того им ненавистно было обнаружить предателя в своей среде. Все последовали примеру Манзара-палвана, стали забрасывать врагов чем

попало — палками, сапогами... Но на этот раз никто не упал. Вдруг все мгновенно куда-то исчезли.

Немного погодя на стене появился совершенно голый человек. Женщины и дети разом отвернулись. Только повитуха Фатьма да бывшая жена Юльдаша продолжали смотреть.

— И сапоги скинь, срамник! — крикнула Фатьма-повитуха.

Голый Человек был в сапогах, ярко-красных, с высокими голенищами.

— Сапоги я не скину, — заявил Голый Человек. — Эти сапоги мне Мустафа подарил.

— Он врет, — крикнул Мустафа. — Не верьте ему, люди, я никогда в жизни не шил красных сапог...

— Это Мустафа врет, — сказал Голый Человек. — Он, он шил мне сапоги, только потом я покрасил их в красный цвет. Краской из гранатных корок.

— Врешь, бессовестный, — оборвал его красильщик Атабай. — Из корок граната делают желтую краску. А у тебя сапоги красные, не шил их Мустафа, сразу видно!..

— Нет, шил! — крикнул Голый Человек и принялся расхаживать взад и вперед по стене.

— Хорошие у него сапоги! — воскликнул невесть откуда взявшийся сапожник Микаэл. — Слышите, какой скрип? Скрип-то хороший!.. Дай бог всякому, чтобы его сапоги так скрипели!..

Но никто из галатепинцев не стал прислушиваться к скрипу сапог, все набросились на бедного сапожника.

— Кто тебя звал сюда? — спросил старик Хуччи у Микаэла. — Зачем ты вмешиваешься в наши мусульманские дела?

— Э! Странно вы говорите, почтенный Хуччи! — удивился Микаэл. — Где вы еще найдете второго такого мусульманина, как я?

— Засвидетельствуй, что ты мусульманин! — приказал старик Хуччи.

Микаэл тут же засвидетельствовал:

— Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммад — его посланник, да будет добрая молитва и вечный мир ему и всем, кто следует по его стезе, да будет он благословен до судного дня милостью аллаха, ибо лишь аллах достоин поклонения!.. Вы зря так говорите, почтенный Хуччи, я вас не за то так сильно уважал, чтобы вы

в один прекрасный день меня несправедливо упрекнули!..

Тут к Микаэлу подошла Айша, жена Салима Разбойника, и чмокнула его в щеку. Затем подошел сам Салим Разбойник, крепко обнял его и тоже поцеловал в щечину.

— Брат ты мой родной!.. — проговорил он сквозь слезы. — Сколько лет я тебя искал, сколько облазил мест!.. Где же ты пропадал?

— Я же почти каждое воскресенье приезжаю сюда, — смущенно отозвался Микаэл. — Не мешай мне сапожник Ислам, я бы насовсем перебрался в Галатепе.

Тут из толпы вышел сапожник Ислам и заявил:

— Ладно уж, Микаэл, я согласен, переселяйся хоть завтра. Я буду чинить ичиги, а ты валяй чини сапоги... Хочешь, я тебе дам целый мешок дратвы? И будку свою поставь рядом с моей, переезжай, я тебе разрешаю. Ведь ты мой родной брат, не чужой человек.

— Врррешь, Ислам! — взвился Салим Разбойник. — Микаэл мой брат, а не твой, смотри, если не веришь, смотри, как мы похожи друг на друга!

Люди посмотрели, но не увидели Салима Разбойника. Перед ними стояли два Микаэла. Оба чернобородые, остроносые, у обоих одежда вся в черной ваксе.

— Куда же ты пропал, Салим? — крикнул Манзарпалван.

Микаэл, стоявший слева, ответил:

— Да вот я — твой Салим.

Но второй, что был справа, Микаэл, перебил:

— Нет, это я Салим!

Оба Микаэла заспорили — кто из них Салим Разбойник. Голый Человек, доселе наблюдавший за всем со своей стены, громко засмеялся:

— Смотрите, тупицы, сейчас будет три Микаэла.

И галатепинцы увидели, что перед ними схватились драться уже три Микаэла.

— Сколько захочу, столько и будет Микаэлов! — крикнул Голый Человек.

— Хватит, колдун проклятый! Хватит!.. — Айша, жена Салима Разбойника, пала на колени и простерла руки к небу: — О боже, накажи этого колдуна, верни мне моего мужа!..

— Твой муж больше никогда к тебе не вернется! — крикнул Голый Человек и пустился в пляс.

Из-за стены показался Турабай с белой повязкой на голове. В руках у него был новенький дутар. Он сел

и ударил по струнам. Голый Человек заплясал еще пуще.

— Молитву, братья, молитву!.. — взмолился один из трех Микаэлов, которого били двое других. — Творите молитву, чтоб этот колдун исчез, иначе эти двое убьют меня!..

Все принялись читать молитвы. Но колдун не исчез. Он все еще продолжал плясать под звуки дутара.

Вдруг послышался топот коня. Все повернулись назад. Со стороны Галатепе неся к ним всадник и кричал.

— Бога нет, бога нет, бога нет!..

Галатепинцы узнали во всаднике Касымова, секретаря сельсовета. Он подскочил на своем взмыленном коне, прыгнул с седла, пошел к стене.

— Бога нет! — повторил он опять. — Нет никакого бога!

Галатепинцы перестали читать молитвы и устали на Касымова.

— Вот до чего довело вас ваше суеверие! — покачал головой Касымов. — Какой это колдун? Посмотрите получше, это же Хасан, сын нашего Назара Махдума!

Услышав имя Хасана, все, даже женщины, повернулись к стене. И в самом деле на стене плясал голый Хасан, сын Назара Махдума. Едва в Голом Человеке узнали Хасана, он стал весь пунцовый, быстро снял с головы Турабая белую повязку и прикрыл свою наготу.

— Плохой ты человек, Хасан, — упрекнул его старый учитель Тагаев. — Разве я тебя такому учил?

— Я не виноват, уважаемый муаллим, — начал оправдываться Хасан. — У меня и других забот полно! Не очень-то мне надо плясать голым!..

— А кто тебя заставил? — строго спросил Тагаев.

— Вот этот ваш Мустафа, — сказал смущенно Хасан. — Он не отдал за меня свою дочь, и я ему мщу...

— Ведь ты женился на дочери другого Мустафы, который живет возле мельницы, — сказали Хасану.

— Да, — ответил тот, — но я хотел жениться на дочери этого Мустафы. Теперь вот пришло время отомстить ему. И туман к вам я наслад. Ну ладно, так и быть, пришлите ко мне Низамбая, я ему дам десять человек, вместе они разгонят туман!

Манзар-палван с гневом набросился на Мустафу:
— Все это, оказывается, из-за вас, Мустафа! Почему вы не отдали за Хасана свою дочь?

Мустафа не на шутку струсил. Манзар-палван приближался к нему со сжатыми кулаками. Но тут случилось чудо: с неба послышался шум от взмаха крыльев и кто-то тут же поднял Мустафу от земли. Мустафа не сразу сообразил, что с ним происходит, только оказавшись над стеной и увидя за ней соседний кишлак, он понял, что летит по воздуху. Повернув голову, Мустафа увидел, что его несет пери необыкновенной красоты и вся в белом одеянии. Мустафа стал бормотать молитвы, но, кажется, пери была мусульманкой и молитвы на нее не подействовали, скорее наоборот, добавили ей силы, и она еще энергичнее начала взмахивать своими огромными крыльями. Тогда Мустафа сильно ткнул пери в грудь. Она вскрикнула и стала падать на землю. «Теперь она раздавит меня», — подумал Мустафа. Но пери оказалась легкой, легче пушинки, Мустафа даже не почувствовал боли. Тут кто-то ударил по крыльям пери палкой, пери застонала от боли и быстро поднялась в воздух. Когда она уже перелетела через высокую стену, из левого ее крыла выпало несколько белых перьев. Они плавно опустились на землю, но никто не дотронулся до этих перьев. Только Касымов поднял одно перышко и стал внимательно рассматривать его через какую-то круглую стекляшку.

— Отнесу детям в школу, — сказал он.

— А дети не поверят, — сказали ему. — Оно ничем не отличается от куриного.

— Но теперь-то вы поняли, к чему приводит вас ваше суеверие? Вы же сами убедились, что ангел ничем не отличается от обыкновенной курицы!

Все засмеялись. Всем сразу стало весело. Даже враги галатепинцев, что стояли на стене, не могли удержаться от смеха. Кто-то даже сказал, что Мустафу чуть курица не унесла. Раздался новый взрыв хохота.

— Не смейтесь, люди, — взмолился Мустафа, — откуда мне было знать, что это курица!..

К счастью, люди пожалели его, не стали больше доносить насмешками. И вдруг, совершенно неожиданно, словно гром среди ясного неба, вышел вперед мулла Данияр в белом как снег халате. Манзар-палван попытался его прогнать.

— Уходите, почтенный мулла, — сказал он. — Вы же давно умерли. Грех, если вы еще начнете сейчас разговаривать с живыми!..

Но мулла Данияр не послушал его.

— Отойдите от меня, Манзар. — Он рукой отстранил Манзара-палвана. — Все вы живые, все до единого, но не можете справиться с шуркудукцами! Даже я, мертвый, не вытерпел такого позора и вот должен был прийти. Смотрите, Манзар, на мое волшебство, ни один мулла не может тягаться со мной, смотрите!

Мулла Данияр подошел поближе к стене, прочел какую-то волшебную молитву и сильно выдохнул: «Куфсуфф!..» Стена вмиг исчезла, будто ее никогда и не было. Вместе с ней исчезли и Хасан, и Турабай, и все другие бритоголовые. Взору открылась широкая холмистая степь с редкими дворами. Это и был Шуркудук, к которому галатепинцы шли войной. Но сейчас они меньше всего думали о Шуркудуке. Все были поражены таинством, совершенным муллой Данияром, все, кроме Назара Махдума. Тот засучил рукава и стал подступать к мулле:

— Куда ты дел моего сына? Сейчас же верни мне его, верни, а то худо будет!..

— Худо мне уже никогда не будет, — спокойно ответил мулла Данияр.

Тут на защиту Данияра выступили еще двое мулл — мулла Кудрат и мулла Парда. Мулла Парда, кажется, загорелся желанием научиться волшебству, он сразу взял муллу Данияра под руки.

— Окажите мне милость, — попросил он любезно. — Пожалуйте ко мне на пиалушку чая.

Но мулла Данияр только покачал головой:

— Я бы и рад, но мне нельзя, отвык я от чая за те пять лет, как умер!..

Потом он повторил свою волшебную молитву и растаял в воздухе. Через минуту откуда-то сверху донесся его удаляющийся голос:

— Вернитесь, братья, назад! Во всем виновата та женщина-ангел! Не поминайте меня лихом, пускай душа моя пребывает в покое-е-е!

Люди возликовали, стали смеяться, шутить. Они даже забыли, что пришли с войной к соседям из Шуркудука. Манзар-палван аж запрыгал от радости.

— Но мулла вам соврал, — сказал он. — Никакая это была не женщина-ангел, это была пери, на которой

я чуть не женился в Кзыл-Таше, когда жил там два года отшельником¹.

Но люди не поверили ему:

— Врите, Палван, врите, да знайте меру. Выходит, вы собирались жениться на обыкновенной курице?

Но Манзар-палван не сдавался. Он твердо стоял на своем:

— Нет, она была не курицей, а настоящей пери!

— Нельзя быть таким суеверным, Манзар-палван, — сказал Касымов. — Я же своими глазами видел, что это была обыкновенная курица...

Он развязал платочек и показал ему куриное перо. После этого Манзар-палван умолк и обиженно отвернулся.

Все пустились в обратную дорогу. На полпути им встретился незнакомый кишлак. Когда шли в Шуркудук, этого кишлака и в помине не было, а теперь он, словно из сказки, красовался перед ними высокими домами и пышными зелеными садами. Мулла Кудрат немного отстал от других и попытался уничтожить этот кишлак своей молитвой, но безуспешно — его молитва не имела такой волшебной силы, как у муллы Данияра. Он позвал на помощь муллу Парду, но тот не был уверен в силе своей молитвы и, боясь опозориться, не согласился.

— Оставьте вы их, — сказал он своему другу. — Пускай себе живут, раз уж построили такой кишлак. Они ведь ничего нам плохого не сделали, не воздвигли на нашем пути стену, как шуркудукцы. Пожалейте несчастных, почтеннейший мулла, а нам еще надо добраться до своего Галатепе!..

Вернувшись в Галатепе, они опять увидели мрак и вонючий туман. Стало еще холоднее, чем было утром. Дрожа и проклиная судьбу, несчастные галатепинцы разбрелись по своим домам. На улице остался только один Низамбай. Назар Махдум приказал ему ехать к Хасану с подмогой, чтобы разогнать вместе туман...

Мустафа еле нашел во мраке холм и добрался до своего двора. В доме было совершенно темно. Он нащупал в кармане отсыревшие спички и после долгих усилий зажег старую жеросиновую лампу. Старухи Гульсары дома не оказалось. На ее месте в углу сидела уже знакомая

¹ О приключениях Манзара-палвана и о мнимой его женитьбе на прекрасной пери мы расскажем в другой повести (*автор*).

пери с прялкой на коленях. Мустафа на минуту растерялся.

— Уходи, — сказал он наконец. — Уходи, тебя никто сюда не звал...

— Правильно, не звал, но я сама сюда пришла.

Ее голос, приятный и молодой, сразу понравился Мустафе.

— Ваша жена ушла, сказала, что не будет делить со мной своего мужа. Ну и хорошо, теперь я буду вашей женой!..

— Ведь так нельзя, — нерешительно возразил Мустафа. — Я же совсем тебя не знаю. Потом ты из племени ангелов, а я из людского рода... Не думаю, чтобы твоя выходка понравилась аллаху...

— Я совсем непривередливая, — сказала пери. — Вот увидите, со мной вам будет легко. Я пью только молоко, больше ничего мне не надо...

Мустафа удивился, но тут же принес ей целую миску молока. Пери сделала глоток и заплакала:

— Ой, это же сырое молоко. Нет, я такое не пью, боюсь простудить горло! Я хочу кипяченого!..

— А еще говоришь, что непривередливая!.. — сказал Мустафа. — Нет, моя жена лучше, она хоть не капризничает. Стану я еще кипятить тебе молоко! А кто за скотом будет смотреть? Ты, что ли?

— Вы сперва скипятите мне молока, — сказала пери, — а потом пойдете смотреть за своим скотом.

Мустафа волей-неволей пришлось выйти в прихожую вскипятить молоко на керосинке и принести пери. Но той опять не понравилось:

— Оно же совсем жидкое, сливки небось сами вылакали?

— Не дури, — обиделся Мустафа. — Я тебе не ребенок, сливки лакать.

— Но это не молоко, а какая-то кислая сыворотка, — захныкала она. — Может, вы принесли ее из сепараторной?

— Вот зануда! — рассердился Мустафа. — У меня самые лучшие коровы во всем Галатепе и дают самое жирное молоко!

Но пери уже не слушала его. Она ринулась в дальний угол комнаты и стала биться головой о край большого кованого сундука.

— Я согласен на все, согласен на все, скажи, что мне делать? — испугался Мустафа. — Вот несчастье-то на мою

голову! Зачем же ты явилась сюда, если когда-то хотела выйти замуж за Манзара-палвана? Могла бы к нему пойти!..

— Он меня побьет, — вскрикнула пери. — Мне с вами лучше. Дайте мне немного золота, я перестану капризничать, если вы дадите мне немного золота.

— Нет у меня никакого золота, — сказал Мустафа.

— А то, что вы зарыли под навозом?

— Но ты же ангел, зачем тебе золото? — удивился Мустафа. — Что ты с ним делать-то будешь?

— Усману отдам, — сказала женщина-ангел.

— Ладно, — согласился Мустафа. — Вот за воротами куча, сама раскапывай, а мне холодно, не хочу копаться в мерзлой земле.

— А я не могу копаться в навозе, — сказала женщина-ангел. — Как вы смели предложить мне такое. Я же пери...

— Вот и раскапывай! — сказал Мустафа. — Не буду я пачкать себе руки.

— А если я разгоню туман, вы откопаете мне золото?

— Ты сперва разгони туман, а тогда я тебе все отдам.

— Нет, пока вы не раскопаете золото, туман не рассеется, — сказала пери. — Сперва надо достать золото. Оно уже ушло глубоко в землю, долго вам придется копать. А если не рассеется туман, всем вам придется бежать из Галатепе...

Туман не рассеивался еще целых три дня...

Мустафа пришел в себя только на четвертый день. Открыв глаза, он увидел над собой старушку Гульсару, увидел в ее руках мокрое полотенце и глазами дал понять: приложи его, приложи...

Старушка положила полотенце Мустафе на лоб, затем принялась гладить его виски тонкими костлявыми пальцами.

— Горите, как в огне, — сказала она.

— Нет, — еле слышно сказал Мустафа. — Не горю, мерзну...

— Усман все время сидит возле вас, — сказала Гульсара, чуть потупив глаза. — Может, с ним попрощаться хотите?..

— Разве он куда уезжает? — удивился Мустафа.

— Нет, дядя, никуда не уезжаю, — донесся откуда-то

снизу голос Усмана, но тут над Мустафой появилось его усталое лицо.— Тетя думает, вам очень плохо стало...

— Это хорошо, что ты называешь ее тетей,— сказал Мустафа.— Ведь у нее никого, кроме нас с тобой, нет... Хорошо, что называешь ее тетей. Ты лучше сам раскопай золото, Усманбай, я очень замерз...

— Бредит,— сказала старушка.— О каком золоте вы говорите?

Мустафа не обратил никакого внимания на слова жены.

— Раскопай, Усман, раскопай, а то этот туман никогда не рассеется.

— Да нету никакого тумана, дядя,— сказал Усман.— Посмотрите в окно, откуда сейчас быть туману? Солнце же светит!..

Мустафа оторвал голову от подушки, посмотрел в окно и увидел коричневый ствол чинары и освещенные солнцем верхушки низеньких яблонь. Потом жена и Усман осторожно опустили его голову на подушки.

— Ты все равно откопай золото, Усманбай,— сказал Мустафа.— Я раньше тебе не говорил. Зарыты под навозом сорок восемь золотых монет. Делай с ними что хочешь: хочешь — истрать, хочешь — подари кому... Ты у меня единственный наследник...

— Мне ничего не надо, дядя,— сказал Усман.— Все равно пропью. Но еще немного подержусь, может, и вправду расхочется пить...

— Это хорошо, если расхочется...— сказал Мустафа.

Он опять посмотрел в окно, и ему показалось, будто проскользнула за окном какая-то тень. Мустафа сразу насторожился, бросил на жену недоверчивый взгляд.

— Ты это зря, Гульсара,— сказал он.— Зря ты еепустила...

Старушка сделала вид, будто ничего не поняла.

— Скажи дочери, я ее прощаю, но пускай не показывается мне на глаза,— сказал Мустафа, затем обернулся к Усмани: — Ты сам отвези ее домой, Усманбай. Если умру, на похороны позовите. А пока пусть не показывается на глаза.

— Не могу я, дядя,— сказал Усман.— Поймите меня, не могу. Она же ваша родная дочь.

Мустафа его понял. Он опять посмотрел на старушку:

— Тогда ты ее отвези, Гульсара. Или попроси кого другого.

Старушка склонила голову в знак повиновения.

В полдень Мустафа почувствовал, что умирает. И очень удивился этому чувству. Как странно, подумал он, ходишь, ходишь по земле и вдруг в один прекрасный день больше не встанешь. Положат тебя на носилки и понесут, а ты даже не заметишь, как тебя несут. Потом тебя закопают, и люди вернутся в дом, где ты жил. Начнут плакать. Заплачут мужчины, заплачут женщины... Скажут, вот был на свете такой божий человек, звали его Мустафой, вроде неплохой был старик... Потом все попривыкнут, что тебя уже нет, и тихонько разойдутся по домам. Останется одна Гульсара. Если бог вразумит, то и Усман с ней останется. Но придет день, и Гульсары не станет. После ее смерти больше не будут зажигать в твоём доме огонь. Вечерами во всех домах будет гореть свет, все дома будут светлыми, только один твой дом на террасе холма, за прудом Ибодулло Махсума, потонет во мраке. Год он постоит, два года, три, но вот начнут рушиться стены, сохнуть деревья, и наконец весь твой дом превратится в развалины, станет обиталищем сов...

Мустафе стало грустно. Он велел жене позвать Усмана. Тот вошел и сел у постели дяди.

— Я эти дни совсем не пил, дядя, — сказал он, как бы оправдываясь. — Давно уже, еще перед тем, как вы заболели, перестал пить...

— Посиди со мной, — попросил Мустафа. — Потом пойдешь пить...

— Нет, дядя, так нельзя... Вы тут больной лежите, а я...

На глаза Мустафы навернулись слезы.

— Похоже, я больше не встану, Усманбай, — сказал он. — Я никогда так сильно не болел, теперь вижу, как это бывает...

— Поправитесь, дядя! — сказал Усман. — Вы сильный человек. Не пьете, не курите, не играете в карты...

— Я в жизни не играл в карты, Усманбай...

— Я про то и говорю. Картежник может скопытиться раньше времени и от горя и от радости. А вам спокойней, дядя. Вы еще долго будете жить.

— Ты только не уезжай на Сырдарью, — сказал Му-

стафа. — Гульсаре одной трудно будет. Ты не мучай ее, Усманбай.

— Вы за кого меня принимаете, дядя? — обиделся Усман. — Думаете, без вас я ее убью и заберу все деньги?

Мустафа промолчал. Такая мысль однажды уже приходила ему в голову. Сейчас он раскаялся, глядя в лицо племянника.

— Я, хоть и ползаю, но еще не успел стать гадом, — сказал Усман.

— Ладно, ладно, ты позаботься о старушке, — сказал Мустафа. — Оставим все другие разговоры. Я и на том свете буду молиться за тебя, сынок. Плохим ты был или хорошим, но чести своей ты не пропил. Оставайся в этом доме, поддерживай свет, чтобы не спросил кто прохожий, чьи это развалины.

— Не надо так, дядя, — хриловато сказал Усман. — Давайте поговорим о другом. Я и не собираюсь оставлять вас.

Мустафа успокоился. Он чуть приподнял голову и еще раз оглядел Усмана.

— Ладно, иди, сынок, — сказал он. — Сходи на свою ферму.

— Я там уже был, — ответил Усман. — Хорошо, пойду попою бычка.

Мустафа опять остался один. Увидя воткнутое в стену шило, он вспомнил про свое обещание сшить для Камала Раиса потник. «Не успел, — подумал он с сожалением. — Что теперь остается делать, лежу пластом, ладно уж, Камал все поймет...» Он поудобней устроился на подушке. Почувствовал, как свинцовая тяжесть вдавливает все его тело в постель. «Только не было бы больно, — подумал Мустафа. — Только бы не было больно...»

...Потом один за другим стали приходиться односельчане. Разные люди пришли. Все говорили о неизбежности конца, воздавали хвалы Мустафе, прощались и благословляли. Люди шли до самого вечера. Вечером в доме остались только свои: Мустафа, Гульсара, Усман...

В пятницу утром пришли его братья — Пиримкул Малия и Апсамат. Пиримкул Малия, сборщик земельных налогов, был на два года старше Апсамата, он присел

повыше, у изголовья старшего брата. Младший остался в ногах. Он был немногословным, как все пастухи, поэтому разговор начал Пиримкул Малия:

— Ну, как себя чувствуете, Мустафа?

— Спасибо, мне лучше... — ответил Мустафа. — А вы как живете?

— Мы хорошо живем, — сказал Пиримкул Малия. — А вы, Мустафа, были всегда такой крепкий, нашли время болеть, когда вас уже освободили от налогов!.. Сегодня Саломат сказала, будто вы слегли. Я не хотел поверить, совсем испугался!..

Мустафа тихо покачал головой — не разделил он тревогу брата. Затем он обратился к Апсамату, младшему брату:

— А ты как живешь, Апсамат?..

Апсамат, как и всякий пастух, начал говорить о своем стаде:

— Как живу? Пасу коров, Мустафа-ака. А сейчас такая пора, от оводов нет никакого спасения. Кусают они коров, а я бегая, выгоняю из каждого оврага!.. Дома почти не бываю. Вы уж не обижайтесь, Мустафа-ака, никак не мог прийти раньше попрощаться с вами... Благословите меня, Мустафа-ака...

Мустафа знал, что Апсамат, как и он сам, человек непосредственный, говорит то, что думает. Поэтому он сразу благословил его:

— Я доволен тобой, Апсамат, дай тебе бог счастья... Вспоминай меня, если я уйду...

— Ты не каркай, Апсамат, — рассердился Пиримкул. — Мустафе еще жить да жить!..

— Да я не каркаю, пускай живет Мустафа-ака, — смутился Апсамат. — Разве я могу желать ему смерти?..

Увидев, как смутился Апсамат, Мустафа поспешил к нему на помощь:

— Ты не беспокойся, Апсамат, я буду жить, если аллах не сократит мои дни...

— Скорей выздоравливайте, Мустафа-ака, — сказал Апсамат. — Сами понимаете, я не могу каждый день приходиться к вам, не то разбредутся коровы во все концы... И сейчас вот беспокоюсь. Оставил все стадо на жену, а она беременная, еле ноги таскает.

Мустафе понравилось, как говорит младший брат. Ему хотелось попросить его продолжать, но он постарался удержаться от просьбы.

— Ладно, ты иди уж к своему стаду, Апсамат, — сказал он. — Будет время, еще как-нибудь заглянешь.

Апсамат в нерешительности посмотрел на другого брата. Тот, доселе злой и угрюмый, немного смягчился.

— Ладно уж, иди, паси свое стадо. Зайдешь вечером. Мустафа, чай, не чужой нам человек, можешь и вечером заглянуть... Как вы думаете, Мустафа? — Пиримкул повернулся к старику. — Наверно, ему можно навестить больного вечером. Он же свой человек!..

— Пускай придет вечером, — согласился Мустафа.

Апсамат вышел. И тут же, будто ожидая ухода Апсамата, в комнату вошла Саломат, жена Пиримкула, молодая уже, но очень нарядная, словно невеста из-за свадебного полога. Она скромно села рядом с мужем, несколько секунд помолчала, потупив глаза, как и подобает невестке, играя стежками тюфяка, затем, когда муж одобрительно кашлянул, подняла глаза...

— Вот, пришла к вам, дорогой деверь, — сказала она.

Мустафа улыбнулся:

— Вижу, вижу...

— Пришла проститься, — сказала Саломат.

— Спасибо, невестка, — сказал Мустафа. Ему уже начало нравиться прощаться с людьми. Уже второй день все приходили с ним прощаться. — Я тысячу раз доволен вами всеми.

— Вы нас простите, если мы что плохого делали...

Пиримкул Малия недобро взглянул на жену. Мустафа заметил этот взгляд, но не понял, с чего бы это брат озлобился на свою жену, вынул руку из-под одеяла и слабо махнул:

— Не надо, Пиримкул, она же женщина, пускай говорит!..

— Вы меня не ругайте, — сказала Саломат мужу. — Видите, деверь оказался лучше вас, сам хворый лежит, а добрых слов для меня не пожалел...

Похвала невестки понравилась Мустафе. Он даже зарезал в постели от удовольствия.

— Вы нам много добра делали, — сказала Саломат. — И нету у нас другой опоры, кроме вас.

Мустафа, сколько ни старался, не мог вспомнить, какое делал им добро. Жили они каждый по себе, и Пиримкул, и он... Вон сколько лет прошло, как его брат на ноги встал. Работа есть, деньги есть, так чем ему еще может помочь Мустафа? Да, он когда-то помогал, но

это было очень давно, когда Пиримкул еще не был женат на Саломат. В последние годы из-за Усмана братья не особо ладили между собой. Но брат остается братом, и Саломат ему не чужая, невестка, жена брата... Очень плохо, что они так отделились друг от друга. Но вот теперь, когда Мустафа заболел, брат сам пришел со своей женой... Не забыл брата, заговорила, значит, родная кровь.

— И вы меня не поминайте лихом, — сказал Мустафа.

В передней послышались тяжелые шаги Усмана. Пиримкул чуть побледнел. Но Саломат не растерялась...

— Усманджан, о Усманджан!.. — крикнула она в двери. Голос ее был звонкий, чистый. — Усманджа-ан!..

Вошел Усман. В пыльных сапогах прошел к постели Мустафы и сел. Потом обратился к отцу:

— Пришли, значит?

— Пришли, Усманджан... — смущенно ответил Пиримкул Маляя.

— А тут, видите, старик совсем разболелся, — сказал Усман. — Уговаривает меня быть его наследником. Но я пока не согласился. Как вы думаете, отец, соглашаться?

Пиримкул промолчал. Вмешалась в разговор его жена:

— Он вам не чужой человек, а родной дядя. Если уж решил сделать вас своим наследником, не отказывайтесь. Берите себе его наследство!..

— Брат, отец? — в лоб спросил Усман у Пиримкула.

— Сам знаешь, — неопределенно ответил тот. — Если получишь наследство, то должен тратить его мудро, с умом, советуясь со старшими, ну, хотя бы со мной... Конечно, будем молить бога, чтобы продлил жизнь твоему дяде. Но кто его знает, как поступит аллах. А пока мы с тобой в первую очередь должны позаботиться о нашем брате и дяде. Ведь у него никого, кроме нас, почитай, нету...

— Я сама вас женю, — пообещала Саломат.

— Вы мне сватаете бывшую жену Юльдаша, отец? — спросил Усман.

Пиримкул не ответил.

— Не будь он вам родным дядей, разве могли бы мы допустить, чтобы вы жили не в нашем доме, Усманджан, — сказала Саломат. — Потому и не возражали, что он вам родной дядя. У вашего отца руки длинные, всюду

достанут. Он вас женит на самой лучшей девушке, в тысячу раз лучше той, бывшей! Вы ведь и у нас единственный наследник!

— Это правда, отец? — спросил Усман у Пиримкула. — Вы мне завещаете наследство?

— А кому еще завещать? Конечно, тебе.

— Нет, так не годится, — возразил Усман. — Я пропью все ваше наследство за три дня.

— А ты не пропивай. — Пиримкулу Малия стало жалко своего наследства. — Это нечестно.

Усман хрипло засмеялся.

— Плевать я хотел на ваше наследство, отец! — заявил он вдруг. — Это вы-то оставите мне свое наследство? Это вы-то? Да вы никому ничего в этом мире не оставите, все унесете, вплоть до дырявого кувшина! Повесите себе на шею и унесете туда!.. Знаю я вашу заботу, сидите тут над братом, как коршун в ожидании падали!..

— Прекрати! — вспылал Пиримкул. — Прекрати, сукин сын!

— Чего вы так? — усмехнулся Усман. — Я же ваш наследник, разве можно так кричать на наследника?

— Уйди, Усман! — Мустафа поднял с подушки свою отяжелевшую голову. — Не дело так разговаривать с родным отцом.

— И вы, дядя!.. — с укором сказал Усман.

Но Мустафа не захотел его слушать.

— Уходи! — строго приказал он. — Займись каким-нибудь делом!

Некоторое время все сидели молча. Мустафе было неловко за выходку Усмана. Пиримкул был зол. Только Саломат оказалась на высоте...

— Весь в отца, — сказала она, улыбаясь. — И брат ваш тоже ни с кем не посчитается, если рассердится...

Пиримкул улыбнулся, но как-то натянуто.

— Золотой парень, но иногда теряет голову...

Услышав о золоте, Мустафа насторожился.

В комнату вошел толстый рыжий кот, любимец Гульсары. Не обращая внимания на гостей, он переступил через раскрытый дастархан и свернулся калачиком у ног Мустафы.

— Ваш кот пришел, — тихо сказал Пиримкул.

— Это его Гульсара нашла... — сказал Мустафа.

Немного помолчали. Кот задремал и начал мурлыкать.

— Мурлычет, — сказал Пиримкул. — Хороший кот, красивый.

Мустафа пошевелил ногами и разбудил кота. Тот потянулся и залез под сундук в нише стены.

— Гульсара его совсем избаловала, — сказал Мустафа. — На мышей даже не смотрит...

Мустафа взглянул на брата. Пиримкул Малия неотрывно смотрел в нишу, куда скрылся кот. Затем Мустафа перевел взгляд на невестку — она тоже смотрела в нишу...

Еще немного помолчали.

Послышался шум в передней, и на пороге показалась морда теленка, белая от муки. Переступить порог теленок не решился, так и остался стоять одной ногой в комнате...

— Теленок ваш такой упитанный!.. — польстил Пиримкул.

— Это не теленок, а настоящий ворюга, — сказал Мустафа. — Любит шарить в мешках с мукой.

— Все они такие, — сказала Саломат. — Но лучше, если отучите его воровать, не то из такого теленка хорошей коровы не получится... Выгоните же его!.. — Она повернулась к мужу. — Скажите, пускай уходит!

— Кш! — зашикал Пиримкул, потом взял в изголовье Мустафы большое полотенце и замахал: — Кш!

Теленок нехотя отступил назад. Через минуту услышали, как он ударился копытами о другой порог.

Мустафа посмотрел в угол комнаты, где был не разобраный еще с зимы сандал. Гости тоже посмотрели туда. Мустафа, почувствовав неловкость, перенес взгляд на потолок. Потом снова посмотрел на брата. Пиримкул быстро закрыл устремленные вверх глаза и сделал вид, будто зевает, но Саломат не успела закрыть глаза и так и осталась сидеть, уставившись в потолок.

Мустафа смутился. Ему хотелось сказать, что он большой и ему ничего больше не остается, как только смотреть по сторонам в этой тесной комнате. Но скажи он такое, брату и невестке тоже стало бы не по себе. Мустафа тяжело вздохнул и закрыл глаза...

Опять помолчали.

Вошла Гульсара. Взяла с полки посуду, снова вышла.

И кот, лежавший под сундуком, вышел следом за старушкой...

Мустафа открыл глаза: гости смотрели на сундук.

— Там, под сундуком, полно мышинных нор, — сказал Мустафа.

— Наверное, лет пятьдесят, как вы построили этот дом? — спросил Пиримкул Малия. — Или даже больше прошло?

— Нет, пятидесяти еще нет, — сказал Мустафа. — Сорок лет прошло.

— Мой деверь все делает на совесть, — сказала Саломат. — Вот смотрите, сорок лет стоит его дом, а все как новый!..

— Нет, он уже не новый, — сказал Мустафа. — А дувал я каждый год чиню.

— Это хорошо, что вы каждый год чините дувалы, — сказал Пиримкул Малия.

Мустафа не ответил. Его утомил разговор. С минуту он полежал с закрытыми глазами, но ему стало тоскливо, он опять открыл глаза и взглянул на брата и невестку. Взгляд их горящих нетерпением глаз вконец рассердил Мустафу... «Чего это они следят за каждым моим движением? — подумал он. — Не в доме же зарыл я золото!.. Скорей бы они ушли, замучили!.. К черту золото! Пускай пропадает под навозом!..»

Наконец Саломат первая устала ждать, встала...

— Пойду я, дорогой деверь. Пускай уж ваш брат посидит возле вас. Нельзя больного человека оставлять одного, вдруг что понадобится.

И она вышла, шуриша атласным платьем. Братья остались одни. Кажется, Пиримкул немного стеснялся при жене, с ее уходом он придвинулся поближе к Мустафе, взял полотенце и вытер со лба капельки пота.

— Лоб-то у вас какой горячий, — сказал он.

— Сейчас еще ничего, вечером горячее бывает...

— Вечером вы, наверное, бредить начинаете?.. — со слабой надеждой спросил Пиримкул Малия.

Мустафа не ответил. Сильно обиделся он на брата. «Все равно ничего не скажу, — решил он. — Пускай пропадет!..»

Вечером, когда ушли последние посетители, Мустафе вовсе неинтересно стало умирать. Было скучно часами лежать в постели, уставясь на потолок.

— Не буду я тут валяться, Гульсара, нет никакой си-

лушки больше терпеть, — сказал Мустафа жене, сидевшей у печки с прялкой, и, не обращая внимания на причитания, снял с гвоздя халат и бросил его через плечо.

Старушка Гульсара было испугалась, но, увидя, что Мустафа поднялся без посторонней помощи, обрадовалась и бросилась на улицу, позвать Усмана. И через минуту они вернулись уже вдвоем, подхватили Мустафу под руки и повели к двери. Гордость не позволяла Мустафе пользоваться такой помощью, он попытался оттолкнуть помощников и идти сам. Он даже высвободил левую руку, со стороны старушки, но с Усманом справиться не удалось, тот был сильнее старика.

Мустафа, сам того не замечая, два раза топнул ногой от собственного бессилия.

— Вы только посмотрите на него: гарцует, как жеребенок! — засмеялся Усман и, подняв Мустафу на руки, словно малого ребенка, вынес, хохоча, из дома.

Мустафа задрыгал ногами, но ничего не вышло. Тогда он наконец успокоился и улыбнулся Усману:

— Ладно, вынеси меня за ворота, сынок.

Усман вынес Мустафу со двора, осторожно опустил на ноги, но рук не убрал, кажется, он боялся, что Мустафа упадет. Мустафа сделал несколько шагов вперед, но и тогда Усман не отпустил его, посадил на толстое тутовое бревно. Потом принес из дома старенький палас, расстелил на бревне и пересадил старика.

Чуть ниже холма, над самым колхозным садом, пролетела стайка пегих скворцов. Мустафа долго следил за их полетом, пока они не скрылись на востоке, в дымке голубых гор. Старик перевел взгляд на запад. Вдалеке показалась еще одна стайка. По тому, как они летели рывками, то медленно, то быстро, Мустафа понял, что это воробьи. Через минуту воробьи нырнули вниз и вот уже защебетали в ветках мустафинских чинар.

Пролетела еще одна стая пегих скворцов.

Показался орел, задержавшийся в степи, в окружении пяти сизоворонок. Те упрямо преследовали медлительного орла. Кажется, ему надоели эти наглые птицы, и он попытался взлететь чуть повыше, но сизоворонки были начеку — двое из них тут же оказались над головой орла. Орел нырнул вниз, но сизоворонки опять ринулись за ним. И так, гомоня, пролетела и эта странная компания. «Сизые останутся в обрыве за домом Бутабая, — подумал

Мустафа, — не могут они далеко летать. А орел полетит в свои горы...»

Пролетела с шумом большая стая индийских скворцов, потом снова стайка воробьев... одинокий ястреб... Все птицы летели с запада на восток. На западе была степь, там птицы кормились...

Пролетела еще одна стая пегих скворцов, на этот раз огромная. Тысячи птиц, словно тучи, закрыли собой полнеба.

С другого конца кишлака, со стороны базара, показалось стадо коров. Они длинной вереницей потянулись по улицам. Первые коровы были уже у ворот Назара Махдума, а последние все еще скрывались за Коровьей вершиной.

Пыль, поднятая стадом, ползла сюда, вверх. «До пруда Махсума, поди, дойдет, — рассудил Мустафа. — Дальше коровы не пройдут...» Стадо редело и редело, пока наконец не осталось с десятков коров. Две из них повернули к пустырю старика Хуччи. Остальные потянулись дальше. На какое-то время Мустафа потерял их из виду, кажется, коровы решили пройти напрямик, через упавший дувал колхозного сада. Но вот они опять показались, теперь уже за прудом Ибодулло Махсума. Три коровы пошли к воротам Ибодулло Махсума. Не успели они еще войти, как вышел сам Ибодулло Махсум за остальными коровами. Те подошли к пруду и с отлогого берега стали пить воду. Одна рыжая, корова Камиля Письмоноши, и три мустафинских быстро напились. У пруда осталась одна только корова, тоже Мустафы, огромная, с черно-золотистыми полосками на крупе. Ибодулло Махсум подождал, пока корова напьется, потом все вместе двинулись дальше. Передние коровы были уже на развилке тропинки. Корова Камиля Письмоноши повернула направо, замычала. В ответ ей послышалось мычание теленка перед домом Камиля Письмоноши. И мустафинские коровы замычали, но телята им не ответили — они были сытые.

Наконец поднялась на холм и четвертая корова. Ибодулло Махсум отстал от нее шагов на двадцать. Корова вошла в ворота, а Ибодулло Махсум подошел к Мустафе, поздоровался.

— Какая корова у вас шустрая, — сказал он, чуть отдышавшись. — Враз обогнала меня!.. Как себя чувствуете, Мустафа, вам уже лучше?

— Скучновато, Махсум... — ответил ему Мустафа.

— Я пришел вас предупредить, Мустафа, сейчас почтенный Хуччи придет скандалить.

Ибодулло Махсум сел на землю напротив Мустафы.

— Садитесь сюда, Махсум,— сказал Мустафа.— Не сидите на голой земле.

— Мне везде хорошо,— сказал Ибодулло Махсум.

— А коня вы отвели к хозяину, Махсум?

— Отвели, Мустафа. Но почтенный Хуччи сильно разгневался на нас. Сейчас он придет скандалить.

— Пусть приходит, Махсум, мне самому не терпится его повидать.

— А вы странный человек, Мустафа,— сказал Ибодулло Махсум.— Не думал я, что вы пошлете ко мне своего Усмана. Надо же? Купили коня и отвели к почтенному Хуччи. Кто услышит, смеяться будет, Мустафа.

— Пускай смеются, Махсум, хорошо, если будут смеяться...

Мустафа улыбнулся. Ибодулло Махсум тоже улыбнулся.

— Я верну вам ваши деньги, Мустафа.

— Не говорите мне о деньгах, Махсум. Я только с постели поднялся, мне не хочется говорить о деньгах.

— Нет, так не годится, Мустафа,— сказал Ибодулло Махсум.— Я не могу не платить свои долги. Надо и о душе подумать. Что я буду делать, если вы придете ко мне на том свете требовать свои деньги?

— Не приду требовать, Махсум.

— Нет, Мустафа, нехорошо это. Вдруг сам аллах прикажет: пойдя, мол, Мустафа, потребуй свои деньги?

— Нет, я не потребую, Махсум,— повторил Мустафа.

— Я вам все равно верну долг,— не согласился Ибодулло Махсум.— Да еще тут почтенный Хуччи взбунтовался, трудно будет его уговорить.

— Уговорим,— сказал Мустафа.— Я ничего не хочу у вас брать. Посидите со мной, мы с вами вдвоем и обрадуем человека.

Кажется, Ибодулло Махсуму хотелось одному обрадовать старика Хуччи, и он промолчал.

— Я вот смотрю, как птицы летают,— сказал Мустафа, желая отвлечь Ибодулло Махсума.

— Решили голубятником стать?

— Да нет, просто так... сижу и смотрю, как они летают. Вон летят индийские скворцы...

Ибодулло Махсум взглянул на небо и увидел стайку скворцов.

— А, эти? — Ибодулло Махсум немного помолчал. — Я что-то не помню их до войны.

— Нет, они появились у нас еще до войны, — сказал Мустафа, гордясь своей памятью. — А раньше их совсем не было. Говорят, из Индии прилетели.

— Скворец хоть и индийский, но умная птица, — сказал Ибодулло Махсум. — Одно плохо, растаскивают виноград. Хорошо бы, только в винограднике клевали, так нет, по целой кисточке в клюве уносят... Это же подлость, Мустафа!..

— Все равно хорошая птица, — сказал Мустафа. — Сказывают, могут человеческим языком разговаривать, если вскормить материнским молоком.

— Это, наверное, так про галок говорят, — не поверил Ибодулло Махсум.

— Нет, Махсум, про этого самого индийского скворца.

Ибодулло Махсум чуть задумался.

— А ведь это здорово, Мустафа, если птица заговорит, — сказал он немного погодя. — Сиди с ней и разговаривай сколько хочешь. Если бы у меня был такой скворец, я бы научил его ругать Турабая!..

— Зачем вам учить птицу ругаться? Дома женщины, дети, неловко как-то, Ибодулло Махсум.

— Да, правильно, Мустафа, — согласился Ибодулло Махсум. — Я обо всем думал, а об этом не подумал. Конечно, хорошо, если бы птица ругалась, только когда Турабай один. Но так, наверное, трудно ее научить. Да и кто ее знает, может, она вообще станет болтливой, как женщина!.. Ведь ее женским молоком надо вскормить?

— И немногословных вскармливали женским молоком, — возразил Мустафа.

— Ваша правда! — обрадовался Ибодулло Махсум. — Но, Мустафа, думаю, дело это нелегкое...

— Но вы смогли бы научить птицу, Махсум, все-таки сами учились в медресе.

— Нет, не смогу, — покачал головой Ибодулло Махсум. — Где мне взять материнского молока? Старуха моя давно не рождает, сама стала как ребенок, будто ее позавчера родили. У невестки спрашивать совестно.

Ибодулло Махсум постоял несколько секунд во власти нечаянной грусти, потом поднял голову и посмотрел на запад, и тут же лицо его просияло.

— Посмотрите-ка на закат, Мустафа. Горит, будто щечки молодой девушки, каково, а?

— Завтра будет жаркий день, Махсум, — сказал Мустафа. — Раз закат розовый, значит, день выдастся непременно жаркий.

— Я не очень верю этим приметам, Мустафа, помню, как-то в прошлом году весной был такой красный закат, а назавтра выпал град с орех.

— Но это редко бывает, чтобы не совпало... — возразил Мустафа.

— Почтенный Хуччи идет! — сказал Ибодулло Махсум, мгновенно позабыв о закате. — Сейчас он начнет скандалить. Посмотрите вниз, Мустафа, вон там, у пруда!

Мустафа посмотрел вниз. Старик Хуччи шел в их сторону, ведя за уздечку неоседланного коня...

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЛАТЕПЕ

1. ТРАУР

Хоронили Раима-аксакала в конце мая. Ташпулат Хайбаров едва успел к зауспокойной молитве. Братья, близкие родственники встретили его громким плачем. Но сам он так и не всплакнул. Даже на кладбище ни слезинки не обронил, стоял в стороне как посторонний. Смотрели на него отчужденно, бросая косые взгляды. Не выдержав, младший брат Мавлянбай приблизился к нему и сквозь зубы зло прошипел:

— Хоть для виду глаза послунявили бы, ака!..

Ташпулат, не отреагировав на замечание брата, подошел ближе к краю могилы. Стоя в темном провале ямы, смотрел на него заплаканными глазами дядя Наим. Кто-то развязал веревки, которыми крепился покойник на носилках. Ташпулат вместе с другими осторожно приподнял завернутое в белую кошму тело отца, развернул лицом в сторону кыблы и тихонько передал на руки дяде Наиму. Покойный был человеком рослым, широкоплечим — дяде Наиму одному справиться оказалось не под силу. К нему в яму спрыгнул Маханбай; взяв покойника с двух сторон, они расправили края кошмы. Находившийся внизу Маннон тихонько потянул покойника, завернутого в белый саван, в углубление, сделанное в могиле.

Белая кошма, белый саван — незаметно тело исчезло в черной дыре... в белом коконе белая куколка.

Спустя некоторое время из углубления донесся глухой голос Маннона:

— Да примет его аллах на том свете, обитель его просторна... Спасибо Салимбаю!..

Салимбай, копавший могилу, стоял у края.

— Это богоугодное дело, за это воздастся... — ответил он. — Аксакал праведный был человек, Маннонбай. Пусть земля ему будет пухом, о аллах, и пусть обитель его будет наполнена светом!..

— Пусть обитель его будет просторной... пусть будет... — Голос Маннона, доносившийся из глубины могилы, задрожал еще больше, словно от страха.

Дядя Наим подал Маннону один за другим три куска земли с дерном:

— Подложите их ему под голову, Маннонбай!..

Осмотревшись, Ташпулат заметил рядом с собой муллу Чары. На нем был зеленый камзол, и на голове зеленая чалма... Праведный человек.

Из всех присутствующих на похоронах только на лице муллы не выразалось удивления. Остальные же — и чужие, и близкие, и те, что были плотью и кровью Раима-аксакала, — все до единого были ошеломлены происшедшим. Скорее всего, этой внезапностью: ходил человек вполне здоровый — и вот тебе — нету!

Взглянув еще раз на темнеющее углубление в могиле, Ташпулат тяжело вздохнул. Он думал, что отец еще проживет. Мужчина он был крепкий, жилистый, до последних дней своих ездил верхом на неказистой густогривой лошаденке, понукая ее оставшейся с тех времен, когда был председателем, инкрустированной серебром камчой; не имеющий теперь должности, но гордый более, чем должностные лица, — словом, он был из тех, которые и тень свою за собой ведут. Правда, власти у него прежней не было. Все, что имел в свое время, промотал, но гордости хоть отбавляй, никого ни о чем не просил, не унижался, никому ни в чем не уступал, а сыну, Ташпулату Хайбарову, который учился в городе на «большого ученого», даже если последнее наскребет, ежемесячно посылал по сто рублей. Только раз он изменил своей привычке: как-то, оказавшись в городе по делам и увидев сына с коротко стриженной девушкой, разобиделся на Ташпулата и денег не послал, но потом опять все встало на свое место.

Но тогда Ташпулат, до конца истощив имевшийся у него капитал, отправился в Галатепе на поиски денег. Войдя во двор, он увидел сидевших в тени старого тутового дерева отца и муллу Чары. Раим-аксакал, надо сказать, вначале обрадовался приезду сына, он даже готов был встать навстречу ему, но передумал, вспомнив старую обиду и причину, по которой он целый месяц не высылал сыну денег. Потом, рассудив, что Ташпулат и приехал-то, вероятней всего, из-за денег, расстроился, но виду не подал и, сделав вид, что не заметил его, продолжил свою беседу с другом:

— Вот я, мулла Чары, за всю свою жизнь не пил, не курил, на чужое добро не зарился, и потому душа моя спокойна и некого мне бояться.

Мулла Чары, не обращая внимания на разглагольствования Раима-аксакала, повернулся к Ташпулату:

— Добро пожаловать, Ташпулатбай!

Ташпулат поздоровался с муллой Чары, затем протянул руку отцу. Раим-аксакал умилоствовался, подал в ответ руку и указал сыну, куда сесть — чуть пониже, подчеркивая свое превосходство и давая понять, что обижен на сына.

— Садись-ка сюда!

Ташпулат сел. От автобусной остановки до дома путь не близкий — ему хотелось пить, и он посмотрел по сторонам в надежде кого-нибудь увидеть и попросить принести воды, но никого не нашел.

— Мавлянбай на берегу речки, — перехватив взгляд сына, сказал Раим-аксакал. — Глину месит. Пошел бы, помог ему немного. — Голос у отца был усталый.

«Значит, Мавлянбай решил отделиться, — подумал Ташпулат. — Жена небось запилила. Я-то давно ушел, а там, глядишь, отец женит Закира — и тот уйдет. И он останется один. Рядом, правда, Ахмад, но Ахмад еще маленький, ему все равно, пока еще вырастет...»

Раим-аксакал, видать, догадался, о чем думает сын.

— Да ладно, не надо, — сказал он. — Лучше ты ему машину цемента достань. Поговоришь с Камалом, он тебе не откажет. Я попрошу — не то, ты ж понимаешь, бывшие и нынешние председатели не любят друг друга.

— Верно, — кивнул мулла Чары. — Вам и не к лицу просить, аксакал.

— Да и ты особо не проси, — сказал Раим-аксакал. — Даст — хорошо, а нет — пошел он к лешему. Я эту машину цемента хоть из-под земли достану. Ты меня знаешь!

— А Ахмад где? — спросил Ташпулат.

— С братом на речке. На два дня отпросил из школы, ничего, пусть к делу приобщается.

Ташпулат собрался было встать.

— Не спеши, небось устал с дороги-то, выпей хоть пиалу чая! — сказал Раим-аксакал.

Ташпулат залпом осушил нацеженные в пиалу остатки вяжущего, горьковатого на вкус чая и встал. Этот чай еще больше усилил жажду. В душе у Ташпулата проснулась тревога. Нет, он не боялся неприязни, отчужденности брата. Его беспокоило совсем другое — неизбежность объяснения, необходимость сказать ему, что поступает он не как мужчина.

...Зачем тебе идти на берег речки? Ну, поругаешь Ма-

вляна, хорошо, а дальше? Что это тебе даст? Пусть жена его хоть совсем запилит, пусть настраивает и точит его, как нож, против нас, чтобы терзать отца, тебя, но все равно Мавлянбай лучше. Если даже он уйдет, уйдет он всего на сто шагов, отделится, чтоб вести самостоятельное хозяйство. И все же он ближе, чем ты!

Ташпулат прошел в конец двора. Присел на перевернутое вверх дном большое медное блюдо, лежащее возле тандыра. Накаленное солнцем, оно жгло нестерпимо, но он сидел, не чувствуя ничего, кроме накапливающей в нем злобы.

— Я ничего не боюсь, — продолжал отец глуховатым голосом прерванный разговор. — Душа у меня чиста, мулла.

Мулла Чары сидел молча. Казалось, что он заснул.

— А я боюсь, аксакал, — вдруг произнес он.

— Вот вы, мулла Чарыбай, человек верующий, — сказал Раим-аксакал лукаво. — Так скажите, на том свете я кого-нибудь увижу?

— Не увидите, аксакал, — ответил, почему-то радуясь, мулла Чары. — Ничего не увидите.

— Хорошо, мулла... тогда...

— Вам легко, аксакал, вы же сами говорили, у вас своя вера. Это мне трудно...

Ташпулат, мулла и Раим-аксакал долго сидели притихшие. Наконец Раим-аксакал не выдержал, спросил:

— Это правда, мулла?

— Нет, соврал я, аксакал, — сказал мулла и хрипло засмеялся, может от обиды. — Нет, аксакал. Ничего не будет, если ни во что не верите. Без веры очень трудно. Сейчас вы тоже говорите неправду! Даже если вы не пили, не курили, чужого не брали, все равно вы тоже боитесь! Вы тоже боитесь, аксакал!..

Мулла Чары в руках с зеленым поясным платком, куда кидали комки земли, подошел к Ташпулату:

— Брось сюда, сынок, горсть земли!

Наклонившись, Ташпулат взял щепотку влажной земли из возвышающейся возле могилы кучи.

— А теперь прочти молитву, сынок, — сказал мулла Чары после того, как Ташпулат проделал положенный ритуал.

Ташпулат, шепча себе под нос, стал читать аят из Корана и тут на противоположной стороне могилы заметил

младшего брата Закира. И вдруг взор его затуманился, все стало расплываться перед глазами, и Закир куда-то исчез, испарился.

Кто-то положил голову ему на плечо. Ташпулат почувствовал чье-то теплое объятие. Это был Ахмад. У него были руки кишпачного подростка, грубоватые от трудной повседневной работы, пахнущие кизяком и сеном.

«...Среди нас он один сирота».

Он разжал кулак — земля на ладони, спрессованная пальцами, была похожа на кусочек позвонка.

«...Похоронят, истлеет тело, останутся только кости... Позвонок, похожий вот на этот, что у меня на ладони. А потом останется прах, один только прах...»

Мулла Чары, и у других собрав в платок по щепотке земли, протянул его стоявшему внизу, в могиле, дяде Наиму. Наим просунул его в темное углубление, где все еще находился Маннон. Маннон, наскоро высыпав землю на саван покойника, возвратил платок обратно и затем вылез из темной дыры.

Лицо белое как полотно, взгляд рассеянный. Ему тут же протянули касу с водой.

«...Могила узка, потолок словно давит тебе на плечи...»

Маннон слишком резко выпрыгнул из могилы, что даже покраснел, и воровато огляделся по сторонам, не увидел ли кто. Но никто не обратил на него внимания. Облегченно вздохнув, он подошел к стоявшему у края могилы Ташпулату, взял его за локоть и сказал:

— Крепись, парень!..

Хайбаров отодвинулся.

К краю могилы подтащили огромный камень. Якуппалван спустился вниз, чтобы вместе с дядей Наимом и Маханбаем закрыть камнем темную дыру. Сверху им протягивали дерн, чтоб замуровать.

— Задельвайте как следует, чтоб обратно не вылез!..

От этих слов Ташпулата передернуло. «Кто это мог сказать? Ведь и другие это могли услышать, — испугался он. — Может, я ослышался?»

«...Сказали тихо, тихонько, чтоб никто не услышал. А может, и не говорили вовсе. Неужто мне это послышалось?..

...Нет, я бы такого не смог сказать. Это сказал злой человек».

Оглянувшись, заметил стоящего поодаль Турдыкула

и все понял. Вероятнее всего, это сказал Турдыкул. Он всю жизнь ненавидел Раима-аксакала. Собирая в круг всю семью, при детях принимался бранить Хайбарова-старшего. Раим-аксакал убил его отца Панджи. Так считает Турдыкул. А на самом деле его отца убил не Раим-аксакал, а Ачил-мудрец. Но Ачила-мудреца никто во внимание не берет. Ачил-мудрец на вид хоть и неуклюжий, но ужасно вспыльчивый. Его легко можно было подбить на любое дело. Говорят, будто Раим-аксакал заманил Панджи и Ачил-мудрец выстрелил в него. Будто бы, когда Панджи-вор, убегая, пытался перелезть через забор, Раим-аксакал не спеша снял с луки седла свое ружье и спросил: «Стрелять мне в него, мудрец?» Ачил, услышав свое прозвище, преобразился на глазах и взволнованно воскликнул: «Оставьте, хозяин, я сам его проучу!»

Вот такой Ачил-мудрец был глупый человек. Ничего не соображая, он выхватил пятизарядку из рук Раима-аксакала и выстрелил в Панджи. То ли в порыве гнева он это сделал, то ли он чего-то испугался, то ли еще чего, но, словом, в кишлаке считали, что Панджи-вора убил Ачил-мудрец.

Потом он хвастался: «Это я бабахнул из ружья!.. У Раима душа оказалась слабая... Когда Панджи перелезал через забор, я выхватил из рук Раима пятизарядку да как шарахнул!..»

Слушая Ачила-мудреца, Раим-аксакал улыбался. А вообще, Панджи-вор никуда не убежал, его убили, когда, арестованного, со связанными сзади руками, вели по улице. Это потом придумали, что он был застрелен во время бегства. Приехавший из Каттакургана следователь, осмотрев тело убитого, сказал: «Нет, чудак, у убитого опалены на затылке волосы, в него стреляли со спины». Убийцу так и не нашли. Но дело кое-как уладили. Ачил-мудрец за то, что все для него хорошо обошлось, и затем Раим-аксакал устроили угощение, словом, замяли это дело. Панджи-вора и раньше два раза арестовывали и увозили в Каттакурган, но оба раза он благополучно возвращался домой. И каждый раз, возвращаясь, он убирал по два человека. И все сходило ему с рук. Если бы и на этот раз сбежал, еще бы двоих убил: Раима-аксакала и еще кого-нибудь...

Что теперь гадать? Во всяком случае, он Ачила-мудреца не тронул бы — Панджи его совершенно не опасался, людей такого типа, как Ачил-мудрец, суетливых

и взбалмошных, он и в грош не ставил. Если бы он тогда ушел, то отомстил бы Раиму-аксакалу и своей тетке. Это тетка продала его Раиму-аксакалу. Припрятав ворованное им золото у себя, она выдала Панджи-вора Раиму-аксакалу.

Позже Ачил-мудрец неоднократно предпринимал попытки жениться на тетке Панджи-вора, Айпарче, но она не удостоила его даже вниманием.

Ей больше, чем муж, нужно было золото, что она успела припрятать. Если уж на то пошло, она не нуждалась в муже. В любовниках у нее ходил молодой Хуччи-табунщик. Оставив пастись свой табун в степи, он ночи проводил в ее объятиях — на кой черт ей этот Ачил-мудрец? Золото душу согревает, жизнь продлевает. Сейчас старухе Айпарче уже за восемьдесят. Годы согнули ее немало, но она еще крепкая, не сдается; ладно, пусть хоть она усохнет вся и скрючится, но еще доживет до ста лет, а там и до двухсот!..

«...Ох и сладкая штука жизнь, сынок. Испугался я тогда. Вернется, думаю, Панджи, пальнет в меня из-за угла — и конец. Что делать? Единственный сын я у родителей. Старенький отец, старенькая мать. Ничего не придумал... Панджи-вор многое повидал в жизни. А у меня — никого. Убьют — угаснут, словно свечи, мать и отец. Никто моего имени даже не вспомнит... А у Панджи вон какая семья, детей куча, есть кому продолжить род. Вот потомки его и ходят ныне вокруг, меня проклинают, желают, ждут моей смерти. А ему за все его дела отомстили. Я оказался прав, сынок, и не жалею. В этом мире выживает тот, кто умеет предотвратить зло!..»

Постарел Турдыкул — седина в бороде появилась. Да и из-под чалмы выбиваются седые пряди. Стало быть, долго он ждал. И вот сегодня праздник у него на душе, свершилось то, чего так долго ждал. Раима-аксакала больше нет. Но напрасно Турдыкул сказал те слова. Ой, напрасно. Ведь Раим-аксакал и так не вылез бы обратно из могилы.

Турдыкул тут не виноват, его научили. Рано остался сиротой, ничего не видел, многого не понимает. Да, научили его. Детей постоянно учат чему-нибудь. Ташпулата тоже в свое время учили. Когда он был маленьким, то, останавливая прохожих, каждому предлагал: «Хоти-

те, свою мать в жены отдам?..» Кому-то это, значит, было забавно, раз учили. Отец его, Раим-аксакал, сидел тогда в тюрьме, родственники все куда-то поскрывались, в огромном доме только двое малышей да бедная, беззащитная мать; кто-то его научил, и совсем маленький Ташпулат, выйдя на улицу, предлагал в жены свою мать каждому встречному мужчине. Люди смеялись. Кто похваливал, похлопывал по плечу: «Молодец, настоящий мужчина!» А кто отчитывал, объясняя, что не следует так говорить, но при этом улыбка не сходила с их лиц.

Как-то его узнал проезжавший верхом по улице Галатепе Халбазаров-раис, председатель соседнего колхоза, старый друг Раима-аксакала; услышав, что выкрикивает молокосос, со злобы стеганул мальчишку по плечу нагайкой.

— А ну замолчи, собачье отродье! Язык вырву, если еще услышу!

Потом подхватил ребенка под руки и, усадив Ташпулата перед собой на луку седла, подъехал к калитке. Под всадником резвый степной жеребец, и сам красив, с пышными усами, глаза горят от гнева, вид устрашающий. Наклонясь над дувалом, крикнул во двор что есть мочи:

— Забери своего выкормыша! Или, как только Раим ушел, ты сама его этому обучила, сучка?!

Мать испугалась. Так и не вышла...

...Темное углубление внизу замуровали, и могильщики стали лопатами забрасывать яму. Ташпулат, чтоб не мешать, отошел в сторону и встал рядом с братьями, Закиром и Мавлянбаем. Кто-то подал Ахмаду лопату, и тот молча принялся за дело вместе с другими. Работал он споро, — пока другие лопатой раз махнут, Ахмад успевал кинуть две. Он был всегда быстрым в работе, но сейчас, когда хоронили отца, мог бы и не спешить. Глаза его застилала слезы, он ничего не видел. Подошел Закир и легонько ударил брата по руке. Ахмад поднял на него удивленный взгляд, понял, в чем дело, и покраснел (все еще ребенок!); тяжело вздохнув, попятился назад, подальше от людских глаз.

Потом все присели на корточки вокруг могильного холмика, на вытопанной вокруг пожухлой траве. Читал Коран мулла Низам.

Все кончилось. Разрубили носилки, на которых несли покойника.

Сломали все до единой палочки. Носилки были изготовлены из тополя — легко ломались. Эти тополя посадил его старший сын Ташпулат. А ухаживал, поливал их обильно младший сын — Ахмад. Было это шесть лет назад. Ахмад тогда был маленьким — лет восемь, кажется. Втыкая в землю небольшие тоненькие прутики, они мечтали о деревьях, которые вырастут до неба. Вот из этих тополей сегодня и соорудили носилки. А теперь их ломают. Лучше пусть их сломают, чтоб больше они не пригодились.

Носилки сломаны. Теперь их нет. Теперь никто не умрет. Теперь пусть никто не умирает!..

Десять шагов, двадцать, тридцать... Все в молчании.

И вдруг, нарушив стоявшую тишину, раздался громкий голос муллы Чары:

— Правоверные, каким человеком был Раим сын Хайбара?

Стройный хор голосов ответил:

— Хорошим он был человеком! Хорошим человеком! Да благословит его аллах!

Мулла Чары воровато оглянулся назад, на могилу.

...Неужели он и впрямь верит в бога? Говорят, что стоит покойника предать земле и удалиться смертным, как к нему в могилу спускаются ангелы Мункар и Накир и подвергают его допросу: «Кто ты?.. Кто твой создатель?.. Кто твой пророк?..»

— Пусть его место будет в раю, — тихо сказал мулла Чары.

...Замаливает грехи перед отцом. Он ненавидел отца пуще черта: уж очень многое знал аксакал о мулле, теперь остался без противника. И некуда больше податься, и не с кем поспорить. Вот и переживает, сожалеет о его смерти...

Кто-то потянул Ташпулата за рукав. Маханбай, школьный товарищ.

Сегодня в полдень он вошел к ним во двор, громко рыдая, вытирая слезы большим платком с бахромой — наверное, у жены взял, — долго стоял в скорби, склонив голову возле окна комнаты, в которой лежал покойник. Незнавшие думали, что это сын Раима-аксакала. Маханбай, видя, что Ташпулат и слезы не проронил, прогнал его от окна со словами: «Иди, приятель, сердце у тебя окаменело, постой у ворот, как-никак ты старший сын...» Ташпулат вынужден был пойти к воротам, где толпились родственники и друзья. Приехав из города, Ташпу-

лат впопыхах забыл развязать галстук, кто-то на ходу набросил ему на плечи чапан и снял с него галстук. До него потом только дошло: неужто так и ходил в галстуке, даже когда узнал о смерти отца?

Конечно, галстук он надел раньше, чем до него дошло это страшное известие. А когда узнал о случившемся, ему уж было ни до чего. Всю дорогу тешил себя надеждой застать отца в живых...

— Вижу, устал, сел бы в машину, — предложил Маханбай.

Ташпулат покачал головой. Маханбай махнул рукой водителю красных «Жигулей», остановившемуся шагах в десяти от них, и тот, хлопнув дверцей, медленно тронулся с места. Маханбай пошел рядом с другом. Он тоже выглядел усталым, пухлые губы обветрились и потрескались. К ним присоединился Закир. Так, втроем, они медленно протискивались между легковых машин, тракторов с прицепами к воротам кладбища. Уже у выхода Ташпулат оглянулся назад, но могилы отца отсюда не было видно...

Народу на кладбище собралось много. Некоторые из тех, что не поместились в машинах, перелезали через невысокий забор кладбища, чтоб сократить путь до дома Хайбаровых.

Шли по тропинке. Эту тропинку Ташпулат знал с детства. Даже там, в городе, он часто вспоминал эту тропку.

В частности, он вспоминал, как в далеком детстве, растянувшись цепочкой, они ехали по этой тропе. Впереди, на коне с перекинутым через седло белым бараном, — дядя Наим, следом, на черном ослике, — тетушка, точнее, старая тетя Раима-аксакала, которую отец терпеть не мог за то, что она четырежды была замужем и на старости лет жила у зятя, а не у сыновей. Так вот, маленький Ташпулат сидел у нее за спиной, крепко обняв тетушку, чтоб не упасть; за ними — мать, другие путники — пешие, конные; высохшая после теплых весенних дождей тропка, окаймленная густой травой с разбросанными по ней желтыми цветами гусяного лука, казалась нескончаемой. По сторонам возвышались холмики, покрытые мягким зеленым ковром. Они, большие и чуть поменьше, казались маленькому Ташпулату очень странными. «Что это?» — робко поинтересовался он у тетушки. И она стала объяснять, показывая рукой: «Вот то — просто трава, а те желтые цветы — гусяный лук, которым с удоволь-

ствием лакомятся ягнята, а вот то — лопухи, они очень похожи на торчащие ягнячьи ушки, пока маленькие, а вырастут, становятся большими, лопухими и висят, как у овец». Тетушка не стала говорить почему-то про холмики, и Ташпулат переспросил. И тогда тетушка вздохнула и произнесла: «Под каждым холмиком лежит человек, дитя мое». У Ташпулата от жалости к этим людям и страха защемило сердце. Он огляделся — увидел зеленую травку, цветы и подумал, удивляясь: «Столько травы, столько цветов, такое голубое бездонное небо с белыми облаками и столько красоты вокруг, а люди прячутся под холмиками?..»

Все вернувшиеся с кладбища собрались в доме Раима-аксакала. Женщины снова подняли плач. Голоса усталые, хриплые, они с утра уже выплакали все слезы. Теперь каждая думала о том, когда же наконец стемнеет и по традиции можно будет развести огонь в очаге, чтоб приготовить вечернюю еду в доме для поминовения духа усопшего. А пока кто из соседей готовит шавлю — рисовую кашу, а кто плов, словом, хлопот полон рот. Среди плакальщиц особенно голос старухи Анзират выделяется, плачет, обливаясь горячими слезами:

— И на кого же ты меня покинул, мой господин?!..

Уж много лет прошло, как Раим-аксакал бросил Анзират. Лет сорок, а может, и поболее. Старуха Анзират за столько лет впервые плачет. Искренне ли плачет, по долгу ли плакальщицы — сразу и не поймешь.

Старуха Анзират была близка к покойнику: одновременно — и дочь его дяди, и первая жена. Брошенная им, она так больше и не вышла замуж. Вначале никто к ней не сватался, опасаясь Раима-раиса, а позже, с годами, когда Раим «слетел с седла», сама Анзират уже привыкла считать себя бывшей женой Раима-аксакала. Несмотря на то что после Анзират Раим-аксакал трижды был женат, все его жены почему-то побаивались Анзират. Она, как и прежде, приходила в дом Раима-аксакала на свадьбы и на поминки, приглашала его к себе, когда собирались у нее гости; придет — вроде не выгонишь; пригласит — неудобно отказать.

Анзират, пока была замужем за Раимом-аксакалом, родила ему двух сыновей. И обоих тиф скосил. Потом и двух дочерей — обе живы-здоровы, повыходили замуж, нарожали детей.

Давая развод Анзират, Раим-аксакал поклялся больше не видеть ее. Можно человека не видеть, но попробуй

забудь его! Все равно вспомнишь. Да и как не вспоминать, когда она у тебя не только крепко в душе засела, но и перед глазами стоит: восемнадцать лет, длинные черные косы, а глаза... Трудно забыть, как, дрожащую от страха и нежности, ты прижимал ее к горячей груди... Такое не забывается! От безысходности оседлал ты злобу, проклинаешь на чем свет стоит — но бесполезно!

Не злобивая, искренняя, наоборот, она с каждым годом еще больше выказывала ему свое почтение, не осрамила его перед другими, выйдя за другого замуж, а за глаза величала его «мой старик». Вначале молодая была, тогда с обидой и с иронией называла его «стариком», а позже, когда Раим-аксакал постарел и Анзират сама уже стала немолодая, так и осталось в привычке звать его «стариком». Может быть, по этой причине многие не верили, что Раим-аксакал развелся с Анзират. Может, по этой причине ни одной из последующих жен Раима-аксакала так и не жилось счастливо с ним.

«...Было у меня два сына, мулла, и оба рано ушли из жизни; потом еще раз женился, и от нее у меня еще родился сын. Первая, разведенная со мной, жена прислала к нам одну из дочерей — под предлогом прогулять своего братика. Увела дочка братика со двора. А когда я, выяснив свои отношения с Халбазаровым-раисом, возвратился домой, мальчик лежит в постели, ни ручками, ни ножками не шевельнет. «Что с ним случилось? — гадаю. — Простудился? Или еще что?» Послал за знахарем. Пришел знахарь, осмотрел и сказал, что мальчик ушиб голову. Девчонку, дочку свою, спрашиваю: «Что случилось?» Та в рев. «Не знаю, не трогала я его, ничего с ним не было, не толкала...» Да и я не поверил: ушиб, говорят, парень голову, а никаких следов, ни синяков, ни ссадин. Мулла Данияр молитву прочитал — не помогло. К утру скончался. Да и жена моя после этого недолго протянула, с тоски и горя угасла. Похоронили мы их в разных концах кладбища. Было у меня желание положить мальчишку рядом с матерью, но о людях подумал. Сами знаете, мулла, таков обычай предков: он как-никак еще ребенок, а у взрослого человека и грехов побольше — вот поврознь и хоронят. Теперь вот я жалею, что так поступил, мулла, тогда у меня еще какой-то авторитет был: назову козу верблюдом — верили. Да и у жены моей покойной грехов-то почти не было — мягкая, добрая была женщина, не вынесла она смерти своего сына.

Похоронил я малыша, похоронил я мать его и, выдержав, по обычаю, положенный срок, женился снова; вот теперь, слава богу, растут у меня дети, но, если говорить по правде, мулла, осталась у меня в душе какая-то неудовлетворенность! Да простит меня бог, но неудовлетворенность моя с каждым днем все больше и больше, будто душит изнутри!»

Раим-аксакал своих сомнений никогда открыто не высказывал. Это потом Ташпулат от своей матери узнал: в кишлаке ходили слухи, что девочка, уведя братика гулять со двора, вонзила ему в темечко иголку.

Ташпулат тогда не поверил этому. И даже переспросил:

— А может, кто научил ее, мам?

— Никто ее не учил, сама догадалась, сестра твоя с детства была ведьмой.

Ташпулат все равно не поверил. Но с тех пор стал остерегаться сводной сестры.

Подоспело время, и Мавлянбая решили женить. Перед самой свадьбой, когда шились наряды жениху и невесте, Гайбаров, увидев в руках сестры пяльцы с иголкой, тихонько, чтоб услышала только она, зло произнес:

— Осторожно, сестра, как бы ненароком ты не уколола кого...

И молча наблюдал. Но ни один мускул на лице не дрогнул у той. Может, все, что он слышал, — ложь? А может, со временем она обо всем забыла?..

Подозревать в чем-то старуху Анзират он просто не мог. Анзират давно смирилась с участью брошенной жены. А случай с братиком произошел много позже.

Как-то мулла Чары поинтересовался у Раима-аксакала:

— Честно признайтесь, аксакал, вы нисколько не жалуете, что бросили Анзират?

Раим-аксакал сердито посмотрел на муллу — не любил он, когда его спрашивали о женах.

— Нет, — ответил он, чуть помедля. — А чего мне жалеть! Если бы братья ее мне не перечили, еще куда ни шло, но они опозорили меня, тогда я и развелся...

Ташпулат знал, что это было не так. Не таким уж он был наивным, Раим-аксакал, каким прикидывался, чтоб из-за своих отношений с шуринами отомстить их сестре. Так что же послужило причиной?..

Ведь были у них две дочери. Но Анзират ведь еще была молодая, нарожала бы ему еще столько, сколько он хотел. Как тут понять? Сегодня старуха Анзират плачет горше всех, то ли от того, что Раим-аксакал бросил ее сорок один год назад, то ли из-за того, что жизнь бесплодно и бесцельно прожита, а может, просто для виду...

...Или она действительно любила отца?

Старуха Анзират пришла к ним в дом за три дня до смерти отца, но ее не впустили к умирающему больному. Она прибегала и вчера. Сердцем чувствовала: остались Раиму считанные дни. Накинула на голову платок и снова прибежала, а ей сказали: «Зачем пришла, ты теперь чужая ему...»

Как же не обижаться старухе Анзират? Тетку, которую всю жизнь не выносил Раим-аксакал, не прогнали, она сидела словно каменная у постели больного до его последнего вздоха, а ее, Анзират, первую жену Раима-аксакала, так и не впустили к нему!

Кто знает, может, Анзират всю свою жизнь, по крайней мере в последние часы расставания, мечтала быть рядом с ним? Может, из любви к нему она так и не вышла замуж?

Одиночество, столько страданий и неудовлетворенных желаний... Неужели все это впустую?

Плачь, Анзират, плачь — тебе это к лицу...

Мир, когда нет друга, который мог бы утешить тебя, — вечная мука.

Сердца наши становятся немые и глухи!

Немые и глухи!

Плачь, Анзират, плачь!..

Подошел Маханбай, встал рядом с Ташпулатом. Закир, Ахмад, племянники, родственники и друзья, человек пятнадцать, собрались у окна комнаты, где долгие годы жил Раим-аксакал. Дом полон женщин, молодых и пожилых. Угол в комнате, где обмывали покойника, пуст, остались лишь принесенные обмывальщиками две доски, на краю одной из них коптит масляный светильник... В глубине комнаты тетушка, старуха Анзират, другие женщины... плачут вразнобой. Каждая выливает свою печаль, свою боль. Причитая, Анзират добрым словом поминала Раима-аксакала...

Горя и страданий в этом мире на всех хватит. Подоспели опоздавшие.

Пожилая женщина приятной наружности долго вглядывалась в Ташпулата, а узнав, бросилась на шею и зарыдала. Плакала, содрогаясь всем телом. Чапан на плече у Ташпулата промок почти насквозь, и он достал из кармана платок, но женщина покачала головой: нет-нет, она не собирается вытирать лицо, она еще будет плакать, пока не выплачется. Ташпулат только теперь узнал ее: лет двадцать назад эта кареглазая женщина, дальняя родственница отца, приезжала к ним погостить; уезжая, она забрала Ташпулата к себе в кишлак. У нее был сын, кажется, его ровесник. Однажды они вдвоем в поисках воробьиных гнезд взобрались на старый тутовник, а слезть не смогли, так и сидели, ревя на дереве, пока их вечером не снял с верхотуры возвращавшийся с пастбища пастух.

Ташпулат повернул голову: рядом, опустив глаза, стояла дочь этой родственницы, миловидная женщина лет двадцати семи. Она подняла голову. В глазах любопытство — от печали нет и следа.

Молодая женщина тоже вспомнила его.

Ее мать постоянно твердила: «Ташпулатджан, дочь свою за тебя отдам! Даже если сын падишаха придет сватать, откажу. Только за тебя отдам!»

Ташпулат, тогда еще мальчишка, злился, не хотел брать в жены дочь этой женщины. Но девочка почему-то не возражала, так, по крайней мере, ему казалось; она стояла с множеством косичек и улыбалась, нежно поглядывая на «жениха». Она и сейчас смотрит на него в точности так же.

Кивком ответив на ее приветствие, Ташпулат пошел в дом. Пожилая женщина все еще продолжала плакать, а дочь стояла, с удивлением глядя вслед ему.

...Они давно не виделись. Они уже забыли друг друга. А сегодня приехали. Вот горе и объединило их. В доме плач, причитания... Потом они уедут, и мы навестим их... Так опять будут восстанавливаться родственные связи.

Под яблонями было много народу. В тени деревьев расстелили два больших ковра. На самом почетном месте — Соат-конюх, рядом — Мавлянбай и мулла Чары, тихо, задумчиво принимают соболезнования. Увидев брата, Мавлянбай встал, уступив ему место. Ташпулат, не снимая туфель, откинул угол одеяла и присел к краю. Соат-конюх, посвящая ему, повторил суру из Корана. Все соединили ладони для благословения.

— Все мы смертны, — вздохнув, произнес конюх. — Бог дал душу, сам и забрал.

Те, что пришли на поминки пораньше, стали расходиться. Их места быстро занимали вновь прибывшие. Посреди дастархана на подносах лепешки, конфеты, чай... Чтение молитвы, кусок лепешки, глоток горького зеленого чая, вот и весь ритуал; потом снова молитва и снова соболезнование: все мы смертны, все в этом мире смертно.

Когда народу чуть поубавилось, Соат-конюх придвинулся к Ташпулату и, как бы утешая, заговорил:

— Все мы умрем, домла Ташпулат. И деды и прадеды наши умерли. Самым великим из четырех праведных халифов был Али, два сына было у него — имам Хусейн и имам Хасайн.

— Хасан, — поправил его Ташпулат. — Его звали Хасаном, а не Хасайном.

— Когда сыновья его умерли, Али очень горевал, — не обращая внимания на замечание Ташпулата, продолжал конюх. — Выразить соболезнование пришел к нему праотец наш Адам и сказал: «Не печалься, Али, смерть нам в наследство от отцов осталась...»

— Может, он сказал: «От меня в наследство осталась»? — спросил прислушивавшийся к разговору мулла Чары.

— Да, точно, он сказал: «От меня в наследство осталась».

— А разве отец Адам не умер раньше халифа Али? — ехидно улыбаясь, спросил мулла Чары.

Соат-конюх обиделся:

— Так уж трудно ли ему, да будет над ним мир, снова воскреснуть?

— Трудно, — продолжая скалить зубы, сказал мулла Чары. — После того как кто-либо умирает, лежит недвижно до дня страшного суда.

Соат-конюх насупился.

— Вы не ставьте под сомнение всемогущество бога, Чары, — ответил он. — Нет границ его могуществу.

— А вы бы поменьше вразили, Соат-бай! — сказал мулла Чары.

— А может, правду от вас послушаем, а? — не сдавался Соат-конюх.

— Это длинная история, — сказал мулла Чары. — Сначала бог сотворил землю, семь слоев неба, ангелов и в конце только человека, как вы сказали, отца Адама...

Потом, когда все это было создано, бог отправил на землю Джабраила. Джабраил взял горсть земли и собрался снова взлететь на небо. Но земля вдруг застонала: «Зачем ты отрываешь кусок от моей плоти?» Не выдержав ее причитаний и жалоб, вернулся Джабраил к создателю ни с чем. Потом бог послал на землю Мекоила, и с ним тоже повторилась та же история. И тогда бог послал вниз Азраила, который и принес всевышнему горсть земли, несмотря на крики и стенания. Бог замесил глину, вылепил из нее подобие человека, вдохнул в него жизнь, снова позвал Азраила и спросил его: «Как тебе удалось принести мне эту горсть земли?» Азраил ответил: «Как ты учил: спустился на землю, взял земли, и земля закричала от боли, но я, не обращая на это внимания, доставил эту горсть тебе». Услышав ответ Азраила, бог задумался: «Нехорошо получилось, Азраил. Мы никому не должны приносить страданий. Теперь, Азраил, раз земля переживала и возмущалась, что от нее оторвали кусок, ты вернешь ей то, что взял!..» Услышав это, Азраил завопил во сто крат сильнее, чем земля, но бог был непреклонен. Сказанное создателем не подвергается сомнению. Вот так-то, достопочтенный Соат, человек, созданный из горсти земли, опять превращается в прах...

— Одобряю, одобряю, — проворчал Соат-конюх. — Неплохие у вас знания, Чары. Знать, сильны были учителя в медресе, в котором вы обучались.

Мулла Чары, почему-то злясь, побелел как полотно, губы его задрожали, и он ядовито сказал:

— Это знать надо, Соатбай! При чем тут мои учителя! Это знает и осел, если ему чалму на голову повязать.

Конюх как ни в чем не бывало улыбнулся.

— Преклоняюсь перед муллой, который не кичится своими знаниями, — сказал он иронично.

— Кто вам сказал, что я мулла?

— Так кто же вы, если не мулла?

— Просто человек, — ответил мулла Чары. — Уж вы не прикидывайтесь дурачком, Соатбай!

— Все мы будем муллами, — заключил Соат-конюх. — У нас в Галатепе до пятидесяти все люди как люди, а потом всех как подменяют — мужчины становятся муллами, а женщины — гадалками. Говорят, однажды некто, выпив бузу, палил из ружья в небо, требуя подать ему бога! «О боже, если ты есть, спустись на землю, поговорим с глазу на глаз!» Этого человека господь сам наказал — через какое-то время ему скривило рот.

— Это скорее от страха,— сказал Ташпулат.— Не бога испугался, а самого себя.

— Тот человек — неверный, вероотступник, настоящий нечестивец,— проворчал конюх.

Мулла Чары плутовато улыбался.

— Вероятно, у него были и другие грехи,— сказал конюх.

Ташпулат понял, что, сам того не желая, льет воду на мельницу Соата-конюха, который готов обвинить муллу Чары в невежестве, как человека, не знающего историю сотворения отца Адама. Когда Соат мальчишкой работал конюхом в колхозе, мулла Чары, будучи на фронте, попал к немцам в плен, притворился муллой и стал у врагов заниматься богослужением. Рассказывают, обер-мулла господин Чары допрашивал пленных: «Кто ты? Кто твой бог? Кто твой пророк?» Как Мункар и Накир!.. «Ну-ка, прочти мне суру из Корана! Вспоминай скорее, а то тебя ничем не отличишь от бухарского еврея, вы оба обрезаны. А ты, еврей, выродок мусы, говори по-таджикски, выдавай себя за таджика, останешься жив!»

Обер-мулла господин Чары готовил пленных мусульман к службе «Свободному Туркестану» чокаевых, хаитов и прочих предателей. Несладко пришлось там ему, но все же выжил.

Уж много лет прошло, как мулла Чары перестал верить в бога. Человек, однажды побывавший в аду, уже не хочет никакого рая.

У муллы Чары был единственный собеседник, с которым он был откровенным,— Раим-аксакал. С другими он дружбу не водил. Другие и сами сначала побаивались с ним общаться: как-никак человек с темной биографией, у немцев муллой прислуживал, потом лет десять отсидел... Один Раим-аксакал не отвернулся от него. Раим-аксакал был человеком смелым, правда, любил немного прихвастнуть: он даже нарочито подчеркивал, что не боится водить дружбу с таким человеком, как мулла Чары. И тем не менее близко к себе не подпускал, держал на расстоянии. Это потом, когда он «слетел с седла», отношения их стали более близкими. Мулле Чары и этого было достаточно. Мулла — лиса. Он знал слабости Раима-аксакала и заводил разговор с ним непременно о «невинных жертвах, о несправедливо пострадавших». В такие минуты Раим-аксакал весь уходил в себя, сидел притихший. В жизни много пришлось повоевать

и с Панджи-вором, и Мамадали-сотником, и Акбаша-басмачом, и со многими другими... Да, немало было пролито крови. Но все это теперь осталось где-то далеко, в овеванном легендами революционном прошлом.

Позже вроде бы муллу Чары реабилитировали. Его после войны разыскал сапожник Мекоил, которого мулла Чары якобы спас в плену от смерти. Он встретил своего спасителя в Галатепе и потом каждое воскресенье стал приезжать в кишлак и даже открыл на базаре свою мастерскую. Ремонтируя обувь заказчика — в одной руке молоточек, в другой шило, во рту приготовленные гвозди, — каждому рассказывал:

— Мулла Чары настоящий человек, и меня, и других он от смерти спас!

Хорошо, что у них в кишлаке появился Мекоил. Теперь уже муллу Чары не избегали, как раньше. По воскресеньям мулла Чары, захватив с собой Мекоила, являлся к Раиму-аксакалу. Теперь мулла был не один — рядом живое подтверждение его благих дел. Мулла сидел молча, благообразно скрестив руки на груди, а Мекоил-сапожник в который уже раз — и как он только не устал? — рассказывал подробно о своих злоключениях в плену.

При виде их Раим-аксакал сидел смирный, испытывая чувство стыда от того, что, имея здоровые руки и ноги, он так и не был на фронте, не погиб, как многие, ушедшие из их кишлака, или, по крайней мере, хотя б, как эти двое, не попал в плен, чтобы потом рассказывать о том, как был на войне.

А то, что его оставили в колхозе председателем, руководить крупным хозяйством, учитывая его прежние заслуги в борьбе с басмачами, — все это казалось ему теперь лишенным оснований. «Твое место было там! Лучше бы ты не вернулся, но твое место было там...»

Муллу Чары хитер. Он читал мысли Раима-аксакала, как по бумаге...

Оба они — и мулла Чары, и Соат-конюх — почему-то раздражали сейчас Ташпулата.

— Народу стало поменьше, — сказал он. — Оба вы устали.

Муллу Чары не проронил ни звука. Он почувствовал, что Ташпулат злится на них за этот разговор.

— Я не устал, Ташпулат-домла, — ответил Соат-конюх. — У меня еще хватит сил два дня подряд читать Коран.

— Остальные молитвы прочтете на других поминках, — сказал Ташпулат.

Эти слова Ташпулата вызвали досаду у Соата-конюха. Поманив рукой стоявшего невдалеке дядю Наима, он обиженно сказал:

— Вот гонят меня, Наимбай! Я не по своей воле просяживаю здесь целый день, вы же сами попросили.

Дядя Наим взглянул на племянника, затем на Соата-конюха.

— Что вы, Соатбай, — сказал он. — Да кто посмеет вас гнать?

— Вот он, старший сын покойного аксакала, позволил себе это! — ткнув пальцем в Хайбарова, обиженно произнес конюх.

Дядя Наим укоризненно покачал головой.

— Пусть уходят, — буркнул Ташпулат. — А нужно будет, молитву сами прочтете, отпустим их обоих.

— Я не знаю Корана, — сказал Наим-амаки.

— Тогда я сам прочту. Они устали.

— Сначала следует совершить омовение, домулло, — съязвил Соат-конюх. — Только после омовения можно читать Коран!

Эти слова вконец вывели из себя Ташпулата, и он гневно посмотрел на сидящего справа Соата-конюха.

— Хотите ударить? Пожалуйста, бейте! — распетушился конюх. — Бейте, если не уважаете хотя бы мой возраст. Не зря в народе говорят: плохой сын всю воду мутит и народ баламутит. Всех взбаламутили! — Схватив лежавший на краю скатерти узелок, приготовленный для него, Соат-конюх вскочил с места.

— Успокойтесь, не горячитесь, Соатбай. — Дядя Наим-амаки, схватив конюха за руки, усадил его снова на место.

— Садитесь, Соатбай, — улыбнулся мулла Чары. — Без вас поминки не поминки. Не оставляйте меня в одиночестве.

— Ташпулат слегка устал, Соатбай, — сказал Наим-амаки. — Вы сами понимаете, такое горе... Пусть он сам немного отдохнет. Шайтан его попутал. Вы уж простите, Соатбай.

Все с сочувствием посмотрели на Ташпулата.

Вечером вся семья собралась за дастарханом. Сидели молча. Никто так и не притронулся к еде. Закир налил

в пиалу чая и подал сначала старухе Анзират, затем брату.

— Может, Ахмада позвать, Ташпулат-ака? — тихо спросил он.

— Не надо...

Ахмад помогал Мавлянбаю. Оба занимались размещением на ночлег дальних родственников и друзей, прибывших на поминки. Утром Ахмад пригнал из отары барана. Теперь его надо резать, ставить большой казан... дел хватает...

Вошел Мавлянбай. На ногах тяжелые кирзовые сапоги, глаза опухшие, красные. Пройдя по ковру прямо в сапогах, плюхнулся на курпачу рядом с Ташпулатом. Торопливо выпив пиалу чая, тут же поднялся с места. Выходя, оглянулся, с упреком посмотрел на Закира:

— Как же ты, врач, не углядел за отцом?..

— Ничего не смог сделать... — плаксивым голосом сказал тот.

Ташпулат не упрекал брата. Он только хотел знать, как умирал отец. Что поделаешь, тяжело думать об этом, но знать хотелось. Спрашивать у брата было неловко. Бедный Закир особенно переживает. Потому что был рядом с отцом и ничем не смог помочь ему. Сейчас все, кроме Ташпулата, знают подробности... Издревле так повелось: возвратившись с похорон, люди начинают вспоминать, как умирал покойный, что делал, что сказал в последний свой час...

Хотя Раим-аксакал уже много лет жил бобылем, трудно было представить, чтобы в Галатепе люди оставили человека при смерти одного. Кто-то обязательно окажется в это время у его изголовья, у смертного одра, закроет его глаза, подвяжет подбородок, а потом, уняв страх, станет сочувственно рассказывать, как все происходило.

— Я не мог ничем ему помочь, — повторил Закир, опустив голову. — Я и не подумал, что он умирает. Слишком поздно это до меня дошло. Я тут же сделал ему укол...

Ташпулат еще ниже опустил голову.

— Не мучился? — спросил он.

— Нет, Ташпулат-ака... Я и лекарство с собой привез, думал, все теперь обойдется... Странно, ака, вы спрашиваете. Какое это теперь имеет значение? В общем, я в этом виноват, Ташпулат-ака.

— Не казни себя, Закир, не надо.

Закир достал из кармана коробочку с лекарством и протянул таблетку брату:

— Выпейте вот это, Ташпулат-ака, вы устали.

Ташпулат недоверчиво посмотрел на Закира.

— Снотворное, что ли? — спросил он. — Сегодня меня усыпите, а завтра только об этом и будете говорить? Потом всю жизнь будете меня попрекать: мол, спал как убитый, когда умер отец!

— Устыдитесь, брат!.. — взмолился Закир.

— Зачем тогда мне все это рассказываешь?.. — раздраженно сказал Хайбаров. — Прямо так и скажи: отец умер, я ничего не мог сделать... зачем же?.. Если вам совестно за меня, за мой поступок, так и скажи. Я вообще не буду показываться на глаза людям...

— Вы сами знаете, брат, что без муллы не бывает поминок... — Закир наконец понял состояние брата. — Сами же знаете! Не мне вам объяснять! Вы самый старший среди нас, и отец вас больше всех любил.

— Теперь его нет!..

Закир тяжело вздохнул.

— Да ладно, оставим эти разговоры, — сказал Ташпулат. — Я немного вспылил, Закир... Лучше налей матери чаю.

Молча слушавшая разговор братьев, старуха Анзират вдруг растрогалась. Она неслышно подошла с другого конца комнаты поближе к ним и, положив руку на плечо Ташпулата, захныкала:

— Брось, сынок, ты его не обижай, ты теперь сам вместо отца им. Они еще молоды, им трудно будет, если ты их уму-разуму не научишь...

— Не огорчайтесь, мать, какие же мы теперь дети, — ответил Ташпулат. — Вы посмотрите — четыре здоровых джигита.

Старуха Анзират не уловила в его словах сочувствия. Она хотела вновь заплакать, но не сочла уместным. Лицо у Ташпулата было непроницаемым. Теперь она обиделась на него и снова запричитала:

— Дни мои сочтены, сынок. К чему мне теперь жить?..

Ташпулат не стал ее утешать. Слава богу, старуха, поплавав, тут же задремала. Закир встал, осторожно вытащив из-под ее головы жесткую подушку, подложил другую, помягче — старуха так и не проснулась, — и сел на прежнее место.

— Не стал я заранее вас извещать, Ташпулат-ака, —

сказал он. — Была все же какая-то надежда. В последний день он вас часто вспоминал.

— ...

— Я уже три года врачом работаю, немало смертей видел, — словно сам с собой разговаривал Закир. — И когда учился, тоже видел. Но когда умирает родной человек, это совсем иное. Не хотелось верить. Думал, что не выдержу, но у человека, оказывается, не сердце, а камень.

— Успокойся, Закир...

— У вас на глаза так и не навернулись слезы, Ташпулат-ака.

— Ты меня упрекаешь?

— Когда мать умерла, вы плакали... — сказал Закир, отведя глаза в сторону.

— Не знаю, — сказал Ташпулат. — А ведь отец действительно был ближе мне, Закир.

— Но почему же тогда?.. — не закончил начатой фразы Закир.

— И когда тетя умерла, я тоже плакал, — стал вспоминать Ташпулат. — Помню, меня к ним во двор не пустили. Было мне, кажется, лет десять. А я все равно пошел. Дядя Наим преградил мне путь, сказал, что я еще маленький. Обидевшись, я убежал в степь... Точно не припомню как, но я очень переживал ее смерть. Мама поздно вернулась из тетиного дома. Ты был совсем маленький. Мавлян чуть постарше. Она готовила ужин, а сама рассказывала отцу о смерти тети. Помню, она сказала, что тело бедняжки не очень пострадало. Почему должно тело пострадать, я не мог понять. А позже предположил, что тетю, вероятно, избил дядя.

— Когда больно долго лежит в постели, образуются пролежни, — пояснил Закир.

Ташпулат удивленно посмотрел на младшего брата:

— Может, ты объяснишь, отчего она умерла?

— Продолжайте, Ташпулат-ака, не обращайтесь внимания на мои объяснения.

— А что продолжать?.. Тогда меня удивило то, что мать говорила тихо, почти шепотом, словно боялась, что кто-нибудь услышит ее. Она долго рассказывала о смерти тети. За ужином отец успокоил мать: «Сестра твоя была честной женщиной, да примет бог ее в рай». Тихо, за окном темень. Загадочный разговор родителей взбудоражил меня, и я вышел во двор. Как я набрался смелости, не знаю, но в детстве я страшно боялся темноты.

Особенно я боялся оказаться вечером у кладбища, а если такое случалось — десятки раз повторял имя аллаха, чтобы черт меня не тронул. Я знал, что обманываю бога, потому что на следующий и даже в тот же день, стоило мне спокойно добраться до дома, я тут же про него забывал. Но в тот вечер я совсем не испугался темноты... Только помню — наша собака терлась о мои ноги. Тогда я подумал: «Хорошо бы умереть раньше всех...» Такие уж мы в детстве эгоисты — пусть мы сами умрем, но страдать из-за смерти другого для нас выше всяких сил...

Ташпулат замолчал. Закир не нашелся что ответить брату. Впервые услышав его откровение, он был удивлен.

В детстве все было по-другому. Каждый раз, приезжая в кишлак, Ташпулат рассказывал о жизни в далеком городе. В мальчишеском представлении брат его казался таким же загадочным и таинственным, как город, которого он не видел. Высокий, стройный в костюме, да при галстуке, с белыми, холеными руками, Ташпулат был весь какой-то лощеный и чистый. Закир гордился, что у него такой брат.

Теперь все по-другому. Просто теперь Закир может на равных разговаривать со старшими. Но для него брат всегда останется братом, близким человеком, правда, прежнего восхищения и гордости Закир не испытывает.

Снаружи доносился стрекот кузнечиков. Ташпулат вдруг вспомнил о соседней комнате. Он и днем много думал о ней: две плоские отсыревшие доски, на которых обмывали тело отца; на краю одной из них — масляный светильник...

Ночью эта картина показалась жуткой: пустая комната, мерцание светильника... Сказывают, что дух покойника еще три дня витает в комнате, следя за теми, кто остался в доме: вспоминают ли, чтят ли его память?..

Ташпулат поежился. Ему показалось, что дух отца, оставшись в комнате один, обижается на них.

— Как дальше жить, брат? — спросил Закир.

Ташпулат молчал. Он еще об этом и не думал. Как они дальше будут жить после смерти отца: разбредутся ли кто куда или всех вместе объединит это горе?.. Во всяком случае, ясно, что все будет по-другому.

— Я пойду, брат, помогу им.

Закир вышел во двор. Ташпулат какое-то время мол-

ча глядел на тихо спавшую в углу старуху Анзират, потом встал, снял с крючка чапан, накрыл им старуху, а сам в одной рубашке прошел в соседнюю комнату.

2. СЕСТРА

Ташпулата разбудили в полночь. Спросонья он никак не мог сообразить, где находится; лежал, не в силах поднять голову и злясь, что кто-то посмел его потревожить; потом, придя в себя, тяжело вздохнул и все вспомнил: поминки, плач, кладбище и то, что он остался сиротой.

«...Давно я одинок, давно... Тысячи лет».

Он поверил в то, что одинок. У него не было еще представления о сиротстве, еще полностью он этого не осознал. Ташпулат постоянно избегал этого чувства, но сейчас, в эти минуты, он вдруг понял, что он действительно одинок, и ему еще больше стало жаль себя.

Его не укрыли даже простыней. Как был в одежде, так и лежит на легкой подстилке. Под головой — что же туда напихали? — твердая подушка. Как камень твердая.

Ташпулат закрыл глаза: заснуть бы, и чтоб никто не будил, и никогда б не проснуться, не чувствовать боли... Он слышал шум моря, накатывающие волны набегали и погребали его под собой...

Ему не хватало воздуха. Раскрыв широко глаза и рот, он увидел перед собой сестру: полное, одутловатое лицо, изборожденное преждевременными морщинами.

«...Постарела, бедняжка, постарела!»

Вспомнил, что самому-то уже тридцать два.

«...Поколачивал я ее, дергал за косы, а она ябедничала матери, та, в свою очередь, колотила меня скалкой, потом я снова колотил сестру... Постарела, бедняжка!»

— Не успела я, — сказала сестра.

«...Зачем она это, к чему?»

— Чем я виновата? Я тоже из этого казана ела...

«...Сейчас начнет плакать, причитать. Я-то тут при чем?»

— Сестра, мне тоже поздно сообщили.

— Ты же успел, Ташпулат, но ведь я...

— Успокойся, сестра, — сказал Ташпулат, усаживаясь на подстилке. — Зачем все это? Ты знала, что он болен, могла бы пораньше приехать, посидеть у изголовья отца.

— Нет в тебе жалости!..

— Оставим эти разговоры, сестра, хватит. Успокойся, я сам едва успел...

— Уже меня не признаете, уже отделили, — захныкала сестра. — Никого у меня, кроме вас, нет!

— А муж, а дети? — сказал Хайбаров и тут же пожалел, что так ответил.

«... Чем же она, бедняжка, виновата, тем, что разбудила меня? Путь далек... А потом, Мавлянбай мог действительно поздно ее известить. В конце концов, он всех извещал, но ей...»

Сестра тихо плакала. Ташпулату стало жаль ее.

«... Днем бы она не плакала, а голосила. А на дворе все еще ночь. Петухи еще не пропели — всё пока ночь.

... Лучше бы она плакала на рассвете. Но ведь она его дочь, когда-то и она делила с нами кусок хлеба, этот дом, нельзя не помянуть отца, а поминать лучше при свидетелях».

И он вспомнил чей-то рассказ, как две соперницы, когда неожиданно умер их муж, первым делом тихонько отвязали висевшую на поясе связку ключей, открыли кладовку, вытащили муку, масло и приготовили себе лепешки.

... Лепешки ли? А не все ли равно! Может, не лепешки, а слоенки. Лепешки, пирожки, колобки — словом, приготовив что-то съедобное, наелись и под утро, на рассвете, обе враз заголосили: «О мой господин, о мой господин, и на кого ты нас покинул!..»

Сестра все плакала.

«... Главное — чтоб все слышали, как ты плачешь, лишь бы никто не упрекнул, что у тебя черствое сердце. Нет, сестра, у тебя доброе сердце, ты любила отца, меня, всех братьев. А теперь, скажи, тоже любишь?..»

Ташпулат посмотрел на спавшую, свернувшись калачиком в углу, на овчине старуху Анзират. Сестра, увидев ее, насупилась:

— Ты позвал?

— Почему я?.. Сама пришла.

— Кто, кроме тебя, это мог сделать? — сказала сестра обиженно и отвернулась от Ташпулата.

«... Ты права, сестра, я бы ее позвал».

Успокоившись, она огляделась: комната была пуста, сложенные на сундуке в нише кошмы и одеяла еще вчера вынесли в сад, под яблони на траву.

Комната, в которой они находились, всегда была пустой и потому казалась мрачной. Здесь их мать хранила мешки с мукой, подстилки для просеивания крупы и другую домашнюю утварь. Потом, когда мать умерла и

в дом должны были привести невесту, Мавлянбай сам один обмазал и побелил стены и потолок, соорудил две ниши для одеял и поставил в них оставшиеся от матери два обитых медью сундука, на которые стали складывать кошмы и одеяла, у двери установил пузатую железную печь-«буржуйку», которую топили зимой по пятницам, когда у Раима-аксакала собирались друзья. Старики рассаживались на одеялах, рассказывали друг другу разные истории и легенды о святых и пророках и, удивляясь, трясли седыми бородами и прицелкивали языками.

И тогда комната преображалась: монотонное гудение раскаленной железной печки, длинные зимние вечера, и легенды, и сказки... создавали какой-то уют.

...Теперь это никогда не повторится.

— Тебя не зря назвали Ташпулатом, — сказала сестра. — У тебя и в самом деле не сердце, а камень. За пять лет ни разу не навестил меня.

— Я и здесь редко бываю, сестра, дел много, занят на работе.

— Мне ни твоего докторства, ни профессорства не нужно, — сказала сестра с обидой. — Никто из вас и не вспомнит обо мне. Если вы стесняетесь нас, двух невежд, есть другие... Родственникам, племянникам вашим я часто твержу, что в Галатепе есть у них дяди.

— Могла бы их сюда привезти. Дядьев много, погуляли бы.

— На поминки, что ли?

— Почему на поминки?!.. Можешь потом привезти. Ахмад еще мальчишка, поиграет с ними, сводит куда-нибудь своих племяшей. Да и Закир здесь...

— Так уж и жди. Погуляют дядья. Они же боги! — не смогла удержаться сестра. — Если со мной тебе стыдно, есть Камил, с ним поговоришь...

«...Нашего роду! Мужа так мужем и не зовет, а все по имени».

Сестра, обидевшись, отвернулась.

...Договорившись с подругами из класса, она ежедневно уговаривала мать: сейчас времена изменились. «Кто учится, далеко пойдет, а неуч выйдет замуж и пропадет» — так наставляла их учительница, дочь Ойсулуповитухи, обучившаяся в Ташкенте. Слушая их уговоры, мать, бедняжка, молчала. Была она женщиной мягкой, дочь обижать не хотела: ладно, пусть мечтает, раз ей хо-

чется, а там видно будет... в конце концов, что человеку надо? Хотя бы будет вспоминать о том, что мечтала!..

Потом, как мать и ожидала, когда дочь закончила школу, отец оказался непреклонен: «Никуда не поедешь, доченька-матушка, предки наши женщин и без ума, и образования ценили, ну и что из того, что ты одна образованной станешь?»

Нет, он не сразу так решительно отказал, сначала у старшего сына Ташпулата совета испросил: «Ну как, сынок, пошлем сестру в город учиться?»

Ташпулат, а он был сыном Раима-аксакала, подумал и сказал: «Думаю, отец, девочки не из того теста замешены, что мы, мужчины, закваска, что ли, у них не та...»

Сейчас, вспоминая об этом, Ташпулат и сам удивляется тому, что говорил, но то, что он сказал такие слова, правда! Лет семнадцать ему было, а на язык бойкий!

Точнее, вот что он тогда сказал: «Девчонки из слабого теста замешены, отец. Пусть едет, но нам с вами будет больше забот, дочь ваша (не сестра — дочь ваша!) не скажу, что нас опозорит, благоразумная, но все же...»

Отец был доволен ответом сына. «Хорошо, сынок, пусть сестра погодит немного, потом, когда ты устроишься в городе, может, выучится на медсестру, мы к тебе и отправим...»

Ташпулат и тут сказал как отрезал: «Так чем же мне в городе заниматься, отец, — учиться или за сестрой присматривать?»

Судьба сестры была решена. Выждав положенный срок, родители выдали дочь замуж.

Сестра обо всем знала. Мать-покойница была не из тех, кто держит язык за зубами, все, что слышала, тут же передавала дочери, потом еще долго сестра ненавидела брата.

Но дело было вовсе не в Ташпулате. Его слова были сказаны так, по случаю. Отец всего-навсего испытывал его, но и без того не отпустил бы единственную дочь далеко от себя.

Но сестра до сих пор обижается. Зовет его подчеркнuto ученым, себя — невеждой, сетует, что не приезжает к ней в гости, а если и приезжает, то долго не гостит.

Ташпулат в ее доме скучает. Нет, встречают его там честь по чести, угощают как могут, ради дорогого гостя весь аул приглашают в дом. На почетном месте — чуть тронутый мулла, по обе стороны от него кишлячные ак-

тивисты в брезентовых сапогах, местная молодежь, у самого порога — сам Камил-почча, тихий и скромный человек. На дастархане перед муллою сметанные лепешки, сладости, перед активистами и молодежью большие касы с кислым молоком и мелко нарубленным молодым зеленым луком. Среди гостей сын муллы — кто знает, может, в наследство от отца досталось это увлечение? — блаженно улыбаясь, разливает в небольшие пиалки водку: «Не считите за вину, бабай, дело наше молодое, нам это еще Мухаммад-пророк наставлял...»

Тронутый мулла улыбается: рад за сына. Но, хлопая по коленям, с напускным недовольством ворчит: «Ах ты сукин сын, видно, в черный день тебя зачали, и в кого ты такой уродился?!»

Сын весело подмигивает: «Да здравствует наш бабай!»

Мулла еще больше растроган: «Ладно, сынок, запретно не само вино, а токмо дела, что творятся в хмельном угаре».

Ташпулат Хайбаров сидит посредине, тоже на почетном месте. Они, и гость и хозяин, к водке не прикасаются: Ташпулату интересней поговорить с тронутым муллою.

Мулла серьезен: «Благословенный Машраб сказывал: коль твоя курица окажется во дворе ишана да поклюет там что-нибудь, ее мясо для тебя запретно, уж не в том ли кроется причина его сумасбродства?»

Хайбаров согласно кивает: «Да, достопочтенный мулла, его капризы тому причиной, Машраб говорил: тот, кто находится между двумя влюбленными, непременно сводник. Влюбленный — машраб, возлюбленный — сам бог, а муллы и ишаны между ними — сводники. А пророк, тот и вовсе главный сводник».

Мулла смеется: «Да, этот Машраб здорово нас прославил!»

Хайбаров снова согласно кивает: «Да, мулла-бува, он всех вас называл сводниками!»

Мулла разгорячен, входя в раж, продолжает: «Сказывают, что как-то пророк Мухаммад вместе с Хатамом из Тая собрался в путешествие. Пророк сказал: «Послушай, Хатам из Тая, что бы ты ни увидел, не удивляйся и не задавай мне вопросов». Хатам из Тая принял его условие. И оба они отправились в путь. Проходя по одной из длинных широких улиц, увидели большую ватагу играющих ребят, и тут пророк, поласкав одного из них, схва-

тил его за ногу, ударил его головой о землю так, что мальчик испустил дух. Хатам из Тая был поражен, заплакал, но, вспомнив условие, спросить пророка, почему он так поступил, не решился. Двинулись дальше. Шли они, шли и подошли к дому с богатыми резными воротами. Хозяин дома проводил их в маленькую, тесную каморку с холодным земляным полом и запер их снаружи на ключ. Не то что куска хлеба, даже глотка воды не оставил. А утром, чуть свет, выгнал их из этой обители. Пророк благословил его словами: «Да пусть множится то, что имеешь, да пребудешь ты с несметными богатствами!» Услышав это, Хатам из Тая не выдержал: «О справедливейший из справедливейших, почему ты так жестоко и так несправедливо поступил?» Пророк ответил: «Послушай, Хатам из Тая, тот мальчишка, которого ты пожалел, когда вырастет, станет отъявленным негодяем, повергающим в страх и ужас людей. Я отдал его душу Азраилу, тем самым избавив от страданий будущее поколение. А хозяин дома забыл бога, он помешался на своем богатстве, и я ему пожелал еще больше разбогатеть, потому что ему заказан путь в рай. Если бы я попросил у бога сочувствия или сострадания, тогда бы я поступил несправедливо...»

Мулла гордо оглядывает сидящих: ну, как я обставил современного муллу?

Хайбаров — «современный мулла» — одобрительно кивает: прекрасно, достопочтенный мулла, столь назидательные истории рассказали.

Да, Хайбаров с радостью присоединился бы к остальным гостям, выпил бы хоть глоток водки. Но его посадили рядом с этим вонючим муллой. Ему водки не подают. «Современный мулла», старший сын Раимааксакала, знает в совершенстве арабский, а люди стесняются подносить рюмку человеку, умеющему читать Коран на все семь ладов.

Водку пьют сами.

Хайбарову мулла противен, аж собаки внутри скребют, так хочется ему досадить. Но сидит терпит, вспоминая другие приключения пророка Хызра. «Хызр, отправившись в дорогу с Хатамом из Ямана, на второй день пути достиг хижины одной бедной старушки и решил переночевать у нее. У старушки была одна-единственная коза. Надоив молока, она угостила им своих гостей. На другой день утром, отправляясь дальше в путь, Хызр благословил старушку такими словами: «О боже, лиши

эту старушку козы, пусть ее украдут или волки съедят. Словом, о боже, пусть этой козы не станет!» Хатам из Ямана удивился: «Эй, Хызр, почему ты пожелал баю, у которого тысяча овец, чтоб богатство его удвоилось, а бедной старушке желаешь гибели единственной козы?» Усмехнулся Хызр: «Эй, Хатам, у этой старушки нет более забот, чем эта скотина, если она лишится козы, с души ее спадет тяжесть и будет она заниматься молитвами с утра до вечера, и возрадуется ее душа».

Может, историю со старухой рассказать тронутому мулле? Нет, этот не поймет. Мулла Чары понял бы. Мулла Чары подлец, но понятливый человек. А этот блаженный какой-то. Что касается козы, то ее придумали суфии. Да и старушка вовсе не старуха. Ее нарочно состарили, лицо покрыли морщинами. А вообще-то это была молодая, умная, очень красивая женщина, арабская поэтесса Рабия аль-Адавийя.

Эта Рабия говорила: «К пророку и другим святым у меня не осталось любви, душа моя наполнилась одной лишь любовью к аллаху, и я стала его невестой!»

...Да будь ты Биби Марьям!

Но мулла ничего не понимает, что для него Хызр, что Мухаммад. Хотя имя Мухаммада для него важнее. Знает — Хызру никто не верит, знает — Хызра никто не видел, а Мухаммад, во всяком случае, существовал в историческом прошлом, потом умер, а с мертвых какой спрос?!

Ох как много накопилось в душе у сестры. Жаловалась на судьбу, говорила, что несчастна, обвиняла во всем братца.

— Бедный отец и не дождался, когда ты женишься, — сказала она. — Ты, неверный, не оправдал его надежд, а он так мечтал поняичить внуков.

— Хватит, сестра, дудеть в старую дуду, — сказал Ташпулат. — Хоть сегодня оставьте меня в покое. Разве твой сын, сын Мавляна не внуки ему? А может, я хотел, чтоб ваши дети не ревновали моих к деду...

— Ты ведь был любимцем его, Ташпулатджан, — захопала сестра и, уловив в его словах иронию, обиделась. — Что я еще могу от тебя услышать! Вечно на меня, беднягу, кидаешься как собака! Чего хорошего мог дожждаться от тебя бедный отец...

«...Началось! Из-за меня скончался! Не дождавшись от меня ничего хорошего, слег!..»

— Стоит мне только рот раскрыть, кидаешься как собака! — повторила сестра.

Спавшая в углу, свернувшись калачиком на овчине, беспокойно заворочалась, зачмокала губами старуха Анзират и сквозь сон несколько раз повторила:

— Благодарствую тебе, благодарствую, создатель!

Глаза у сестры тревожно забегали. «Сон у старухи чуткий, вдруг слышала наш разговор?» — перепугалась она.

— Как дела-то твои? — спросила сестра, уже успокаиваясь и вытирая кончиком платка слезы.

«...Давно бы так, сестра! Хватит, не ной, а, как все люди, спроси у меня, как живу-поживаю?»

— Живу, сестра, — сказал Ташпулат грустно.

— Сын Эрмата хромого из города приехал, не нахвалится тобой, — сказала сестра. — Говорит, помог ты ему. Отец его так ждал тебя. Сегодня вместе с Камиллом приехал на поминки... Ну что ж так поздно сообщили, Ташпулатджан? Так я и не увидела отца.

Ташпулат понимал ее. Он и сам по дороге сюда думал об этом. Знал, что если застанет отца еще живым, легче будет пережить горе. Но не успел. Приехал — увидел холодное, бездыханное тело. Странно, но мертвым он не показался ему чужим. Признав в лежавшем перед ним человеке отца, он немного успокоился. Чувство страха прошло вместе с каким-то тяжелым и горьким вздохом. И боль притупилась. Хотя еще долго и трудно будет свыкнуться с мыслью, что нет отца.

И он прекрасно понимал сестру, которая все еще не могла прийти в себя.

— Толковым оказался парнем сын Эрмата хромого, моей помощи не понадобилось, — сказал он, пытаясь отвлечься от лезших в голову тяжких мыслей.

Всем, кому помогал, Ташпулат давал одну и ту же характеристику: толковый, умный. А старался он помочь многим, и не потому, что кто-то чем-то будет ему обязан, а в силу того, что не мог поступить иначе, когда его просили родственники, друзья земляки. Вот и с сыном Эрмата хромого так получилось. Когда он гостил у сестры, дядя Камила, Эрмат хромой, однажды пригласил Хайбарова в гости и после обильного угощения сказал: «Послушайте, домулло, есть у меня единственный сын, и хочу я на старости лет просить вас сделать мне одно одолжение... Помогите сыну поступить в институт...»

Он не мог отказать Эрмату хромоту, обратился к своему институтскому другу Самаду: «У тебя большие связи, есть у меня тут родственник, младший брат мужа моей старшей сестры, помоги ему. Если завалится, мне ж несдобровать».

«Оставь, Ташпулат, — ответил Самад. — Поверь моему опыту, из таких людей ничего путного не выйдет. Хорошо бы учился — куда бы ни шло. Ты сам с чьей помощью поступал? А потом не забывай, приятель, один раз поможешь — всё: на следующий год отбою тебе от них не будет!»

Но Хайбаров не отставал. И тогда Самад вывел Ташпулата на аспиранта Хайкала Ганиевича. У аспиранта оказалось много друзей. Они-то всё и устроили. И теперь сын Эрмата хромого учится в институте.

Самад же, в свою очередь, попросил Хайбарова уделить внимание его брату, приехавшему повышать квалификацию. «Ты ж понимаешь, ему будет трудно сдать, ты уж его не мучай, я скажу, чтоб он к тебе подошел».

Родственник Самада — симпатичный загорелый деревенский парень — оказался преподавателем научного атеизма. Неизвестно, чему он там обучал своих учеников, но ответ его не удовлетворил Хайбарова. Ташпулат, чтобы как-то вытянуть парня, задал дополнительный вопрос о хиджре — начале мусульманского летосчисления (дате ухода Мухаммада из Мекки в Медину). Он с трудом пролепетал, что такой-то в таком-то году бежал туда-то. Именно не переехал, а бежал. По-видимому, он решил, что такой ответ понравится Хайбарову. А так как парень был родом из Бухары, Хайбаров поинтересовался, знает ли он аль-Бухарь. «Атеист» с тоской посмотрел в глаза Хайбарову: «Мы из глухой провинции, учитель. До Ташкента не близко, да и когда оттуда выберешься, мы народ простой, животноводы. Приезжайте к нам в гости, увидите, какая у нас природа красивая, особенно в весеннюю пору, когда упитанные ягнята щиплют свежую травку... и ох какой шашлык из ягнячьего мяса можно приготовить!..»

«...Тогда невольно я проклинал тебя, сестра. Скольким таким «головастым» паренькам ты покровительствовала. Мавлянбай куда лучше тебя оказался, ни о чем меня не просил. И Закир тоже. Только однажды, смущенно кивнув на красивую девушку, сказал: «Помогите ей, Ташпулат-ака, кто знает, а вдруг?» В поддержке девушка и не нуждалась. Она знала многое: и то, что отец аль-

Бухари был гяуром, вплоть до того, что сам он был левшой. Сложив губки бантиком, она красиво произносила название его труда: «Аль-Джаме ас-Сахих!» Знающая была, bestия! И главное, она знала себе цену. Если б Закир тогда за ней приударил, сколько бы лет он ее добивался — пять, десять, а может, всю жизнь! Такие девушки, красавицы и умницы, произносящие имя Бухари, надменно выпячивая губки, никогда нам, галатепинцам-ротозеям, не достанутся».

— Я больше не могу, сестра, — сказал Ташпулат. — Еще пусть Ахмед подрастет, ему помогу, но другим... Надоело, сестра. От их пловов и всякой домашней снеди у меня желудок испортился.

Он ожидал, что сестра начнет плакать и канючить, взывая к его жалости, а она неожиданно мягко сказала:

— Не обижайся, Ташпулатджан, ты ведь единственный, кого я могу о чем-то просить, братишка. Никто ведь со мной не считается. Ты и братья твои носите фамилию отца. А мне что осталось?

Ташпулат молча кивнул: да, сестра, ты права!

— А отец нам чего-нибудь завещал? — спросила сестра.

— Не знаю... Закир вроде говорил, что он оставил какую-то бумагу.

— А мне покажешь, Ташпулатджан? — спросила сестра.

— Хорошо, — сказал Ташпулат. — Наверняка отец денег не оставил.

— А что деньги — грязь, — сказала сестра с упреком.

— Верно говоришь, сестра, — сказал Ташпулат. — Хорошо, завтра я постараюсь тебе ее показать.

— Спасибо, братец! Хочу дать совет: ты бы поискал себе должность другую, хорошую, а?

— А у меня нет должности, сестра. Я хочу жить без чиновничества. Занимающему должность люди никогда правду не говорят.

— Я не согласна, — сказала сестра. — Ты должен найти какую-нибудь хорошую работу, коль носишь фамилию отца, нельзя, чтоб его имя было предано забвению.

— Жить честно, по-моему, этого уже достаточно, чтоб чтить человека. Нет для меня ничего выше.

— Но мне Турдыбай сказал, что ты в городе большой человек.

— Нет, сестра. Сын Эрмата хромого чуть перебрал.

Он хотел вам угодить, а остальное вы вдвоем с мужем сами все присочинили.

— Может, чем-нибудь тебя обременили?

— Нет, сестра, это долгая история, ты все равно не поймешь.

— Верно говоришь, и зачем тебе слушать нас, невежд?

Сестра опять нахохлилась. Хорошо, что проснулась старуха Анзират. Она с минуту таращила глаза, пытаясь понять, где находится, оглядела комнату и, узнав сидящих, тихо сонным голосом спросила:

— Ты, что ли, Малохат?..

— Я, мама, — ответила сестра.

— Принеси кувшин, — повелела старуха Анзират.

Выражение лица сестры совершенно не изменилось, она не спеша вышла на веранду и принесла кувшин и тазик. Полила старухе воду. Та, умывшись, вытерла лицо платком и, придвинувшись к стене, достала из кармана четки, но перебирать не стала.

Дождавшись, пока сестра вынесла обратно на веранду кувшин с тазиком и, вернувшись, села на место, тихо сказала:

— Чуть задремала, доченька, и не заметила, как ты приехала. Старость не радость, ты уж меня не вини.

— Будить вас не решилась, — соврала сестра.

Старуха Анзират протяжно зевнула и что-то пробормотала себе под нос.

— Жизнь, ничего не поделаешь, — сказала она. — Вот и отца твоего лишились.

Сестра в ответ молча кивнула, и обе, как по команде, запричитали, заплакали.

Горе сейчас отодвинуло в сторону ненависть друг к другу. Плакали, успокаивая душу. Взгляд сестры упал на Ташпулата, и голос ее сорвался, она отвела глаза в сторону: «Ты уж не вини нас, братец, все такие женщины...»

3. ДЯДЯ МУРАД

Ташпулат, выйдя во двор, заметил в углу яблоневого сада какие-то блуждающие тени: при свете керосиновых ламп несколько человек, стуча лопатами, копали яму для очага.

Было прохладно. После жаркого помещения Ташпулата тут же прохватило на сквозняке — сильно закололо

под левой лопаткой. От неожиданной боли он присел на меже с краю клеверного поля. Взяв из валявшихся рядом войлочных подстилок одну потолще, Ташпулат накинул ее на плечи. Закурил папиросу. И вдруг совсем близко услышал какое-то шуршание. Он было подумал, что это собака копается в поисках еды, но, оглядевшись, никого не заметил. Шуршание снова повторилось, и из-под груды войлочных подстилок кто-то тихонько вылез и тоже присел на меже.

— Дай юбиль!

Ташпулат по голосу узнал дядю Мурада. Сунув руку в карман, вытащил первую попавшуюся шелестящую бумажку. Дядя Мурад недоверчиво посмотрел на него, потом осторожно, придвинувшись к Ташпулату, протянул руку за деньгами.

— Это юбиль? — спросил он, пытаюсь разглядеть в темноте бумажку.

— Не знаю, — ответил Ташпулат. — Может, три рубля. Темно, дядя Мурад, не видно.

— Дай юбиль! — повторил дядя Мурад.

— Других денег нет, — сказал Ташпулат. — Завтра могу дать.

Дядя Мурад просить больше не стал. Сняв с головы шапку, бросил в нее трешку и снова нахлобучил ее на голову.

Ташпулат вытащил из кармана пачку папирос:

— Угощайтесь, дядя Мурад!

— Пьяв... пьявда?

— Правда, правда.

— Давай сюда! — Дядя Мурад схватил пятерней пачку. — Куить хочется!..

— Э-э, дядя, — сказал Ташпулат, отстраняя его руку. — Так не пойдет, ведь их поломать можно.

Дядя Мурад на минуту задумался.

— Дугих папиёс нет? — спросил он.

— Есть, дядя, но зачем же эти так мять?

— Хояшо, — согласился дядя Мурад и сел, смиренно сложив руки на груди. — Даставай, не буду тогать.

— Когда вы приехали? — спросил Ташпулат.

Дядя Мурад оставил его вопрос без ответа, видно решив, что Ташпулат хочет отвлечь его, чтобы спрятать пачку.

— Можно, я докую твою? — сказал он просительным тоном. — Мавлян хоёший, он меня всегда папиёсками с кьясным хвостиком угощает.

Достав из пачки папиросу, Ташпулат сунул ее дяде Мураду.

— Спички?

Ташпулат зажег спичку и дал прикурить. Здорово постарел дядя Мурад. Да просто седой старик. Только брови да ресницы еще черные. А ведь дядя Мурад был красив — ресницы такие длинные, что кончики загибались, глаза большие, круглые, всегда беспокойные.

...Невинный младенец, если не знать, сколько ему лет.

— А ты кто? — спросил дядя Мурад. — Я тебя не узнаю.

— Брат Мавляна, — сказал Ташпулат.

— А ты меня откуда знаешь?

— Я — Ташпулат, дядя. Помните Ташпулата? Брат Мавляна, Ташпулат!..

— Отец Мавляна умей, — сказал дядя Мурад.

Ташпулат ничего не ответил: нужно было время, чтобы дядя Мурад понял, что умер и его, Ташпулата, отец.

Дядя Мурад зашелся в кашле. Кашлял он глухо, потом сплюнул вниз, себе под ноги.

— У Мавляна папиёски хоёшие, — сказал он. — Хвостик кьясный, я не кашляю... У тебя не то...

— Завтра принесу с красными хвостиками.

— Дай еще юбилей, — попросил дядя Мурад.

— Завтра, дядя. Завтра дам.

— Мне пусть в кьясивой касе аксакала шуйпу подадут, — сказал дядя Мурад. — Ты сам скажи.

— Скажу, дядя Мурад, вам шурпу подадут в отцовской красивой касе.

— Твой отец тоже умей? — спросил дядя Мурад.

Ташпулат промолчал, только тяжело вздохнул.

Каждый год в самый разгар лета, когда давали знать о себе старые болячки и дядя Мурад не находил себе места, Раим-аксакал приводил его к себе в дом и, усаживая на самом почетном месте, говаривал: «Будь моим гостем, Мурадбай! Заказывай чего пожелаешь, может, плова хочешь, а может, крепкого чая заварить? Можешь пить из моей пиалы, она тебе нравится?! Все для тебя, Мурадбай, посиди, отдохни».

И дяде Мураду подавали еду в зеленой касе, разрисованной крупными красными цветами. Дядя Мурад называл эту касу «касой пьедседателя». Он признавал только эту посуду, из другой ничего не ел и даже воду пил только из нее. Раим-аксакал держал ее специально для Мура-

да. У него самого была старая, скрепленная металлическими заклепками, своя каса. Он тоже, кроме нее, никакой другой посуды не признавал, точно так, как бедняк, став однажды падишахом, ложась спать во дворе, клал себе под голову вместо подушки старые башмаки.

Дяде Мураду так нравилось есть из зеленой касы, что домочадцы Раима-аксакала, боясь разбить, с бережностью относились к ней.

Когда он ел из этой касы, то настроение у него всегда было хорошее. Кто знает, может, Раим-аксакал какое-нибудь снадобье добавлял в пищу дяде Мураду или действительно каса обладала какой-то удивительной особенностью, — словом, дядя Мурад после обильной трапезы ходил некоторое время радостный, потом, заснув где-нибудь в уголке, спал без просыпа целый день, а проснувшись, отправлялся куда глаза глядят.

...Было это давно, кажется, лет двадцать назад. Стояла ранняя весна. Зеленела под ярким весенним солнцем нежная травка, и на ней, как на зеленом ковре, светлыми пятнами кукурузных хлопьев были рассыпаны подснежники. Казалось, только что вырвавшиеся из холодных объятий зимы, они тянутся к солнцу погреться.

На холме гулял стылый ветер. Мальчишки согнали стадо в ложбину и, собрав чуть намокший хворост, остатки кизяка, развели небольшой костер.

Они собрались вокруг этого костерка, который дымил раздирающим горло и щиплющим глаза желтым дымом. Четверо ребят — Хазрат, Сафар, Кузыбай и, самый младший, Ташпулат — опустившись на колени, вытирая ладонями слезящиеся глаза, старались выдуть пламя из тлеющих головешек.

— Хорошо дяде Мураду, а, Ташпулат? — сказал Кузыбай. — Ему не холодно. Круглый год ходит босиком, вот ноги и закалились. Он и по снегу без сапог гуляет!

Ташпулат не поверил.

— Клянусь хлебом, да умереть мне на этом месте, если вру. — Кузыбай для пущей убедительности, как ножом, провел ладонью по горлу. — Сам видел, как по снегу босиком ходил!

Той весной Ташпулат простудился и проболел ровно месяц. Окна комнаты, в которой он лежал, выходили на север, и солнце совсем не заглядывало к нему. Через открытое окно то и дело в комнату влетали с щебетанием

ласточки, доносилось радостное пение скворцов, а по ночам кваканье лягушек и много других голосов. Да и воздух был какой-то звонкий, как натянутый бубен.

Болезнь — а его кидало то в жар, то в холод — надолго уложила его в постель. Ему не хотелось есть, хотя на покрытом белой скатертью столе лежали гранаты, крупные красные яблоки, привезенные тетей, стоял чайник с холодным зеленым чаем, и он лежал, уставившись в потолок.

Потолок был высокий. Вообще, все дома, что строил Раим-аксакал, были высокими. Сам здоровый и крупный, он любил широту и простор, не терпел стесненности. Ташпулат лежал, глядя на бледно-желтое пятно на голубом потолке. Он и раньше мог часами смотреть на него. Сначала, когда он был маленьким, это пятно казалось ему тенью летучей мыши, и он боялся входить в эту комнату. Узнав об этом, Раим-аксакал засмеялся и, успокоив сына, сказал: «Это все Балта, в день новоселья резал в комнате барана и, вытащив какую-то внутренность, швырнул в потолок — вот и осталось на потолке кровавое пятно».

На дворе весна, а в комнате полумрак. На душе тоскливо, скучно. Ташпулату вспомнилось, как он бегал босиком по лужам; свесив с мостика через речку ноги, мочил их в ледяной воде, чтоб закалиться. Грязно-мутный поток с шумом устремлялся вниз по течению, завихряясь и бурля под мостом. А он сидел, маленький, как муравей, и мечтал стать большим, смелым и сильным, как взрослые, и таким же закаленным, как дядя Мурад, чтоб запросто ходить босиком по снегу.

Мать тогда здорово перепугалась и велела в честь святых зарезать белого барана. Вообще она была набожной женщиной. Ей казалось, что, не выполни она этого ритуала, бог ее накажет, потому что следит за каждым ее шагом, поступком.

Раим-аксакал смеялся: «Зря ты так, жена, надо было черного барана резать, он вроде бы поменьше, а белого, он покрупней, мы бы мяснику продали, нам неплохо бы заплатили».

Мать плакала, причитала: «Вам ребенка не жалко! Он чуть к праотцам не отправился, а вам одного барана жалко!»

Раим-аксакал усмехнулся сквозь кончики усов. Невозможно было не усмехнуться. Его, Раима-председателя, который за всю жизнь никому копейки не пожалел, денег

не копил, раздавая их не только родным, а и чужим, незнакомым людям, обвиняют в скупости!

Раим-аксакал от души тогда смеялся.

Мать плакала.

Потом, в тот день, когда наконец Ташпулат встал на ноги, родные повезли его на могилу святого. Впереди, перекинув через седло здорового белого барана, — дядя Наим, за ним верхом на черном ослике — тетя с Ташпулатом, следом остальные... Дома остался один Раим-аксакал. Он не пожелал ехать на святой мазар.

Дорога, исхоженная сотнями ног, исхлестанная весенними дождями, петляла узкой тропкой посреди степи. Покрытая яркой сочной зеленой травой земля радовала глаз. Вокруг пышно цвели цветы. Когда Ташпулат, увидев по обе стороны дороги невысокие холмики, спросил у тети, что это может быть, она вдруг притихла, потом тихо прошептала: «Под этими холмиками люди лежат».

Рядом с могилой святого была небольшая молельня. Привязав скотину, все вошли в помещение. Там было сыро, пахло гнилой соломой. Ташпулат удивленно озирался, глядя, как взрослые молятся и прикасаются головой к стене, словно хотят набить себе шишки. Тетя держала Ташпулата за руку, вдруг, пригнув его голову, толкнула вперед: «Окажи почести святому, пусть он уберет тебя от всех напастей!» Ударившись головой о стену, Ташпулат чуть не расплакался. Сердито посмотрел на тетю, но не зарыдал — та, не жалея себя, билась лбом о стену и потом, вытянув высохшие губы, стала целовать облезлую, покрытую налетом соли глину.

Выйдя из молельни, старик сторож и дядя Наим ответили в сторону белого барана и выпустили из него кровь. Старик наполнил горячей кровью пиалу и окропил им могилу святого. Видно, много крови испила эта могила, камни ее побурели, высохшая кровь потрескалась от времени.

В стороне, в очаге под одиноким карагачом, развели огонь. Сторож, приложив ладонь ко лбу и глядя туда, где в конце кладбища стояли низкие глинобитные домики, сказал: «Воду Мурадбай принесет».

Затем все — мужчины и женщины, собравшись в кружок вокруг очага, стали ждать Мурадбая с водой.

Вот что запомнил Ташпулат от той поездки.

Потом, спустя лет пятнадцать, Хайбаров расскажет о дяде Мураде своему другу Поэту. Поэт, выслушав его,

почему-то заметит: «Очень тонкая вы натура, Хайбаров-ака, вам бы быть писателем».

Хайбаров только улыбнется в ответ и скажет: «Не люблю я эту вашу литературу».

Но Поэт еще повторит: «Поверьте мне, Хайбаров-ака, вы действительно тонкая, чувствительная натура». И еще расскажет одну историю:

«В тех краях, откуда я родом, тоже жил один дурачок. Мать у него была такая старенькая, что из дому не выходила, отец тоже в возрасте: до чайханы дойдет и — обратно. И вот они посылали на базар или в магазин своего сыночка. А люди, что удивительно, Хайбаров-ака, даже самые отъявленные негодяи и мошенники, когда дело касается таких вот блаженных или сирот, не могут позволить себе обмана. И продавали они ему из жалости все задешево, почти задаром. А когда посылали его за водой на другой конец улицы, этот дурачок, не пролив ни капли воды, приносил домой два полных ведра, хотя расстояние было приличное. Больно было смотреть, как он, согнувшись от тяжести и скорчившись от боли — раскаленная дорога жгла ему пятки — и ни разу не поставив ведер, шел упрямо домой. Мы тогда удивлялись: и откуда у него такая выдержка? А сейчас я бы мог объяснить, — он действительно был с приветом!»

О чем еще в тот вечер рассказывал Поэт, Хайбаров не помнит. Поэт в те времена был в поиске, жаждал известности, да к тому же был навеселе, — словом, говорил много. Хайбаров запомнил только дурачка, который, с трудом переставляя ноги, без передышки нес до дома два ведра воды!

А как же было там, в его детстве, когда они ожидали дядю Мурада с двумя ведрами воды? Ведь дядя Мурад тоже намучился, пока донес ведра с водой до них. Он шел, покачиваясь из стороны в сторону, согнувшись под тяжестью ведер, и ни разу не передохнул, ему это почему-то не пришло в голову.

Но назвать дядю Мурада дурачком, с приветом, Хайбаров никогда бы не решился.

У дяди Мурада, как человека нечестолюбивого, не было своей биографии. Ее за него придумали другие. Это очень печальная история. Все ее знают. Все, кроме самого дяди Мурада.

Когда началась война и всех стали призывать идти на

фронт, дядя Мурад отказался, потому что еще с детства он боялся ружейного выстрела. Когда пришли за ним, дядя Мурад, испугавшись людей с ружьями на плечах, убежал из дому.

По словам очевидцев, дядю Мурада нашли на старой мельнице. Его бы, может, и не нашли, но так получилось, что случайно он спрятался на мельнице. Откуда ему было знать, что там обитают крысы. А крыс он боялся больше, чем ружейного выстрела. Завидев их, он с криком выскочил из своего укрытия и попался.

Очевидцы рассказывают, что и до войны, и после дядя Мурад как был, так и остался простым и скромным человеком. Трудно было поверить в его хитрость, хотя бы на примере того, как он пытался скрыться от солдат, которые пришли за ним из военкомата. Кому из дезертиров пришло бы на ум прятаться на мельнице? Когда началась война, все мужчины кишлака, кто добровольцем, кто по призыву, отправились воевать. Просто дядя Мурад по природе был трусливым человеком, на фронт идти не хотел и потому прятался от солдат на мельнице.

В Галатепе еще и Сатым-каланча дезертировал. Никто его не нашел. Он все пять лет просидел в убежище, которое выкопал у себя под сараем. Выходил из укрытия по ночам, когда все спали. И вот спустя пять лет, когда кончилась война, Сатым-каланча вылез из ямы и сдался властям, думал, что осудят его лет на пять, но кончилась война, и люди стали как-то милосерднее, и никто его судить не стал. Сатым-каланча возвратился к себе в Галатепе и все ждал, что вот-вот за ним придут и заберут. Но никто не приходил, словно его нет, словно весь мир забыл о нем, словно не было его, умер он, при встрече никто с ним не здоровался и никто не отвечал на его приветствие.

Что касается дяди Мурада, то, если бы он был дурачком, его не призвали бы в армию. Вероятно, он был трусом, но сумасшедшим не был, это точно, и ружейного выстрела он не боялся, и на мельнице не прятался, и никто его не преследовал, и, испугавшись крыс, он не выскакивал с криком из своего укрытия. Все это вранье! Все это люди придумали!

А вообще, дядя Мурад, как и все мужчины нашего кишлака, ушел на фронт и в числе немногих живых после войны вернулся домой.

Он сам, правда, ничего путного не мог рассказать о себе. Ничего путного, толкового не мог сказать пото-

му, что на войне был контужен. И еще удивлялись: как он смог найти свой родной дом. И главное, как он узнал Нигмата-арбакеша, который возвращался в Галатепе?

«Гляжу, на выезде из Каттакургана Мурадбай стоит. Увидел его, обрадовался, остановился. Молча влез на арбу. Спрашиваю о житье-бытье. Сидит молчит, ничего не отвечает. Подумал: наверное, бедняга узнал о смерти матери, вот и загрустил. Укачало его в арбе, задремал. Накрыл я его своим чапаном — пусть отдохнет. Приехали мы в Галатепе. Стал я у людей суюнчи просить. Многие ждали его возвращения — подарков собрал много. Тому, кто давал суюнчи, я приподнимал край чапана и показывал спящего Мурада, а он, бедняга, спит себе, ничего не ведает. Остановился у его дома, растолкал. Вылез он из арбы и заковылял к себе. А я и не заметил сразу, что он прихрамывает и дергается при ходьбе. Ну, думаю, хорошо, что после стольких мытарств хоть домой живой и невредимый вернулся. Как не радоваться, когда человек, даже если и прихрамывает, с войны вернулся!»

Нигмат-арбакеш не сразу заметил, что Мурад прихрамывает, а дядя его тут же на это обратил внимание. Был он человеком стыдливым, и ему совершенно не понравилось, что его племянник Мурад так ненормально ходит. Он его целый месяц держал взаперти в какой-то яме, выкопанной напротив коровника, кормил зеленым луком и кислым молоком, все надеялся, что поправится. Вывел он его однажды ночью во двор посмотреть, чем же закончилось его лечение, — но Мурад еще больше стал дергаться. Дядя снова усадил его в яму.

«Как-то после полудня, обходя кишлак, я заглянул во двор к Джалилу. Видно, не ожидал он, ходит вокруг, увивается, а сам прячет глаза от меня. Я же прошелся по двору и решительно направился к старому коровнику. Джалил рядом змеей вьется: мол, нельзя туда, там всякий хлам валяется, говорит. Я как раз разыскивал тогда пропавшего колхозного бычка, и так мне то, что он глаза от меня прячет, не понравилось, что я решил заглянуть в хлев. Свернув за дом, я наткнулся на Мурадбая. Сидит, бедняга, в яме. Подлец Джалил к ногам моим

бросился, рыдает, прощения просит. Спрашиваю самого Мурадбая, молчит, только со страхом на дядю поглядывает. А Джалил рыдает, говорит, Мурадбая на руках буду носить. Я так тогда озлился, что готов был его на месте прибить. С трудом себя сдержал, всыпал я ему плеткой ударов десять, вызволил Мурадбая из плена и отпустил на волю».

Раим-аксакал часто любил рассказывать этот случай. Давно это было. После войны. С тех пор дядя Мурад живет вольно. Ни семьи у него нет, ни угла своего. Куда хочет, туда и идет. И, несмотря на то что по просьбе Раима-аксакала Рифкат-портной сшил ему два костюма, дядя Мурад не притронулся к ним. Он предпочел им старую солдатскую шинель. И даже тогда, когда она совсем износилась, залатав старые дырки, донашивал.

Ташпулат повел дядю Мурада в угол сада, там несколько мужчин, расположившись на паласе, чистили морковь для плова. При виде их они тут же примолкли. Кто-то подвинулся, уступая место рядом с собой:

— Садитесь, домулла.

Ташпулат присел, взял один из ножей, лежащих на скатерти, но Маханбай сказал:

— Оставь, сами справимся.

Дядя Мурад подошел ближе и, разглядев при свете фонаря трешку, протянул ее обратно Ташпулату:

— Это не надо... Дай юбилей!

— Он только рубли берет, других денег не признает, — сказал Маханбай и, чтобы все удостоверились в этом, вернул дяде Мураду три рубля. — Это трешка, дядя, большие деньги, в три раза больше рубля!

Дядя Мурад покачал головой и, обращаясь к Хайбарову, сказал:

— Юбилей!.. Дай юбилей!

Маханбай опустился на колени и вынул из кармана рубль.

— Вот, дядя, получите...

Дядя Мурад радостно взял рубль и тут же сунул его за пазуху.

— Эти тоже возьмите, дядя Мурад, — сказал Маханбай. — Завтра сам разменяю. Вы мне дадите одну бумажку — три рубля — я вам три денежки на них дам. — И по-

казал три пальца. — Вот столько денег дам. А теперь, дядя, идите отдохните. Вот вам морковь...

Дядя Мурад, схватив протянутую Маханбаем морковь, исчез в темноте.

— Зря вы, Маханбай-ака, ему морковь дали, — сказал один из парней. — Ведь не разгрызет.

— Не подумал, — признал свою ошибку Маханбай.

— Постарел Мурадбай, — сказал сидевший в сторонке Соли-мясник. — Его зубы продавцы орехов доконали. Все из жалости давали ему орехи, вот он зубы все и обломал. Я стараюсь тоже как-то поддержать его, мясом, что помягче, угощаю. Кости ему не разгрызть.

— Доброе дело делаете, — сказал Маханбай.

— Да у меня у самого целых зубов не осталось. Правда, Исмадулла новые мне сделал. На ночь их снимаю, утром снова надеваю.

— У дяди Мурада зубы целы, — сказал кто-то из темноты. — Если б зубов у него не было, нос бы подбородка касался.

— А ты что, заглядывал к нему в рот? — спросил Соли-мясник.

— Вот вы хвастались, что Исмадулла вам новые зубы сделал, — сказал Маханбай. — Может, и дяде Мураду такие зубы заказать?

— А зачем ему зубы? — возразил парень. Взглянув на него, Ташпулат узнал в нем младшего сына муллы Данияра. — Что ему жить-то осталось. Здоровые, с целыми зубами и те умирают.

— А ты бы ерунды не болтал, — одернул его Маханбай. — Как-никак живому человеку зубы нужны.

— Я же ему не смерти пожелал! — обиделся младший сын муллы Данияра.

— Я тебя знаю, ты жестокий. Если уж ты не переживал, когда умер твой отец, то что говорить о других, — сказал Маханбай.

— Буду в городе, поговорю с зубным врачом, — сказал Соли-мясник. — Может, и Мурадбаю зубы привезу.

— Так просто зубы не делают, его самого к врачу надо свозить, посмотреть надо, примерить, — сказал Маханбай и, обернувшись к младшему сыну муллы Данияра, добавил: — А ты, подлец, чего стыдишься дяди Мурада?

— Какое это имеет отношение к нашему разговору?! — возмутился младший сын муллы Данияра.

— Все вы стыдитесь, — сказал Маханбай. — Вот мяс-

ник вроде бы жалеет его. Когда он заходит к нему, угощает курдючным салом. Но все его слова — ложь. Может, когда-нибудь и угостил на свадьбе, но там всех угощают, но чтоб мясник, пригласив дядю Мурада домой, только для него отварил килограмм мяса! Да скорее умрет, чем такое сделает!.. — Маханбай, петушась, сверху вниз посмотрел на Соли-мясника. Тот сидел как в воду опущенный. — Да если у дяди Мурада не только зубы — челюсть отвалится, не будет переживать! — еще более распаяясь, продолжал Маханбай. — Да он постесняется взять его с собой в город. Одет дядя Мурад в отрепья, да и ходит он дергаясь. Стыдно мяснику с ним в городе показаться.

— Вот сам бы взял и отвез! — раздраженно ответил Соли-мясник.

— И отвезу! — сказал Маханбай. — Вот проведем поминки, сам и отвезу.

— Ты на машине, тебе легче, — сказал Соли-мясник.

— И сына своего Мурадом назову! — сказал Маханбай. — Вам не стыдно, что за тридцать лет сколько уж мальчиков родилось в Галатепе и ни одного Мурада среди них нет?! Да, вам бы только позабавиться, дать рубль и посмеяться над ним! А их у него потом обманом Турабай отбирает.

Все молчали. Говорить громко, спорить было не ко времени. Все ж поминки. Поминки по самому Райму-аксакалу. Нехорошо затевать спор в день траура по человеку, который пятьдесят лет управлял кишлаком Галатепе. Пусть Маханбай шумит, ему простительно, как-никак родственником аксакалу доводится, да еще водит дружбу со старшим сыном покойного. Если уж на то пошло, он во многом прав: Соли-мясник ни в жизнь не повезет дядю Мурада в город к зубному врачу. Пока дядя Мурад жив, ни один галатепинец не наречет своего сына его именем — все суеверные.

— А что Турабай?! Он человек пропащий, — сказал Соли-мясник. — Ему в аду гореть...

— Не надо за глаза говорить гадости, — прервал его грубо Маханбай. — При нем вы тише воды, а здесь расхорохорились!..

Все приуныли. Ташпулат почувствовал, что он здесь лишний: до его прихода люди вели тут свои разговоры, а теперь... Сказать по справедливости, смерть Райма-аксакала не была для них большой потерей. Ну, вспомнят годы его председательствования, какие-то добрые дела

да, может, еще, как справляли поминки: «Когда умер Раим-аксакал, столько народу понаехало...»

— А в Касан сообщили? — поинтересовался Соли-мясник.

— Не знаю, Соли-ака, — ответил Ташпулат. — И в Касане, и в Карши у него было много друзей.

— Покойный умел дружить и настоящую дружбу ценит превыше всего, — сказал Соли-мясник, чуть помолчав. — Но случалось, его подводили. Обо всех не скажу, но был у него самаркандский друг Махаммат. Пришел как-то и попросил у него денег в долг. Аксакал слов на ветер не бросал, тут же, у меня на глазах, отсчитал ему столько, сколько тот просил. Потом, когда аксакала посадили, этот Махаммат ни денег не вернул, ни о здоровье его не справился.

— А может, он его в тюрьме навещал, откуда вы знаете? — сказал Маханбай.

— Не был он у него, я у аксакала спрашивал, уж очень он потом жалел, что водил дружбу с этим подлецом.

— Так вернул он свои деньги или нет? — поинтересовался младший сын муллы Данияра.

— Недалекий ты все-таки человек, сынок, — сказал Соли-мясник. — Аксакал не о деньгах жалел, а о том, что ошибся в друге. Что деньги? Пыль, труха! Как зерна проса, возьмешь их в руки, а они меж пальцев стекут, и нет их! Аксакал, покойный, все переживал, что Махаммат даже пиялу чаю не зашел выпить, когда он вернулся домой. Так и не навестил его, подлец!

— Небось, пока аксакал был на коне, много золота скопил? — спросил младший сын муллы Данияра. — Вон, говорят, Назар-махсума сын, прокурор Хасанбек, взятки деньгами не берет, швырнет их тебе обратно в лицо: «Что мне ими подтираться?!» Берет только блестящим металлом, потом, говорят, в бруски переплавляет.

— Да замолчи ты, болтун, сын муллы! — прикрикнул на него Маханбай. — В людях надо уметь разбираться! Что тебе аксакал, ювелиром, что ли, был, чтоб золото копить! А потом, что такое богатство и для чего оно, не унесешь же его с собой в могилу?.. Лишь бы были у тебя два-три настоящих друга, чтоб в тяжелую минуту смерти были рядом с тобой и чтоб ты не почувствовал, как умираешь!

Ташпулат благодарно посмотрел на Маханбая. «А ведь он прав», — подумал он, и ему стало совсем грустно.

— Аксакал выполнил свой долг, — сказал Соли-мясник. — Выучил Ташпулата, Закирбай стал доктором, да и другие дети, слава богу, не последние люди в кишлаке. Дом в достатке, самое главное — ушел он из жизни удовлетворенный...

Ташпулат низко склонил голову. Эти слова были обращены к нему. Хотят его успокоить, поддержать.

— Покойный кое-что оставил, выходит? — предположил младший сын муллы Данияра. — Умные люди все — много ли, мало — что-то откладывают, копят, думая о детях.

— Ну и каналья ты! — покачал головой Маханбай. — Отец твой покойный вроде умный был человек, а в кого ты такой уродился?

— А что? — сказал младший сын муллы Данияра, не обращая внимания на слова Маханбая. — Аксакал столько лет руководил колхозом, и деньги были, и товар... Может, кое-чего приберег на черный день? Не может быть, что он ничего не оставил.

— Завещание оставил, — тихо сказал Ташпулат, ощущая почему-то неловкость.

— Ну, что я говорил! — обрадовался младший сын муллы Данияра.

Сидевшие вокруг люди разом посмотрели на Ташпулата.

— Завещание оставил, — повторил Ташпулат. — Но я его еще не читал.

— Может, он написал, где припрятал свое золото, — снова предположил младший сын муллы Данияра. — Его ведь не потратить, если только продать...

— Да замолчи ты, все равно это золото не твое, — ткнул его в бок Маханбай.

— Я действительно не читал, — сказал Ташпулат. — Мне его еще не показывали.

Он говорил смущаясь, виноватым тоном. Даже у тех, кто не верил в это, закрадывалось сомнение: «Может, и вправду отец тайком скопил богатство?»

Ташпулат не верил в это, но и его где-то в глубине души стало мучить сомнение.

Его ни о чем больше не спрашивали, чувствуя неловкость перед ним, человеком городским, волею случая оказавшимся в их кругу. Но все же не считали его чужим.

Ташпулат был благодарен им за это.

4. КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ

Не успел Ташпулат присесть на лежавшую в сторонке перевернутую плетеную корзинку, как к нему тут же подошла заплаканная старуха Анзират. По-видимому, она посчитала, что Ташпулата так же, как ее, незаслуженно обидели. Словно они вдвоем здесь чужие, обоих их отеснили в сторону, отделили от остальных, и вот теперь сидят они вдвоем как неприкаянные.

Ташпулат испугался, что старуха сейчас начнет плакать и причитать.

— Идите в дом, мать, — сказал он. — Не заждались бы вас.

— Кто во мне нуждается, сынок, кому я теперь нужна...

Старуха сказала так, а про себя подумала, что он тоже, бедняга, чужой. Она готова была зарыдать от обиды, вспомнив, как подло поступил по отношению к ней Раим-аксакал. За сорок лет она не раз с болью вспоминала об этом. Правда, со временем эта боль притупилась и не так терзала душу. А воспоминания, кому они нужны? Особенно теперь, когда Раим-аксакал лежит в сырой земле. «Оставь, Анзират, не проклинай, плохо ли, хорошо ли, пусть земля будет ему пухом, почивший Раим-аксакал был человеком беспокойным и пусть хоть на том свете обретет покой...»

Поняв, что старуха Анзират не собирается уходить, Ташпулат встал и, поправив сползший кусок паласа на плетеной корзине, усадил на свое место старуху:

— Отдохните немного, мама.

— Хочу тебя предупредить, Ташпулатджан, — зашептала старуха Анзират. — Помни, тетя — твой враг!..

Ташпулат никак не мог представить себе тетю врагом: старая, худая, вся высохшая, она была дряхлее, чем старуха Анзират.

— Да чтоб дом твоей тети сгорел!.. — запричитала старуха Анзират. — Да чтоб род ее вывелся, коль такое она несет! Когда покойный умирал, говорят, она сидела у изголовья.

— Неправда, — сказал Ташпулат. — Не тетя, а дядя Наим сидел. Закир мне сказал.

Вчера Ташпулату о последних часах отца рассказал младший брат. Думали, у Раима-аксакала простуда и само собой все пройдет. Человек он был сильный, крепкий, осилит такой пустяковый недуг.

У изголовья его сидел только один Наим, Наим — единственный сын Салимбаия и Майрама, единственный племянник Раима-аксакала. Пять дней не отходил он от его постели.

Раим-аксакал не очень-то жаловал Наима. И когда он слег и попросил Наима посидеть возле постели, все удивились. А ведь раньше Раим-аксакал как только его не честил — и растяпа, и нечист на руку, и, где сядешь на него, там и слезешь!

Наим побаивался дядю, но уважал, слушал, потупив взор, не перечил и не возражал, когда тот говорил: «Да что с тебя возьмешь, Наимбай, в жизни ничего путного из тебя не выйдет!»

А Наим из кожи вон лез, старался доказать дяде, что он кое-что умеет. Но ничего у него не получалось. Потому что Наима доставляли Раиму-аксакалу удовольствие, он только посмеивался: «Молодец, племянничек, ай да молодец, Наимбай! Я тебе лично и деньги давал, и товар выделял, а ты все профукал! Я тебя прощаю, так скажем — личный это счет! А теперь такую работу на тебя возложу — попаси-ка общественный скот, таксу я сам назначаю: за каждую овцу — рубль, за козу — пятьдесят копеек, тысячу овец выпасешь — тысяча рублей твои!»

И действительно сделал, что сказал, — отдал весь скот пасти Наиму.

Так Раим-аксакал развлекался, он находил удовольствие в том, что подзаводит Наима. В конце концов и Наим не выдержал, однажды взял и рискнул: «Стадо взял на себя, а себя, как говорится, доверил богу!» И надо же случиться, что ранним туманным утром на стадо напала стая волков, половину овец перерезала, часть унесла. Чабана на месте не оказалось, собаки полаяли и убежали. Когда эта весть дошла до кишлака, все галатепинцы отправились по холмам и ложбинам собирать порезанных овец. Кому волки перегрызли горло, кому выдрали бок... кругом кровь... А чабана словно след простыл. Правда, и волков никто не видел. Возмущался кишлачный люд: «Если бы этот подлец Наим вовремя дал нам знать, может, смогли бы двух-трех волков отстрелять, хоть часть овец спасти!»

Два дня Наим не появлялся в кишлаке. На третий день, объявившись в Галатепе, сначала явился в дом Раима-аксакала: «Испугался я, дядя, после этой напасти могли бы убить меня. Вот и бежал».

Раим-аксакал усадил племянника на почетном месте,

велел жене приготовить плов, а когда Наим поел, тихо спросил: «Так скольких овец ты сам загрыз, Наимбай?»

Наим приуныл, опустил виновато глаза, но врать не стал: «Всего-навсего пятьдесят». — «На пайшанбийский базар погнал?» — «Да, дядя, хоть жамский базар был ближе, боялся, узнают меня галатепинские перекупщики». Раим-аксакал грустно усмехнулся: «Да, племянничек, ты себя утруждать не станешь, не перетрудишься, может, сейчас у тебя карман полон денег, но помяни мое слово, не будет тебе от них толку!»

Галатепинцы потом всё поняли. Но что поделаешь, коль этот негодяй приходится племянником самому Раиму-аксакалу. Не стали его трогать. Одни считали, что Наим теперь разбогатеет, но случилось то, что предсказал Раим-аксакал — деньги, полученные от продажи ворованных овец, впрок не пошли. Деньги он быстро промотал и слонялся по кишлаку безработный.

Сколько таких историй можно припомнить?! Словно Раим-аксакал всю свою жизнь насмеялся над Наимом. И потому никому непонятно было, что перед смертным часом Раим-аксакал попросил позвать к себе только Наима.

Вчера Закир сказал: «Дядя Наим хоть и плутоват, но отца боялся, старался не показываться ему на глаза, и я удивился, что, умирая, отец позвал к себе именно его; чем-то, значит, он был близок ему...»

Отец пригласил Наима попросить у него прощения — это Ташпулат теперь понял.

Отвлекшись этими мыслями, он забыл про старуху Анзират: жалкая, никому не нужная, сидит она, маленькая, на плетеной корзине!

— Говорят, отец мучился перед смертью...

— Кто говорит? — недоуменно спросил Ташпулат. — Оставьте эти разговоры, мать, дядя Наим не мог такое сказать.

— Да что Наим, он хоть и вор, но золотой человек, — сказала старуха Анзират. — Это тетя сказала! Еще поминки не справили, а эта свинья всякое болтает!

Ташпулат подумал: вероятно, тетушка этим хотела напомнить, что у покойного было много грехов.

Мать Ташпулата очень тетю любила, часто, нахваливая ее мужу, она слышала в ответ упрёки, Раим-аксакал и слышать о ней не хотел. В маминых рассказах тетушка выглядела этаким красавицей-страдалицей, не

нашедшей своего счастья. Мать жалела ее за это и считала за грех обижать бедную, забытую женщину.

Когда Ташпулат был маленьким, у него часто болели зубы. Мама хватала его за руку и вела в дом тетушки. Та, увидев распухшую щеку мальчика, начинала суетиться и причитать: «Ой, бедняжка, и за что ж тебе такие мучения?»

Потом, выдернув пруттик из лежавшего у порога веника, накручивала на кончик вату, мочила ее в одеколоне, который она доставала из своей красной шкатулки, и закладывала ватку в дупло зуба.

Как-то Ташпулат, приехав в отпуск в кишлак, побрившись, освежился одеколоном. Раим-аксакал недовольно заметил: «На тетушку стал похож, сынок!» Ташпулат, став взрослым, понял, что запах духов у отца вызывал воспоминания о тетушке, о ее молодости. Сколько флаконов духов тетушка на себя за это время вылила! С годами старела, но привычки своей не бросила. Тетя боялась Раима-аксакала, может, потому она душилась только на ночь и лежала, благоухая вся, жалея свою загубленную молодость и красоту!

Сунув в дупло больного зуба вату, смоченную одеколоном, тетя вновь открывала шкатулку, прятала флакон с одеколоном и доставала оттуда племяннику красное яблоко.

Этот ритуал никогда не нарушался: тетя сначала лечила больной зуб, потом обязательно протягивала ему яблоко, от которого тоже несло одеколонным ароматом. С тех пор Ташпулат полюбил яблоки, пахнущие одеколоном. Пристрастие к этому запаху было так сильно, что все остальные яблоки бледнели, теряли вкус и цвет перед яблоками, которыми его угощала тетя.

И даже когда он стал постарше и давно молочные зубы сменились у него на крепкие, здоровые, он, вспоминая тетину шкатулку и красное яблоко, хватаясь за щеку, притворялся: «Ой, зубы, мам, зубы!»

Ташпулат тяжело вздохнул, поежился. Рядом все та же старуха Анзират, которая не пробовала тетиних сладких яблок и у которой, наверное, никогда не болели зубы. Старухе Анзират безразлична тетя, и ее одеколон, и шкатулка, из которой та доставала сладкие яблоки, потому что она считала тетю развратной женщиной. Старуха Анзират уверена и может поклясться чем угодно, что Раим-аксакал не умирал в страшных мучениях, не хрипел в предсмертной агонии, а быстро и легко отдал

богу душу. Напраслину тетя наводит. У Раима-аксакала не было много грехов. У него был один только грех — то, что бросил Анзират... Но Анзират давно ему это простила.

— Успокойтесь, мама, — сказал Ташпулат. — Рядом с отцом не тетя сидела, а его племянник Наим. И еще Закир, наш доктор, сказал, что, как отец уснул, так и не проснулся...

Старуха Анзират вытаращила на него удивленные глаза. Она скорее удивилась спокойствию Ташпулата, чем тем словам, которые он только что произнес.

Ташпулат почувствовал себя виноватым: он не должен был так говорить.

— В завещании он упомянул меня, сынок? — спросила старуха Анзират. — Говорят, он завещание оставил...

Ну вот, подумал Ташпулат, все знают о том, что отец оставил завещание, а он его еще не видел.

— Не знаю, мам, — ответил он, стараясь сдержать волнение. — Да и что отец мог завещать нам? Ничего у него не было.

— Да разве я о какой-нибудь вещи говорю, сынок, — сказала старуха Анзират. — Все, что было, они давно между собой поделили. А та, что наполнила свой чрев, сегодня больше всех болтает гадости... Скажи, сынок, за что она на меня зло держит, что она больше всех тут развонялась?

«...Развонялась?»

Ташпулат хотел ответить ей, что она заблуждается, но прекрасно понимал, что ее не переубедить. Старуха говорит, что знает. Ташпулат подумал: ничего не изменилось с тех давних пор, все осталось по-прежнему, и это горе — смерть отца, казавшееся ему таким большим, недолго будет жить в сердцах людей, даже в душе женщины, которая когда-то была его женой. Кто-то раньше, кто-то позже, но каждый вернется в свое прежнее состояние. И еще подумал: старуха Анзират простила отца, хотя не забыла своей тяжелой вдовой доли. Может быть, ее озлобленность на тетю по этой причине? Как-никак она была женой Раима-аксакала. Сейчас старуха Анзират пытается доказать себе, что самый грешный человек на свете (хороший человек не бросил бы ее и не женился на другой) невиновен перед ней.

Ташпулат загрустил. «Надо же, — подумал он, — наше горе, печаль подобно болезни, словно краснуха — быстро

заражаешься, чуть поболеешь, и со временем проходит...»

— Мать, — спросил он вдруг, — вы с отцом в последнее время разговаривали?

Старуха не удивилась его вопросу, а скорее даже взглянула на Ташпулата с чувством благосклонности. Никто с тех пор, как она развелась с мужем, не спрашивал ее об этом. Вопрос о ее взаимоотношениях с Раимом-аксакалом был для нее чем-то святым, ее личной тайной, ни с кем она ею не делилась.

Скромной женщиной была старуха Анзират!

— Нет, — сказала она тихо. — Встречались, но не разговаривали. Даже здороваться с ним язык не поворачивался, сынок...

Ташпулату стало жаль старуху. «Бедняга, — подумал он, — сорок лет терпела, несла вдовье бремя. Чего она ждала? Смерти? Вот если б нас так ожидали! Нет, нам никогда не понять этого. Нас ждут лишь на свиданьях в парках, на улицах под часами, на оживленных остановках, где не так уж скучно ждать...»

Стоит только в Галатепе заговорить о старухе Анзират, как тут же невольно вспомнят ее мать Айшу. Было бы заблуждением думать, что не женились на ней лишь потому, что побоялись Раима-аксакала. Нашлись бы люди уверенные в себе, спокойно могли засылать к ней сватов, и не Раим-аксакал был причиной того, что она все-таки осталась вдовой. И тут люди правы! Все дело, конечно, в самой Анзират. Не пойдет она второй раз замуж, считали они. У них весь род такой, — когда умер отец, мать ее Айша, презрев тысячелетний мусульманский обычай, пошла с мужчинами на кладбище. И как только мулла ни увещевал ее не делать этого, она ослушалась.

До сих пор с чувством страха вспоминают в кишлаке, как Айша, обрезав ножницами длинные косы, надела сапоги покойного мужа, его чапан, тубетейку — словом, приняла мужской облик и вместе с другими мужчинами понесла носилки с телом мужа на кладбище. Несшие носилки с покойным менялись каждые десять шагов, только Айша не уступала никому своего места. Спотыкаясь на каменистой дороге, путаясь в полах длинного халата, она все же донесла гроб до кладбища.

С тех пор Айшу так до самой смерти и считали

в кишлаке мужчиной. Оставшись одна, она сама вела хозяйство: колола дрова, пасла скот, пахала землю. Никто на нее уже и не смотрел как на женщину.

Так вот, Анзират и родилась у этой грубой, мужеподобной женщины. И тоже в двадцать пять лет, как и мать, осталась одна и больше замуж не выходила.

5. ТРИ ДНЯ НАЗАД

В полдень Ташпулат Хайбаров забежал на базар купить своим приятелям виноград. И каких сортов только не было на рынке: и дамские пальчики, и мускат, и крымский, и кишмиш... Он выбрал черный кишмиш без косточек — сладкий, даже приторный. Хайбаров не стал пробовать и торговаться. Черный, с матовым оттенком, с капельками росы на виноградинках, кишмиш этот напомнил ему родной дом, виноградник с висевшими до земли тяжелыми гроздьями. Да и продавец, стоявший за прилавком с большой корзиной из ивовых прутьев, полной винограда, располагал к себе: был он в белом халате, время от времени протирал тряпочкой весы и гири, и, чтоб покупатель мог попробовать товар, на кусочек марли он выложил мытую гроздь винограда. Взвесив, как попросил Хайбаров, два килограмма, продавец осторожно переложил их с весов в целлофановый пакет, приготовленный Хайбаровым, и, смахнув с чаши весов прилипший виноградный лист, снова досуха протер ее.

— Что может сравниться с чистотой, братец, — сказал он, слащаво улыбаясь.

— Да, конечно, — в ответ тоже улыбнулся Хайбаров. — Кило — полтора рубля, за два килограмма — три рубля, с вас еще два рубля сдачи.

— Какую сдачу? — не понял продавец. — Вы мне еще не платили.

— Как? — удивился Хайбаров и, весь красный от смущения, стал шарить по карманам. — Я дал вам пятерку!

— Ничего вы мне не давали, — твердо ответил продавец.

На спор собрались зеваки. При виде их Хайбаров еще больше растерялся и, вытащив из кармана все деньги, положил на прилавок.

— Я вам все ж отдал пять рублей, — сказал он. — Вот... У меня было двадцать рублей, осталась десятка и пятерка.

Продавец винограда посмотрел на него осуждающе

и тоже стал вытаскивать из кармана деньги — десятки, пятерки, трешки, рубли, новенькие и помятые... — их у него было много.

— Может, вот эта?! — неуверенно сказал Хайбаров, показывая на отдельно лежавшую сложенную вдвое пятерку. — Кажется, она у меня была новенькой.

— Нет. Вы мне денег не давали. Получше посмотрите в карманах.

Хайбаров еще раз перерыл свои карманы.

— У меня нет пятерки, может, вы взяли и забыли, а?..

— Ничего не забыл, давай плати, — перешел вдруг на «ты» продавец.

Хайбаров рассердился, высыпал виноград обратно в корзину и зло бросил:

— Подавись ты своим виноградом!

Он с досады махнул рукой и отправился с базара.

— Посмотрите на этого дармоеда! — закричал продавец во всеуслышание. — Не на того напал. Дай ему бесплатно виноград, да еще и сдачу в придачу!

Хайбаров, отошедший к тому времени шагов на десять, услышав вслед такие слова, вынужден был вернуться. За ним устремилась толпа любопытных.

— Если вы думаете, что я пришел на базар, чтоб вашей милости просто так оставить пять рублей, то глубоко ошибаетесь! Я бы ушел, черт с ними, с этими пятью рублями, но с какой стати я их должен дарить вам?

— Уходи! — угрожающе сказал продавец.

— Нет, я теперь не уйду, — сказал Хайбаров. — Если я молча уйду, вы окажетесь правым.

— Послушай, — сказал продавец, хватая валявшуюся рядом с весами самую тяжелую гирию. — Уходи подброду, жулик несчастный!

— А вы подумайте еще раз, может, взяли все-таки?..

— Пошел отсюда, не морочь мне голову! — крикнул продавец, положил гирию и, вынув из кармана помятый рубль, швырнул его в лицо Хайбарову: — На, возьми и убирайся отсюда!

Хайбаров не выдержал, схватил продавца за шиворот и стал трясти. Вокруг собралась толпа, что-то кричали, но никто не пытался их разнять. Прибежал маленького роста молоденький милиционер и заученным движением заломил Хайбарову назад правую руку.

— Отпусти! — застонал Хайбаров.

Милиционер не отпускал, наоборот, еще больше за-

ламывал руку. Хайбаров извивался, стараясь вырваться, но каждое его движение причиняло боль.

— Да отпусти ты его! — вдруг раздался голос. — Силач какой нашелся!

Милиционер сердито обернулся и, увидев благообразного старика, отпустил руку Хайбарова, правда, он при этом придержал его за рукав, на всякий случай, чтоб не сбежал.

— Взял виноград, а платить не хочет, — пожаловался продавец. — Да еще два рубля сдачи требует.

— Да чтоб вы подавились своим виноградом! — сказал Хайбаров. — Верните мне мои деньги, и я уйду. — И, обернувшись к державшему его за рукав милиционеру, добавил: — Ну что вы вцепились, отпустите меня.

Сержант грозно посмотрел на него, но руку отпустил.

— Видите, какой наглый! — сказал продавец. — Он и товарища сержанта оскорбляет.

— Пусть каждый за себя отвечает, — сказал старик продавцу. — А ты, сынок, — обратился он к милиционеру, — можешь идти. Это не такой серьезный вопрос, чтобы понадобилась твоя помощь.

Сержант не стал перечить старику и ушел.

— Ну, говори, слушаем тебя, — строго сказал старик продавцу.

— Этот человек клеветает на меня, отец, — сказал продавец.

У прилавка уже собралась большая толпа. Услышав слова продавца, все зашумели.

— Успокойтесь, давайте сначала выясним, в чем дело. Итак, виноград свой или на перепродажу?

— Свой, — ответил продавец. — Вот этими руками выращивал, отец.

— Допустим, — сказал старик. — Но настоящий дехканин не станет так громко кричать.

— Тут поневоле взорвешься... — сказал продавец, как бы оправдываясь.

— Так, так... — усмехнулся старик, затем повернулся к Хайбарову: — А ты кто будешь?

— Я — Хайбаров. Зашел на базар, чтобы купить друзьям, что работают в поле, немного винограда. И были у меня десятка и две пятерки, а теперь одной пятерки нет...

— Ты хочешь сказать, что пятерку отдал ему?

— Конечно. Куда она тогда делась, я уже перерыл все карманы.

— Надо человеку смотреть в глаза, когда даешь деньги. А ты смотрел? — спросил старик.

— Мне пятерку не жалко, только вот... Обидно, понимаете, он же взял мои деньги.

Старик внимательно оглядел скромно одетого Хайбарова — старый, поношенный костюм, стоптанные брезентовые сапоги. Рядом с ним стояло грязное ведро, из которого торчали щетки и тупые ножи.

— Сколько же ты зарабатываешь, если не жалко пяти рублей? — улыбнулся старик.

— Триста пятьдесят, — сказал Хайбаров.

В толпе загомонили, зашумели — никто не поверил ему.

— Стало быть, он какой-нибудь профессор!..

— Нет, переодетый халиф!

— Может, ты три пятьдесят получаешь?

— ...Плюс премиальные, и будет триста пятьдесят!..

Старик строго посмотрел на собравшихся, и все тут же притихли.

— Никто не видел, как они торговались? — вдруг спросил он.

— Пятерка у него вроде была, — нерешительно сказал стоявший рядом продавец яблок. — А может, не у него я видел, базар ведь...

— Но у меня нет одной пятерки! — повторил Хайбаров.

— У тебя ее вообще не было, — быстро парировал продавец.

— Хватит спорить, давай взвешивай, — приказал ему старик.

— Я не возьму его виноград, — сказал Хайбаров. — Пусть вернет мне мои пять рублей, лучше я у другого куплю.

— Не по-божески это, — рассудил старик. — Ты берешь его виноград. Чего ты смотришь, давай взвешивай!

Продавец не стал упрямиться, взвесил. Старик взял у Хайбарова целлофановый пакет и положил туда виноград.

— А теперь верни ему два рубля сдачи, — сказал старик. — Нет, лучше взвесь еще полтора килограмма винограда.

Продавец, чертыхаясь, взвесил еще. Старик вручил Хайбарову его пакет и спросил:

— Теперь доволен?

— Нет, — сказал тот и, вытащив из пакета большую гроздь винограда, бросил обратно в корзину.

— Щепетильный, — улыбнулся старик. — Но ты ошибся, ты ему больше вернул, легче было бы доплатить двадцать пять копеек.

Хайбаров ничего не ответил.

— Вот теперь по справедливости, — удовлетворенно сказал старик и затем объяснил свой поступок: — Если он настоящий дехканин и говорит правду, то его добра никогда не убудет... Не виноград же виноват здесь! Если человек действительно заплатил, то ему дозволено есть купленное, и приятного ему аппетита! Если же не заплатил, то все равно есть не сможет... Аминь! Пусть будет все по справедливости!

Старик сказал это и ушел, будто все потеряло для него всякий смысл. Разочарованный народ стал расходиться. Остались Хайбаров и продавец.

— Я вас не обманул, — сказал Хайбаров. — Вы, наверное, забыли, пересчитайте вечером выручку...

Продавец даже не посмотрел на него. Хайбаров, постояв с минуту, с пакетом в одной руке, в другой с пустым ведром, опустив голову, медленно направился к выходу. Выйдя с базара, он поставил ношу на землю, снова перерыл все карманы, выворачивая их наизнанку, но, убедившись, что пятерки нет, успокоился, взял ведро и пакет и уверенно зашагал по улице.

Пройдя мимо кладбища, Хайбаров оказался в поле, где шли археологические раскопки. На лёссовом плато, покрытом кое-где жухлой травой, стояла палатка. Он с удивлением заметил, что вход в палатку прикрыт брезентом. Никого не было и под двумя большими тентами. Он уже было решил возвращаться, когда из-за плоского холма слева до него донеслись едва различимые голоса. Хайбаров направился туда. На противоположной стороне холма в огромной, почти квадратной, яме работали двое. Он узнал двадцатитрехлетнюю Замиру, антрополога из их института. Специальным затвердителем она обрабатывала стену с древней росписью. В углу на ящике из-под инструментов сидел мужчина в очках. Хайбаров незаметно подкрался к ним и прыгнул в яму. Замира от испуга вскрикнула и выронила шприц.

— Ой, как напугали!.. — сказала она, хватаясь за сердце.

— Привет, Ташпулат-ака... — поприветствовал его мужчина в очках, не вставая с места. — Замира не смогла уехать, а я ее одну не решился оставить.

— Вы зря за меня испугались, Кабул, — сказала Замира. — Я умею за себя постоять.

Хайбаров поставил ведро и пакет с виноградом на землю, подошел, поздоровался за руку с Кабулом.

— Хотел вас застать на месте преступления. А жаль!..

— Действительно, — ответила Замира. — Вы чуть опоздали, Ташпулат-ака.

Хайбаров, раскрыв пакет с виноградом, вдруг шлепнул себя по лбу:

— Ну надо же, лепешек забыл купить!

— А хлеб у нас есть, — сказала Замира. — Кабул принес.

Она взяла ведро с ненужными битыми черепками и поднялась вверх по доске, приставленной к краю ямы.

— Меня сюда утром Самад забросил, — как бы оправдываясь, сказал Кабул. — Хотел вас увидеть....

— К чему ты это, Кабул? — возмутился Хайбаров. — Не надо, друг, у меня с Замирой не те отношения, чтоб...

— Нет, — сказал Кабул, еще больше теряясь. — Я хотел сказать, что...

Спустилась Замира с двумя лепешками, завернутыми в платок. Разломив одну, протянула половинки Хайбарову и Кабулу. Потом вытащила из сумки два яблока.

— Яблоки мы съедим потом, — сказал Хайбаров, доставая из пакета крупные гроздья винограда. — С детства обожаю виноград с хлебом.

Поев винограда, Замира платочком вытерла губы, встала и сладко потянулась — стройная, красивая. Посмотрела на Хайбарова, который, позабыв про виноград, любовался ею.

— Нравлюсь? — озорно спросила она.

— Хороша! — воскликнул Хайбаров. — Так дальше не пойдет, Замира. Нельзя, чтоб фрукт перезревал, его надо вовремя срывать!

— И чего другого от вас можно услышать! — обиделась Замира.

— Но ведь правду говорю.

— Хватит, Ташпулат-ака, на этом закончили, — сказала Замира, начиная сердиться.

— Когда я смотрю на тебя, на такую хорошую, мне в голову лезут странные мысли, — продолжал Хайбаров. — Такие вольные мысли, что...

— Убить вас мало за такие мысли, — нахмурилась Замира.

— А кто просил быть честным и откровенным?

— Разве так честно, Ташпулат-ака?

— Что?..

— Ну, эти ваши мысли!..

— Прощайте, вольные мысли! — картинно воздел руки к небу Хайбаров. — Правдивая мысль всегда страшила людей. Истину всегда замалчивали. За мысль людей казнили, сжигали на кострах! Нет, и этого было мало, придумали Коран, Библию, шариат, инквизицию... Дайте же, наконец, свободно вздохнуть мыслящему!

Замира перестала улыбаться.

— Довольно паясничать, — сказала она обиженно. — Ведь вы ж на самом деле не такой.

— Нет, такой... Именно такой. — И умолк.

Замира покачала головой и ушла, захватив с собой ведро с черенками.

— Хочешь еще винограда, Кабул? — спросил Хайбаров.

Сидевший грустно в углу на ящике с инструментами мужчина в темных очках, услышав свое имя, оживился:

— Нет, спасибо, я уже наелся. Сладкий виноград. Помню, однажды Юлдаш из Паркента привез целую корзину такого винограда.

— Этот тоже, кажись, оттуда, — сказал Хайбаров лениво. — Благодаря Юлдашу я теперь только паркентский виноград и покупаю. Если помнишь, на его свадьбе всю ночь гуляли, а под утро отправились домой, было еще темно, на обочине сидели люди с корзинами винограда, ожидая попутных машин...

— Горный же район, — сказал Кабул. — У них там по скалам виноградники вьются. Тогда нас, помните, Поэт на такси возил.

— Книжка у него тогда вышла, гонорар большой получил, — вспомнил Хайбаров. — Как молоды мы все были.

— Да и сейчас молодые, — сказал Кабул.

— Виноград этот паркентский, только человек, продававший его, совсем не похож на Юлдаша, — сказал Хайбаров. — Он сильно меня смутил. Хорошо, старик там один оказался...

— Какой старик? — не поняв, о чем идет речь, спросил Кабул.

— Хороший старик, — сказал Хайбаров.

Он хотел рассказать Кабулу о том, что произошло с ним на базаре, но передумал, не хотелось портить себе настроение воспоминаниями об этом. Отнеся пакет с виноградом в тень, Хайбаров взял щетку и стал осторожно очищать кусочек керамического сосуда от налипших комочков земли.

— Ташпулат-ака, а что это за вольная мысль, из-за которой обиделась Замира? — вдруг какое-то время спустя спросил Кабул.

— Ты думаешь, она обиделась?

— Мне кажется, хотя она все обернула в шутку, в душе все же переживала, — сказал Кабул.

— Да какая эта могла быть мысль? — сказал Хайбаров. — Глядя на ее фигуру, я подумал о том, как бы с ней переспать. Чего тут мудрить? Мне такие девушки нравятся.

Кабул снял темные очки — глаза у него были зеленоватые, прозрачные, слишком даже прозрачные, какие-то неживые.

— А она красивая? — тихо спросил он.

— Что тебе ответить?.. — замялся вдруг Хайбаров. — Сказать по правде, я встречал женщин и красивее ее. Но тут дело не во внешней красоте.

— Вы ревнуете, — улыбнулся Кабул. — Она, наверное, очень красивая. Это видно по тому, как вы говорите о ней. Вам бы жениться на ней, Ташпулат-ака?

— Вот ты женат, так скажи мне: женившись, что ты приобрел? Умнее стал, мудрее? — Хайбарову захотелось перевести весь этот разговор в шутку. — Там дети, проблемы, заботы...

— Без забот не бывает ничего, Ташпулат-ака! Моя жена прекрасная женщина, теперь без нее я не смог бы прожить и дня.

— Ты не устал? У нас еще работы непочатый край. Иди отдохни пока, ты же любишь поспать.

Хайбаров поднялся вместе с ним из ямы, отвел его в палатку и усадил на раскладушку.

— Я пойду, Кабул, поработаю.

— Посидите со мной, Ташпулат-ака, — придержал его за руку Кабул. — Спать мне не хочется.

— Ну, ты как девушка... — улыбнулся Хайбаров и, присев рядом с товарищем, обнял его за плечи. — Ты прав, работа действительно никуда не убежит. Ладно, лучше спой мне что-нибудь.

— Вы меня жалеете? — спросил Кабул.

— Нет, совсем нет, — сказал Хайбаров. — Давай не будем выяснять отношений. Мы с тобой по-прежнему друзья, Кабул. Сегодня что-то мне грустно. Нет настроения. Украли его. Старик на базаре временно решил эту проблему. Хороший старик, Кабул, плохо, что такие скоро уйдут, друг, а кто знает, сможем ли мы заменить их.

— А что это был за старик, вы что-то о нем часто вспоминаете?

— Хороший старик, — повторил Хайбаров. — Душа у него тонкая, людей понимает. Грустно мне что-то, лучше давай спой, а?

И Кабул запел старинную народную песню про белую змею при ясной луне, песню такую же древнюю, как это мертвое плато, как рассыпанные вокруг безжизненные лёссовые холмы — то, что осталось от Афросиаба.

Мелодия песни, которую пел Кабул, всколыхнула в душе Хайбарова удивительные чувства. «Какая она чистая, — подумал он, — чиста, как слеза вдовы, как дыхание ребенка, и потому живет в веках, передаваясь из уст в уста. Живы еще наши песни». И он почувствовал, как возвысилась, возгордилась душа.

Больше не в силах сидеть в палатке, Хайбаров вышел наружу и полной грудью вдохнул звонкий степной воздух.

Кабул в палатке все пел. Ему сейчас не нужен был никто.

Хайбаров направился к яме. Замира уже была внизу, — перочинным ножичком разделив землю на квадратики, она снимала верхний слой.

К палатке, подняв тучу пыли, подкатил старенький «Москвич». Из него вылез высокий симпатичный парень.

— Ассалам алейкум, Хайбаров! — прогремел он басом. — Где пропадаешь, приятель? Жив-здоров?

— Все в порядке, — ответил Хайбаров, пожимая в ответ парню руку. — Я вот сижу без дела, а Замира работает. Кабул тоже здесь... Живем потихоньку, друг мой Самад!

— Словом, не скучаешь? — сказал Самад, переходя на шепот, кивнув в сторону Замиры. — Силен ты, Хайбаров!

— Это не я силен, а ты, — сказал Хайбаров. — Слышал, утром приезжал. Тут в тебе самом что-то кроется. Что это ты так зачастил?

— Да оставь ты, — махнул рукой Самад. — Я семейный человек! Утром Кабула привез. Привык он к полевым работам, что он будет делать, когда вы здесь закончите? Я забрать его приехал. Вечером заскочить не будет времени. Детей в кишлак отвозил, надо будет за ними съездить.

— Я останусь, Самад-ака! Вы объясните Ташпулату, что я и сам могу добраться!

Хайбаров обернулся, — выйдя из палатки, Кабул стоял, прислонившись к цистерне с питьевой водой.

— Пусть остается, — сказал Хайбаров Самаду. — Сам отвезу.

— Жена его настоятельно просила, — сказал Самад. — Да, чуть не забыл, Хайкал Ганиевич велел передать, чтоб ты завтра с утра заглянул к нему.

— Дело, что ли, какое?

— Этого он не сказал. Кажется, какая-то лекция...

— Я в командировке, и лекции меня не касаются, — сказал Хайбаров.

— Скажите, совесть у них есть, Самад-ака? — сказала Замира, поднимаясь из ямы. — От большой экспедиции осталось всего четверо. Один уехал в город, другой сидит с маленьким ребенком, остальных увезли в район, там на трассе канала древние захоронения и кладбище, и археологи сами должны перенести их, чтоб не затопило водой.

— А что ж колхозники? — поинтересовался Самад.

— Люди в кишлаке суеверные, кладбище трогать считают за грех, ирригаторы могли бы это сделать, но это внеплановая работа, а то бы они не задумываясь сровняли бы бульдозерами кладбище с землей.

— Ну это уж вы хватили лишку, — сказал Самад недоверчиво. — А вы как перенесете кладбище? С почтением и уважением?

— Да, — ответила Замира. — Мы к покойникам с почтением и уважением относимся...

— Ну, так мы поехали, — сказал Самад, неожиданно заспешив.

— Я останусь, Самад-ака, — сказал Кабул. — Как-нибудь доберусь.

— Ну хорошо! А что я скажу твоей жене? Я ведь обещал тебя доставить! — сказал Самад, топчась на месте, и взгляд его упал на лежавший у ног сосуд. — И это все, что вы сегодня раскопали? — спросил он Хайбарова. — Небогато!..

— Разве мало? — обиделась Замира, забирая сосуд из его рук. — Осторожней, очень хрупкая вещь.

— Вижу, — сказал Самад и с иронией добавил: — А нету тут поблизости какого-нибудь сторожа? Ведь если мужчины уедут, одна останетесь, не боитесь, что украдут?

— Не украдут, — кивнула Замира на ведро, в котором лежали ножи.

— Так они ж все тупые.

— Пока вы приедете, я их поточу.

— Послушайте, — сказал Хайбаров спокойным тоном. — А не лучше ли вам вместе съездить в город и пригласить химиков, чтобы сняли роспись в третьей яме, а то выгорит на солнце?

— А вам-то какое дело? — рассердилась вдруг Замира. — Можете спокойно надеть белую рубашку и заниматься своим исламом... Благодетель нашелся.

— Что мне, уехать? — спросил Хайбаров.

— Ваше дело! — ответила Замира. — Я вас лично сюда не звала.

— Экая злость! — засмеялся Самад. — Она же хочет, чтоб ты навсегда остался с ними, Хайбаров! Бежит, говорят, от петуха курица и все оглядывается: не слишком ли быстро я бегу?..

— Пошляк!.. — замахнулась Замира, но Самад успел увернуться.

Надувшись, она отошла в сторону, словно выжидая, когда же наконец они уедут. Хайбаров, почувствовав, что так дело может дойти до ссоры, шутливо заметил:

— А зря вы так, Замира. Хайбаровы на каждом шагу не валяются.

— Что ж, мы и без Хайбаровых проживем.

— С женщинами можно согласиться, но верить им нельзя, Хайбаров, — подмигнул Самад.

— Пустомели! — улыбнулась Замира. — Да ну вас, и что это я с вами связалась?

— Хорошо, когда женщина понимает, а, Самад?

— Ты тоже знай меру, Ташпулат, — сказал Самад. — Если женщина невзлюбит, дело плохо, это, считай, на всю жизнь...

Замира уговорила Кабула уехать, объяснив, что жена будет волноваться, сама усадила его в машину и вернулась на свое рабочее место.

— Остаешься один, Ташпулат, смотри будь осторожен! — сказал Самад.

— Ничего умнее не мог сказать?!

— Шучу, шучу... — Подкатив к нему боком, Самад ткнул Хайбарова в плечо. — Не обижайся, ты какой-то странный. Ни тебе, ни мне этих ям не нужно, на хлеб мы себе заработаем. Девушка права, какое ты к ним имеешь отношение? Трудно, когда не знаешь, что ищешь.

— Если бы не знал, не искал бы, — сказал Хайбаров.

— Ты, кажется, уже нашел? — подмигнул Самад. — У тебя неплохой вкус, Хайбаров!

— Сразу видно, что ты плохо воспитан, — сказал Хайбаров.

— Теперь уже поздно, Ташпулат, — засмеялся Самад. — Ну хорошо, счастливо оставаться. Приезжай к нам, Саида спрашивала, куда это ты пропал.

— Как-нибудь заеду.

Самад сел в машину, завел мотор. Хайбаров посмотрел на неподвижно сидящего на заднем сиденье Кабула, и ему стало жалко приятеля. «Надо было его оставить, — подумал он. — Отвлекся бы, успокоился, нам он не был в обузу. Это скорее не забота, а жалость, может, даже лучше, что он уезжает. Вот так, друг мой Хайбаров, — еще сказал он про себя. — Если вспомнить, ведь когда-то все было по-иному, ни о чем не думал, гулял, учился, шастал по улицам, кафе и библиотекам... Тогда Замиры не было и Кабул был здоров. Девушки мечтали удостоиться его взгляда, он снился им по ночам. Кабул был разборчив, хотел выбрать достойную, и теперь, когда нашел — надо же было такому случиться, — хорошо, что не ошибся в выборе: Мазлума не бросила его в трудную минуту, возится с ним, как с ребенком, каким только врачам не показывала и куда только не возила, потому что, пока есть надежда, хватает и терпения, и еще существует чувство долга, совести».

— Перейдем к третьему квадрату, Ташпулат-ака! — прервал его мысли голос Замиры.

И они вдвоем по вытопанной траве стали по краю рва обходить древний город. Третьим квадратом называлось древнее кладбище, где вели работу Замира и палеоантрополог Хосият.

— Хосият вчера интересовалась, почему с нами, «могильщиками», работает философ? — сказала Замира.

— Она, вероятно, не знает, что я в научной командировке?

— Знает... Но не понимает. По правде говоря, я сама тоже не понимаю.

— Я приехал по воле Хайкала Ганиевича, — сказал Хайбаров. — Он хочет, чтобы я защитил докторскую, если я стану доктором, это поднимет его авторитет. Честно говоря, мне эта работа становится по душе, да и вы здесь рядом...

— Уж не хотите ли объясниться в любви? — насупив брови, спросила Замира.

— Нет, — сказал Хайбаров. — Я уже взрослый человек, как-то неудобно...

— А зря, — сказала Замира.

Хайбаров не понял, что она этим хотела сказать. Тем временем они дошли до древнего кладбища — небольшого квадрата, огороженного бечевкой, натянутой на вбитые по краям кольшки. Замира приподняла кусок брезента, накрывавшего могилу. Вынув из мешочка небольшой фотоаппарат, стала фотографировать кости и истлевшую одежду. Хайбаров молча изучал ее взглядом, словно перед ним была другая девушка.

— Вот эти кости мы заберем, — сказала Замира, пряча фотоаппарат в мешочек. — Остальное истлело, трудно восстановить.

Хайбаров стал разглядывать лежавший ближе к нему череп.

— Это тоже, кажется, истлело?

— Остальные ничего, — успокоила Замира. — Восстановим, вы мне поможете.

Девушка осторожно положила череп в мешочек и отставила в сторону. Оставшиеся кости она завернула каждую в отдельную бумагу, делая пометки карандашом, из какой могилы выкопано, и все уложила в большой рюкзак.

— Помогите, Ташпулат-ака, — сказала она. — Отвезем в институт. А этого беднягу я понесу сама.

— Что это, испытание нервов?

— Почему? — удивилась Замира. — Неужели вы позволите девушке нести такой тяжелый рюкзак?

Хайбаров нехотя поднял рюкзак и закинул его за плечи. Он думал, что ему будет нелегко нести этот мешок с костями, но он оказался не таким тяжелым, как и предполагал Хайбаров, только торчавшие кости больно упирались в спину.

Они возвращались по тропинке, проходившей через кладбище. Над каждой могилой — мраморное надгробие с надписями и золоченым полумесяцем, у каждой могилки скамеечка, цветут розы, куст кусту.

— Может, передохнем? — предложила Замира. — Здесь хорошо, прохладно.

Хайбаров снял с плеча рюкзак и присел на скамейку возле старой могилы.

— Не успеешь оглянуться, и мы тоже придем сюда на вечный покой, — сказал он, прервав молчание. — Принесут, с почестями захоронят, потом...

— Это мне неинтересно, Ташпулат-ака, — сказала Замира. — Это вы будете рассказывать другим. Такая уж у меня работа, ничего не боюсь. Не обижайтесь, конечно...

Хайбаров благодарно посмотрел на нее — другая бы на ее месте начала бы кокетничать, а эта, только рот раскроешь, пригвоздит на месте.

Хайбаров задумался и представил, как они выйдут с кладбища. И он, как обычно, поздоровается со стариком в белой чалме, сидевшим у входа в гранитную мастерскую, старик тоже, ответив, как всегда, на его приветствие, осуждающе оглядит его спутницу. Потом они выйдут на шоссе и будут голосовать проезжающим машинам. Остановится левак. Замира сядет сзади, а Хайбаров со своим огромным рюкзаком сядет впереди, рядом с водителем. Спустя какое-то время Хайбаров обернется к Замире и улыбаясь спросит: «За них тоже будем платить? Беднягам и в голову не приходило, наверное, что спустя тысячу лет они будут кататься на такси?» Замира не растеряется, она еще полчаса назад подготовилась к его глупой шутке и потому тоже улыбнется. Шофер настороже: «А кого вы еще везете, ака?» У бедняги руки на руле, оглянуться, посмотреть на живот Замиры ему неудобно, и, взглянув на Хайбарова, подумает: везет же парню, такую красавицу отхватил. Он даже не замечает большого рюкзака, лежащего между ног Хайбарова. Тот, ткнув ему в плечо, кивнет на мешок: «Тут головы десяти человек, приятель!» Шофер испуганно вытаращит глаза и заикаясь скажет: «Да, да-а не может быть, ака!» Замира удивляется: надо же, какой трус! «Мы, товарищ, археологи, он просто пошутил», — говорит она. Водитель уже готов поверить ей, но после слов Хайбарова: «Оказывается, и в древние времена люди вставляли себе золотые зубы!» — он вовсе теряет покой.

Осуждающий взгляд старика в белой чалме, испуг таксиста кажутся ему забавными. Видимо, старею, подумал он, коль разная чепуха лезет в голову.

— Не опоздаем? — спросила Замира, посмотрев на часы.

— Куда спешить, — усмехнулся Хайбаров. — Все равно помрем. Захоронят нас однажды под такой вот холмик...

— Вам не надоело?

— Пользуясь случаем, я хочу рассказать вам одну историю. В этом бренном мире жил один влюбленный, Замира. И вот как-то он пришел к своей возлюбленной и постучался к ней в дверь. — Хайбаров постучал по могильному камню. — За дверью спросили: «Кто там?» Влюбленный ответил: «Открой, это я». Возлюбленная сказала: «Уходи, здесь нет места для двоих!» Влюбленному пришлось уйти восвояси. Он долго скитался в пустыне. Спустя год он вновь вернулся к возлюбленной, снова постучал в дверь и снова услышал: «Кто там?» И тогда он ответил: «Открой, это ты!» И дверь открылась и впустила влюбленного.

— Он так долго ходил раздумывал? — улыбнулась Замира.

— Да, у прежних людей было, вероятно, больше времени на раздумья.

— Интересная сказка, — сказала Замира. — Сами придумали?

— Нет, — сказал Хайбаров. — Джалилиддин Руми. Но действительно, влюбленный ждал долго, пока его впустили.

— А если бы он сам спросил: «А кто там за дверью?»

— Вероятно, мог, но он был напуган, расстроен, — сказал Хайбаров, хитро прищурился. — Он боялся, что там может оказаться еще и другой человек?

— А если там никого не было? — улыбнулась Замира. — И зачем ему надо было уходить на год в пустыню?

— Не знаю, — пожал плечами Хайбаров. — А там, за дверью, действительно никого нет?

— Кто знает? — опустила глаза Замира. — Может, там даже нет самой возлюбленной...

— Тогда мне жалко влюбленного, — сказал Хайбаров, поднимаясь с камней. — Пошли!

И он направился к выходу.

— Куда же вы? — крикнула вслед Замира. — А рюкзак?

Хайбаров нехотя вернулся, поднял с земли тяжелый

мешок с костями. У выхода с кладбища никого не было — ни старика в чалме, ни выставленных образцов камней — мастерская была на замке.

6. САМАД

Лет восемь назад, кажется, в начале марта, Самад, передав ключ от своей квартиры Хайбарову, попросил его: «Пойди поставь чайник, я скоро приду».

Хайбаров пошел к другу, не успел он вставить ключ в замочную скважину, как дверь открыла девушка, подруга Самада. Встретила она его приветливо, тут же поставила чайник, накрыла на стол, и, когда они сидели и, мило беседуя, пили чай, вошел, то ли напевая, то ли напевистывая, Самад.

Увидев, что его подруга сидит и преспокойно попивает чай с незнакомым ей мужчиной, Самад разозлился. Вне себя от ревности, он стал оскорблять ее всякими нехорошими словами.

Хайбаров вначале так растерялся, что даже почувствовал себя виноватым, и вместо того, чтоб встать и дать отпор другу, он почему-то сидел, опустив глаза. Самад, отведя душу, немного успокоился. Девушка встала, взяла в руки сумку, оглядела комнату, которую она чисто убрала, и затем, с презрением посмотрев на сидевшего молча Хайбарова, быстро выбежала из квартиры.

Самад же после ее ухода опечалился, правда, это чувство у него быстро прошло, и он, глядя в глаза Хайбарову, как бы вынося себе приговор, громко сказал:

— Подлец я!

Хайбаров же, обиженный на друга, после того, как тот назвал себя подлецом, постарался его простить...

Самад раскаялся в том, что так нехорошо поступил. «Подлец я, друг, — сказал он. — Надо было мне давно признаться ей, что она мне надоела. А я проявил слабость, жалко мне ее стало, теперь же... вот, как видишь, тяжело мне, очень тяжело и стыдно, дружище!»

Хайбаров, молча выслушав его, встал и, хлопнув дверью, вышел из дома. «Ноги моей здесь больше не будет», — поклялся он.

На следующий день Самад сам явился к нему просить прощенья. «Прошу тебя, приятель, пойди поговори с ней, всю ночь не спал, что хочешь обо мне думай, но не откажи в моей просьбе».

Хайбаров не смог отказать другу. Правда, поговорив

с девушкой, он понял, что девушка прощать Самада не собирается.

Самад сам пытался вымолить у нее прощение, но безрезультатно. Два года он преследовал ее, но оскорбленная девушка была непоколебима. Самад в отчаянии спросил Хайбарова: «Что же теперь делать, приятель?»

Видя, как переживает его друг, Хайбаров посоветовал: «Тебе надо жениться на другой девушке, Самад. Забудешь, успокоишься».

И Самад женился на Масуме. Хайбаров гулял на их свадьбе. Потом, когда у них родилась дочь, он вместе с Самадом ездил в роддом забирать его жену.

Самад был рад без памяти. Хайбаров тоже радовался за друга. Прежние дружеские отношения вновь были налажены...

Самад с Масумой зажили в любви и согласии. Коллеги в институте его уважали. И руководитель его работы Хайкал Ганиевич прекрасно относился к нему. И докторская уже была на подходе. Во всем институте лишь один Самад Мансуров мог позволить себе шутить с директором: «Будьте осторожны, домулла, став доктором, могу вас свергнуть!» Директор в ответ улыбался: «Чего же мне еще от вас ожидать, Самад Мансурович! Хотя, собственно говоря, вы правы, нам, старикам, пора и честь знать. Ну, что ж, становитесь доктором, тогда и повоюем за трон...» Он прекрасно понимал, что Самад шутит и не нужно ему никакого директорского кресла, потому так откровенно об этом и говорит. Ну, и уж он-то для любимого ученика постарается — создаст в институте новую кафедру.

Хайбаров с директором так запросто разговаривать не может, язык у него злой, может и ужалить невзначай.

Только с четырехлетней дочерью Самада, Саидой, он разговаривает на равных, потому что они большие друзья и, главное, друг другу не врут. Мать девочки порой шутит, что ревнует ее к Хайбарову, но никогда ее не одергивает, когда она «шалит». Только изредка, когда Саида забиралась на плечи к дяде Ташпулату или просит подбросить ее под потолок, она замечает дочери, что так воспитанные девочки себя не ведут. Масума женщина умная, разбирающаяся в людях, она прекрасно понимает, что бессмысленно уговаривать дочь не делать этого, когда она играет с дядей Ташпулатом. Дружба Саиды и Хайбарова все равно нерушима. Как-то она спросила дочь: «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Та ответи-

ла: «Хочу, мамочка, быть дядей Хайбаровым!» Хоть и было матери странно слышать такое от дочери, она не сердилась на Хайбарова, посмеявшись, сказала об этом мужу, муж — Хайбарову. Хайбаров был тронут таким вниманием маленького существа и, переполненный чувствами, обнял и поцеловал девочку. Девочка считала дядю Хайбарова самым сильным и высоким, «руки у него длинные, аж до потолка достают».

— То, что строят дома с низкими потолками, заметил даже ребенок, — философски изрек Самад.

— Это я во всем виноват, — засмеялся Хайбаров. — Саида хочет быть похожей на дядю Хайбарова. А у него нет других достоинств, кроме роста.

Самад, ясное дело, с выводом Хайбарова совершенно не согласен. И жена его тоже разделяет его точку зрения — ребенок питает добрые чувства к другу их семьи.

— Да что вы, Ташпулат-ака, — сказала Масума. — Ребенок лучше разбирается, кто хороший, кто плохой. К нам домой сколько разных гостей приходит, но Саида ни к одному из них не тянется так, как к вам.

— Нет, Масума, — смеется Самад. — Не Саида питает к нему добрые чувства, а этот вот большой дядя сам пристает к ней. Вообще, они чем-то похожи друг на друга: оба — фантазеры, оба — обидчивые, мы тоже были детьми, но я ни разу в детстве не мечтал быть похожим на взрослых. Вот ты, друг мой Хайбаров, скоро станешь профессором, получив звание, подождешь лет пятнадцать, глядишь, и Саида тем временем подрастет, чем не невеста...

От этой неожиданной шутки друга Хайбаров сконфужен. Понимает, на что намекает ему Самад. Друзья ему уже все уши прожужжали насчет женитьбы, объясняя, сколько у женатого человека есть преимуществ: придет — дома накрыт стол, одежда чистая, белье стираное, глаженое, а если еще к обеду и чистой рубашке добавить немного любви!

Сказать по правде, Хайбаров белой завистью завидовал Самаду. Вот повезло с женой!.. А ведь до свадьбы он не знал Масуму. Ему ее сосватала теща Поэга Пошша-хола. Как-то она сказала Самаду, что у них в махалле есть симпатичная девушка.

— Из хорошей семьи, воспитанная, образованная, и диплом есть у нее, работает в большом учреждении, неплохо зарабатывает. Женитесь на ней, Самад, не прогадаете, поверьте мне. Если хотите, можете сначала по-

смотреть на нее — красивая, стройная, жалеть не будете.

Самад, хотя и не поверил всему, что рассказала ему тетушка Пошша, все ж девушкой заинтересовался. Тетушка устроила смотрины. Девушка понравилась Самаду, да и ей приглянулся этот симпатичный парень.

— Мы с вами современные люди, Самад-ака, — сказала Масума. — Такие знакомства через тетушек мне совершенно не нравятся, но не хотелось обижать пожилую женщину. Она мне о вас рассказывала, сказала, что вы друг ее зятя. Я и подумала, что друг хорошего человека не может быть плохим. Не обижайтесь, что сказала правду...

Самаду пришлось по душе откровенность Масумы. И он рассказал немного о себе: кандидат наук, собирается защищать докторскую, увлечен своей работой.

— Боялся, а вдруг вы окажетесь маленького роста, — пошутил он. — Не люблю коротышек.

Девушка смущенно опустила глаза и тоже призналась:

— Я тоже боялась. А вы все ж выше меня, Самад-ака.

— Знаете, Масумахон, главное, чтоб бог умом не обделил, — засмеялся Самад.

Через месяц сыграли свадьбу. Вот так и живут с тех пор. У них много общих знакомых, среди которых три академика, один депутат, два крупных руководителя (один — родственник Масумы, другой — земляк Самада), трое писателей, один поэт. Нередко у них собираются друзья, да и они, бывает, часто ходят в гости.

Масума думала, что единственная вина Хайбарова — его холостяцкая жизнь. Была бы у него жена, может, и авторитета было больше. Масума даже пыталась знакомить его с подругами. Но Хайбаров на свидания не ходил.

Правда, в дом к ним он закахивал часто. Под предлогом посоветоваться с другом он заглядывал поболтать с четырехлетней Саидой. А то вдруг исчезал, и месяцами его не видели. «Он устал от нас, — смеялся Самад. — Мы с тобой сдержанные, спокойные люди, Масума, а Хайбаров еще не угомонился. Он еще продолжает бороться за справедливость, он такой, если с кем-нибудь не поспорит, кого-нибудь не обидит, не успокоится. Он немного глуповат, конечно, но совершенно безвреден...»

Масуме нравилось, что Самад сочувствует другу, держит его сторону. Муж ее человек порядочный, другой бы на его месте давно отвернулся от Хайбарова. Самад выглядит солидным, представительным. Хайбаров, хоть и высокий, и интересный, но скромно одетый, скорее смотрится шофером, чем ученым.

Как-то приехавший к ним из Бухары гость, увидев, как Хайбаров забавляется с маленькой Саидой, с восхищением заметил: «А шофер ваш, видно, очень любит детей!» Когда Хайбаров ушел, Самад долго смеялся:

— Э, Шайдулло-ака, этот парень не шофер, а ученый!

— Да не может быть, по нему и не скажешь! — удивился гость.

Самад, чтоб убедить гостя, достал с полки книгу Хайбарова.

— Хайбаров, «Шариат», — прочел Шайдулло-ака. — Э, да это настоящий мулла, коль написал такой трактат. Я еще подумал, что на муллу похож, в какой он мечети служит?

— Не в мечети, в институте, — сказал, улыбаясь, Самад. — Кандидат наук. Вы знаете, что такое кандидат, Шайдулло-ака?

— Э, да будь оно проклято, невежество! — шлепнув себя по лбу, захихикал Шайдулло-ака. — В нашем городе у кандидатов вот такие животы бывали!..

Масума восхищалась тем, как муж ее умеет говорить, особенно когда он ведет разговоры со своими коллегами-учеными.

Вот и сейчас, беседуя с Хайбаровым, выслушав до конца его путанные размышления, он тихо спросил:

— И все?

— Я еще до конца не додумал, — ответил, хмурясь, Хайбаров.

— Ясно, что ты не дурак, Ташпулат, — сказал Самад. — Но и сказать, что ты умный, трудно. Если бы и сказал, все равно не поверил.

— Конечно, — согласился Хайбаров. — Не поверил бы.

— Сам знаешь, я в долг не хвалю. Давай лучше с тобой поговорим серьезно.

Хайбаров согласно мотнул головой. Наблюдавшая эту сцену Масума улыбнулась. Обычно Хайбаров точно так кивал, когда соглашался с Саидой. Улыбка Масумы не осталась незамеченной Хайбаровым, и он пугливо

посмотрел в угол, где сидела, штопая носки, жена друга.

«Он боится женщин, — подумала Масума. — Бедняжка, хоть и со странностями, но хороший парень. Только бы ему попалась хорошая жена, которая б ему на голову не села...»

— Давай поговорим серьезно, — повторил Самад. — Оставим всякую болтовню, а будем честными перед самими собой. Признайся, сколько статей ты написал Хайкалу Ганиевичу?

Хайкал Ганиевич — директор их института, профессор, доктор наук. Когда Масума впервые услышала такое необычное имя, она подумала, что это прозвище. «Надо же было так назвать, «Хайкал» — «памятник», — удивилась она. Как-то в разговоре острый на язык Поэт заметил: «Чем же виновата обезьяна, что ее называли «маймуном»? ¹» После этого Масума, услышав какое-нибудь чудное имя, уже не удивлялась.

— Две, — ответил Хайбаров. — Но ни одна из них не опубликована.

— Понятно, — делает вывод Самад. — Словом, ты схитрил. Ему стиль твой не подошел. Большим ученым больше по нраву ученики без своего почерка. А вообще, чего стоит им обработать, но им лень. Ведь главное — идея, мысль, а придать ей какую-нибудь форму, облечь ее в словеса не составляет никакого труда. Но они почему-то так разленились. Но мы ж не можем всю жизнь на кого-то работать. Вот уже восемь лет, как мы кандидаты наук. Тогда мы были простыми, скромными парнями. Помнишь, и отмечали мы такое событие скромно.

— Отец был беден, — сказал Хайбаров. — Ничего, кроме доброго напутствия, он не мог мне дать.

— О чем разговор! — сказал Самад. — Но ты все равно не станешь богатым, Ташпулат. Таких людей сразу видно. Ты знаешь, что моя докторская почти готова, ну, а ты, мой близкий друг, что ты сделал за эти годы?

— Ничего, — ответил Хайбаров. — Я еще твердо не решил, чем заняться.

— Дурака валял?! Не поверю! — сказал Самад. — Если по мифам и легендам что-нибудь накопил, давай с фольклористами поговорим!

— Не стоит, — сказал Хайбаров. — Сказать по правде, мучаюсь. Иногда кажется, что занимаемся ерундой.

¹ По-арабски слово «маймун» означает и «обезьяна» и «красавица».

Самад немного удивился, но расспрашивать друга не стал, ограничился словами:

— Послушай, Ташпулат, ты что, всем так откровенно об этом и говоришь?

— Только друзьям... — подумав, ответил Хайбаров. — Ведь надо же с кем-то поделиться своими сомнениями.

— Чем больше совершенствуется человек, тем изощреннее и разнообразнее формы правдивости, — засмеялся Самад. — Вот увидишь, еще наступят времена, когда и мы с тобой проживем в свое удовольствие. И тогда мы будем соперничать со своими сегодняшними друзьями, коллегами. Стариков в счет не берем, их тогда уже не будет. А если даже и будут, они нас все равно не признают, да будь мы самими Аристотелями. Старикам больше по душе, когда их захваливают. Большинство же молодых ученых сами эгоисты, и куда уж там им похвалить своего коллегу, а тем более своих бывших учителей, забывая об элементарной вежливости. Вот почему некоторые наши «большие» ученые окружают себя угодливыми, но воспитанными учениками, даже если они бездарны. И воспитанные молодые люди, достигшие, благодаря поддержке, больших высот, начинают поучать талантливых, но, скажем, ершистых молодых людей. И начинается новая ступень междоусобной войны. Вот почему я тебя прошу, чтоб ты не забывал время от времени славословить начальство. Возьмем, к примеру, Сатывалдиева, вроде далекий от чиновничества человек, но и он обижается, когда кто-нибудь из молодых случайно не поздоровается с ним.

У Хайбарова было такое выражение лица, словно он впервые видел Самада. Для Масумы это откровение мужа тоже было неожиданным.

— По-моему, с ним все здороваются? — сказал Хайбаров.

— Не всегда, — ответил Самад. — Но он умный человек и не гневается. Ведь не может же он каждого учить элементарной человеческой вежливости.

— Ну, конечно.

— Молодец, Хайбаров! — Самад, довольный, улыбнулся. — А теперь скажи мне, хватит ли у тебя сил быть принципиальным, по-настоящему честным человеком?

— Не знаю, Самад...

Хайбаров задумался. Достал из кармана папиросу и, поставив на подлокотник кресла пепельницу, протянутую ему Масумой, прикурил и глубоко затянулся.

— Я не знаю, чего я вообще стою, Самад, — сказал он немного спустя.

— Не притворяйся, — махнул рукой Самад. — Каждый человек должен знать, на что он способен.

— Очень жаль, что многие хорошие слова звучат слишком высокопарно, — сказал Хайбаров. — Хотя мы прекрасно понимаем, что это не так. Родина, верность, преданность — ведь живут же в наших сердцах такие понятия, и если бы мы не верили в них, то какая бы была польза от великих лозунгов?.. Думая так, мы стараемся говорить попроще и сами не замечаем, что люди не верят нам.

— Верно, больше верят людям, которые умеют красиво, лозунгово говорить, — согласился с ним Самад.

— Когда дьявол клянется в верности, я становлюсь глухим. Я боюсь, чтоб не подумали, что я честолюбив. Этот дьявол, говорливый подлец, угодливый карьерист, живет открыто, продавая святые слова, тайно живущие в моей душе. Трагедия в том, что ты не можешь ему возразить, потому что в общем он говорит правильные слова. Скромность хорошая черта, только жаль, что порой она наносит ущерб...

— И как ты дальше намерен поступить? — спросил Самад.

Хайбаров с обидой взглянул на друга:

— Если бы я знал, что делать, не спрашивал у тебя совета. Хотя я давно думаю над этим.

— Придумать бы такой прибор, — вмешалась в разговор Масума, — чтоб, когда человек говорит правду, он молчал, а как только начнет лгать, подавал сигналы.

— Может, ты и права... — согласился Хайбаров. — Боишься, что тебя засмеют, коль нет конкретного мерила справедливости. Ведь никто же не посчитает себя неправым!

— Вздор, если человек говорит правду, это сразу видно, — возразил Самад. — Ты, если придет вдохновение, можешь что-нибудь написать откровенно. Вон Поэт, чем он лучше нас?

В голосе Самада прозвучала нотка ревности. Масума с укором посмотрела на мужа.

— Все, что мы с тобой думаем и чувствуем, он выражает откровенно и доступно, — сказал Хайбаров.

— Может быть... — усмехнулся Самад.

Масума была встревожена тем, что ее муж держится немного высокомерно. И удивилась, что Хайбаров никак

не реагирует на это: «Надо же быть такой тряпкой! Чего он молчит? Нет, если б надо мной так насмехались, я бы не молчала, даже если б это был Самад-ака, а Хайбаров никакого внимания. А может, он просто не показывает виду?»

Хайбаров сидел в кресле, закинув ногу на ногу, спокойный, беспечный, дымя папиросой.

— Уж больно примитивная у тебя форма мышления, Ташпулат, — сказал Самад. — Не слишком ли просто ты мыслишь?

— Кто знает, может, я и на самом деле придурок... — пробормотал Хайбаров.

— Никто тебя придурком не называет... — сказал Самад. — Но все равно есть в тебе наивная простота. Жили мы тогда в общежитии, Масума, — сказал он, обернувшись к жене. — Был у Хайбарова допотопный будильник, доставшийся ему от предков. В соседней комнате ребята, боясь проспать, поднимались ни свет ни заря, стучали, хлопали дверью, словом, не давали нам спать. Как-то попросили они хайбаровский будильник, чтоб вовремя встать, да так и не вернули. Они встают вовремя, а мы — часов у нас теперь нет — стали на занятия опаздывать. Всякий раз соседи извиняются, обещают завтра же вернуть старый или купить новый будильник. Этот мой брат вместо того, чтоб свой будильник обратно потребовать, купил новые часы!..

— Так что я мог сделать, если они не возвращали? — сказал Хайбаров краснея. — Что-то мне вообще в жизни не везет, все время в разные истории попадаю... Ты вот скажи, почему, найдя оброненные кем-то десять рублей, я не прикарманиваю их, а ищу хозяина, чтобы вернуть? Ну почему?

— А если бы потерявший не знал, что они у вас, вы бы их взяли? — спросила Масума.

— Нет, — ответил за друга Самад. — Он бы даже не подобрал. Другой бы с удовольствием прикарманил, а Хайбаров — нет. Помнишь, Хайбаров, мы в порядке эксперимента кинули на землю три рубля? И сколько тогда хозяев обнаружилось?

— А про будильник я совсем забыл, — сказал Хайбаров. — Действительно, они нам тогда его не вернули. Я злился, но ничего не мог сделать. И не понимал, почему они часов не возвращали.

— Мне, например, было ясно, — сказал Самад. — Ты сам не требовал.

— Разве обязательно надо было требовать, когда они и без того знали, что часы принадлежат мне? Причина в другом, Самад. Они не считались со мной, приятель. Ты понимаешь, они меня совершенно не признавали, для них что я, что эта бессловесная стена. Я понимаю, что отличаюсь от этой стены, но, к сожалению, не могу, подобно нашему другу Поэту, выразить это словами. Вот в чем его преимущество надо мной. У него язык хорошо подвешен, а у меня висит, как мочало.

— А ты говори, что думаешь, не стесняйся!

— Нелегко! — сказал Хайбаров. — Почему-то хочется высказаться, когда ты чем-то раздражен, тебе обидно, но, к сожалению, тебя тогда как раз и не понимают.

Самад с жалостью посмотрел на Хайбарова. Масума задумалась: на самом деле, что за человек Хайбаров? И почему же Самад, знавший его уже много лет, возится с ним?

Их разговор прервал звонок. Масума пошла открывать дверь: племянница Самада Холида, возвращаясь с работы, брала их дочь Саиду из детского сада.

— Саида пришла, Ташпулат, — сказала Масума, входя за руку с девочкой.

— Здравствуй, хорошенькая! — сказал Хайбаров. — Уже научилась читать?

Девочка стыдливо опустила глаза.

— Воспитательница хвалит, — ответила вместо нее мать.

Обычно, когда Хайбаров подолгу не приходил к ним, девочка от него отвыкала. Вот и сейчас они не виделись неделю. Саида, покрутившись, ушла в соседнюю комнату.

Вошла племянница Самада, Холида, поздоровалась со всеми, но Хайбаров, занятый разговором, не ответил на ее приветствие. А девушка смутилась. Полгода назад она приехала поступать в институт и не поступила. Дядя не стал возражать, когда она решила пойти работать. Холида устроилась прядильщицей на фабрике.

— Переодень Саиду, Холидахон, — попросила Масума, выручая сконфуженную девушку, и, когда Холида вышла, сказала Самаду: — Бедняжке трудно, по дому скушает, хоть свозили бы ее в кишлак.

— Можно подумать, что она не знает, как добираться, — пробурчал Самад. — Каждый час отправляется автобус. Уедет в пятницу, в воскресенье может вернуться.

— И вы бы заодно родных навестили... — не унималась Масума.

— Ты погляди, не иначе как от меня избавиться решила, — удивился Самад. — Так что, друг, женщинам не верь!

Хайбаров не стал вступать в их разговор. Он знал: Самад любит племянницу, но держит ее в строгости. И Масуму понять можно: ей жалко девушку.

— Вот думаю, Ташпулат хоть бы разок угодил мне, взял бы да и женился на Холиде, — улыбнулся Самад. — Она — моя племянница, ты — мой друг, вот был бы я счастлив!..

— Успокойся, приятель, — сказал Хайбаров. — Если хочешь, чтоб я к тебе приходил!

— Стали бы родственниками.

— Холида же еще молоденькая, — строго заметила Масума, но тут же взглянула на Хайбарова: вдруг обиделся.

— Нельзя уж пошутить, — улыбнулся Самад. — Между прочим, Ташпулат, давно тебя собирался просить: ты все еще желаешь, чтобы тебя похоронили в Галатепе?

— Так я ж там родился!..

— Это я к тому, что вдруг женишься на какой-нибудь иноземке. У тебя ж была какая-то там Инара?! Все еще переписываетесь?

У Масумы тут же ушки на макушке — до сих пор она этого имени не слышала.

— Что молчишь? — спросил Самад.

— Перестала писать...

Хайбарову не хотелось ворошить прошлое. И чтобы уйти от этого разговора, он посмотрел на висевший на стене портрет Самада и Масумы, нарисованный их другом Абдували Бородой. Они там были так здорово похожи на себя, что не верилось, что это не фотография.

— Ну чего примолкли? — заулыбалась Масума. — Хотите скрыть свои старые грехи?

— Ты посмотри, Ташпулат, какая моя жена пронцательная! — воскликнул Самад. — Это я вспомнил нашу уборщицу, Масума, радикулитом страдала, вот она раза два и писала Хайбарову с просьбой прислать верблюжью шерсть. Сама знаешь, наш друг из Галатепе, а там у них верблюды водятся.

«И не буду я ничего больше спрашивать! Все они из

тепе¹, — подумала она. — Один — из Галатепе, другой — из Коштепе».

Масума встала и, разобидевшись, вышла на кухню. К ней с куклой в руке вбежала Саида.

— Дядя Ташпулат ушел, — сказала она.

Масума прошла в гостиную и, увидев сидящего с журналом в кресле мужа, с укором посмотрела на него:

— Оставили бы поужинать!

— Не захотел он, Масума, — откладывая в сторону журнал, сказал Самад. — Разбережил ему старую рану. Черт меня попутал вспомнить Инару...

— И что он такой мягкий, бесхарактерный какой-то, — сказала Масума.

— Тебя стесняется, — сказал Самад. — Кто знает, может, он тебя тайком любит.

— Не говорите глупостей, папочка! — Масума покраснела.

Самад иногда любил позволять себе такие шутки, вгоняя в краску жену.

— Его порой трудно понять, — посерьезнев, сказал Самад. — То глядишь — соловьем заливается, то — в рот воды наберет.

— Мечтатель он, романтик...

— Нет, Ташпулат хороший человек и серьезный ученый, — возразил ей Самад. — Поумнее меня. Начитанный, только ленив...

Масума с удивлением посмотрела на мужа. Подойдя к нему, ласково обняла, прижалась к его лицу щекой.

— Ты прекрасна, душа моя, — целуя жену, прошептал Самад. — Я тебя очень люблю!

7. ЛЮБОВЬ

Когда Хайбаров, оказавшись в городе, впервые влюбился, ранней весной, приехав на каникулы в Галатепе и сидя в гостях у дяди Наима, под хмельком, он поделился со своей неразговорчивой, но доброй и заботливой тетей, что у него есть невеста. Ташпулат и сам поверил в эту сказку о невесте, придуманную им самим. И знакомство с ней, казалось, было загадочным и таинственным. В действительности же все было проще: полу-

¹ Тепе — холм. Галатепе — множество холмов. Коштепе — два холма.

темный зал, рука сокурсницы, потом левое колено, на экране скачущие всадники, быстрый и пугливый безобидный поцелуй, полученный им в зимнем саду кинотеатра под пыльной пальмой, росшей в кадке.

Дядя Наим спойл его тогда крепким вином, затем, когда паренек изрядно захмелел, радостно воскликнул:

— Молодец, родственничек! Отец ваш меня все непутевым считает, посмотрим, какой из вас человек выйдет!

Тетя, кроткая, тихая, любящая Хайбарова тетя, тут же встала на его защиту:

— Да что вы на ребенка-то нападаете? Если и ругал, так ваш дядя, а ребенок-то при чем? Если он домой подвыпивший вернется, ваша коза двойню родит?

— Надо же и мне, бедному, отвести душу, жена. Дядя ведь святой, с ангелами дружбу водит, если его любимчик домой выпивши придет, я посмотрю, что с ним будет.

Пьяный и счастливый Ташпулат возвращаться домой не пожелал. Выйдя из своего кишлака, он направился в Кызылташ, где на свинарне работал его друг Маханбай. Увидев Ташпулата, Маханбай обрадовался, порывшись в мешке с отрубями, вынул бутылку водки. Выпили. Потом Маханбай выволок его во двор. У Ташпулата на свежем воздухе вновь проснулись прежние чувства. Петляя между ям, вырытых свиньями, и стараясь не упасть в них, он шел, поддерживаемый Маханбаем, и плел, что приходило ему на ум: о какой-то девичьей руке, о коленке и губах. Маханбай слушал его терпеливо и, взглянув печально на покосившуюся крышу свинарника, тихо спросил:

— Молодая?

— Молодая.

— Давно познакомился?

— Нет, месяц назад!

— Ты такие разговоры брось, Ташпулат, — сказал Маханбай. — Из этого ничего путного не выйдет. Отец тебя учиться послал, зачем тебе мешок на шею вешать... Ходишь, слюни распустил, болтаешь что не попадя. Вон твой отец и вида не подает, когда у него радостно или грустно на душе! — У Маханбая вид серьезный. Он шел, похлестывая ивовым прутом по голенищам сапог. — А если так уж хочешь жениться, приезжай в кишлак, найдем трудолюбивую, скромную.

Ташпулат обиделся. Маханбай подвел его к стоявшему в стороне большому загону. Зловонный запах разди-

рал ноздри. Ташпулат зажал нос и хотел было повернуть обратно, но Маханбай, ухватив его за рукав, вплотную подвел к ограждению.

— Гляди! — сказал он. — Ну, как? Породистая свиноматка, сразу пятнадцать поросят выдала. За ней глаз да глаз нужен: оказывается, они своих только что народившихся поросят пожирают. Эта не тронула ни одного. Видишь, поросятки уже подросли. Вот так вот и живем, приятель. Порой думаю, надо было вместе с тобой в город махнуть. Если б не уговорили, уехал бы. Вот ты живешь в городе, а чем ты лучше меня? Математику у меня постоянно списывал. Я по математике за время учебы ни одной четверки не получил. Твой отец мудро поступил, когда тебя в город отправил. Я бы тоже мог учиться в городе, но родители...

Ташпулат молчал. А что он мог ответить? Сказать о том, что труд Маханбая очень нужен стране, что он поднимает благосостояние народа? Но к чему сейчас были эти высокопарные слова!..

...Потом, много лет спустя, о разговоре с Маханбаем Хайбаров расскажет Инара. Инара улыбнется в ответ. И вообще, когда Хайбаров рассказывает о Галатепе, она не может сдерживать улыбки. Странно звучащее название кишлака Галатепе ласкало ее слух, и она радовалась, что поедет туда невестой. И ничего тут удивительного не было, и нам многие названия городов и чужих стран кажутся странными и таинственными — Гренада, Алабама, Миссисипи, Миссури, Гвадалахара... Может быть, для Инары Галатепе казалось похожим на Хиву или Бухару, Самарканд или Ургенч?

Тебя я спрячу за свадебный полог, Инара. Сначала отрастим тебе длинные волосы, покрасим их в черный цвет, что даже ширазские красавицы Саади умрут от зависти, и, надев яркое атласное платье, повязав белый шелковый платок, будешь сидеть за расшитым золотом бархатным пологом, а перед этим мулла Данияр благословит нас, тебе не обязательно повторять за ним молитву, мулла умный человек, он прекрасно понимает, что нас объединяет религия по имени Любовь, знает историю правоверного шейха Санона¹, влюбившегося в христианку. «Согласна ли ты, Инара, доченька, — спросит он, точнее, он произнесет не «Инара», а «Анара», — стать

¹ Шейх Санон — герой поэмы Алишера Навои.

женой Ташпулата, сына Раима-аксакала, внука Хайбара Заики?»

На свадьбу пригласим весь кишлак Галатепе, и те одиннадцать кишлаков, что лежат окрест. Из Джама, Сарсана, Чонкаймышья, Анджирли и Шоркудука пешие и конные соберутся на праздник, и стар, и млад. Посажу я тебя на белого коня, конь, как только почувствует нас, превратится в крылатого Гирата, расправит крылья и полетит, полетит так быстро, что ты от страха крепко ухватишься за меня, а я, обернувшись, обниму тебя вот так! Вот так!

Инара верила в существование белого коня. Я же, зная, что у нас всего-навсего одна-единственная лошаденка черной масти, испытывал чувство неловкости, хотя ценил эту лошадку не меньше любого коня, ждал чуда от природы и верил, что лошадка наша со ржанием расправит крылья и, звеня серебряной уздечкой, встанет перед костром, зажженным посреди двора, и, усадив жениха и невесту в белом покрывале, взлетит в темноту ночи. А там не разглядеть будет ни темной лошадки, ни жениха с невестой, только белое шелковое покрывало будет парить высоко над землей. Когда я так красиво фантазировал, Инара верила в то, что я рассказывал, и от радости весело и звонко смеялась, друг мой Хайбаров!

Эта сказка, написанная на крупе черной лошадки, длилась три года. Ничего удивительного не было бы, если б она длилась и дольше, но в конце третьего года скончался мулла Данияр. Он не дождался того дня, когда же в Галатепе приедет невеста с голубыми глазами, со светлыми волосами, крашенными в черный цвет.

Словом, рассказ твой затянулся, друг мой Хайбаров. Однажды Инара серьезно заболела. Месяц она лежала в больнице и все это время просила, чтобы тебя не пускали к ней. Тебе хотелось видеть ее каждый день, каждый день ты носил ей передачи. Убегая с занятий на базар, ты покупал у своих земляков, щеголяющих в чустских тюбетейках, краснощекие яблоки. У тебя не было денег, и ты, нанявшись грузчиком, сгружал ночами мешки с мукой, потом грузил в машины хлеб, испеченный из этой муки, словом, как мог зарабатывал денег. Но Инару теперь не узнать, стоит ей увидеть пакет с фруктами, как лицо ее морщится: «Ты этим хочешь купить меня, Хайбаров?» И тогда у тебя вдруг появляется желание дать ей пощечину, да, это правда, что появлялось такое желание, но ты берешь себя в руки: она лежит больная,

больной человек бывает капризным, нервным, и любое слово ему можно простить, будь же великодушен, друг мой Хайбаров, ей сейчас не фрукты, а одно нежное, сладкое слово нужно...

В коридоре он как-то столкнулся с лечащим врачом. Молодая миловидная женщина, глядя на него, смущенно спросила:

— Вы будете товарищ Гайбаров? — и пригласила к себе в кабинет, стала уверять, что Инара обязательно поправится. — Соседи по палате сказали, что вы близкий ей человек, вот и цветы у вас в руках такие красивые, и Инара мне напоминает эти цветы, она прекрасная девушка, еще совсем юная, о чем бы мы ни спросили — молчит, стесняется нас, вот поэтому мы обращаемся к вам, товарищ Гайбаров...

— Хайбаров, — поправил он.

— Извините, мне трудно произнести вашу фамилию, — покраснев, ответила врач. — Я хотела с вами поговорить откровенно. Долг врача меня к этому обязывает.

— Пожалуйста, я готов. Спрашивайте.

Врач достала из ящика стола листок бумаги и карандаш.

— Ваш возраст?

Хайбаров назвал свой возраст.

— Родители, родные не болели ли какими-нибудь наследственными болезнями?

— Нет.

— Эпилепсией?

— Нет.

— А краснухой вы не болели?

— Да. Потом коклюшем. В детстве еще перенес воспаление легких.

— Туберкулезом?

— Нет.

— Инфекционным гепатитом?

— В нашем роду не то что желтухи, даже и рыжеватых людей не было.

— А вы шутник. Случайно не было ли у вас в роду бездетных?

— Да что вы, у каждого не менее десятка детей.

— А вы сами?..

— ...

— Почему молчите? Не стесняйтесь, товарищ Гайбаров.

— Как вам сказать?

— Значит, собираетесь жениться на Инаре?
— Непременно.
— С ней надо быть особенно внимательным, нежным, товарищ Гайбаров... и со свадьбой не тяните.
— Денег нет, товарищ доктор...
— Вы студент, никто вам это в вину не ставит.
— Но...
— Странно. Ведь главное, что вы любите друг друга!
Подумайте, товарищ Гайбаров. Инара хорошая девушка.
— Знаю, доктор.
— Важно, что сама Инара...
— Она вам сама заявила?
— Нет, она ничего не говорила. Я врач и без слов должна понимать. Вы ее не мучайте...

...Хайбаров вернулся из больницы домой грустный. Пришел Самад. И Хайбаров рассказал ему о разговоре с врачом.

«Что поделаешь, — подумал Хайбаров, — природа намного мудрее нас, нельзя идти против нее!» Теперь, вспоминая об этом, становится больно и стыдно. Перед глазами Инара — закрыла лицо руками и плачет, сквозь пальцы струятся слезы.

— Почему ты раньше не сказала?
— Раньше не было смысла говорить.
— Когда? Когда это случилось?
— Не скажу.
— Кто?
— Не скажу.
— Я его знаю?
— Не скажу. Я не цепляюсь за тебя. Я прошу, не приходи больше, ты мне не нужен, слышишь, больше не приходи, ты только мастер рассказывать сказки, они мне надоели, оставь меня в покое, Ташпулат, я ненавижу тебя... теперь ты не сможешь меня любить!

Хайбаров уходит от нее разгневанный, но сквозь ненависть и обиду все же пробивается любовь. И чтобы удержать себя от соблазна пойти к ней, он поднимает гантели на уровень пояса и бросает их себе на правую ногу. От боли Хайбаров воеет волком, на большом пальце красуется огромный синяк. Он скачет на одной ноге по комнате из угла в угол...

Потом приходит Самад. Увидев друга с перевязанной ногой, выражает недоумение, а потом начинает успокаивать Хайбарова:

— Да брось, не мучай себя, дружище, я тебе такую

девушку найду, которую мать родная не целовала, не горюй, а то быстро состаришься...

Хайбаров через силу улыбается. Не хочется показывать свое безволие.

— Что ты говоришь, Самад? — отвечает он. — Так, просто нет настроения, с одной стороны, нет денег, с другой — вот, нога, вчера неосторожно перепрыгнул через арык...

Самад делает вид, что верит ему, но он человек понятливый, обо всем догадывается — и о беспомощности друга, и о том, что произошло.

Это всё — далекое воспоминание. У Самада, без пяти минут доктора наук, хозяина счастливого дома, у Самада Мансурова это все давно выветрилось из головы. Но Хайбарова порой, в минуты печали, тревожат эти воспоминания.

8. ПОЭТ

Поэт, подобно многим поэтам, был наивен и доверчив. Он чем-то напоминал пятилетнего малыша, за ночь превратившегося в большого дядю. И, как все маленькие дети, был хвастлив. В суждениях своих был категоричен, и спорить с ним было бесполезно. Однажды он привел с собой какого-то долговязого парня.

— Знакомьтесь, Джамал! — сказал он. — А если короче, Джим. Удивительный человек. Знает даже, сколько у него в кишлаке ласточек.

Видимо, Поэт на одном из своих вечеров читал стихи о ласточках и там познакомился с Джимом-Джамалом. Во всяком случае, друзья Поэта тепло приняли Джима-Джамала. Гуляли целую неделю.

В самый разгар веселья хозяин дома, Абдували Борода, поинтересовался у Джима-Джамала:

— Так сколько в вашем кишлаке ласточек?

— Двести, — не раздумывая ответил Джим-Джамал. — Стрижи не в счет, их сосчитать невозможно, а домашних ласточек двести, в кишлаке пятьдесят домов, если в среднем в каждом доме живет по четыре ласточки, то их будет двести...

Джим-Джамал с честью вышел из этого испытания. И тут все стали подсчитывать, сколько у кого ласточек: у Самада в кишлаке пятьсот домов — ласточек, соответственно, две тысячи. У Кабула триста домов — тысяча двести ласточек. Но больше всего ласточек оказалось

у Хайбарова, в его кишлаке Галатепе две тысячи домов, то есть восемь тысяч ласточек. Только ласточек Поэта не удалось сосчитать, его кишлак вот уже одиннадцать лет именовался «поселком городского типа», и сосчитать число растущих с каждым днем домов оказалось невозможным.

Поэт не переставал удивлять друзей все новыми и новыми знакомствами. В другой раз он пришел к нам с толстым краснощеким парнем в очках.

— Знакомьтесь, это Тайлаков! — представил он нового друга. — Кандидат математических наук, кибернетик, но по призванию литератор.

— Кандидат математических наук, кибернетик, но по призванию литератор, — улыбнулся Хайбаров. — Ай да молодец! Поэт... ты прямо, как наш галатепинский Атабай-красильщик, который, когда сын Салима-разбойника Нурмамат возвратился из армии с женой, увидев невестку, рассказывал всем: «Нурмамат русскую жену привез, светлая, на немку похожа, а зовется украинкой...»

Поэт на него не обиделся. А Тайлаков даже не обратил на это внимания. Он спокойно вел беседу о литературе.

В компании, кроме Поэта, литераторов не было, и потому все как воды в рот набрали.

— Я на каждого писателя завел по карточке, — сказал Тайлаков. — Как только кто из писателей создаст нового героя, того я тут же в свою карточку на учет заносу. Потом подсчитываю, сколько в узбекской литературе создано положительных и отрицательных образов. Это дело нелегкое, одному мне справиться не под силу. Хорошо бы мне десяток помощников!

Он говорил с такой убедительностью о важности и нужности задуманного им дела, что все в это поверили. Видя, как растет авторитет Тайлакова, Поэт не находил себе места от радости.

— Я сам вам помогу, — пообещал он ученому-кибернетику.

И Поэт стал каждый день ходить в научный вычислительный центр, где работал Тайлаков. Исхудал, выглядел усталым и вовсе бросил писать стихи. О чем бы он ни заговаривал, разговор сводился к «новому герою». Каждый раз, возвращаясь из института, хвалил электронно-вычислительные машины Тайлакова:

— Такие умные машины! Вчера Тайлаков заказал им свой портрет, словно не машина, а Борода нарисовал.

Возьмет какую-то цифру и этой цифрой твой портрет пропечатает! Тайлаков говорит, что она может писать стихи. Представляешь, машина пишет, я их редактирую и печатаю в толстом журнале. Я и псевдоним ей придумал: «Маштай» — машина Тайлакова. Правда, звучит?

Теперь Поэт был занят тем, что бегал по магазинам, скупая книги писателей, которых ранее вовсе не признавал. С огромными связками книг он бежал в НВЦ к Тайлакову — подкормить машину Тайлакова, которая, как прозорливое мифическое существо, пожирала книги!

— Это еще не все, Ташпулат, — радуясь, говорил Поэт. — Мы еще одну сотую часть литературного персонала охватили. Я в арабской вязи ничего не смыслю, и Тайлаков тоже не знает. Чтоб изучить дореволюционный период, понадобится твоя помощь.

Потом Хайбаров услышал от одного ученого-кибернетика, знавшего о научной разработке Поэта и Тайлакова, что они за три месяца сделали чуть ли не годовую работу целого института. Только зачем все это было нужно, никто не мог объяснить.

Если бы не Борода, не знаю, сколько бы продолжалась дружба Поэта и Тайлакова. Тогда они часто собирались у Самада и Масумы, Борода писал их семейный портрет. Нацепив кожаный фартук, с кистью в руке и папиросой в зубах, Борода любил работать в тишине. Невесть откуда появившийся Поэт внес сумятицу — отправил Масуму на кухню готовить еду, а сам, положив голову Самаду на плечо, стал позировать художнику.

— Я сильно проголодался, невестка! — крикнул он. — Приготовь что-нибудь вкусненькое! Я, конечно, темный человек, но не понимаю, что происходит с Тайлаковым. Он напрочь забыл о героях поэтических произведений...

Борода сложил мольберт с красками и начал вытирать руки. Он умоляюще взглянул на Хайбарова, чтобы тот как-нибудь отреагировал на бесцеремонность Поэта. Но Хайбаров молча отвернулся — спорить с Поэтом он не привык.

Масума по заказу Поэта приготовила шурпу. Потом снова подседа к мужу, который продолжал позировать Бороде. Поэт набросился на еду, словно его три дня не кормили, и при этом много разговаривал, расхваливая Тайлакова: Тайлаков сказал то, Тайлаков сказал это...

— Тайлаков — псих! — вдруг взорвался Борода.

Поэт аж чуть не подавился. Не в силах простить Бороде оскорбление друга, он вскочил с места:

— Возьми свои слова обратно! Ты не стоишь даже его мизинца! Тайлаков настоящий, преданный друг!

— Ладно, хватит, Поэт, — сказал Самад тоном хозяина дома. — Здесь не место и не время спорить об этом.

Поэт готов был сцепиться и с Самадом, но вовремя вмешалась Масума: мило улыбнувшись, она прикрыла ладонью рот мужу:

— Вы не правы, Самад-ака!

Самад, размахивая руками, что-то промышчал закрытым ртом и замолчал. Поэт тоже успокоился и сел за стол продолжить трапезу. Борода же все продолжал злиться, он резко махнул по холсту, проведя кистью толстую линию.

— Связавшись с Тайлаковым, ты тоже стал психованным! — сказал он.

— А ты докажи! — сказал Поэт. — Мы занимаемся полезным, нужным человечеству делом.

— Слава богу, что по ночам в небе звезды не считаете, — проворчал Борода.

Это был явный выпад в адрес всех поэтов, но Поэт промолчал.

— Чем попусту время терять с Тайлаковым, лучше бы меня спросил, — продолжал Борода. — Это я тебе могу сказать, сколько литературных героев приходится на тысячу произведений!

— Почему только в тысяче произведений? — спросил Поэт удивленно. — Ведь герой это не персонаж, а личность?

— Да, личность, пусть будет их два миллиона! — усмехнулся Борода. — Ну, пусть три миллиона! Глуп ты, Поэт, какая тебе польза от голого счета? Лучше бы стихи писал, чем голову себе морочить!

— А Тайлаков? — спросил Поэт. — Ведь он столько труда вложил в свою машину, ни копейки за это не получая.

— Тайлаков простофиля, — сказал Борода. — Он не литератор, а кибернетик, а ты не кибернетик, а поэт. А если и поэт, то поэт-простофиля.

Чувствуя, что Поэт вот-вот сдастся, Борода вообще в пух и прах разделал Тайлакова. Поэт был сломлен. Обиженный, ни с кем не попрощавшись, он стремглав вылетел из дома. Масума хотела было догнать его, но Самад преградил жене путь.

— Хорошо, что ушел, — сказал он, облегченно вздох-

нув. — Неплохо было бы, чтоб и Абдували ушел тоже, но ему необходимо дописать портрет.

Масума смущенно улыбалась, не зная, как разрядить обстановку.

— Ну что вы улыбаетесь? — напустился на нее Борода. — Примите прежнюю позу и сделайте серьезный вид. Скажите своей жене, Мансуров, чтоб она думала о вас, только о вас в эту минуту!

— Так вы ж не мысли рисуете, — возразил молчавший до сих пор Хайбаров.

— Не суйтесь не в свое дело, друг мой!

Хайбаров тут же замолчал. Посчитав, что он тоже тут лишний, отправился вслед за Поэтом.

Через неделю Поэт с Тайлаковым завезли к нему скупленные в магазинах книги.

— Это тебе, Ташпулат, — сказал он. — Я тут кое-что себе оставил, думаю — остальные тебе пригодятся.

— Могли бы эти книги и в библиотеках взять, зачем надо было тратить столько денег? — заметил Хайбаров, осмотрев книги.

— Почему-то не пришло в голову...

Книг было так много, что они заняли всю комнату, пришлось раскладывать на подоконниках, а часть даже пришлось вынести на кухню.

— Действительно, недостаточно изучен опыт, — сказал, вздохнув, Поэт. — Но Тайлаков все равно отличный парень. Ты не поверишь, Ташпулат, но он настоящий парень.

Хайбаров улыбнулся. Он и сам знал, что Тайлаков неплохой человек.

Поэт стал рассказывать про свой новый сборник стихов, о том, что на радио взяли цикл, и о берлинском переводчике его книги на немецкий язык. А в конце концов признался, зачем зашел:

— Денег ни копейки, Ташпулат. У Тайлакова тоже хоть шаром покати. Я знаю, у Бороды их много, но просить у него как-то неудобно, после того разговора...

Хайбаров поделился с ним остатками полочки.

Поэт, как выяснилось, потратился на «эксперимент» и полгода с трудом сводил концы с концами. Урока, однако, из этого не вынес. Казалось, даже наоборот: от бедственного своего положения он испытывал какое-то наслаждение. В один из таких дней, когда он бедствовал, Поэт затащил Хайбарова в театр на вечер поэзии. В антракте они спустились в буфет. Тайлаков, который ока-

зался там, присоединился к ним. У него, видно, тоже карман был пуст, поэтому он скромно взял бутылку воды. Зал был полон людей. За столиками сидели нарядные мужчины и красивые женщины, искрились бокалы с шампанским.

Хайбаров, одетый скромно, почувствовал себя неловко. Ему было понятно и состояние Тайлакова... Только одному Поэту все нипочем, устроил им настоящий прием, купив шесть бутербродов. Заметив, что Тайлаков беспомощно озирается по сторонам, улыбнулся.

— Посмотри, Тайлаков! — сказал он, обнимая за плечи преданного друга. — Тьма народу, но никто из них не умеет писать стихи.

Хайбаров отвернулся, стараясь скрыть улыбку. А Тайлаков почему-то и вовсе смутился.

— Да, мы... да мы же невежды... — стал заикаться он.

— Нет, Тайлаков! — воскликнул Поэт, хлопнув его по спине. — Ты не можешь быть невеждой, ведь ты мой друг!

Тайлаков скромно опустил глаза. Он действительно был настоящим другом Поэта. Он никому не был так предан — ни Хайбарову, ни Самаду, ни Бороде, а только Поэту. Но Поэт был одинаков со всеми, никого не выделял.

Хайбаров получал удовольствие от общения с Поэтом. Он диву давался, как это сочетаются в одном человеке разные, в общем-то противоречивые качества — простота, непосредственность, озорство, проницательность, хвастовство и самоотверженность.

— Ты не поверишь, Ташпулат, — сказал Поэт однажды, не в силах сдерживать свою радость. — Ты не поверишь, но сегодня я поистине уподобился ученому... Ты слышал о Томарис?

— Конечно, — сказал Хайбаров. — Царица Массагетская, мужественная, смелая женщина. Боролась за свободу и независимость своего края, лишилась сына...

— Да-да, та, что отрубила голову непобедимому Кирю и положила в мешок с кровью, — продолжил Поэт. — Хотел крови, так пей, пока не насытишься! А про Юдифь тоже знаешь?

Он думал, что Хайбаров не знает о Юдифь, но Хайбаров знал и о ней, и о Эсфирь.

— Они чем-то похожи, — сказал Хайбаров. — Юдифь тоже отрубила голову Олоферну.

— Нет, не спеши, Ташпулат! — воскликнул взволно-

ванный Поэт. — Ты лучше вспомни легенду о Томарис, представь себе эту картину...

Его волнение передалось и Хайбарову; закрыв глаза, он постарался вызвать в воображении: стройная красавица повелительница, держащая отрубленную голову, и ее властный голос: «Ты жаждал крови, так пей, пока не насытишься!..»

— А теперь представь воина, держащего отрубленную голову в руке... — сказал Поэт. — Ну, как, что теперь скажешь?

— Нет, — покачал головой Хайбаров. — Картина упростилась. Ничего особенного не случилось — воин убил воина...

— Ну, как? — спросил Поэт. — Теперь вспомни картину: женщина поставила ногу на отрубленную голову Олоферна, из-под разреза платья видна голень, платье облегает стройные ноги, талия перетянута расшитым поясом, округлые груди и, наконец, красивое лицо!..

— Даже Борода не смог бы так описать эту картину! — воскликнул Хайбаров.

— Не перебивай, имей терпение, — сказал Поэт. — Итак, кто поставил ногу на отрубленную голову?

— Юдифь.

— А женщина, бросившая в мешок отрубленную голову?

— Томарис.

— А кто из них, по-твоему, жил раньше?

— Конечно, Томарис, — сказал Хайбаров. — Хотя они чем-то похожи.

— Молодец! — сказал Поэт, довольный его ответом. — Они похожи как две капли воды. Так кто у кого позаимствовал этот сюжет?

— Массагеты древнее... и легенда тоже...

— Ты уверен, Ташпулат? — сказал Поэт. — Легенда ли это? А может, быть?

— И ты решил вести исследование? Тогда ты настоящий ученый! — сказал, смеясь, Хайбаров.

— А ты настоящий поэт, — похвалил Поэт в свою очередь Хайбарова. — Вот такие дела, Ташпулат. Думая об этом, радуюсь как дурак, Хайбаров-ака! Помнишь, как я раньше почему-то стеснялся тебя, обращался к тебе «Хайбаров-ака»?

— Помню, — кивнул Хайбаров. — Я хочу написать о Томарис. Это будет мое лучшее творение.

Хайбаров не верил ему ни капельки, однако улыбался и кивал, слушая пересказ «самого лучшего творения».

— Томарис — женщина-воин. Я ее одену в доспехи. И еще придумаю кузнеца. Томарис ему закажет прочную кольчугу. А дальше... Кузнец должен подогнуть все точно по размеру. И можешь представить себе состояние кузнеца, который прикидывает на глаз, как сделать, чтобы не было тесно грудям царицы?!

— Нет, мой друг, — сказал Хайбаров. — Ведь Томарис — предводительница массагетов... потом, ее сына убил Кир, а ты... Это все принижает образ Томарис...

— Ну что ты!.. — рассердился Поэт. — Царица может заказать кузнецу кольчугу. Она собирается выступить в защиту своего племени. Ты посмотри на пальцы кузнеца, который занят изготовлением необычного заказа! С какой любовью он это делает — словно дело имеет не с железом, а с мягкой тканью. И молоточек его нежно выстукивает каждую деталь. Ему кажется, что сильный удар может причинить боль самой Томарис. Можешь ты это представить, Ташпулат?

— Пиши, Поэт, — сказал задумчиво Хайбаров.

— Сразу не напишешь, — после недолгого раздумья ответил Поэт. — Надо мне сначала выяснить некоторые исторические детали.

— Так это же легенда!

— Все равно...

«Самое лучшее творение» так и не было создано. Поэт и стихи писать не успевал. Теперь его мысли были заняты Кабулом.

Кабул вошел в нашу уже скучную однообразную жизнь, как ясное солнце, как свежий воздух! Двадцати двух лет, полный сил и энергии, этот красивый парень появился вместе с Поэтом.

— Альпинист Кабул Мурадов! — представил его Поэт. — Самый сильный в мире альпинист! Покорил много вершин!..

Кабул в нашем кругу, среди людей старше его по возрасту лет на десять, более или менее преуспевших в жизни, чувствовал себя неловко.

Друзья, которые с самого начала не приняли ни Джима-Джамала, ни Тайлакова, почему-то сразу расположились к Кабулу, он как-то всем пришелся по душе. Появился он, и Поэту по ночам стали сниться горы. Под предлогом «творческой командировки» он вдруг исчезал на неделю. Правда, с его исчезновением пропадал и Ка-

бул. После Хайбаров узнал, что Поэт с Кабулом тренируются в альпинистском лагере.

— Лучше бы о семье позаботился, дружище, тебе не хватало только по горам лазить, довел бы лучше, свои дела до конца, — как-то сказал Поэту Хайбаров.

— Какие дела? — удивился Поэт.

— Стихи, — напомнил Хайбаров. — Ты же собирался написать новую книгу стихов.

— Я сейчас изучаю жизнь, — ответил Поэт. — Разве жизнь это не поэзия? Знаешь, Ташпулат, никто из альпинистов не превзойдет Кабула в мастерстве — он самый сильный, ловкий, умный альпинист! Мы еще с ним покорим пик Победы! Кабул отличный парень!

— И Джим у тебя тоже был отличным парнем, и Тайлаков! — сказал с иронией Хайбаров.

— Каждый из них силен в своем деле. Нехорошо умалять их достоинства.

— Скажи, почему тогда не взяли вы с собой Тайлакова?

— Тайлаков ученый, — сказал Поэт. — А ученые бывают рассеянными, им опасно ходить по горам.

Начатого дела он не оставил. Вместе с Кабулом поднимался на малые вершины. Однажды, вне себя от радости, шепнул на ухо Хайбарову:

— Три тысячи! Только жене моей не говори!

— Три тысячи выиграл? — прикинувшись дурачком, удивленно спросил Хайбаров.

— Три тысячи метров, — обидевшись на друга, возмутился Поэт. — Не надо смеяться, Ташпулат. Я хоть раз над тобой смеялся?

А спустя несколько дней Кабул огорчил Поэта. Не предупредив его, ушел с альпинистами в горы. Поэт до сих пор переживает: «Если бы я с ним пошел, Ташпулат, этого бы не случилось...» Поэт ругает себя, не понимает, что его не взяли бы на штурм вершины, которую даже Кабул не смог покорить.

Месяц от Кабула не было вестей, и вдруг совершенно неожиданно он появился в сопровождении жены, бледный, осунувшийся, в темных очках, припадая на левую ногу. Подробностей не рассказывал, не ныл и не плакался. Под нашим нажимом только сказал: «Было скользко, два дня провалился в яме, потерял защитные очки, ослеп...» Жена Самада, Масума, объяснила, что в горах из-за разряженности атмосферы очень сильны ультрафиолетовые лучи, которые вредны для глаз, впри-

дачу ко всему Кабул застудил себе почки. Словом, парень ослеп. Целый год не выходил из дома, боялся утешительных, жалостливых слов, пригласив учителя, изучил азбуку для слепых. Жене своей дал понять, что она свободна и хорошо бы ей найти кого-нибудь другого, зачем он ей нужен, больной, прикованный к постели. Жена плакала, говорила, что никого, кроме него, не любит, что будет ему вместо глаз, лишь бы муж был здоров. Кабул растрогался, погладил жену по голове и переспросил: «Ты и в самом деле так думаешь или просто жалеешь меня?» — «Я вас одного не оставлю, Кабулака», — ответила Мазлума. Кабул тогда уехал в свой родной кишлак Нурата.

Мазлума с Самадом ездила за ним. «Мазлума самоотверженная женщина, — сказал впоследствии Самад Хайбарову, — верная жена, уверен, что никогда не оставит Кабула одного. — При этом он прослезился, обнял Хайбарова за плечи и добавил: — Как здорово, дорогой друг, что есть на свете такие женщины! Как хорошо было бы, если бы глупец Поэт прославлял их в стихах!»

Но Поэт так и не написал стихов о самоотверженности и преданности Мазлумы. После беды, обрушившейся на Кабула, он как-то сразу посерьезнел. Каждый день ходил к другу в больницу и всякий раз возвращался с разными, но твердыми решениями. Однажды, показав на географической карте точку, сказал хриплым голосом:

— Это тут, будь она проклята! Кабул еще собирался покорить и Нангу Парбат... Обидно, Ташпулат, всего-навсего пять тысяч метров, плоская, как ладонь, вершина, и до нее не дойти.

9. ДВА ДНЯ НАЗАД

Он зашел в институт, чтобы заглянуть к директору. В приемной Хайкала Ганиевича никого, кроме девушки-секретарши, не было.

— Домулла спрашивал вас, — сказала она Хайбарову. — Входите. Кстати, не забудьте его поздравить.

— Значит, все-таки дали? — спросил Хайбаров.

— Дали, — Самад Мансурович сказал, что указ завтра будет в газетах. У domuллы прекрасное настроение.

— У меня тоже неплохое, — подмигнул Хайбаров. — А у вас, Салимахон?

Салимахон устало бросила на край стола журнал, который читала, и лениво улыбнулась — все у нее было

прекрасно, о чем говорил весь ее внешний облик — молодая, красивая.

— Входите, Гашпулат Раимович, — благосклонно произнесла она. — Хайкал Ганиевич как раз один.

Открыв обитую черным дерматином дверь за стеклянную ручку-шар, он сразу же увидел сидевшего за столом Хайкала Ганиевича. Получив разрешение, вошел в кабинет, сел на любезно указанное директором место за длинным столом и поздравил хозяина кабинета.

— Да вот... удостоили за скромные заслуги... — сказал, деланно смущаясь. — Я просил вас пригласить. Сколько вам лет?

— Тридцать три... — удивившись вопросу, ответил Хайбаров.

— Извините, это я так, между прочим, — сказал Хайкал Ганиевич. — Знаю ваш возраст, на прошлой неделе ознакомился с личными делами каждого из сотрудников. Дело в том, Хайбаров, что другие...

— Вы хотите сказать, что другие давно уже занимаются серьезными исследованиями? — спросил Хайбаров.

Хайкал Ганиевич согласно кивнул.

— Это не значит, что я хочу свести на нет выполненные вами работы и те, над которыми вы сейчас трудитесь, — сказал он. — Потом, у вас лекции в университете. Но этого мало. Вчера Сатыволдиев меня просто пристыдил. «Я, — говорит, — один тридцать учеников воспитал». Мне и вам известна хвастливость Сатыволдиева, он сначала похвалится, надает обещаний, а потом ему ничего не остается, как их выполнять. Как вы думаете, Хайбаров, может, он специально, для рекламы, хвастается?

Здесь бы Хайбарову немного возгордиться — Хайкал Ганиевич с ним на равных, с улыбкой говорит, да еще о ком — об академике Сатыволдиеве.

Хайбаров улыбнулся: спасибо, Хайкал Ганиевич.

Хайкал Ганиевич тоже улыбнулся в ответ: молодец, Хайбаров, хорошо держишься.

— Я хоть и знал, что домужла здорово преувеличивает, сильно смутился, — повторил Хайкал Ганиевич. — Да, кстати, сегодня проводится семинар преподавателей общественных наук. Что-то вы не при параде...

— Полевые работы, Хайкал Ганиевич, — сказал Хайбаров.

— А, в общем-то, ничего страшного, — сказал Хайкал

Ганиевич. — Джигита видно и в лохмотьях. На семинаре с докладом должен был выступить Самад Мансурович, но, как вам известно, у него приближается защита докторской, поэтому мы решили просить вас это сделать...

— Справлюсь ли? — заскромничал Хайбаров.

— Справитесь, — сказал Хайкал Ганиевич. — Самад Мансурович вместо себя рекомендовал именно вас. Сказал: «Хайбаров меня заменит, в свое время я тоже оказывал ему услугу».

— Да, конечно, — пробубнил Хайбаров, но так и не вспомнил, что за услугу оказал ему в свое время Самад. — Мы с ним старые друзья. Я постараюсь...

— Достаточно, чтоб вы поговорили на тему об исламе, — сказал Хайкал Ганиевич. — Самад Мансурович считает, что вы прекрасный импровизатор.

— Да что вы! — сказал Хайбаров. — Какой из меня импровизатор.

— В семинаре примут участие и несколько крупных ученых, — предупредил его Хайкал Ганиевич. — Надо все взвесить, продумать. Все же марка нашего института... Потом, еще один вопрос... Кажется, истекает срок вашей командировки, пора подумать об отчете.

— Пока похвастаться нечем, Хайкал Ганиевич.

— Как это «пока»? Зря надеетесь. Я не продлю вашу командировку. Вы просили два месяца, я их вам дал. На большее не могу пойти.

— Попробую подать заявление в ученый совет, Хайкал Ганиевич, — сказал Хайбаров. — Я хочу подольше побыть там, может быть, удастся найти что-нибудь из предметов культовых, религиозных. Пока на руках у меня недостаточно материала.

— Мне сказали, что нашли буддийский храм?

— Это Сурхандарьинская экспедиция, — ответил Хайбаров. — Наши же, кроме настенной росписи и осколков посуды, ничего не находят.

— Не оправдывайтесь, — строго сказал Хайкал Ганиевич. — Историк религии необязательно самому откапывать предметы культовых обрядов.

— Но я хотел бы сам что-либо найти, — заупрямился Хайбаров. — Для души, Хайкал Ганиевич... Моральная сторона, так сказать.

— Моральную сторону оставьте, скорее могли бы сказать, что остыли к своей профессии, пропал к ней интерес. Ваши мысли где-то витают, и, если вы думаете, что я этого не замечаю, ошибаетесь. Я вами очень недо-

волен. Вы очень рассеянным стали. Сейчас должна быть только одна забота — скорей завершить свою диссертацию.

Хайбаров смолчал. В общем-то, Хайкал Ганиевич был прав.

— Вы просили напомнить, Хайкал Ганиевич, до начала семинара осталось полчаса... — послышался голос секретарши из динамика, установленного на столе.

— Спасибо, Салима, доченька, — нажав кнопку микрофона, сказал директор и, обернувшись к Хайбарову, добавил: — Подождите меня в приемной.

Он стал прибирать бумаги на столе. Хайбаров вышел в приемную. Посмотрев на себя в большое зеркало у входа, одернул рубаху, поправил воротник. Вытащил заправленные в сапоги брюки, оставив следы песка на чистом паркете.

— Извините, — виновато сказал он секретарше.

— Ничего, ничего, — ответила та, все же слегка нахмурившись. — Панама вам очень идет, но, думаю, лучше вам оставить ее здесь.

Хайбаров снял головной убор и повесил на крючок в углу приемной.

— Жаль, что вы очень молоды, — сказал Хайбаров, обернувшись к девушке. — А то бы я вас взял в жены и с ног до головы озолотил.

— Что, у вас так много золота? — любопытно спросила секретарша.

— Много, очень много, — сказал Хайбаров. — Два месяца копаю. Ста таким, как вы, на калым хватит.

— А вы с другими девушками поговорите, Ташпулат Раимович, — сказала девушка и затем, изображив на лице сожаление, покачала головой: — Нет, мне мама не разрешит, я действительно еще молода, а вы уже стары, а жаль...

Хайбаров признал себя побежденным. Девушка была рада, что отомстила Хайбарову, щеки ее от возбуждения горели, не тронутые краской ресницы трепетали, положив руки на каретку пишущей машинки, она беззвучно смеялась; восемнадцатилетняя, беззаботная, безжалостная — она вызывала зависть!

Из кабинета, на ходу причесывая посеребренные волосы, вышел Хайкал Ганиевич. Подтянутый, модно одетый, он распространял вокруг запах французского лосьона и новой кожаной папки. Заметив радостную

улыбку на лице секретарши, с упреком посмотрел на Хайбарова.

Хайбаров упрямо выдержал его взгляд.

— Пошли, — сказал Хайкал Ганиевич равнодушно. — А вы будьте начеку, Салимахон, доченька. Может позвонить Шамси Тураевич из Бухары.

Салима кивнула.

В зале собралось человек сто — люди разного возраста, но все как один представительные. За столом президиума сидели академик Сатыволдиев, Хайкал Ганиевич и еще трое известных ученых.

Вопрос, который стоял на повестке дня, был как раз по теме Самада: антиклерикальные идеи в узбекской поэзии средних веков, бунт личности против бога. Хайбаров не собирался претендовать на знания в области, которой занимался его друг: он понимал, что все равно лучше Самада никто не сможет осветить эту тему.

Когда объявили Хайбарова и он вышел на трибуну, сидевшие в зале посмотрели на него с недоверием. Эти взгляды он отнес к своей пыльной, старой одежде: «Кого не знают, того не уважают, уважение за деньги не купишь, друг мой Хайбаров, сам во всем виноват!»

И Хайбаров остановил свой выбор на значении роли джиннов и дэвов в мифологии.

Сперва он нарисовал картину заточения джиннов: на трон на берегу моря он усадил Сулеймана, вокруг него рядами несметное количество его прислужников, птиц и животных. Трубит рог, и к нему приводят с накинутыми на шею веревками злых духов — джиннов. Сулейман дал знак, и джинны без звука полезли в заранее приготовленные для них кувшины. Ни один из них не пикнул. Прислужники запечатали каждый кувшин сургучом, Сулейман снял свой перстень и на сургуче поставил свою знаменитую печать. Потом прислужники побросали все кувшины в море.

— Дэвы по сравнению с джиннами более решительные, — продолжал Хайбаров. — У них более воинственный характер. Словно в этом мире у них единственная цель — искать себе смерти. Свою душу, жизнь, то, что мы с вами бережем как зеницу ока, дэвы прячут в комаре, комара в воробье, а воробья хранят в железном сундуке, который запирается на ключ и вместе с ключом бросается на дно моря или прячется в дупле старого дуба. Сами же беззаботно крадут первую же попавшуюся

им на глаза ханскую дочь. Любопытно, что они совсем не смотрят за украденными красавицами, потому что у дэва помимо дочерей хана есть и другие заботы: охота, соревнования на скорость, пиршества. В это время любимая дочь хана скучает в одиночестве в огромной обители дэва, и в голову ей приходят мрачные мысли, она возмущается поведением дэва, который ни разу не обнял ее, не ласкал, потом, потеряв всякую надежду, она начинает ожидать снившегося ей по ночам принца. Дэв увлечен охотой, а к принцессе на шелудивой кобыле прибывает грезившийся ей принц. Увидев, куда он попал, дрожа от страха, он прячется под подолом принцессы. Уж не думает ли он поглядеть на ее пупок, который, как нам известно из «Тысячи и одной ночи», вмещает ровно унцию орехового масла?

Сидевшие до сего момента со скучающим видом слушатели оживились. Хайбаров, заметив, что Хайкал Ганиевич намерен бросить ему недовольную реплику, поспешил закончить свой рассказ:

— Теперь появляется дэв, не успев переступить порог, он грозно рычит: «Фу! Человечьим духом пахнет!» Заметьте, сказитель передал всю свою мизантропию. Тут принц неожиданно выходит из-под подола принцессы и нападает на дэва. Оказывается, он вовсе не из-за трусости прятался, а только затем, чтоб его атака получилась неожиданной.

— Разве дэв не огромных размеров? — задал вопрос один из сидевших в первом ряду.

— Огромных, — сказал Хайбаров. — Роста он необыкновенного, головы совсем не видно, она где-то за облаками, а руки как тысячелетние чинары.

— Словом, на наш минарет Калон похож! — заметил сидевший в первом ряду.

— Верно! — сказал Хайбаров, радуясь, что хоть немного заинтересовал собравшихся. — Дэв действительно такой огромный. Не дай бог, он нечаянно заденет принца, из того тогда сразу дух вон. Но почему-то дэв боится его, к тому же предательница принцесса откуда-то приносит миску с просом и высыпает его под ноги дэву. Словом, дэв поскальзывается и валится прямо к ногам принца. Именно так — валится к ногам принца. Ведь он же громадного роста? — Хайбаров, улыбаясь, делает паузу.

— Продолжайте, товарищ Хайбаров! — выкрикнул кто-то из зала. — Интересно, что же дальше.

— Серьезнее! — постучал по графину Хайкал Ганиевич.

Реплика директора покорила Хайбарова, но он промолчал: в зале сидел академик Сатыволдиев, не время спорить с руководителем.

— Простите, я увлекся. Просто хотелось подчеркнуть смешные неувязки этих мифов. Словом, понятие величины в мифах слишком относительно, — продолжал он. — Мифическая поэтика более проста. Дэвы и джинны из старых мифов вызывают больше жалость или смех. Сами подумайте, маленький принц отрубил голову такому великану! Как тут не восхищаться храбростью принца или же, как в данном случае, не жалеть дэва и досадовать на его глупость? Эти дэвы, хотя и глупы, живут на воле, крадут детишек, охотятся, находят гибель от рук принцев — это уже много значит. Во всяком случае, они существа вполне деятельные. Если вы заметили, у них реальная жизнь, реальные, человеческие занятия и такие же радости и горести. Тема же джинов прошла сквозь века без особой обработки. Джинны так и остались инертными, призрачными, не критически, а послушно мыслящими существами. Джинн даже на воле лишен настоящей свободы, исполняет чужие прихоти, чаще всего он служит как бы сводником у влюбленных — занимается транспортировкой принцесс вместе с их дворцами из одного конца земли в другой, к принцу и обратно. Джинн тысячу лет может лежать на морском дне, пока оттуда не вызволит его какой-нибудь изголодавшийся рыбак. Лежит и лежит. От одной такой мысли можно задохнуться, а ему хоть бы что!.. И учтите, товарищи, он лежит тысячу лет и безо всякого анабиоза...

Зал уже смеялся. Кто-то даже заплодировал. Хайкал Ганиевич пытался поймать взгляд своего ученика, но тот будто начисто забыл о его присутствии.

— Все, о чем говорилось до сих пор, было из области шуток, — сказал он, ожидая, пока стихнет шум в зале. — А теперь перейдем к научному анализу исламской демонологии. Мне хотелось бы вкратце напомнить иерархию сверхъестественных сил вообще и демонических — в частности...

Сойдя с трибуны, Хайбаров подошел к доске, висевшей за столом президиума, и на самом верху ее крупными буквами вывел: АЛЛАХ.

— Итак, Аллах, или первопричина всего сущего и самого себя, первыми из тысяч эпитетов которого

являются «великий» и «вечный». Рядом и чуть ниже четыре его архангела...

Хайбаров вновь подошел к доске и написал: ДЖАБРАИЛ, АЗРАИЛ, МЕКОИЛ, ИСРАФИЛ.

— Сбоку мы отведем место Шайтану, он же Иблис, он же Азозил, одним словом — черт, верховодитель всех демонических сил... Архангел Азраил более известен, так сказать, по долгу своей службы, поскольку он забирает души умерших людей. С Джабраилом тоже все ясно, он что-то вроде курьера — носит до пророков божественные послания, а те их выдают за собственные откровения.

— Словом, дурачат народ, — одобрительно отозвался Хайкал Ганиевич.

— Совершенно верно, — не без издевки откликнулся Хайбаров. — Но самый трогательный среди этой братии — это архангел Исафил, личность поистине загадочная. Такого лентяя и бездельника, как этот благодушный архангел, нигде больше не сыскать. Думаю, тут человеческая фантазия превзошла себя. Согласно божественному писанию, Исафил должен протрубить в рог, известить тем самым о наступлении судного дня. Такая вот штатная единица в чертогах Аллаха! Просто зависть берет! Никаких тебе забот, лежи да нежься на перинах! Кажется, нет в мире другого существа, как этот Исафил, который бы так сильно хотел, чтоб судный день не наступил никогда!..

Постучав по графину карандашом, Хайкал Ганиевич встал с места.

— Не горячитесь, мой друг, — сказал он. — Насколько я понял из ваших слов, вам более интересна форма веры в дьявола, нежели сама сущность дьяволиады. Вы упускаете из виду само суеверие, его реакционную суть. Думаю, не к лицу серьезному ученому восхищаться примитивной верой в людей, в дэва или в джинна, основанной на столь уж примитивных чувствах. Я не понимаю вашу страсть к анекдотам и притчам. Слов нет, анекдоты эти смешны и красивы. Но одумайтесь, мой друг, и вы увидите, что они поразительно просты. Эта самая простота как бы принижает дэва или джинна, что совсем недопустимо!..

Хайбаров покорно слушал речь Хайкала Ганиевича, но при последних словах не удержался от удивления:

— Я как раз этого и добиваюсь, Хайкал Ганиевич!

— Но вы совершенно забываете, что эта самая простота искореняет страх перед дэвом или джинном!

— А вам нужно, чтобы люди обязательно боялись дэвов? — досадливо спросил Хайбаров. — Ведь это же прекрасно! Прекрасно, когда люди не боятся дьявола!

— Поймите, это уже чистый фольклор! — рассердился Хайкал Ганиевич. — Сколько раз я вас остерегал от подобных художеств! Поймите, вы философ, атеист, занимаетесь историей ислама, а не фольклористикой. Поймите, дэвы и джинны не так уж безобидны, как вы изображаете!..

— Вы говорите так, будто перед вами реальные существа... — возразил Хайбаров.

— Здесь речь о другой реальности, реальности религиозного сознания, — строго сказал Хайкал Ганиевич.

— А тогда как прикажете быть с теми чудаками дэвами, которые по доброй воле помогают людям в трудных ситуациях сказки? — спросил Хайбаров. — Зачем так строго, Хайкал Ганиевич? Ведь все это плоды народной фантазии. Мне кажется, ученый, наш брат, слишком уж зарвался, недооценивает мысль простых людей. Вы бы только знали, как сильна в нашем народе ересь в самом лучшем ее смысле! Этих дэвов народ сам выдумал, сам ненавидит, сам же высмеивает и порою даже любит!..

— Бред! — воскликнул Хайкал Ганиевич.

— Почему же?.. — незлобиво улыбнулся Хайбаров. — Это тоже наука.

Зал просто блаженствовал, следя за полемикой. Это было действительно интересно: вступили в спор двое ученых, учитель и его ученик, директор и его подчиненный. И главное, они спорили всерьез, позабыв об аудитории.

Первым пришел в себя Хайкал Ганиевич.

— Извините, товарищи, мы отошли от разговора, — сказал он слушателям. — Наш спор может продолжаться бесконечно. Много еще неразберихи в вопросах демонологии, особенно — мусульманской. Культ названных молодым моим коллегой злых сил исходит из доисламских еще времен. По убеждению древних арабов, джинны обитали только в пустынях и только изредка посещали людские поселения. Они, как и люди, принадлежат к обоим полам и могут легко совокупляться с людьми, самцы джиннов — с женщинами, а самки — с мужчинами. От таких связей рождаются грешные люди...

Хайкал Ганиевич победоносно посмотрел на Хайбарова, уверенный в собственном успехе. Впрочем, он не

ошибся. Зал его очень внимательно и одобрительно слушал.

— Простите, товарищи, старого ученого за его нескромность, — сказал он. — Не я сегодня ваш докладчик. Лучше будет, если мой коллега продолжит именно эту линию, тем более он так весело рассказывает!..

Хайкал Ганиевич сел на свое место под аплодисменты.

— Хайкал Ганиевич высказал очень свежую мысль, достойную большого ученого, — с усмешкой сказал Хайбаров. — Я постараюсь уточнить лишь некоторые детали его линии. После такой серьезной речи мне трудно быть веселым, но и тут, думаю, не обошлось без шуток. Те самые арабы — скорее всего, это были оседлые арабы — могли по ночам ловить любовников своих жен и объявлять их джиннами, пришедшими из пустыни.

— Не-ет, араб убил бы и жену, и любовника! — возразили ему из зала. — И какой вообще из любовника джинн?!..

— Все могло быть очень просто, — ответил Хайбаров. — Скажем, сей ревнивый араб очень любит свою жену и не хочет огласки. Иметь любовника, пускай даже для жены, — это большой порок, а с джинна взятки гладки!..

— Точно! — воскликнул сидевший в первом ряду седой мужчина. — Так и бывает!..

— Ну вот... один человек уже признался, — улыбнулся Хайбаров.

Зал грохнул. Седой мужчина насупился, но возразить не сумел.

— Хайбаров, ведите себя прилично! — сказал Хайкал Ганиевич.

— Извините, коллега, я глупо пошутил, — сказал Хайбаров седому мужчине. — Ладно, оставим в покое обманутых мужей. Могло статься, что жена араба сама сослалась на бедного джинна. Сумела-таки убедить бдительного мужа, а любовника тем временем и след простыл. Могло быть такое?

— Могло, — ответили ему.

— Так вот, товарищи, у джиннов тоже вполне человеческие заботы, и во всем следует искать человека, хорошего или плохого, сильного или слабого — всякого. К религии часто бывает полезным подходить с такой простой позиции. А что касается детей грешных, то и в этом могу поспорить с моим учителем. Винить бедных

джиннов здесь вряд ли уместно, — под общий смех сказал Хайбаров. — Грешные люди могут рождаться и от обыкновенных любовников и даже от законных мужей!..

— Вы слишком утрируете! — завопил Хайкал Ганиевич.

Тут и самому Хайбарову стало смешно. И даже тогда, когда он увидел сердитое лицо своего учителя, не мог совладать с собой, пожал плечами: мол, что поделаешь, так уж вышло.

— Вы так говорите, домулла, словно дэв или джинн занес над вашей головой меч! — улыбнулся академик Сатыволдиев. — Не стоит паниковать, Хайкал Ганиевич, ведь все, о чем идет речь, миф, легенда...

Хайкал Ганиевич сделал вид, что не слышал реплики. Хайкал Ганиевич любил свой институт. Можно сказать, он сам его основал. За время работы в институте он видел не одну дискуссию, умел, когда была необходимость, выходить из сложных ситуаций. Сейчас Хайбаров доволен собой, не осознает всерьез того, что говорит, и, если он войдет в раж, его можно будет сразить какой-нибудь невинной репликой. Во всяком случае, ни Сатыволдиев, ни его сотрудники не должны ничего заметить, а для этого надо направить разговор в правильное русло: проявить легкое недовольство, может, даже решительно возразить — пусть останется впечатление, что он предостерегает своего сверстника от идейных ошибок.

— Что вы скажете о реальном вреде, который представляет религия, религиозные мифы, Хайбаров? — спросил Хайкал Ганиевич.

Хайбаров, раскусив его цель, покачал головой.

— По-моему, академик Сатыволдиев прав, не стоит излишне паниковать, — ответил он. — Вы просто не любите фольклор. Если бы вы относились к нему хотя бы снисходительно, то вспомнили бы, как в трудные мгновения дэвы делали человеку добро.

— Что белая, что черная собака, а все равно собака, — не растерялся Хайкал Ганиевич.

— То, что вы сейчас сказали, к дэвам не имеет никакого отношения. Народ, в зависимости от того, как вели себя дэвы, делил их на белых и черных: белый дэв — хороший, черный — плохой. Вы хотите оградить меня от влияния фольклора, Хайкал Ганиевич, но я уверен — мы, занимающиеся вопросами религии, без фольклора далеко не уедем. Если руководствоваться только догматизмом, научный атеизм превратится в пустое отрицание,

в заурядный свод фактов. Мне кажется, высокомерное отношение к фольклору может только навредить науке. Нельзя недооценивать его влияния на массы, которые мы без устали просвещаем. Но ведь ни для кого не секрет, что люди порой смеются над нами, над нашим невежеством.

— Правильно! — вскочив с места, выкрикнул сидевший в первом ряду седой мужчина. — Мы слишком заважничали, товарищи!

— Я вас не понимаю, товарищ Бадалов, — с недоумением обронил академик Сатыволдиев. — На вас это никак не похоже. Вроде всегда отличались скромностью...

— Одно другому не мешает, Насир Халилович, — улыбнулся Бадалов и тут же пояснил: — Однажды я читал лекцию на колхозном полевом стане. Вначале все слушали меня внимательно...

— А потом заснули? — спросил, изображая протачка, Хайкал Ганиевич. Бадалов был из института Сатыволдиева.

— На моих лекциях не засыпают, — с гордостью ответил Бадалов. — Дело в том, что я пытался напугать сидевших дэвами и всякой нечистой силой, и как все начали хихикать. Я разозлился. «От суеверий надо избавляться и нечего тут смеяться», — сказал я, но где там, все просто зашлись в смехе. Я все более распалялся и нервничал, рассказывая о дэвах, а они всё гоготали. Как я потом узнал, оказывается, среди них сидел здоровенный верзила пьяница по прозвищу — Дэв.

— Значит, уже и дэвы научились выпивать... — пошутил Сатыволдиев.

В зале засмеялись. Смеялся и Хайкал Ганиевич, хотя очень беспокоился, чем же закончится выступление его ученика.

— Извините, товарищ Хайбаров, что я без разрешения вклинился в ваш доклад, — сказал Бадалов, усаживаясь на место.

— По-моему, вы вовремя пришли мне на помощь, — улыбнулся Хайбаров. — Спасибо вам за поддержку, домулла. У меня тоже были такие моменты. Порой народ смеется над нашей сверхученостью. Потому что народ мудрее нас. Мы с вами пытаемся запугать его страшилицами, забывая о том, что всех этих чертей, дэвов и нечистых придумал сам народ, который их и ненавидит и любит!..

— Ну, вы тут перебрали,— возразил Хайкал Ганиевич.— Так уж и любит?

— Любит,— повторил Хайбаров.— Вот, к примеру, я люблю джиннов.

Хайкал Ганиевич решил, что уже пора охладить пыл докладчика:

— От ваших слов веет псевдонаукой, Хайбаров!

— Нет, почему же, это тоже наука...

— Псевдонаука!..— сказал, горячась, Хайкал Ганиевич.— Где же, мой дорогой друг, граница между истиной и вымыслом?

Недавно громко смеявшийся зал вдруг притих. Спор становился серьезным. И лишь академик Сатыволдиев понял хитрый ход Хайкала Ганиевича и незаметно подмигнул ему: мол, ладно уж, молодой еще, не загоняйте его в угол.

— От вас я ожидал более серьезного разговора,— на всякий случай «припугнул» Хайкал Ганиевич ученика. Потом, поднявшись с места, взял бразды в свои руки.— Извините, товарищи, в нашем институте такой порядок — друг друга не жалеть,— сказал он, улыбнувшись академику Сатыволдиеву.— Честно говоря, мне по душе увлеченность Ташшулата Раимовича. Во всяком случае, он неравнодушен к тому, чем занимается. Наш спор ушел в мелкие детали. И по-моему, пора закругляться.

— Извините, домулла, разрешите, я закончу,— сказал Хайбаров.— Вывод из этой истории такой: все, что мы считаем вымыслом, на самом деле — сущая правда. Дело в том, что под всеми этими джиннами, дэвами, нечистыми силами и страшилищами, словом, под маской всех этих сказочных персонажей скрываются образы людей, людей разного характера — плохие и хорошие, прекрасные и уродливые, мужественные и трусы, умные и глупые, справедливые и подлые... Так что если вернуться к тому, что сказал недавно Хайкал Ганиевич, то с учителем можно и поспорить.

По залу прокатился смешок. Хайкал Ганиевич обижено отвернулся.

Поболтав с коллегами, Хайбаров вышел из зала. Он был уверен, что Хайкал Ганиевич давно уехал, а тот, оказывается, ожидал его у выхода из института, нервно прохаживаясь по тротуару рядом со своей машиной.

— Садитесь, — сказал он приказным тоном, указывая на машину.

Хайбаров молча открыл заднюю дверцу. Директор уселся рядом с шофером. По дороге оба молчали. Хайкал Ганиевич сидел нахохлившись, явно был раздражен случившимся.

— И вам покровитель нашелся, Ташпулат, — сказал он вдруг, иронизируя. — Кто? Сам Сатыволдиев интересовался вами.

— Вероятно, хочет переманить меня, — предположил Хайбаров.

— Не знаю. Если хотите перейти к нему — пожалуйста, за полу вас не держим.

— Я не собираюсь уходить.

Хайкал Ганиевич удивленно обернулся. Видимо, не поверил.

— Сатыволдиев привык к обходительным людям, — пояснил Хайбаров. — Через неделю меня выгонит.

— Это я терплю все ваши нападки, — вздохнул Хайкал Ганиевич, и лицо его просветлело. — Вы хорошенько продумайте сегодняшнюю тему, Ташпулат, думаю, что-то может получиться.

— Этой темой многие занимаются, — сказал Хайбаров. — Я возьму другую. Хочу разобраться в некоторых учениях суфиев, тех из них, кто тяготел к неоплатонизму.

— Сил не хватит. Какие люди пробовали, брались за эту тему: Бертельс, Бартольд, Гасим Керимов! Нелегкая это задача!

— А разве есть легкие задачи, если братья всерьез?

— Ну что ж, попробуйте, — согласился Хайкал Ганиевич, неожиданно смягчаясь. — На будущий год мы вас пошлем в Багдад.

— Я бы предпочел работать здесь, — сказал Хайбаров. — Отец у меня старый, домулла, не могу надолго уезжать.

— И я, — сказал Хайкал Ганиевич, — хочу вам дать один совет, мой друг, — не бросайтесь в крайности, полагая, что вы ни в огне не горите, ни в воде не тонете. Сейчас такое время, когда очень нужны способные люди.

— Вы относите меня к таковым? — засмеялся Хайбаров.

— Не ломайтесь. Во всяком случае, вы неглупый человек.

— Спасибо и на том.

— Я немного разбираюсь в людях. Через разные школы прошел. Так что видел кое-что, друг мой.

— Говорят, последний раз отсутствовали двадцать лет?

— Врут, — усмехнулся Хайкал Ганиевич. — Всего пятнадцать... Простаком был, на одном юбилейном вечере повесил портрет средневекового поэта чуть повыше портрета известного деятеля.

— И за это угодили?..

— Только за это, — сказал Хайкал Ганиевич, печально улыбнувшись. — До того обидно, нелепо все так вышло...

— В таких случаях трудно быть судьей, — рассудил Хайбаров. — Бывает, что и укравший мешок с сушеным урюком, когда попадает в руки, бьет себя в грудь, доказывая, что стал жертвой беззакония.

Хайкал Ганиевич резко обернулся:

— Вот как?

— Да, — кивнул Хайбаров.

— Послушайте, молодой человек, — сказал Хайкал Ганиевич, став белым как мел. — За кого вы меня принимаете? Или вы думаете, что я говорю об этом, чтоб вызвать жалость?

— Нет, почему же. Порой и мне хочется поделиться с кем-нибудь своим горем, но отнюдь не ради сочувствия. Это свойственно любому.

— Вы сами меня вызвали на этот разговор! — вспыхнул Хайкал Ганиевич. — Я тоже не нуждаюсь в вашем сочувствии! Ладно, идите к Сатыволдиеву, будете у него тридцать первым учеником! Мне тоже он патронировал. А когда-то оба были аспирантами. Портрет-то вешал я, а он показывал, куда вешать... А потом я всю жизнь его догонял, чтобы, как и раньше, быть на равных! Но он оказался умнее меня! Человек, в те времена поносивший генетику как враждебную науку, сегодня с трибуны объявляет, что это — королева наук!..

— А я не верю его словам, домулла, — сказал Хайбаров.

— Почему?

— Не верю, и все. И еще раз вам заявляю: никуда из института не уйду.

— Я вас заставлю уйти.

— Не сможете, — сказал Хайбаров. — Правда — это такой дефицит, что за нее обычно ценят и даже уважают, и это, я считаю, очень справедливо.

Хайкал Ганиевич затрясся от гнева:

— Вы недоучка, Ташпулат! Наглец!

Хайбаров засмеялся.

— Остановите машину! — закричал Хайкал Ганиевич шоферу. — Остановите!

Шофер спокойно подрулил к тротуару.

— Спасибо, что в тени остановились. А то на солнышке и солнечный удар получить можно, — сказал Хайбаров. — Счастливо доехать, домулла.

— Мальчишка! — пробурчал тот в ответ и бросил шоферу: — Гоните домой, Кулахмед.

Когда он переходил через дорогу, кто-то окликнул его. Хайбаров увидел сидевших под тентом уличного кафе Поэта и Абдували Бороду.

— Может, обратите на нас взор, Хайбаров? — закричал Борода. — Подойдите, окажите внимание забытым и покинутым!

Хайбаров подошел, поздоровался. Поэт встал и подвинул ему стул.

— В поле спешу, работы много, — сказал, извиняясь, Хайбаров.

— Чуть посидишь и поедешь, — сказал Поэт. — Все равно всех дел сразу не переделать.

Хайбаров неохотно сел. Абдували Борода ополоснул вином стоявший на столе бокал и наполнил его до краев.

— Туманный день, бокал угасший, вино как бледный цвет лица, — сказал он, протягивая бокал Хайбарову. — Давайте выпьем!

— Ты не обращай на него внимания, Ташпулат, — сказал Поэт. — Наш друг пытается вспомнить Навои. Но язык его не в ладу с мыслями.

Хайбаров отпил глоток.

— Жарко, — сказал он. — Что ни говори, а сидеть в тени и почитывать стихи — дело приятное. А я вот уже два месяца в руки книги не брал...

— Что-то редко стал появляться у нас, Ташпулат, — сказал Поэт. — Порой хочется видеть тебя. Ты не поверишь, но мне хочется тебя видеть.

— Верю, — улыбнулся Хайбаров. — Вот кончится командировка, посидим в свое удовольствие.

— Дожить бы до этого мига, — многозначительно сказал Поэт. — Сегодня я отправляюсь в дальний путь.

— Он о поездке в кишлак всему миру раструбил, — проворчал Абдували Борода.

Поэта покоробили слова друга, но он не стал спорить с ним. Повернулся к Хайбарову.

— Я сейчас довольный собой, ну... как мешок, наполненный мукой, — сказал он сетуя. — Вот если бы нашелся кто-нибудь, кто врезал бы мне, да так, чтоб в глазах зарыбило и я забыл свое довольство! Знаешь, Ташпулат, человек, когда забудет о себе, становится намного лучше, нормальным становится.

Хайбаров молчал. Поэт отодвинул от себя стоявший перед ним бокал.

— Только не подумай, что я снова взялся за старое, Ташпулат, — сказал он. — Я выпил немного, есть о чем поразмыслить. Посмотри вон туда! Хорошенько посмотри. Ну, что увидел?

Хайбаров взглянул в сторону, куда показал ему Поэт, и сквозь деревья увидел улицу, мчащиеся по дороге машины, спешащих людей.

— Улицу, — ответил он тихо. — Людей, машины.

— Это жизнь! — воскликнул Поэт.

Абдували Борода захихикал.

— Молчи! — оборвал его Поэт. — Посмотри, Ташпулат! Мы тут сидим, а жизнь стремительно проносится мимо нас! Мы спокойно сидим в прохладе кафе и ведем красивые разговоры, исходим словами, хвастаемся! Сидим счастливые и довольные, а жизнь... Вон она, проносится мимо! Вот так и проносится, рядом, можно даже рукой достать! Понимаешь, Ташпулат, она проносится мимо!

Хайбаров пожал плечами. Он давно не видел Поэта в таком состоянии, хотя выпил он и впрямь немного, на столе стоит всего-навсего бутылка недопитого сухого вина.

— Ты тоже выглядишь довольным, Ташпулат, — сказал Поэт. — Можно задать вопрос? Если бы вдруг понадобилось и позвали бы тебя добровольцем, пошел бы?

— В добровольцы не призывают, — возразил Хайбаров. — На то и доброволец, чтобы идти по доброй воле.

— Представь себе, что тебя призвали, — пошел бы?

Хайбаров, не понимая, чего от него добивается Поэт, внимательно посмотрел ему в глаза — вроде бы серьезен.

— У меня желудок больной, — отшутился он. — И потом, смотря куда идти.

— Ну что ты тянешь резину, — сказал Поэт сердито. — Пойдешь или нет?

Настойчивость Поэта доставляла удовольствие Абдували Бороде.

— Ну согласись, Хайбаров, что, с тебя убудет? — ска-

зал он улыбаясь. — В чем дело, не пойму, сон, что ли, какой приснился ему, каждого встречного об этом спрашивает.

— Совсем заморочили мне голову, — сказал Хайбаров.

— По-моему, Поэту очень хочется испытать каждого в экстремальных условиях, — сказал Борода. — И самого себя тоже.

Глядя на друга, Абдували радостно улыбался. Доволен собой, щеки едва ли не до самых глаз заросли щетиной, но и сквозь нее выпирают широкие скулы. Беззаботный, беспечный, любит развлечения. Ему бы выпить да поесть.

— Скверная у тебя привычка, Абдували, — сказал Поэт, чуть помолчав. — Любишь ты посмеяться над человеком.

А у Абдували снова рот до ушей, словно и не о нем разговор... Хайбаров тоже вышел из себя: что он все улыбается, или мы чем-то ему обязаны? И сразу вспомнилось: в студенческие годы был у него один приятель. Из весьма состоятельной семьи. Никому из ребят он не нравился. Чтобы задобрить их, он давал всем в долг, кому десятку, кому двадцатку, а то и тридцатку. Денег обратно не требовал, почему бы и не взять у него какую-то сумму? Одевался он модно, все красивые девушки принадлежали ему, а все ребята чувствовали себя зависимыми от него.

— Прошу тебя, не играй на нервах, — сказал Поэт. — Я сегодня собираюсь уехать, знаю, что тебе это безразлично. Даже если я и совсем уйду, ты не будешь переживать, но странно устроен человек, почему-то мне хочется, чтобы ты вспоминал меня...

— Счастливого пути! — сказал Борода. — Будешь возвращаться, дай телеграмму! Или нам уже сразу ехать на твои похороны?

Не ожидавший такой дерзости, Поэт не в силах был и слова вымолвить, только выругался.

— Да бросьте вы, — сказал Хайбаров, призывая их к примирению. — С одной стороны, Поэт прав, жить с надеждой куда-нибудь поехать — это всегда хорошо. Хорошо, когда есть последнее пристанище.

— «Последнее пристанище»! — криво усмехнулся Абдували Борода. — Последнее пристанище под землей, Хайбаров!

Хайбаров молчал. Сейчас не время было спорить.

— Чего молчишь? — заерзал Абдували Борода.

— Если бы знал, что не будешь жаловаться, хорошенько бы тебя избил, — сказал Хайбаров.

— Ну что ж, давай выйдем! — с угрозой сказал Абдували Борода, вставая со стула.

Поэт, потянув его за рукав, усадил на место.

— Ах, оставь, — сказал он. — Трусишь ведь на самом деле, трусишь... Итак, сегодня я уезжаю, Ташпулат, — снова повторил Поэт, обращаясь к Хайбарову. — Опостылел мне этот покой, эта наша красивая жизнь!

— Да не уедешь ты никуда! — стал подтрунивать над ним Абдували.

— Уеду! — выкрикнул Поэт и, вскочив с места, стукнул по столу кулаком. — Можешь не верить, но я уеду.

— Ни черта подобного!

Поэт схватил Абдували Бороду за ворот, стол покачнулся, пустая бутылка свалилась на землю и разлетелась на мелкие осколки. Хайбарову с трудом удалось разнять их. Подбежала официантка, начала шуметь. Борода, не обращая внимания на ее ругань, вытащил из кармана сотню и, свернув трубочкой, бросил на стол.

— Несите скорее, — сказал он, — да покрепче. В честь отъезда Поэта.

При виде сотни лицо у официантки просветлело, и она тут же ринулась исполнять заказ. Поэт швырнул на стол пуговицу от рубашки Бороды и, обняв Хайбарова, сказал:

— Пошли, Ташпулат!

Хайбаров встал. Перейдя на другую сторону улицы, они направились к остановке автобуса. Подошла машина.

— Я поехал, — сказал Поэт, протягивая руку. — Ты тоже не веришь мне, Хайбаров, но я все-таки уезжаю.

— Счастливого доехать, привет семье!

— Да я же не домой, я далеко уезжаю! — крикнул Поэт из окна автобуса. — Я тебе обо всем напишу, Ташпулат!..

10. ГОД НАЗАД

На душе у Ташпулата было беспокойно. Между ним и отцом произошла размолвка, которую он до сих пор не мог забыть.

В ту свою поездку в Галатепе он застал привычную картину: на широком деревянном топчане сидели отец

с муллой Чары, отец что-то объяснял собеседнику. Ташпулату показалось, будто они сидят вот так за беседой с незапамятных пор — ничего не изменилось, ни обстановка вокруг них, ни их позы. И от того, что вот так, неспешно, старики часами беседуют, Ташпулат испытывал удовольствие, находя в этом некий колорит. Но, присмотревшись к мулле, он заметил, что тот недоволен собеседником и не находит себе места от волнения. Ташпулат расстроился. А мулла же, увидев Ташпулата, явно обрадовался.

— А сын ваш мне нравится, аксакал, — сказал он. — Я человек более или менее начитанный, но мои понятия расходятся с ихними научными. Порой моя грешная душа вопрошает: есть ли другой путь к истине, чем путь духовного совершенствования, как учит нас аллах?

— Вы меня об этом не спрашивайте, мулла, — выставя свою скромность, сказал Раим-аксакал.

Ташпулат не верил в искренность муллы Чары. Мулла лишь повторяет заученные слова. Вынимает каждое слово, как из шкатулки бусинки, нанизанные на нить одна за другой. Совсем он не такой простой человек, каким притворяется, живет, оберегая прежде всего свой покой... Это он таким образом решил пощекотать Ташпулату нервы, да и только. В знании Корана он превосходит Ташпулата, но из скромности, которую еще не утратил, не подчеркивает этого, как был бедным, забитым, так и остался таковым, пройдет какое-то время, он выйдет отсюда на улицу в сумерки, и, осторожно шагая по пыльной дороге, по которой недавно возвращалось с пастбища стадо, вернется в свою хибару, и за вечерним чаем позабудет обо всем и о Ташпулате тоже.

— Вы меня не вините, сынок, — сказал он Ташпулату. — Что поделаешь, не смог я прожить свою жизнь, как хотел. Все ходил по дорогам, которым противилась душа, и понял одно: только любовь, принесенная в жертву, бывает чистой. Боль и мучения оборачиваются наслаждением, с возрастом начинаешь понимать это. А вспоминая свои поступки и вновь переживая, начинаешь осознавать их.

— А вам знакома та самая чистая любовь, о которой вы упомянули? — спросил Ташпулат.

— Но и она никому счастья не приносит. — Мулла Чары в сердцах махнул рукой. — Лишь наполняет человеческую душу гордыней. Прости меня, если это прозвучит цинично. Человек, выставивший любовь на всеобщее

обозрение, напоминает мне бабу, которая всем разбалтывает то, что муж шепчет ей ночью в постели. Это такое редкое чувство, что им нельзя торговать на базаре, его надо беречь как зеницу ока. Не ожидая награды за это. Для этого надо уметь преодолеть себя, потому что вы сами себе худший враг, чем кто-либо. Чистая любовь — это любовь-дух, а не любовь-плоть.

— Таковую любовь можно проявлять лишь к покойникам, — вставил Ташпулат.

— Да, верно! Или к богу...

— Не туда вы клоните, мулла. Это же возвышение Суфия Мансура!

— Нет, сынок, его вознесли другие. Его смелость такова, что он объявил себя богом. Но это ему добром не прошло. Он был казнен... Нет, Ташпулат-бай, я не верю, что он в тот момент сожалел о содеянном. Уж очень он любил себя. Глупость это или что другое, как хотите назовите, но он, отдавая жизнь, оставался последним эгоистом.

— Вы многому не верите, мулла-бува!

— Я постарел, сынок, теперь каждый день для меня дорог, если я в чем и усомнюсь, завтра это пройдет, и однажды душа моя — фирр! — улетит из тела... — Мулла Чары захихикал. Затем губы его вдруг сжались, и лицо его приняло насмешливое выражение.

«...Обидно, что он не верит. Суфий Мансур поверил в то, что он и есть бог. Мулла его за это не любит. Все мы смертны, один аллах бессмертен, и потому нечего паниковать, лучше думать, что душа, как птица из клетки, однажды возьмет и — фирр! — вылетит!»

— Жаль, что нам с вами мало пришлось беседовать, сынок, — сказал мулла Чары. — Я почему-то привык думать, что вы хитрее. Мне кажется, это у вас от отца.

Ташпулат ничего не ответил. Он понял, что таким образом мулла обращается к отцу. Хочет втянуть его в разговор, нет, сказав о хитрости, желает поднять настроение.

— Какая там у меня хитрость, мулла, — сказал Раимаксакал. — Вот дядья его, те действительно хитроваты.

— Может, и так. Я об этом и не подумал, аксакал.

Ташпулат вспомнил первую встречу с муллой: много лет назад, по дороге на Кызыл-таш, кажется, летней порой, в полдень, было жарко, он мерно покачивался на ишаке, подобно пророку; коротко, клинышком, стриженная борода, глаза печальные... Мулла, как и все пред-

ставления о боге, был чем-то загадочным. Дети его боялись, словно мулла занимался колдовством и повелевал тысячами джиннов и всякими нечистыми силами, а вдруг он возьмет и всех напустит на тебя.

— Вы мою скромную веру не трогайте, сынок, — сказал мулла Чары. — Если у меня и есть кое-какие сомнения, так это не беда. Это даже хорошо, когда человек что-то подвергает сомнению ради поисков справедливости или хотя бы для утешения. А вы же мое малейшее сомнение раздуваете, делаете из мухи слона. Я на такое не способен, сынок.

— Способны, мулла-бува, — сказал Ташпулат.

— Оставь муллу в покое, Ташпулат, — сказал Раим-аксакал. Ничего не понимая в их споре, он сидел на топчане в хорошем расположении духа.

— Спасибо, аксакал, — сказал мулла Чары. — Вы куда более милосердны, чем ваш сын. Вы всегда меня жалели. Даже однажды от тюрьмы спасли.

Ташпулат не встревал в разговор. На свою голову, подумал он, тот пожалел муллу и спас его от тюрьмы, а вот теперь мулла, может быть, именно за то, что аксакал спас его от тюрьмы, смеется над ним.

У Раима-аксакала еще больше поднялось настроение.

— Вас тогда ни за что чуть не засадили, мулла, — сказал он. — Как будто мало было того, что вы уже раз отсидели, снова разыскивали. Не терплю несправедливости. Мне тогда крепко пришлось поработать, чтоб вас вновь не упекли.

— Судьба, сама судьба мне вас тогда послала, аксакал, — сказал мулла Чары. — Кто бы мог подумать, что именно вы можете мне?!

Раим-аксакал, не чувствуя сарказма, расплылся в улыбке. Видно, ему давно уже хотелось поговорить, он тут же пустился в воспоминания:

— И Карабая я спас от тюрьмы! Тогда Григурян все преследовал его. Я вам о нем рассказывал, мулла, несчастный был на редкость злым человеком.

— Что-то не припомню, аксакал, — сказал мулла, усмехаясь.

— Нет-нет, мулла, я вам об этом все-таки рассказывал... — Раим-аксакал на минуту замолчал. Но желание поговорить оказалось сильнее, и он продолжил: — Григурян приехал забирать в тюрьму Карабая. Тот, в общем-то, не очень был виноват. Что был басмачом, это правда. Однажды и меня пытался запугать, пятизарядку

к груди приставил. Их было пятеро братьев, отец их, Парда-аксакал, никому никогда не подчинялся, богоотступник, и дети у него бешеные, говорил, фыркая, как жеребец, с пеной у рта. Каждый из них — точно дэв! Сильные, здоровые были парни, мулла. Парда-аксакал со средним сыном совершил налет на Даргом и погиб вместе с сыном. Трупы их бросили в реку, да так потом и не нашли. Остальных записали в кулаки и забрали под стражу. Один Карабай тогда остался. Рука на него не поднялась, как-никак сверстники мы, вместе выросли, играли в кости, а если покопаться, то и вовсе мы дальние родственники по дядьевой линии... Бедняга все хотел за отца отомстить. Время таких не прощает. Сначала был басмачом, потом перешел на нашу сторону, во многом помог нам. Когда братьев его отправили по этапу, он вернулся в кишлак, вступил в колхоз. Но однажды тот самый Григуриян напал на его след. Приехал и остановился в чайхане при базаре. Шукур, торговец мануфактурой, Барота Кривого отец, был тогда чайханщиком. Усадив Григурияна на топчан пить чай, коня его отдал кому-то съездить в соседний кишлак, а тот и не вернулся. На следующий день явился ко мне армянин грознее тучи. «Или коня моего найдешь, или я тебя в порошок сотру», — сказал он. Послал я человека, и тот аж из самого Термеза коня привел...

Ташпулат много раз слышал эту историю про Григурияна, но каждый раз, когда дело доходило до этого места, он удивлялся! Ведь отец действительно послал человека, и тот действительно из самого Термеза привел лошадь Григурияна. Что-то здесь все же не так. Может, Раим-аксакал сам спровоцировал Шукура-продавца. Об этом Раим-аксакал умалчивает. Только одно достоверно: коня Григурияна украли, а доверенное лицо Раима-аксакала нашло коня аж в Термезе.

Ташпулат эту историю знал наизусть. Когда лошадь нашлась, Шукур-торговец с плачем явился к Раиму-аксакалу. Ссылался на престарелую мать, на многочисленных детей — просил пощадить. Раим-аксакал отвел злого армянина в степь и стал угрожать ему: «Если не оставишь в покое Шукура и Карабая, то здесь, в этом густом бурьяне, найдут твой труп. Выбирай, Григуриян!»

Мулла Чары заскучал. И он уже в сотый раз слушал эту историю с армянином. Лицо его увяло и побледнело. Чтобы унять подступающую зевоту, он опорожнил оставшийся на дне пиалы горький чай. Наконец настал

момент, когда Григуриян в степи клялся красивой женой и двумя детьми.

— Да, вы тогда такую смелость проявили! — воскликнул мулла Чары. — Я бы не смог. Воистину положение делает человека львом!

— Положение Григурияна было повыше моего, — скромно сказал Раим-аксакал. — Очень интересное то было время. Сейчас, вспоминая, многому удивляешься. А раз ко мне Халбазаров-раис явился.

— Э, аксакал, оставьте вы этого Халбазара-раиса, вернемся лучше в сегодняшний день, дружище! — ловко увел разговор в сторону мулла Чары. — Вот сын ваш стал большим муллой, разбирается, что черное, а что белое, и другие дети ваши все при деле. Благодарите аллаха, аксакал!

— Благодарю, благодарю. Пусть теперь им в жизни выпадет счастье.

— Да будет им счастье!

Мулла Чары, воспользовавшись моментом, собрался уходить, заторопился:

— Подайте мне мою палку, мулла Ташпулат, я потихоньку пойду...

Ташпулат проводил муллу до калитки.

— Вы хоть изредка молитву читаете, мулла? — спросил он между прочим.

— Вот уже два года, как стал читать, а что?

— К нам бы пореже приходили.

— Мы теперь старые люди, Ташпулатбай, — сказал мулла Чары. — Не буду заходить, аксакал заскучает от одиночества.

— Отец знает, кто вы?

— Знает, — не моргнув ответил мулла Чары. — Еще как знает, были бы старые времена, сам бы лично и расстрелял. Теперь поздно, старость всех уравнила, кто лучше, попробуй отличи? Не сможете.

Ташпулату от этих слов стало не по себе.

— Хотя бы не приходите, когда я здесь.

— Хорошо-хорошо, сынок. А если вдруг зайду, что будет?

Ташпулат не выдержал:

— Собаку на вас спущу!..

Проводив муллу, он возвратился к отцу. Отец по виду сына догадался о том, что произошло, и забеспокоился. И даже попытался просить прощение:

— Сам понимаешь, сынок, годы мои на исходе, те-

перь и язык труднее стало держать за зубами, чувствую себя забытым, никому не нужным, как вещь, отложенная в сторону.

Сын уговаривал:

— Ну хотя бы с этим проклятым муллой не разговаривайте, отец.

Отец на миг склонил виновато голову, но злости все же не сдержал:

— С кем мне разговаривать, мое дело, ты знай свое место!

Сын ответил:

— Вы трус, отец, хотите себя оправдать, вам нужны уши, которые бы слушали.

Отец возмутился:

— Это я трус, я, который не испугался приставленного к груди ружья, а тут кого, чего бояться?

Он был в гневе и готов был разодрать рубаху и показать темно-красную метку, которую оставила пуля у него на теле.

Сын сказал:

— Это прошлое не дает вам покоя, и потому вам стыдно даже самому себе посмотреть в глаза.

Отец еще больше разозлился:

— Прокляну! Когда умру, успокоишься! Стесняешься моей болтливости?

Сын снова стал уговаривать:

— Нет, отец, просто не надо говорить лишнего, не то все вас поднимут на смех!

Отец ничего не хотел слушать, стоял на своем:

— Когда умру, отдохнете от меня!

И тогда сын сказал:

— И вправду, отец, вы здорово изменились! — и почувствовал, что он не в состоянии спорить с ним.

«Да, пусть все будет как есть, — подумал он. — В общем-то, отец не виноват, просто он стареет».

Потом, спустя месяцев пять, Раим-аксакал приехал в город. На нем был оставшийся с председательских времен синий китель, на ногах коричневые хромовые сапоги, на голове тюрбетейка. Заявился поздно вечером. Сапог не снял, протопал по ковру в комнату и сел на стул, предложенный сыном. Потом долго молчал, беспокойно ерзая, чувствовалось, что привычно ему сидеть на

стуле. Ташпулат расстелил на ковре одеяло. Раим-аксакал присел с краю, снял сапоги и, кинув у порога, уселся в привычной позе. Но разговор все равно не клеился.

— Как дома? Все живы-здоровы? — спросил Ташпулат.

— Все хорошо. Передавали тебе приветы.

— Пусть будут здоровы, и от меня передайте всем привет.

— Ну, что мы с тобой так разговариваем! Как поживаешь, сынок? — спросил Раим-аксакал и печально посмотрел в глаза сыну.

Ташпулату стало жаль отца, защемило сердце. Почему-то вспомнил двор в Галатепе; канат, натянутый между двумя шелковицами, свои детские годы — отец любил катать его на плечах. Постарел, исхудал. Только зубы здоровые, крепкие, любит шутить: зубы мои до гроба не выпадут, белые, как перламутр.

— Работаю, отец.

— Правду скажи, — сказал Раим-аксакал, — тебе твоя работа нравится?

— Теперь об этом поздно думать, отец. Вы сами виноваты, что я выбрал эту профессию. Хотели, чтоб сын ваш стал ученым, умел читать старые книги. До сих пор в ушах звучит, как вы читали: «Поистине, сказания о первых поколениях стали назиданием для последующих, чтобы видел человек».

Выражение лица Раима-аксакала смягчилось, словно он вспомнил былые годы, он с любовью посмотрел на сына: хорошо, что ты напомнил мне о тех днях. Но сказал совсем другое:

— Надо немного поднакопить, сынок. Я тоже по мере сил стараюсь. Мне ведь недолго осталось жить...

— Хорошо, — сказал Ташпулат. — Я уже давно подумываю вернуться в Галатепе.

Раим-аксакал покачал головой:

— Нет, Ташпулатбай, тебе лучше остаться здесь. Там тебе трудно будет жить, ты давно ушел из кишлака, примут ли тебя вновь, не знаю... Не хочу, чтоб ты стал помешанцем, сынок.

— Почему?

— Ты человек городской! Зачем тебе возвращаться? Занимайся своим делом. Мне завтра рано утром обратно. Дорога утомляет. Раньше я этого не замечал... За

день соскучился по кишлаку. Тебе нужно немного подкопить деньжат, а потом ладно, приезжай...

— Жалете, что денег не накопили?

— Тебе жениться надо, сынок. Люди думают, что сын Раима не женится, потому что у него есть какой-нибудь изъян. Женись. Чтоб я мог уйти в мир иной спокойно. Налей мне пиалу чаю, сынок. Расскажи о себе, все ли у тебя в порядке, как твои друзья?

— Все хорошо, отец. Только много говорим. Порой становится так скучно.

— Я тоже стал много говорить. Раньше из меня слова, бывало, не вытянешь. Чем меньше говорил, тем больше боялись. А теперь не могу остановиться...

— Постарели, значит, отец...

— Раньше не замечал, хоть и признавал годы, но силы были... Часто родители мои сняты. Будто силю я на супе возле мельницы, подходит мать, голову мне гладит, в испуге просыпаюсь...

— Мавлян-то чем занимается? — Ташпулат решил переменить тему разговора.

— Тем же, чем и раньше. Людей на стройку возит. Иногда удается подработать. Оставь эту работу, говорю. Не слушается. Теперь у него свое хозяйство, жена, дети, пусть добывает деньги, а не то жена перестанет уважать, ценить... Вообще, жениться надо не по любви. Жена, как говорится, сначала присматривается, если слабинку дашь, будешь ее поглаживать, сделает тебя своим рабом. Женишься, никаких тайн жене не раскрывай, держи ее в руках. Есть одна легенда...

— Слышал, помню, — сказал Ташпулат. — Муж зарезал овцу, засунул в мешок и шепчет жене: «Никому ни слова, я убил человека, надо закопать...»

— Молодец! А жена его продаст! — Раим-аксакал, довольный, закивал. — В мире много продажных, сынок. Помнишь Камбар, на груди взлелеял, хлеб мой больше меня ел. Но подошло время, и он меня продал. В прошлую пятницу в Самарканд ездили, были на пятничной молитве в мечети. Не смог дочитать молитву до конца, гляжу, рядом подлый Камбар бьет земные поклоны. Не выдержал — он молит бога, и я молю бога — выходит, бог и мои и его молитвы принимает?! Вышел и уехал в Галатепе, всю дорогу злился. Этот подлый Камбар нарочно себя к хвосту лошади привязывал, чтобы лицо в кровь ободрать, одежду всю в клочья изорвать, верблюжьих колючки на волосы нацепил, потом его Карабай

на лошади через седло привез и заявил: «Вот, Раим-аксакал над ним измывался, изувечил, с трудом удалось его спасти». Я ничего об этом не знал, сидел спокойно дома с Ачилом-мудрецом и его друзьями, сидим-пируем, в их честь я устроил угощение, а тут такой разговор... Все тогда на меня свалили и десять лет дали, Ачил-мудрец ни слова не сказал, сынок. А ему тогда верили. То, что я Камбара не трогал, он знал. Но так и не заступился... И теперь я с подлым Камбаром бок о бок буду молиться?! Все шиворот-навыворот в этом мире — принесший воду погран, а разбивший кувшин в чести!

— Может, у него какая-нибудь цель была? — спросил Ташпулат. — Ведь лошадь его и убить могла.

Раим-аксакал замолчал. Задумался: что же плохого он Камбару сделал?

— Не пожалел он себя, отец, значит, что-то такое было. Может, ненавидел вас?..

— Ненавидел, говоришь? Из-за чего бы ему так меня ненавидеть? Просто купили его, сынок, за двадцать тысяч. Даже знаю того, кто отсчитал эти деньги. Они тогда меня упрятали, но на мое место сесть не смогли. Камбар был игрушкой в их руках. Лишь от Халбазарова не знал я жульничества, обмана. Мы с ним, поссорившись, стали друзьями. Стени у нас широкие, всем места хватит, но когда наш Галатепе вышел распахивать степь, Халбазаров пожалел земли. Он прискакал ко мне на лошади, угрожал. Хорошая у него была лошадь по кличке Акбоз. Стоило только сесть и ноги в стремя — летела как стрела! Тогда мы с председателем не очень были знакомы, и он ко мне сразу с угрозами. Я тоже разгорячился, а потом вдвоем подумали, посмотрели — земли-то полно, ему три аршина, мне три аршина, остальным по три аршина, и сколько еще останется! Мы, галатепинские, вспахали ту землю, которая нам досталась — сотнями лет нетронутая целина, — такие дыни созрели, от спелости и сахаристости прямо на грядках лопались с треском. Э, где теперь энтузиазм тех лет!

Раим-аксакал замолчал, горящие огнем глаза потухли, мотнул он головой и вспомнил, что сидит в городе у сына, в четырех стенах, оклеенных бумажными обоями. И вдруг смутился, что ударился в воспоминания, почувствовал себя как-то неуютно и громко бросил сыну:

— Посмотри, что там с чайником, Ташпулат, а потом мне бы немного вздремнуть, а то утром снова в путь.

— Устали, отец. Зачем надо было приезжать, дорога

неблизкая, если деньги нужны были, сообщили бы как-нибудь.

Раим-аксакал посмотрел с укором:

— Не в деньгах дело, сынок. Главное — свиделся с тобой.

11. ВОСПОМИНАНИЯ

Лучше всего Ташпулату помнился двор: глиняная супа, два дерева шелковицы, когда глядишь на них снизу вверх, то кажется, упираются они макушками в голубое небо; с одной стороны супы дом — окна, труба, торчащая из одного окна (к сожалению, в воспоминаниях не осталось, дымила она или нет, воспоминания больше были связаны с летом, а в летние дни дым больше валил из очага в углу двора); проволока, натянутая между двумя шелковицами, белье, висящее на ней, от некоторых вещей, например от чекменя, исходил запах шерсти; вечер, чистый, политый двор, вечернее время узнается и по запаху шерсти, по теплomu чуть влажному воздуху, из сада доносится аромат райхана; плечи отца, на плечах четырехлетний мальш, руки его тянутся к проволоке, с плеча отца он может достать ее, качаются и проволока и висящее на ней белье, отец тоже протягивает руку; деревья еще молоды, им лет по семь-восемь, стволы тоненькие, пока петля из проволоки не стянула их крепко, это позже проволока вопьется в них, и петля станет незаметной, но до этого еще далеко, а пока двадцать восемь лет тому назад отец прогуливает сына по двору.

Чувства, что испытывал он тогда: высота, и вера.

Сидевший на плечах отца четырехлетний мальчик был очень доверчивым. Потом его в первый раз обманут: куда делось твое ухо, пойдн поищи. И мальчик ходит по двору, ищет свое ухо. Даже выглядывает за ворота, но уха не находит. Плачет. Его успокаивают и, подергав сначала за правое, потом за левое ухо, говорят: «Вот уши твои, на месте, не потерял ты их». Мальчик не верит, плачет пуще прежнего. Тогда ему подносят зеркало, и он, увидев в нем свои уши, успокаивается.

Но это воспоминание приходит потом. Мальчик всегда вспоминает об этом после своих прогулок к шелковицам и натянутой проволоке с висящим на ней бельем. А однажды он останется без отца: его посадят в тюрьму.

Позже он услышит от матери: «Все плакали, сынок, когда его забирали; а ты так горько рыдал, что не на-

шло человека, кто б не пожалел тебя; два милиционера пришли за ним, отец поднял тебя на руки и сказал мне: «Послушай, жена, все более или менее стоящее отнеси к родственникам. Они не останутся на этом и еще не раз могут прийти с обыском, хватит им того, что уже взяли. Все что осталось — чекмень да штаны, что на мне». В тот же вечер мы отнесли к твоей тете две кошмы, да так они у нее и остались; отец потом не спросил, а тетя и не вспомнила ни разу, что это наши вещи.

Мать рассказывала многое, но все это уже выветрилось из памяти. И все же хорошо запомнилась одна история. Однажды он и мать с грудным младенцем на руках поехали навестить отца. Остановились в гостинице, и маленький братик испачкал дорогостоящий, обитый бархатом, стул. Мать впоследствии постоянно твердила, что дорогостоящий, но откуда ей, кишлачной женщине, ни разу в жизни не выдавшей приличной мебели, знать, дорогой этот стул или нет. На нее кричали, ругались. «Как я плакала, сынок, — вспоминала она потом. — Пусть и ваших мужей посадят, чтоб вы тоже испытали то, что выпало на мою голову! Зачем мне, если бы не черные мои дни, ваш проклятый город? Пришла бы я сюда? Я не сама сюда явилась, а судьба привела! Да чтоб отсох язык, которым вы так меня ругали!..»

Продолжая причитать, мать сняла с головы шерстяной платок и стала вытирать испачканный мальшом стул.

Мать часто вспоминала добрыми словами парикмахера-еврея, который постриг меня и не взял денег: то ли понял, что отец мой сидит в тюрьме, то ли вид наш просто вызывал жалость.

Мать до последних своих дней вспоминала этого парикмахера: «Другой веры человек, но лучше наших людей оказался, постриг тебя, а денег с нас не взял. Протянула ему деньги, а он головой покачал и говорит: «Оставьте, апа, пусть это зачтется мне как доброе дело».

Когда же мама вспоминала гостиницу, лицо ее всегда омрачалось. Она, гостиница та, стоит до сих пор. Спустя годы Ташпулат ездил в тот город, почти час простоял у входа в эту гостиницу. Ему казалось, что полная женщина-ногайка, сидящая за столом администратора, похожа на ту, что тогда обидела его мать.

Однако ни парикмахер-еврей, ни администраторша гостиницы ему не запомнились.

Мать удивлялась: «Как же ты не помнишь, сынок?»

Парикмахерская была прямо напротив тюрьмы... А когда администраторша закричала, ты, бедняга, от испуга ухватился за мой подол и заревел. И я вместе с тобой заплакала... Эх, что хорошего в безотцовщине, сынок... Слава богу, твой отец скоро вернулся. А если бы он отсидел положенные ему десять лет, что бы мы тогда делали, и представить себе не могу...» Она вспоминала об этом, и из глаз ее тихо текли слезы.

Однажды в воскресенье (это и Ташпулат хорошо помнит, поскольку все попрошайки обычно появлялись в Галатепе по выходным дням) блаженный Нарбай с пучком увядшего ревеня, бросив свою клюку за калитку, с сумой для подаяния через плечо вошел во двор, сел на траву в тени шелковицы, скрестив и поджав под себя ноги, подогнув полы потрепанного чапана, и произнес: «Можешь готовиться к встрече, вчера вышел в дорогу».

Мать оторопела. Без конца гадая у ворожей, которые все как одна предсказывали скорую встречу, бедняга уже потеряла последнюю надежду, и сил у нее не осталось, чтобы сейчас поверить. Она уж было вознамерилась прогнать старика попрошайку, но почему-то передумала; держа на руках младшего и подталкивая в спину Ташпулата, приблизилась к старику и сказала: «Плюньте, дедушка, на них, пусть, когда вырастут, станут святыми, как вы».

Блаженный Нарбай выполнил просьбу, поплевал и пообещал: «В двадцать лет вы увидите Хызра, детки».

И он оказался прав: отца выпустили.

Что же запомнилось из тех дней? Желтые башмачки, новые, с тонкой кожаной подошвой и, главное, скрипучие; два куска туалетного мыла с резким, но приятным ароматом, таинственным, как далекие страны; на обертке была изображена красная гвоздика; книга с твердым переплетом, со множеством картинок, изображающих высокие многоэтажные дома с остроконечными крышами, озеро и лодки, привязанные к кольям, и склонившиеся над ними ветви деревьев; Ташпулат еще не умел читать, они вдвоем с братом разглядывали картинки и через два дня изорвали книгу в клочья; в памяти осталось только странное название книги — «Овод». Мальчику название казалось смешным — каждый день перед полуднем он слышит, как пастух, прогоняя мимо стадо, ругается на отставших коров: «Мать вашу растуды, оводы!»

Прочтет он эту книгу позже, когда подрастет, а про-

читав, будет плакать в уединении; он поверит всему, что там написано, и полюбит Овода на всю жизнь; но ту книгу, что привез отец и которую они вдвоем с братом изорвали, будет вспоминать и жалеть, словно та была еще лучше.

Но это будет позже...

А пока мальчик наденет желтые башмачки и побежит по тропинкам окрестных полей. Только недавно прошел дождь... Весна... Густая трава по колено. Стали мокрыми и башмаки, и штанины. Вдобавок, поскользнувшись, он упал, весь вымазался в глине и чуть не плакал от обиды... Во дворе в двух больших чугунных котлах варились туши двух баранов. Сегодня праздник! По случаю того, что сам Хайбаров-раис вернулся. Вот и собрались по этому поводу, все радостны. А шестилетний сынок его радуется больше всех — на ногах у него новые скрипучие желтые башмачки, все дети сегодня смотрят на него с завистью, с такой завистью, что им тоже, наверное, хочется, чтобы их отцы, как Раим-аксакал, отсидели в тюрьме и вернулись и по такому поводу так же был устроен праздник: вот один из них, сын счетовода, предлагает мальчику свой трехколесный велосипед: «На, покатайся, не бойся, мой отец не будет ругаться, вон и сам он смотрит». Счетовод улыбается. Мальчик в желтых башмачках садится на велосипед. Счетовод подзадоривающе подмигивает ему... Этот малыш с желтыми башмачками, впоследствии исламовед Ташпулат Хайбаров, на всю жизнь запомнит мальчика, давшего прокатиться ему на велосипеде, и его доброго отца запомнит. А пока он всего лишь рад, что возвратился отец, и мир для него стал широк и светел; вот желтые башмачки нажимают на педали, и колеса сначала тихо, а потом все быстрее крутятся, и он выезжает на широкую поляну...

Вечером, когда гости разошлись и они остались одни, отец вновь, как и прежде, посадил шестилетнего сына на плечи, и они обошли двор. Моросил дождь. Желтые башмачки пачкали отцу чапан, мальчик старался выше приподнять ноги, чтобы не задевать отца, но отец крепко прижимал к груди вымазанные в глине башмачки, терся о его ноги лицом: «Ничего, сынок, я ведь тоже из глины. Правда, из другой, но из глины...»

Так отец говорит о себе. В тот вечер мальчик с желтыми башмачками еще больше любил отца. В тот вечер он был счастлив.

Раим-аксакал, уже постарев, не мог хорошенько вспомнить, как он, посадив на плечи сына, обходил с ним двор. «Ну-ка, сынок, напомни, может, кое-что и вспомню».

Заметив, что взрослому сыну это не по душе, отец, стараясь успокоить его, говорит: «Как такое можно забыть, сынок! Конечно же помню, ты тогда был маленьким, таким маленьким, что я сажал тебя к себе на плечи... Теперь я мечтаю так носить твоего сына...»

А на самом деле отец ничего не помнит. И Ташпулату немного обидно. Но зато отец доволен вниманием сына, промокая краем поясного платка слезящиеся глаза, взволнованно говорит: «Спасибо, что вы, дети, есть на свете, сынок. Хоть ты уже давно оторвался от родительского дома, но все равно ты у меня в сердце и братья твои, все четверо — как один... Давно, когда двое сыновей у меня умерло, а остались одни дочки, Салим-разбойник — у чертяки, что ни год, сын рождался, не сосчитаешь, сколько их у него, — так этот Салим-разбойник смеялся:

«Я умру, но сколько же после меня Салимов останется! А Раим умрет — пустой дом да дворняга его останутся». Была у меня тогда белая собака, сынок; когда Пиримкул-Малия однажды позволил себе повисить на меня голос, эта собака вцепилась ему в плечо; если бы я не прикрикнул на нее, загрызла бы. Еле ее оттащил. Эх, сынок, очень умная была собака: посмотрит мне в лицо и, если видит, что я чем-то расстроен, целый день ничего не ест. Тогда вас, сыновей моих, не было на свете, а всего-то две девочки — чужое счастье, наступит день, и вылетят из гнезда. Вот люди и называли эту белую собаку моим сыном... Потом, когда вы появились, я все равно к этой собаке относился как к родному существу. От людей я не раз страдал, терпел унижения, а от нее ничего плохого не видел...»

Раим-аксакал двумя ногами все еще стоит в прошлом, не желает перешагивать в день сегодняшний. Сегодня имеется только отложенная на последний час какая-то сумма да ткань для савана: Сегодня, считай, ничего не осталось ему, кроме как лечь и помереть... Но Раим-аксакал о смерти речь не заводит, ждет ее молча, тихо. Возможно, если повезет, проживет на день или два больше, а нет...

Говоря о сегодняшнем дне, он волей-неволей вспоминает прошлое. Скажем, он говорит так: «Сынок, Таш-

пулатбай, как ты думаешь, что было бы, если бы Ачил-мудрец женился на Айпарче, а? У этой треклятой золото было, это и не давало покоя Ачилу-мудрецу. Золото лишает человека сна и покоя... А все богатство Панджи-вора осталось ведь у этой женщины. Единственное, что я делал, — науськивал Ачила-мудреца на Панджи, тот взял и застрелил сына Панджи, и все состояние его осталось Айпарче. Теперь весь род Панджи-вора меня проклинает. А что мне было делать? Если бы он вернулся — нож мне в спину.

И получается словно заколдованный круг: Ачил-мудрец, застрелив Панджи-вора, обогатил Айпарчу, спас Раима-аксакала от гибели, благодаря чему потом родился Ташпулат Хайбаров. Если бы Айпарча не любила так деньги и не продала своего родственника Панджи-вора, а Раим-аксакал, предчувствуя неизбежность гибели, не натравил на своего врага Ачила-мудреца, а Ачил-мудрец не был столь безрассуден и решителен и не застрелил в упор Панджи-вора, то, кто знает, может, и не появился бы на свет Ташпулат Хайбаров. Тут есть какая-то закономерность. Но эта закономерность столь проста, что тебя пронизывает дрожь — до чего мы все находимся у случайности в плену».

Если же говорить честно, то причина того — Раим-аксакал заговорил об этом — проста. Ему кажется, что те несколько сотен рублей, что он скопил для собственных похорон, по сравнению с богатством Айпарчи — жалкая мелочь. Вот и сожалеет: «Почему я в свое время не сколотил состояния? А ведь сколько товару, сколько денег через руки прошло, сколько людей я прокормил, облагодетельствовал, а сам на старости лет... — И старается успокоить себя: — Выходит, я не был жадным, не смотрел на мир алчными глазами. Если есть бог, — в такие мгновения Раиму-аксакалу очень хочется верить, что бог есть, — если бог есть, то он учтет это... — И душа его наполняется гордостью: — Я жил честно, не зарясь ни на чье богатство; то, что отведено мне было судьбой, пережил, а что еще предстоит, увидим, все, что надо, увидим...» В такие минуты Раим-аксакал становился красивым. Словно окунался в те далекие дни, когда варился в котле страстей тех времен, и лицо его сияло от радости.

И все же нет-нет, а ему почему-то казалось, что Айпарча счастливее его. Он представлял ее такой, какой она запомнилась ему в те годы; для него и Ачил-мудрец не

постарел, и Панджи-вор только вчера убит. Плохо все это, плохо, что ни один из них не постарел, а сам он уже чувствует себя старым, мышцы ослабевшими, кожу дряблой, но мысли, мысли есть мысли, они не старятся... Эх-хе! Лучше быть их пленником! В мыслях ты можешь быть даже птицей, и не просто птицей, а настоящим соколом! Летишь, летишь высоко в небе и облетаешь этот мир из конца в конец!..

Теперь к нему люди редко заходят. Чаще всех заглядывает мулла Чары. Ну, может, еще двое-трое. Раим-аксакал с ними спокоен, разговаривает с достоинством, провожать их не выходит, попрашивается, сидя на своем месте, учтиво замечает: «Посидели бы, поговорили немножко по душам, каждый день дорог, осталось-то жить всего ничего...»

Мулла Чары не гость — он слушатель, постоянный слушатель. Он, не ленись, слушает все рассказы Раима-аксакала. Эти рассказы длинные, конца им не видно, чем больше рассказываешь, тем больше чувствуешь себя виноватым; многое, что для своего времени казалось правильным, сейчас выглядит смешным... Скажем, приехал проверять его начальник (это позже он стал Большим Начальником, но тогда он был маленьким), сам приехал проверять жалобу, написанную на Раима-аксакала; вначале был суров, мрачен. Вот Раим-аксакал в кузове, начальник в кабине грузовика, отправились из одного в другой конец Галатепе; проехав полпути, увидев новые кишлачные постройки, дома колхозников, сады, начальник перебрался из кабины в кузов к Раиму-аксакалу и сказал: «Извините, товарищ Хайбаров, я раньше не верил, когда говорили, что вы истинный хозяин, теперь понял — вы действительно хозяин, болеющий душой за Галатепе, спасибо вам, такой благоустроенный кишлак показали!»

А Раим-аксакал скромно ответил: «Нет, товарищ Такойтов, вы сперва с людьми поговорите, тогда и рассудите, может, кто и недоволен мной».

Начальник и говорит: «Я уже порасспрашивал, о том о сем поговорил с людьми, уж не взыщите, но правду узнал — много хорошего вы сделали людям Галатепе!»

Раим-аксакал снова замечает скромно: «Наш Галатепе не на краю света, здесь не один я хозяин, существуют Советы и партийная организация, у нас одна дорога, все мы желаем благополучия и благосостояния народу».

Раим-аксакал всегда говорит, будто бы отдаляя себя

немного от главных дел, как посторонний наблюдатель, а не главный вершитель. А коммунистом он не стал потому, что был человеком неграмотным и заявления в свое время не писал — считал недостойным такого звания, боялся, что засмеют. Но никто почему-то не верит в его простоту, свойственную кишлячным людям. Может, кто-то даже над ним смеется: не знаете, мол, своей выгоды, аксакал! Раим-аксакал не понимает таких людей. Единственное, чему он верит, — он председатель в Галатепе, никто, кроме него, не сможет здесь руководить, без него Галатепе зачахнет; он строит школу, больницу, мост через реку, строят сообща, всем миром, а порой перехватывая деньги других колхозов, которыми руководят такие, как Халбазаров, его закадычные приятели, спешит, как человек, который не сегодня завтра помрет, только бы успеть все это сделать; весь погруженный в заботы, не зная устали и покоя, летит, мчится туда-сюда, кричит, вызывает, ругается, упрасивает, а порой и обманывает, — пока своего не добьется, не успокоится. Галатепе для Раима-аксакала — центр земли. Он морщится, когда видит кичливую гордость городов, знает, что Галатепе скромней, темней, но тут же представит себе цветущие сады Галатепе и дворы, полные скотины, и сердце его наполняется гордостью: все это мое, мой Галатепе, мои люди! И при всем этом он не ценит своего положения. Положение — это такая вещь, что как оно к тебе пришло, так и уйдет. Что такое положение, должность и как они ему необходимы, он поймет позже, когда, выбитый из седла, окажется никому не нужным.

А ведь было все не так просто! И люди к нему не сразу привыкали. Долгое время на него, сына забитого батрака, Хайбара-немого, смотрели, как на шестой палец руки. Потом, поняв, что Раим-аксакал действительно правит, признали в нем рачительного хозяина и о Хайбаре-немом вспоминали не иначе как об отце Раима-аксакала. Раим-аксакал на отца не похож — понятливый, умный, можно сказать — в какой-то мере смелый. Но все же осталась у него от отца в наследство какая-то простота. Раим-аксакал, как плешивый, взошедший на царский трон, пытается быть справедливым и мудрым, а при его простоте не очень-то это и получается. А потом на суде, когда на него наговорили, он, не понимая своей вины, потеряв всякую солидность, словно его ткнули дубинкой, тараща в разные стороны удивленные глаза, ожидал от всех милости, как нищий подаяния.

И спросят его строго:

«Почему вы не член партии?»

Раим-аксакал говорит правду:

«Считал себя недостойным».

«Почему же так?!»

Раим-аксакал понимает, чего от него хотят, и с упрямством (умирающий бык не боится топора) твердит:

«Был неграмотным, вот и считал себя недостойным».

Затем зачитывается официальный приговор.

Звучат слова: лишение свободы, конфискация, привлечь внимание...

О тюрьме Раим-аксакал не любил рассказывать. Но о том, как он образовывался в тюрьме, кое-что поведал детям и близким знакомым. Там судьба его свела с одним бывшим ишаном, который то ли прикоснулся к женщине, когда заговаривал ее от сглаза, то ли излишне требовал от верующих приношений, словом, обвинив его в чем-то, осудили. Ишан и бывший председатель попадают в одну камеру. Раим-аксакал рассказывал ему, как воевал с басмачами, раскулачивал баев, а ишан же обучал его грамоте. Ишан, как и многие учителя, жаловался: «Книг не достанешь, Раим-эфенди, многие книги, написанные арабским алфавитом, сожжены, я своими глазами видел. И Аристотеля, и Навои сожгли, не ведая, что делают, не разбирая, что за книги бросают в костер. Вы выучите эту азбуку, обучите этому своего сына и тогда можете плюнуть в лицо человеку, который назовет вас безграмотным. Не умирать же нам, как новорожденным щенкам с нераскрытыми глазами, Раим-эфенди. Теперь наступило время равенства, нет бедных и богатых, да и такие элементы, как я, не сегодня завтра освободят вам этот мир, теперь мы вам все это передоверили, вам и богу».

Ишан говорил много, в его наставлениях было много путаных мыслей, порой он сам себе противоречил. Раим-аксакал не перебивал, а лишь улыбался. Ему казалось странным, что такие слова исходят из уст заключенного, который находится с ним в одной камере, с которым он делит похлебку и воду. Человек он начитанный, многое знает, но руки у него нежные, пальцы тонкие, в жизни не державшие лопаты; ему не приходилось ни снег чистить, ни навоз сгребать, ни нажимать курка винтовки, как Раим-

му-аксакалу; ишан человек слабый, не натирал он седлом себе ягодиц до мозолей, не знает он, когда сеют пшеницу и когда она заколосится, он только ел да пил, читал молитвы. Но как непостижима судьба, свела его и Раима-аксакала в одной камере. Какая несправедливость!

Но иногда речи его кажутся не лишёнными смысла. Раим-аксакал задумался, скажем, после его долгих речей о тех книгах. Ходивший всегда с гордо поднятой головой, теперь виновато опустил глаза и тихо проговорил: «Вы правы, ишан, я тоже целый мешок книг, завернув в кошму, зарыл в землю». Ишан понимающе кивнул: «Боялись, что раскулачат?» Раим-аксакал усмехнулся: «Я сам раскулачивал, ишан!»

В тюрьме, неподалеку от Ташкента, в небольшом городке, над которым всегда висел густой дым, Раим-аксакал пробыл два года и один месяц. Старался взбадривать себя, чтобы совсем не пасть духом. «Надо рассчитывать силы», — думал он. И понапрасну сил не растрчивал, хотя порой до того было жаль себя, что слезы наворачивались на глаза. Но, как другие, не писал заявлений и жалоб, считал это для себя унижительным. Дни проходили медленно, тянулись, как рассказы ишана. Возможно, так, только сам веря в свою невиновность, он бы досидел и оставшиеся восемь лет, но по воле случая тот самый начальник, что приехал с проверкой жалобы в Галатепе, став теперь уже Большим Начальником, вспомнил почему-то Галатепе и, видимо, чтобы еще раз для себя проверить, сделать выводы и по-иному начать свою новую деятельность, соответствующую положению Большого Начальника, вновь задумался о судьбе пострадавшего председателя; узнав, что Раим-аксакал все еще в тюрьме, Большой Начальник удивился: «Он был энергичным, прямым и справедливым человеком, плохо, что так получилось». По его просьбе вновь началось расследование. И в один из серых будничных дней, к которым уже привык Раим-аксакал, поступают бумаги о его досрочном освобождении.

Раима-аксакала без излишних хлопот выпускают из тюрьмы. Его приглашает к себе Большой Начальник и просит у него прощения за происшедшее недоразумение.

Раим-аксакал возвратился в Галатепе в приподнятом настроении. Недельки через две приехал представитель райкома и попросил его быть заместителем председателя

колхоза: «Поработайте на этой должности, товарищ Хайбаров, а там подумаем». И председатель колхоза, смущенно улыбаясь, скажет: «До выборов подождите, аксакал, что-нибудь себе подыщу, все равно люди в вас видят руководителя». Раим-аксакал, не ожидавший такой чести, растроганно ответит: «Оставь, брат, я свое отруководил, дай мне любое хозяйство или какую-нибудь должность поменьше, лишь бы подо мной была кобылка, чтоб разъезжать, а тут и дети уже людьми стали...»

Потом Раиму-аксакалу еще не раз будут предлагать высокую должность, но тот будет стоять на своем: «Нет, с меня хватит, теперь молодым дорога!»

Он не польстился на высокую должность. Жил со своими детьми, помогал им. Читал старинные книги. И тогда мулла Чары подмазался к нему: «С таким образованием не грех и муллой быть, аксакал». Раим-аксакал рассердился: «У меня других дел хватает, чем проповедовать, уж лучше серому ишаку бок чесать, мир этот бог создал, но потом пришли муллы и ишаны и все перепутали».

Он прогонит муллу как собаку, но тот все равно будет приходить. Раим-аксакал снова прогонит, мулла снова явится. Потом, когда Раим-аксакалу все это надоест, мулла Чары опять примется за свое: «Не сидите сложа руки, аксакал, пойдемте лучше с нами на свадьбы, на поминки, примем вас в наши ряды, знания ваши пропадают зря, вот Соат-конюх с каждого обряда бракосочетания по двадцать пять рублей и по барану получает».

Но Раим-аксакал все равно не соглашается: «Ничего, бог мне подаст!»

Мулла Чары обижается: «Мы не просим подаяния, аксакал. У народа много разных обрядов».

Раим-аксакал смеется: «Скорее умру, может, и без савана останусь, но в ваши дела не стану вязаться».

Пройдет какое-то время, и Раим-аксакал почувствует себя одиноким, начальство ездить к нему перестанет, и желающих посоветоваться с ним поубавится. Останется он наедине со своим прошлым, разве только заглянут к нему два-три старика, любители поговорить...

И однажды, прислонившись к мягкой подушке, он отметит про себя, что остался лишь с преданиями вчерашнего дня: Панджи-вор был глупец, Ачил-мудрец — великий суматошник, Айпарча — отъявленная хитрюга...

Раим-аксакал говорит без передыху. И сам чувствует,

что стал болтлив, но замолчать боится, ему кажется, если он замолчит, все сразу забудет. А он не хочет этого, потому и говорит...

12. ДНЕМ РАНЬШЕ

Наконец Хайбаров нашел то, что искал. Он и не думал, что найдет именно в этом месте, так, на всякий случай попробовал ударить киркой. И вдруг земля провалилась и в образовавшемся проеме он увидел, как что-то блеснуло. Сердце от неожиданности заколотилось, закрыв глаза, он сунул руку в проем; рука его нащупала холодный металл, он осторожно вытащил находку и обомлел: статуэтка женщины с крыльями за спиной, настоящая богиня! Туника и нимб вокруг головы напоминают греческую богиню, лицо глубоко задумчиво, как у индийских богинь. Искусство древней Бактрии. В Бактрии было очень сильно влияние Эллады и Гандхары. В форме, очертаниях богини Хайбаров не нашел примет кушанского периода. Значит, статуэтка очень древняя. Если Ташкент считать северной границей Кушанской империи, статуэтка эта создана не ранее третьего века до нашей эры, потому что кушаны переселились сюда за два-три века до рождества Христова.

Высочив из ямы, он побежал к палатке. Замира дремала на складном стульчике под тентом, Хайбаров закричал что есть мочи:

— Да здравствует Хайбаров! Пусть живет во веки веков!

Замира вздрогнула и вытаращила на него глаза. Хайбаров с богиней в руке подскочил к девушке, легко поднял ее и, крепко прижав к груди, расцеловал.

— Нашел! — кричал он от восторга. — Нашел, наконец нашел!

Девушка сморщилась от боли — как это Хайбаров не почувствовал, что крылья статуэтки впились Замире в спину. Но Хайбаров все равно не выпустил ее из объятий.

— Соперничество — вещь нелегкая, Замира, — сказал он, и счастливая улыбка озарила лицо. — Попробуй обнять сразу двух женщин, а мне по силам!..

— Вы с ума сошли, Ташпулат-ака!

Девушка, высвободив руки, оттолкнула Хайбарова, но, увидев в его руке золотую богиню, обняла и расцело-

вала. Минутой раньше решительно обнимавший девушку, Хайбаров опешил от ее поцелуя.

— Э-э, Замира... — сказал он, показывая ей золотую богиню. — Смотрите, что я нашел! Вы только взгляните!

Замира, словно боясь, что она рассыплется, осторожно взяла в руки статуэтку.

— Диана, богиня охоты! — тихо прошептала она. — Надо сказать, охота ваша оказалась удачной!

— Завидуете? — в шутку спросил Хайбаров.

— Нет, что вы, — смутилась девушка. — Вы счастливый человек, Ташпулат-ака. Такое даже не каждому археологу в жизни выпадает.

— Так это же богиня, — улыбнулся Хайбаров. — А значит, именно тому, кто исследует религию, и должно было повезти.

— Где вы ее нашли?

— Вон в той заброшенной яме. Так, на авось ткнул киркой, даже и не думал о находке! Поехали, Замира, отметим это событие!

Хайбаров, войдя в палатку, начал собирать вещи. Когда он вышел, Замира уже держала в руках целую пригоршню золотых украшений.

— Что же вы этого не заметили? — упрекнула она его. — Смотрите сколько! Не вызвать ли нам милицию?

— Не стоит. Мне кажется, надо ехать!

— А может, нам остаться, Ташпулат-ака!

— Лучше поедем. — Хайбаров смотрел на нее умоляюще. — Без вас и радость не в радость, Замира. Честно скажу вам, сердце готово выпрыгнуть от счастья. С кем-то я должен поделиться им. Как назло, смотрите, нет Кабула. Я умру от избытка чувств, если не похвастаюсь, Замира.

— Поехали, — согласилась девушка после недолгого раздумья. — Нет, вы даже не представляете, как будут завидовать и злиться наши сотрудники. Какой-то Хайбаров находит золотую богиню в яме, которую они забросили.

— Мы вдвоем нашли, Замира, — сказал Хайбаров. Он на минуту задумался, а потом все же сказал: — Без вас я б давно исчез отсюда.

— Богиню нашли вы, Ташпулат-ака, — твердо сказала девушка.

Хайбарову снова захотелось поцеловать девушку, но момент был упущен — Замира словно сразу стала чужой.

...В город они возвращались на трамвас. Чем ближе

подъезжали к городу, тем становилось оживленнее. Хайбаров ухватился руками за верхний поручень, Замира крепко держалась за его плечо. Хайбарову казалось, что он видит сон. «И этот трамвай мне снится, — думал он. — И Замиру я люблю во сне, подобно дервишу, любящему свою бедность с радостью и болью. Если даже она отвергнет меня, я сберегу свою любовь к ней в сердце и бережно повезу на этом громыхающем трамвае. А трамвайным рельсам нет конца: вот они пересекают границы Ташкента, тянутся вдоль солончаковых степей, в Джизак, Самарканд, до самого Галатепе в окружении безымянных гор. В дороге лето сменится осенью, и я, Ташпулат, сын Раима Хайбарова, душа которого возвышена любовью и верой, спрыгну на окраине Галатепе на вершине горы, где садится солнце, и тогда начнется моя новая жизнь».

Хайбаров легко спрыгнул с трамвая, протянул руку Замире, помог сойти со ступенек и пригласил ее в летнее кафе. Мороженщица, старая его знакомая, завидев их, обрадовалась:

— Где вы пропадаете, Хайбаров-джан?

— Служба, работа, Адолат-апа, — улыбнулся Хайбаров. — Знание — колодец, что копают иглой, вот мы потихоньку и копаемся.

— Копайте, Хайбаров-джан, не уставать вам!

— Спасибо, апа. Принесите-ка нам мороженого, да похолоднее.

— С удовольствием, Хайбаров-джан, такому парню, как вы, самое сливочное подам. Если не угождать клиентам, все они в ларек к Хадиче сбегут...

— Да ведь прохладно еще, апа...

— Дай бог, чтоб скорее потеплело!

Посмеявшись, Хайбаров и Замира прошли и сели за крайний столик.

— Вы посидите, я схожу возьму бутылку шампанского, — сказал Хайбаров.

— Может, не будем пить, Ташпулат-ака, — взмолилась Замира. — Я ведь не пью.

— Сегодня мы можем себе позволить.

Хайбаров ходил в буфет и принес бутылку сухого вина.

— Странная она женщина, эта Адолат-апа, — сказала Замира. — Зашла я как-то сюда с Поэтом, а она надулась и не разговаривает со мной.

— Зря она, конечно, так. Ведь прекрасно знает, что

мы с вами не муж и жена. — Открыв бутылку, Хайбаров разлил вино по бокалам: — За богиню!..

— За богиню! — повторила Замира и, зажмурив глаза, попыталась залпом осушить бокал, но поперхнулась, закашлялась, с запястья соскочил браслет.

Хайбаров поднял с земли браслет и положил на стол.

— Вот видите, — сказала Замира, продолжая кашлять. — Богиня не пожелала, чтоб мы выпили за нее.

Хайбаров не спеша, с удовольствием испил бокал и наполнил его снова. Убиравшая со столов пустую посуду Адолат-апа подошла к ним. Заметив на столе браслет, оживилась:

— Золотой, Хайбаров-джан?

— Разве не видно? — ответил Хайбаров.

Адолат-апа примерила браслет.

— Кажется, оловянный, — сказала она огорченно. — Но красивый. Такие браслеты раньше в Бухаре делали, в моем родном городе. Что, невеста из Бухары, да?

— Нет, она тоже из Галатепе, — сказал Хайбаров. — А браслет не оловянный, а из чистого серебра.

— Я ташкентская, — сказала Замира, как бы извиняясь.

— Она из Ташкента, а браслет из Галатепе, — сказал Хайбаров. — Знаменитый кузнец сработал.

— Что, он еще и ювелирничает?

— Нет, апа, он не ювелир, а простой кузнец, подбивает подковы лошадям, — сказал Хайбаров. — Когда он подковывает, то держит копыто осторожно, как девушку за запястье. Тогда вспоминаешь копыта Бойчибара, омытые слезами и вытертые локонами Айбарчин. Вы знаете Айбарчин, Адолат-апа?

— Не знаю, Хайбаров-джан. Но много девушек с таким именем.

— Нет, Айбарчин одна на свете! — сказал Хайбаров. — Остальные не годятся. Вы слышали, апа: «Ай, Барчин, яр-яр, моя Барчин, яр-яр!..»?

— Нет, не слышала, Хайбаров-джан.

— Эту песенку обязан знать каждый передовой работник торговли, — сказал Хайбаров. — Может, вы, случайно, Байчибара знаете?

— Не знаю, Хайбаров-джан, — сказала Адолат-апа, приходя в замешательство.

— Плохо, что не знаете, апа, — сказал Хайбаров и, сняв браслет с ее руки, надел его на руку Замире. — Это не серебро, а настоящее золото, ападжан!

Замира, не удержавшись, рассмеялась. Адолат-апа сердито посмотрела на них.

— Золото!.. — сказала она, скривив губы. — Да оловянный он, из олова, даже не из серебра!

— А Кумуш¹ знаете, апа? — улыбнулся Хайбаров.

— Знаем, — ответила Адолат-апа раздраженно, — джулкунбайская Кумуш.

— Молодец!

— Но браслет все же оловянный, — упрямо повторила она.

— А вам золотой нужен?

Замира приложила палец к губам, но Хайбаров, разгоряченный, не обратил внимания и, сунув руку под стол, где лежал рюкзак, швырнул на стол целую связку золотых браслетов. Глаза у Адолат-апы округлились.

— Что это, по-вашему? — спросил Хайбаров.

— Золото, Хайбаров-джан.

— А это? — Хайбаров вытащил золотую богиню. — Это тоже золото?

— Конечно, золото, Хайбаров-джан, — пробормотала Адолат-апа.

— Оловянные браслеты носят скромные люди, вы это не забывайте, апа, — сказал Хайбаров, все еще горячась. — А это все золото, поняли?

— Нет, Хайбаров-джан, ничего не поняла и не видела... — ответила она и, забыв пустые блюда из-под мороженого, заторопилась к буфету.

— Хвастунишка вы, Ташпулат-ака, — сказала Замира. — Сейчас она вызовет милицию. Зачем надо было ее пугать?

— Давайте лучше выпьем, Замира!

Хайбаров еще не успел опорожнить бокал, как напротив кафе у обочины остановился «Москвич» красного цвета.

— Уж не Самад ли? — сказал Хайбаров удивленно. — Надо же, и тут нашел!

Самад подвел за руку Кабула и усадил его на стул, поданный Хайбаровым. Хайбаров придвинул еще два стула из-за соседнего столика.

— Садись, Самад, — предложил он.

— Спешу. Масума себя плохо чувствует.

¹ Буквально: серебро. Но здесь имеется в виду героиня романа Абдуллы Кадыри (Джулкунбая) «Минувшие дни».

— А мы богиню нашли, — похвасталась Замира.
— Хорошо, — только и сказал Самад рассеянно.
— Да очнись наконец, — засмеялся Хайбаров. — Ты хоть понимаешь, о чем речь, мы нашли настоящую золотую богиню!

— Неужели? — недоверчиво спросил Самад.
— Серьезно, не врете? — Кабул наклонился вперед.
— Не врем, — сказал Хайбаров. — Вот сидим отмечаем событие.

— Тогда и мне налей, — сказал Самад.
— За это, пожалуй, и я выпью, — сказал Кабул. — Могу я немного выпить, Ташпулат-ака?

— По такому случаю можешь, — сказал Хайбаров и показал два пальца выглядывавшей из-за стойки Адолат-апе.

Официантка принесла еще два бокала, но от стола не отходила.

— Это правда золото? — спросила она. — Килограмма два есть?

— Целых три.

— Тогда сплавов не делали, Адолат-апа, — пояснила Замира.

Адолат-апа больше ничего не спросила и ушла. Хайбаров разлил оставшееся вино по бокалам.

— Салют, Хайбаров! — подмигнул Самад.

— Ты посмотри, он по-узбекски с акцентом разговаривает.

— С тобой трудно тягаться, Хайбаров, — засмеялся Самад и осушил бокал. — И тому, кто сеял, и тому, кто жал, всем благополучия, аминь!..

Поигрывая связкой ключей, он направился к машине. Хайбаров протянул Кабулу бокал с вином:

— Давайте выпьем, приятель!

— Самад-ака вечно спешит, — сказал Кабул, как бы извиняясь за Самада. — Занятой человек.

— Защита докторской скоро. Забот много.

У буфетной стойки появились два милиционера. Хайбаров кивнул Замире на них, та понимающе подмигнула и встала с места.

— Ну, я пойду... Если дадите номер своего телефона, постараюсь вечером вам позвонить.

Написав номер телефона, Хайбаров протянул листок Замире. Вытащив из-под стола рюкзак, Замира направилась к выходу, у буфетной стойки задержалась и показала по требованию одному из милиционеров удостоверение

ние личности, тот в ответ отдал честь и вышел вместе с ней.

Сделав глоток, Кабул осторожно поставил бокал на край стола.

— Это правда, Ташпулат-ака? — спросил он. — Надо было дать знать Поэту.

— Я только что с раскопок, — сказал Хайбаров. — Может, еще выпьем?

— Хорошо, — сказал Кабул, доставая из кармана деньги. — Только сами сходите...

— Оставь, — ответил Хайбаров. — Мне Адолат-апа в долг дает. Найти золотую богиню и не повеселиться грех!

— Конечно... Если не обидетесь, Ташпулат-ака, я мог бы вам предложить коньяк, привезенный из самого Парижа, на кухне у меня стоит, в серванте. Может, съездить за ним? Говорят, отличный коньяк.

— Я не пробовал, но знающие люди хвалят.

Кабул вытащил из кармана ключ. Жил он в доме неподалеку, за поворотом. Хайбаров, легко вбежав на четвертый этаж, вставил ключ в замочную скважину и, прежде чем пройти в комнату, вытер ноги о влажную тряпку, лежавшую у входа. В глаза сразу бросились две пары обуви у стены — мужская и женская. Хайбаров, осторожно ступая по ковровой дорожке, направился было на кухню, как вдруг заметил стоящую в дверях Мазлуму.

— Я не знал, что вы дома, — сказал он, краснея и чувствуя себя виноватым. — Я пришел за бутылкой коньяка. Не пугайтесь, это не для Кабула... Он сказал, что бутылка в серванте на кухне.

Мазлума ничего не ответила. У нее был вид, будто она только что встала с постели, волосы распущены, халат мятый.

Хайбаров прошел на кухню и остолбенел: у плиты стоял Самад.

Хайбаров настолько опешил, что ничего не мог сказать. Самад отошел от газовой плиты в сторону.

Молчал и Самад, уставившись в пол. Взгляд Хайбарова почему-то зацепился за половник, висевший на стене. Он схватил его и огрел им Самада по голове.

Самад застонал, но не проронил ни слова.

— Свинья, — сказал Хайбаров, стараясь унять дрожь. — Тебе бы понравилось, если бы я в твое отсутствие переспал с твоей женой?

Самад побледнел.

— А если и того лучше, увел бы у тебя и жену, и дочь?

Хайбаров медленно приближался к Самаду, а тот, отступая назад, пытался проскользнуть в дверь.

— Ты мне завидуешь, — выдавил наконец из себя Самад.

Хайбаров промолчал. Самад еще больше рассвирепел.

— Помнишь Инару? — закричал он.

Слова Самада разбредили старую рану, и Хайбаров сверкнул глазами на друга. Внутри что-то заняло. «Ведь друг он мне», — подумалось ему. Самад торжествующе улыбался.

— Это был ты? — тихо спросил Хайбаров.

— А то кто же? Кому ты еще раскрыл тайну?

— А вот это тебе за Инару! — Хайбаров со всего маху двинул Самада кулаком в челюсть: — Это за Кабула! Это за Махсуму!

— Так и убить недолго!.. — захрипел Самад.

— Таких, как ты, и надо убивать! — крикнул в бешенстве Хайбаров, продолжая наносить удары. — Это тебе за твою маленькую дочку!

Самад, схватившись обеими руками за живот, повалился на пол.

— Негодяй! — еле слышно слетело у него с губ.

— Как следует и крикнуть не можешь, что же это за жизнь, — сказал Хайбаров. — Ну, ладно, поднимайся.

Самад безуспешно пытался подняться с пола.

— Жалеешь, что не можешь пожаловаться, — сказал Хайбаров. — Ох как жалеешь! И правда нельзя. Запятнаешь свое имя, уронишь свой авторитет...

— Замолчи, — сказал Самад.

— Нет уж, ты молчи! — сказал Хайбаров. — Еще слово скажешь, прибью! Снимай брюки, сейчас голым отправишься на улицу... Я вас обоих выведу на улицу голыми!..

Самад умоляюще посмотрел на Хайбарова. Тот поднимал валявшийся на полу половник.

13. ВОЗВРАЩЕНИЕ...

На следующий день, в четверг, после завтрака Хайбаров получил известие о смерти отца. Кинулся на вокзал.

Он был в таком состоянии, что ничего не видел, не слышал, сердце бешено колотилось.

Даже паровозные гудки казались ему печальными.

Вся прежняя жизнь вдруг отступила назад, а сегодняшняя обрела другой смысл.

В поезде по дороге в кишлак он почему-то вспомнил, как они с Самадом ездили к нему на родину: серая, как зола, почва, дом с камышовой крышей, деревья вокруг, кустарники — тамариск, джида, саксаул, — домашняя утварь, даже старая мать Самада — все было не таким, как в родных краях Хайбарова. Посреди комнаты круглый стол, рядом со столом телевизор на растопыренных ножках. Старая мать Самада каждый раз с опаской проходит мимо него, пронося то суп, то домашний творог... А когда устает, приказывает соседской дочери, по всему имеющей виды на Самада и похожей на него миндалевидными глазами, приготовить для Самада и гостя что-нибудь вкусное: «А то что они там могут в городе есть? Посмотри, на кого стали похожи...»

Девушка, опустив голову, радостно-счастливая, спешит на кухню, украдкой взглянув на Самада, тихонько спрашивает: «Лука побольше положить, Самад-ака?»

Самад в ответ что-то невнятно бормочет, похоже, он стесняется Хайбарова: не дай бог, Хайбаров подумает, что он и впрямь присмотрел себе девушку из кишлака.

Хайбарову же, напротив, эта простая деревенская девушка даже нравится, ему даже приходит в голову неожиданная мысль — вот бы жениться на ней, нарожала бы она ему кучу детей с миндалевидными глазами.

Старуха не может оторвать глаз от сына, хотя и оказывает больше внимания его другу, во взгляде ее так и читается: постарела я, сынок, пора уже и в последнюю дорогу собираться, вот как приберет меня к себе бог, не забудь приехать да бросить на могилку мою земли щепотку.

Глядя на нее, думаешь о смерти без страха, со многим примиряешься, и на душе становится спокойно.

Хайбаров нарисовал в своем воображении картину похорон старушки.

...Рано утром ты прибываешь из Ташкента, автобус, полный стариков и старух, оставляет тебя в кишлаке Самада, на улице тебя встречает одетый в чапан, печальный солидный Самад и тихо шепчет: «Такое вот горе, при-

ятель, лишились мы матери». Потом вдвоем с Самадом относишь покойную на кладбище. Больше никого нет. От низкого дома с крышей, крытой камышом, и до самого кладбища улицы пусты...

Потом, когда старушка действительно умерла, Хайбаров чувствовал себя виноватым за эти мысли. Отправившись к Самаду, возвратившемуся с похорон матери, чтобы выразить ему соболезнование, он застал друга пьяным с какой-то женщиной.

Говорить Самаду какие-то слова утешения у Хайбарова язык не повернулся. Самад его даже не пригласил в комнату, встретив в прихожей, долго плакал. «Мать потерял, друг мой, — сказал, — редкая была женщина, сама вырастила, на ноги поставила, человеком сделала, во всем себе отказывала, все старалась для меня, а вот теперь, друг мой, ее нет, и теперь я одинок, никого у меня нет, бедняжка могла бы еще десяток лет прожить, ведь живут же другие, почему моя бедная мать так рано ушла, ей в этом году исполнилось восемьдесят четыре года...»

Хайбаров сочувствовал Самаду. И в то же время на душе у него был какой-то неприятный осадок, он вспомнил, что старушке не исполнилось и семидесяти.

...Поезд шел по каким-то незнакомым местам. Так, по крайней мере, казалось ему. Совершенно незнакомая местность, чужие дома и люди, все — чужое. Только покойник ему знаком — родной отец, Раим-аксакал, Раим-председатель, Раим Хайбаров.

Хайбаров сидел у окна вагона, он положил голову на столик и задумался, думал долго, пока не устал и сон не сморил его... Скоро проснулся, вздрогнул и сразу вспомнил, куда и зачем он едет...

Вокруг было тихо. Никому не было дела до Хайбарова. Все крепко спали. Слышался только перестук вагонных колес. За окном проносились огни — чирк-чирк, чирк-чирк, тускло освещенные водонапорные башни, здания станций... И снова огни.

Его никто не встретил. Он тихо двинулся по тополиной аллее, посаженной отцом, в руках небольшая дорожная сумка. Показались какие-то люди. Завидев Ташпулата, уступали дорогу, низко склонив голову. Никто ему ни слова не сказал, даже не поздоровался. В воротах он остановился в растерянности...

У дома толпилось человек десять парней. Все в чапанах, перевязанных поясами, и тюрбетейках. Не ожидая, пока зарыдает Ташпулат, громко заголосили, запричитали: «Отец, родной мой, отец!» Потом от толпы отделились трое — Мавлянбай, Закир и Ахмад. Мавлянбай обнял его за плечи, ростом он был ниже брата, но крепче сложением. Мавлянбай отошел, его сменил Закир, он легонько обнял брата, тоже молча, затем вытащил из-за пазухи платок и протянул Ташпулату, заметив, что платок мокрый, достал другой. Потом подошел Ахмад, но обнять старшего брата не решился: он с Ташпулатом-ака в такой ситуации еще не встречался. У Ташпулата защемило сердце. «Трудно было им, — подумал он, — они стояли у изголовья умирающего отца...»

Он никак не мог представить себе хрупкого подростка, сидящего у постели отца, нет, Ахмад не сидел, он не выдержал, убежал на задний двор и, чтобы унять подступающий к горлу комок и не расплакаться, полол морковь...

Ташпулат успел на заупокойную молитву, потом присоединился к траурной процессии, идущей на кладбище, вернулся, провел дома еще один день и одну ночь.

Он уже не мог слышать слова соболезнования и сочувствия, которые говорили ему тихим голосом, они раздражали его.

14. ПРАВДА

У калитки в сад Ташпулата нагнала сестра. Поправляя брату загнутый ворот халата, сказала:

— Камил уехал посмотреть, как там дома. Вернется после полудня.

— Дети у тебя маленькие, самой надо было поехать, — сказал Ташпулат.

Сестра молча повернула обратно. Во дворе народу стало меньше, возле очага суетилась жена Мавлянбая и старуха Анзират...

Открыв калитку, Ташпулат присоединился к мулле Чары, старику Хуччи, Ибодулло Махсуму и еще двум старикам, сидящим полукругом. Соседский мальчик принес чайник чаю. Ташпулат подумал, что мальчик очень похож на Маханбая, мысленно вычислил: если друг его женился в девятнадцать, мальчику сейчас тринадцать.

Чуть подальше, в густой тени яблонь, людей поболь-

ше. В дувале пробит ход в соседний двор. Идущие на поминки пользуются им. На почетном месте сидит Соатконюх, и, как только появляются новые люди, он принимается читать суры из Корана. Чтение Корана, пиала чаю, кусочек лепешки, руки в благословении тянутся к лицу... Раима-аксакала нет, он умер, каждый уходит с этой грустной мыслью.

Мавлянбай сидит рядом с муллой, на нем темный халат, выслушивая слова сочувствия, печально качает головой: что поделаешь, все мы смертны...

Он временами украдкой поглядывает на брата. Чувствует себя виноватым. Не полагается, чтобы принимал соболезнования младший сын, когда есть старший. Но Мавлянбаю это дозволено, потому что не Ташпулат, а он был столько лет рядом с отцом, он делил с ним и с людьми кишлака все радости и горести, ему — дозволено.

Мавлянбай чувствует, как временами недостойная гордость одолевает его печаль, вздрагивает и поднимает глаза на брата, хочет понять: не слишком ли он недоволен?

Ташпулату жаль младшего брата.

«...Теперь ему трудно придется. Все хозяйство ложится на него. А ведь у него и свой дом».

Мавлянбай тоже занят этими мыслями. «Хорошо брату, — думает он, — уедет, а я останусь, каково будет мне?.. Потяну ли я два хозяйства? А может, сделать из них одно? Когда Закир женится, тогда пусть и примет на себя отцовский дом».

Мавлянбай спокоен за Закира, тот не пропадет. Работает, неплохо зарабатывает. На прошлой неделе чабан из соседнего кишлака привез, перекинув через седло, барана — жена его лечилась у Закира. «Доктор-джан, дорогой, чтоб вам никогда не знать болезней», — говорил он и просто увивался вокруг него, не зная, как угодить, — словом, оказал честь и уважение. Даже деньги ему совал, но Закир не взял, отца испугался. Хоть и был Раим-аксакал последние три-четыре дня прикован к постели, но власть его в доме все равно еще была сильна. Чабан, оказывается, все продумал: спрятав деньги в карман, он достал из хурджуна серебристый каракуль. И Закир не смог устоять. У бедняжки чабана голова кругом от радости пошла: «Божьей милостью живите тысячу лет, доктор-джан!» Закир умный парень, он никогда не перечит Мавлянбаю, обращается к брату уважительно, вперед не-

го не лезет, предложенную ему пиалу чаю (Закира всегда угощают первым, потому что он доктор и земляки относятся к нему с почтением) обязательно передаст Мавлянбаю: «Вы пейте, ака, я после вас...» Ничего не скажешь, Закир умный, и уважение к нему переносится и на Мавлянбая. Раньше его звали «младший после старшего Раима-акакала», теперь все величают «братом доктора Закира». Единственно Ахмад немного тревожит Мавлянбая.

Группа людей, приехавших издалека, отвлекла его внимание. Он снова стал вслушиваться в чтение Корана. Потом, подняв голову, с каждым поздоровался взглядом.

— Все мы смертны, Мавлянбай...

— Все мы смертны...

— Смертны... — тихо повторил Мавлянбай.

Завидев Ахмада, идущего от очага с подносом, он подозвал его, Ахмад кивнул и, отдав касу сидевшему во главе стола повару, подошел к брату. Мавлянбай сначала хотел сказать, чтоб он не таскал подносов, а сел рядом с ним, но, заметив, что Ташпулат сидит за соседним столом и младшему брату места нет, призадумался. Ахмад стоял, склонившись над ним и ожидая, что скажет брат. Наконец Мавлянбай нашелся:

— Ты не узнал, когда Ташпулат-ака собирается уезжать? Он не говорил тебе?

— Наверное, не уедет... — не понял цели вопроса Ахмад.

— Пока не уехал, спроси, что нам написать на камне? Не забудь.

— На каком камне?

— На надгробном. — Вообще-то, Мавлянбай не соби-рался об этом говорить, это он держал в глубине души. — Спроси. Все же он как-никак старше нас.

Ахмад простачок. Он во все глаза уставился на брата, словно впервые видел его: да ведь еще земля на могиле отца не успела просохнуть, а они уже думают о камне?

— Иди-иди, посоветуйся, — наставительно сказал Мавлянбай.

Ничего не ответив, Ахмад ушел. Мавлянбай с непонятным ему самому раздражением проводил его взглядом. Слава богу, Ахмад ничего не сказал Ташпулату. И потом, когда братья разговаривали, Мавлянбай ничего плохого не прочитал на их лицах. Нервное напряжение сменилось расслабленностью...

— Садись, Ахмадбай, — сказал Ташпулат.

Ахмад вытащил из-за пазухи вчетверо сложенную бумагу и протянул брату:

— Закир-ака просил передать, отец это оставил.

Ташпулат, не разворачивая бумаги, сунул ее в карман. Это было завещание.

— Что это Закира не видно? — спросил он.

— Из Шоркудука человек пришел, — сказал Ахмад. — Кто-то там заболел. Сначала он не хотел ехать, но потом передумал...

Ахмад уставился на брата: интересно, что скажет?

— Правильно сделал.

— Удивляешься людям, — вмешался в разговор мулла Чары. — У доктора столько забот, а они вызывают, даже из-за ерундовой занозы.

— Здоровому трудно понять больного! — сказал Ибодулло Махсум. — Хоть у доктора и горе, а если кто-то пришел с просьбой помочь в беде, как он может отказать?

Мулла Чары промолчал. Он побаивался Ибодулло Махсума. Махсум человек бывалый, многое ему в жизни пришлось повидать, этот хоть самого черта проучит.

От очага донесся голос повара:

— Попросите ко мне дядю Мурада, Махсум-бува!

— Подойдите сюда, Мурадбай, — позвал Ибодулло Махсум. — Подойдите сюда.

Дядя Мурад подошел к ним и молча, с какой-то недоверчивостью посмотрел на сидевших за столом. Ташпулат, пододвинувшись, предложил ему место рядом с собой:

— Садитесь, дядя Мурад.

— Налей касу шурпы, Шадикул! — крикнул Махсум повару.

— В касу председателя... — сказал дядя Мурад.

— Так он же ее разобьет, — недовольно проворчал повар. — В миску налью, вдвоем поедите.

— Давай наливай. Мы с Мурадбаем давние друзья, — весело сказал Ибодулло Махсум, поворачиваясь к Ташпулату. — Хоть он и младше меня, но мы дружили. И на фронт вместе ушли. Потом, вернувшись, он меня не сразу узнал. Помнит, как меня зовут, Ташпулатбай, узнает меня среди тысячи людей, но относится уже по-иному... Таких, как Мурадбай, осталось немного. Однажды меня пригласили в школу, попросили выступить перед учениками... Прихожу, а там среди ветеранов сидит тот, что

прострелил себе пальцы на правой руке... Я ушел, Ташпулатбай. Не смог остаться. Он наставлял ребят: «Будьте смелыми и мужественными, как мы». Да я лучше удавлюсь, чем буду похожим на него!

— Забудьте вы это, Махсум, — примиренчески начал мулла Чары. — Как-никак мы сидим на поминках.

— Не скажу — не успокоюсь, мулла, — сказал Ибодулло Махсум. — Вас хоть раз приглашали в школу, мулла?

— Нет, а что? — забеспокоился мулла Чары.

— Не приглашали, потому что вы мулла, — сказал Ибодулло Махсум. — Иначе бы пригласили.

— Меня не пригласят, — сказал мулла Чары. — Я в плену был.

Все притихли. Ахмад принес чайник чаю и снова ушел. Ибодулло Махсум, опустившись на колени, крикнул в сторону очага:

— Чего не несешь обед, Шадикул?

— Не заставляйте спешить, Махсум-бува! — занервничал повар. — Вон люди и поважнее Мурадбая ждут своей очереди.

Ибодулло Махсум не стал спорить с поваром.

— Этот Шадикул на самом деле сын упрянца, — сказал он, обращаясь к Ташпулату. — Отец у него такой был, попросишь его что-нибудь сделать, так целую вечность ждешь.

— Меня ппашист бил... — сказал неожиданно дядя Мурад.

— Не надо, Мурадбай, лучше об этом не вспоминать, — сказал Ибодулло Махсум.

— Би... Бил... — повторил дядя Мурад.

— Никак он не может этого забыть, — сказал Ибодулло Махсум. — Раньше бивал его Манзар-палван, и это он не может забыть. Сволочь фашист зашел с левой стороны и оглушил его прикладом, и теперь Мурадбай, бедняжка, вздрагивает, если слева кто пройдет.

— Я стъелял, стъелял, стъелял!.. — закричал дядя Мурад.

Ташпулат посмотрел на дядю Мурада. Глядя на его длинные и густые ресницы, беспокойно бегающие глаза, он почувствовал, как больно сжалось сердце...

Дядя Мурад боится детей. Стоит им только подойти к нему, как он, покачиваясь из стороны в сторону, бежит от них. Худой, долговязый, в старой цигейковой шапке

и долгополой шинели с военной еще поры, он очень смешон. Маленький Ташпулат, опьяненный азартом погони, поднимает с земли камень и бросает в дядю Мурада. Тот хватается за голову, но не останавливается, а бежит дальше. Ему, старому и больному, удастся оторваться от маленьких преследователей. Но тут кто-то истошно вопит:

— Танки! Танки идут!..

Старый солдат застывает на месте. Глаза его расширяются от ужаса. Закрыв лицо руками, будто на него идет целая армия железных чудовищ, будто он наяву слышит лязг гусениц, пятится назад, спотыкается и падает на землю.

— Испугался, испугался!.. — радуется мальчик, который недавно вопил о танках.

Но его никто не слушает, не разделяет его радость. Дети разбегаются. Остается лишь маленький Ташпулат. Он боязливо приближается к дяде Мураду, трогает его за плечо. Дядя Мурад вздрагивает, утыкается лицом в землю, будто хочет зарыться в нее.

— Я не хотел, дядя... — говорит маленький Ташпулат всхлипывая.

Дядя Мурад открывает глаза. Увидев свои окровавленные пальцы, тихо говорит:

— Ппашист... ппашист меня ранил...

— Это я, дядя Мурад.

— Нет, ппашист, мальчик, — говорит дядя Мурад. — Он меня бил...

Ташпулат, присев рядом, плачет. Дядя Мурад удивленно смотрит на него, потом на лице его проступает улыбка, и он спрашивает:

— Ппочему? Не плачь, мальчик, — говорит он. — Видишь, я же не плачу... Мужчина не должен плакать. Не плачь, мальчик, не плачь...

Ташпулату хочется сказать ему хоть одно доброе слово, но он не может сдержать слез и продолжает рыдать.

Дядя Мурад, вытерев со лба кровь полой шинели, поднимается, но не уходит. Он пытается успокоить плачущего мальчика.

Дядя Мурад поет петухом, пытаясь его развеселить.

Лает собачкой.

Мычит коровой.

Опять поет петухом.

Он пускается в пляс, кружит вокруг мальчика, кричит, смеется.

Собирается народ поглазеть на это странное зрелище. ...Больно об этом вспоминать.

Спустя неделю – та же улица и та же погоня за дядей Мурадом, неуклюже убегающим от мальчишек. Усман-толстячок садится на полу его шинели, все в азарте кричат: «Но-о, но-о, лошадка!»

Дядя Мурад бежит. Тащит за собой мальчугана. И вдруг откуда-то вылетает камень. Усман, отпустив полу шинели, хватается за лоб, на котором вздулась огромная шишка.

Потом отец Усмана, Атабай-красильщик, такой же толстый, приходит к Раиму-аксакалу с жалобой на Ташпулата. Раим-аксакал, выслушав его, в гневе обрушивается на сына, потом спрашивает у затаившего злобу Атабая: «Может, он хотел защитить беднягу Мурада?» «Нет, аксакал, – качает головой Атабай, – говорят, он сам кидался в него камнями...»

Раим-аксакал с укором глядит на сына.

В душе остается обида. Все это неожиданно всплывает в памяти, и хочется прижаться щекой к залатанной шинели дяди Мурада и выплакать прощение!

Принесли в миске шурпу. Повар Шадикул положил только одну ложку, и Ибодулло Махсум, Ташпулат и дядя Мурад едят из нее по очереди. Дядя Мурад держался спокойно, ел не спеша, не задерживая ложки, передавал другому.

Ташпулат почувствовал, что со стороны на них поглядывают, но не придал этому значения.

Ибодулло Махсум тоже спокоен. Ташпулат не почувствовал в нем неискренности. Да и сам он не кривил душой: и Махсум, и дядя Мурад были ему как родные.

– Мы с Мурадбаем стали как бы достопримечательностью кишлака, Ташпулатбай, – сказал Ибодулло Махсум. – Об этом я много думаю, Ташпулатбай, если я уйду, пусто станет, одиноко в этом мире...

– Покойный Раим-аксакал тоже так думал, – вмешался в разговор мулла Чары.

– Ну а вы сами что думаете, мулла?

Мулла Чары сделал вид, что не расслышал его.

– Теряем мы человеческое в себе, – сказал он. – Кто уже перестал ходить на свадьбы, поминки. Вы не обижайтесь на тех, кто не пришел выразить вам соболез-

нование, Ташпулатбай. Сейчас нет прежнего единодушия.

— Старее вы, мулла, — сказал Ибодулло Махсум. — Все вам кажется хуже, чем есть на самом деле.

— Разве я неправду сказал? — обиделся мулла Чары. — Кто теперь хранит старые обычаи? Мурадбай и тот лучше нас, не пропускает ни одной свадьбы, ни одних поминок.

— Мурадбай совсем другое дело, — сказал Ибодулло Махсум. — Он принадлежит всем.

Дядя Мурад, услышав свое имя, насторожился:

— В Чункаймыш поеду...

— Раньше пулей летал, — сказал Ибодулло Махсум. — В Чункаймыш пешком наравне с конным доходил.

— Меня Манзай бил... — снова опечалился дядя Мурад.

— Раньше он этого Манзара реже вспоминал, а теперь, когда постарел, с языка он у него не сходит, — сказал Ибодулло Махсум. — Скажите, мулла, если Мурадбай попадет в рай, вернет ли ему бог его разум?

— Не знаю, — ответил мулла Чары. — Может, и вернет.

— Если бы бог хотел поступить по справедливости, то он давно бы вернул разум Мурадбаю.

— А почему он говорит: «В Чункаймыш поеду»? — спросил Ташпулат. — Что ему делать в Чункаймыше?

— Там у него есть названный брат. Он, как и Мурадбай, человек смиренный. Покойный Нарбай-дивана тоже был ему названным братом. Когда он умер в Чункаймыше, привезли тело его хоронить в наш кишлак, потому что он родом отсюда. Мулла Чары сам читал заупокойную.

— Уговорили меня, — сказал мулла Чары. — Я со всеми поехал выразить соболезнование, а меня попросили заупокойную прочесть.

— А потом, когда подняли носилки с покойным, кто приказал нести в Галатепе?

— Галатепинское кладбище — самое большое, — сказал мулла Чары. — Сколько веков существует! Какие люди здесь захоронены!

— Что ж, теперь из-за этого будем делить покойников, мулла? — спросил Ибодулло Махсум.

— Ведь, в конце концов, Нарбай-дивана родился в нашем кишлаке!

— Так, по-вашему, получается, человек становится

для нас дорогим, когда умрет, а так нам дела до него нет?! Вот увидите, если, не дай бог, что-нибудь с Мурадбаем случится, чонкаймышцы тайком его у себя захоронят!

— Пусть только попробуют!

— Не притворяйтесь простачком, Чары, — сказал Ибодулло Махсум. — Вы над их гордыней не раз насмехались!

— Да угомонит вас бог, Махсум! — сказал мулла Чары, вставая с места. — Я пойду...

— Идите, идите, мулла.

Мулла Чары мелкими шажками перебежал к другой группе. Его тут же усадили на почетное место. Он покивал всем головой, здороваясь, и затем, склонив голову набок, стал прислушиваться к надтреснутому голосу Соата-конюха.

— Умный он человек, черт, — сказал Ибодулло Махсум. — Чтоб не смеяться над конюхом, сидел с нами. Меня он ненавидит.

— Зря вы его упрекнули, Махсум-бува, — сказал Ташпулат.

— Постарел я, Ташпулатбай, трудно язык за зубами держать, ворчливым стал. Раньше я не ругался, а сейчас словно право на это получил. Правды даже мулла боится. Всем их проповедям грош цена, Ташпулатбай. А вы не хотите вернуться и стать нашим духовным наставником?

— Не могу, Махсум-бува.

— Отчего же, Ташпулатбай? — сказал Ибодулло Махсум, слегка огорчившись. — Мы ведь не каждого уговариваем стать нашим имамом!

— Не хочу кривить душой, Махсум-бува, — сказал Ташпулат. — Чем искать имама, лучше бы за дядей Мурадом присмотрели.

— За человеком смотреть не так просто, Ташпулатбай, — тяжело вздохнул Ибодулло Махсум. — Моя прямота многим не нравится, но если я не скажу то, что думаю, не могу успокоиться. Так вот, Ташпулатбай, было бы справедливо, если бы всевышний не лишал никого разума, чтоб каждый мог спокойно жить и зарабатывать себе на кусок хлеба. Но чтобы заработать себе на этот кусок хлеба, человек испытывает трудности, лишения... И каждый свои...

Ташпулат вышел следом за дядей Мурадом. И оба зашагали по тропинке, по которой Ташпулат бегал еще в детстве. Чуть далее тропинка раздвоилась: одна осталась внизу, вторая повела наверх. По верхней через холм можно было спуститься к большой дороге, заросшей по обеим сторонам колючим кустарником.

Дядя Мурад внезапно закачался, сошел с тропинки и устремился в колючие заросли. В пятки его вонзались колючки. Разозлившись, он стал топтать их ногами. Босыми ногами!

Ташпулат, чтоб не видеть это, закрыл глаза руками.

Дядя Мурад устал. Рукавом шинели вытер пот с лица и вылез из колючих зарослей. Минуту он постоял, как бы застыв на месте, затем побежал по дороге в Чункаймыш.

Ташпулат припустился за ним. Нагнав дядю Мурада, схватился за его рукав. Дядя Мурад резко обернулся — в глазах его был испуг.

— Не бойтесь, дядя, — сказал Ташпулат.

— Председатель хоёший, — ответил дядя Мурад. — Он не умеет...

Ташпулат грустно покачал головой.

— Он не умеет... Ты же его сын!

Ташпулат был потрясен: дядя Мурад смотрел на него, как смотрит здоровый, нормальный человек. Глаза его были спокойны. Ташпулат крепко обнял дядю Мурада и прижался щекой к его шинели.

— Повторите еще, дядя, — сказал он, переполненный радостью.

— Ты Ташпулат, — сказал дядя Мурад. — Сын председателя, я тебя узнал...

Ташпулат был тронут до глубины души. Покопавшись в кармане, он достал оттуда листок бумаги, который передал ему младший брат Ахмад, посмотрел на дядю Мурада и сунул бумагу обратно в карман.

Словно те слова, что были в завещании, он услышал из уст стоящего перед ним безумца.

— Повторите еще раз, дядя!..

Дядя Мурад молчал, глаза его опять сделались безумными, рот широко раскрылся, и он сморщил лоб, точно сиделся что-то вспомнить.

— Дай юбилей!..

Ташпулат улыбнулся, достал из кармана рубль и протянул ему.

— Я люблю вас, дядя, — сказал он.

— Я устал, Ташпулат.

— Я тоже устал, дядя. Вроде ничего не делал, а устал как собака.

— Я собаки не боюсь, — сказал дядя Мурад.

И, повернувшись, зашагал в сторону Чункаймьша. Дорога вела вверх, дядя Мурад был старый и не мог ходить так быстро, как раньше.

Вокруг стояла тишина. Ташпулат тяжело вздохнул и долго печально глядел вслед дяде Мураду, шагающему под палящими лучами солнца. Таким он остался у него в памяти!

Эта история началась с того, что рано утром Бинафша-ханум, жена Эломонова, поэтесса и драматург, вся разодетая и раздурманенная, принесла из кухни маленький ковшик с тремя яйцами и поставила перед мужем на стол. Эломонов осторожно потрогал ковшик — он был еще обжигающе горячим.

— Могли бы слегка обдать холодной водой, ханум, — сказал он с легкой укоризной.

— Я тороплюсь, — хмуро ответила Бинафша-ханум. — Сами остынут.

Эломонов был вынужден встать и сам пойти на кухню. Открыв струйку холодной воды над ковшиком, он посмотрел на улицу. Там было пасмурно, деревья стояли совсем голые. Эломонов вспомнил свою дочь, студентку, которую месяц назад увезли на сбор хлопка. Бедной Хурсаной трудно будет, подумал он, первый раз за все четыре курса поехала на хлопок, к работе она еще непривычная, да и зима, судя по всему, выдастся ранняя.

Вернувшись в комнату, он застал жену развалившейся на фигурном диванчике у стены, будто она никуда и не спешила. Эломонов чуточку обиделся, но вида не показал, переложил яйца из ковшика на тарелку и пригласил жену:

— Пожалуйте к дастархану.

Бинафша-ханум покачала головой — отказалась. Взяла из сумочки флакончик с лаком, покрасила ногти, подула, пока лак не высох, затем нанесла второй слой, опять подула, наклонила голову набок и полюбовалась маникюром, держа руки на расстоянии зеркала, — хорошо! На лице ее выступила улыбка, но она тут же посерьезнела, кажется, вспомнила, как минуту назад сидела хмурая, и начала поправлять волосы. Глядя на тонкие и длинные пальцы жены, быстро бегущие над ее высокой прической, Эломонов вспомнил знакомую парикмахершу, которая стригла его до недавнего времени, пока он не перешел на другую работу. И у той были такие же

тонкие и проворные пальцы. Сидя в парикмахерском кресле, Эломонов часто засыпал от приятного прикосновения ее пальцев и просыпался от звонкого смеха: «Какой же вы, однако, смешной, товарищ Эломонов!..»

Эломонов невольно улыбнулся своим воспоминаниям. Так он привык к той парикмахерше, что теперь иногда стыдливо просит жену: мол, не могли бы вы, ханум, слегка помассировать мне голову. Бинафша-ханум, если она в хорошем настроении, массирует. Но как ни пытался, Эломонов не может испытать то чувство сладостной дремы, какое он запомнил, сидя в парикмахерском кресле. «Не так же, ханум, — бормочет он с досадой, — надо по-другому...» Бинафша-ханум настораживается и, притворившись чрезвычайно чуткой, вкрадчиво спрашивает: «А как еще?..» Но Эломонов не поддается ее хитрости. «Я не знаю как, — постанывает он, — голова раскалывается, ханум, боюсь, опять давление подскочило».

Правда, однажды он не поленился, показал жене, как надо массировать голову. Наука эта понравилась Бинафше-ханум. «О мой принц! — воскликнула она. — Это же так прекрасно, оказывается, я зря хожу к массажистке, когда вы у меня есть такой». Но потом, когда посмотрела на себя в зеркало, не на шутку рассердилась: «Что за медвежьи замашки, вы мне всю прическу испортили!»

Эломонов решил наконец заняться завтраком, выбрал яйцо покрупнее и разбил его о край ковщика. Оно оказалось недостаточно сваренным, и все содержимое вытекло ему на пальцы. Второпях Эломонов облизнул пальцы, хотя салфетка лежала рядом с тарелкой, и краешком глаза увидел, как губы Бинафши-ханум скривились в презрительной усмешке.

— Ну, мы, ханум, неотесанные еще... недаром из кишлака... — вымученно улыбнулся он. — Лучше не покупать яйца в магазине, фабричные куры не едят мел, вот и яйца у них такие хрупкие...

Бинафша-ханум не ответила. Она подошла к столу и, отломив кусочек булочки, бросила его в рот.

— Когда в рационе курицы достаточно кальция, то есть мела, — яйца бывают твердыми, — продолжал Эломонов. — Земля нашего Галатепе богата кальцием. Об этом мне говорил Нишон Сатторов, мой одноклассник. Сам он биолог в сельской школе, правда, говорили, будто собирался на пенсию по состоянию здоровья.

— Сами вы еще не собираетесь?

— Мне, пожалуй, еще рано, — ответил Эломонов, будто не замечая маленькую издевку в голосе Бинафши-ханум. Затем, чуточку задумавшись, добавил со странной, как показалось жене, радостью: — Нишон на целых три года старше меня. В детстве часто болел, вот и в школу пошел намного позже положенного. Помню, как мы, Нишон, Бако, Сайдулло и я, собирали черепашьи яйца и пекли их в золе. Это, я вам скажу, ханум, было лучшее время моей жизни!..

— Фу, какая гадость! — сморщила нос Бинафша-ханум, не разделив восторг мужа.

— Тогда хлеба было мало, ханум. Потом... что же тут плохого? Вон аж в Париже, а не в Шоркудуке где-нибудь, говорят, лягушек едят.

— Неправда, — сказала Бинафша-ханум. — Наша группа в Париже ничего подобного не видела.

— Вы гостями были, наверное, постеснялись подать, — предположил Эломонов. — Но вы, ханум, все-таки яйца сварили не как следует. Это делается очень просто: надо сразу же ставить на большой огонь, тогда белок быстро затвердеет, а желток останется мягким и нежным.

— Почему же тогда не готовить вам самому?

— Но вы не чужая мне, жена все-таки...

— К сожалению, — сказала Бинафша-ханум.

— Вы бы чуточку пожалели меня, ханум, — болезненно улыбнулся Эломонов. — Могли бы все это подумать про себя, а не говорить вслух.

— А я привыкла говорить правду.

— Хорошо бы говорить одну правду, ханум, но не всегда это удается. Лично я...

— ...Лично вы, разумеется, всегда лгали. — Бинафша-ханум не дала мужу договорить. — И любовь ваша — ложь!

Эломонову стало как-то неловко при этих словах. Такое с ним случалось довольно часто. Говори Бинафша-ханум чуть проще, ему все же было бы легче ответить, но такие, как сейчас, мудреные выпады жены сразу обезоруживали его. Эломонов всегда, с самого детства, терялся при красивых словах и краснел, когда сам бывал вынужден произносить их.

— Я же... я же на вас по любви женился, ханум, — сказал он со смущением. — Ради вас в кишлаке невесту оставил...

— Что-о? — удивилась Бинафша-ханум. — Невесту

оставили? И вы еще смеете сообщить мне такую подлость?

— Уймитесь, ханум, ведь я к ней был совершенно безразличен. Просто тетя сама ее нашла, хотела, чтобы я женился на ней... Боже, о чем говорить!.. — засмеялся Эломонов. — Столько времени прошло, я даже позабыл об этом!

— Нет, не забыли, раз говорите, — сказала Бинафша-ханум. — И вам не было ее жалко?

— Я же сказал, что тетя сосватала...

— Какая, однако, феодалщина! — воскликнула Бинафша-ханум. — И как вы могли стерпеть подобное насилие над своей личностью!

— Да не насильовала она! — ответил Эломонов с досадой. — Тетя она мне, родная тетя, при чем тут моя личность?.. Это же кишлак, там свои правила. Пожалуйста, не обижайтесь, ханум, можете мне поверить, я ту девушку даже в глаза не видел...

Бинафша-ханум не ответила, отошла к окну с тяжелыми бархатными портьерами, где она имела обыкновение стоять обиженной или в состоянии глубокой задумчивости. Эломонов подошел к ней, взял за локоть и повернул к себе. Бинафша-ханум отвернула лицо. Эломонов чуть нагнулся, чтобы поцеловать ей руку, но рука эта была тут же резко отдернута. Эломонов остался стоять в той же позе, согнутый, с раскрытыми для поцелуя губами.

Когда он выпрямился, Бинафши-ханум уже не было в комнате. Голос ее донесся из передней:

— Эломонов!

Он молчал.

— Оглохли, что ли, Эломонов?

Эломонов вышел в переднюю. Бинафша-ханум сидела на низеньком табурете и пыталась обуться. Увидев мужа, она взглядом показала на раскрытые голенища сапожек: мол, подсобите.

Эломонов молча сел на корточки и застегнул молнию левого сапожка, взялся за правый, но с этим ничего у него не получилось. Бинафша-ханум тяжело вздохнула, затем сама легко сомкнула голенища.

— Ничего вы не умеете!

Эломонов виновато посмотрел на жену. Бинафша-ханум чуть смягчилась, чмокнула его в лоб и встала.

— Вчерашний наш уговор не забыли, Саид-ака? — спросила она, роясь в сумочке.

— Какой уговор? Книга, что ли?..

Бинафша-ханум вместо ответа нахмурила брови.

— Помню,— поспешно сказал Эломонов.— Я вроде разузнал, ханум, но она оказалась далеко отсюда, аж в Ободоне.

— Бедный мой Сабирджан, бедный мой сын, если бы он только услышал вас! — воскликнула Бинафша-ханум.— Сын живет на чужбине, просит у него какую-то жалкую книгу, а он!..

— Я же обещал, ханум...

— Единственный мой сын!.. — В голосе Бинафши-ханум послышались слезы.

— И мой тоже, — заметил Эломонов.

— Нет у вас любви к сыну!

— Есть, ханум, есть, — слабо парировал Эломонов.— Поймите только, до Ободона целых двести километров!

Бинафша-ханум уже совладала с собой, посмотрела на мужа ясно и презрительно:

— Вам бы бабой родиться, Эломонов!

— Двести километров, — повторил Эломонов виноватым голосом.— Будь немного ближе, я бы... Согласитесь, ханум, подождем до субботы, я непременно привезу вам ту книгу...

Бинафша-ханум не ответила. Сняла с вешалки норковую шапку и вышла из квартиры, сильно хлопнув дверью. Минуту спустя из-за двери послышалось гудение лифта.

Эломонов вернулся в комнату и прилег на диване. За окном уже шел снег. Крупные белые хлопья прилипали к стеклу и быстро таяли. Эломонов невольно съезжился, будто озяб. Опять вспомнил дочь. Целый месяц прошел, а ее еще ни разу не навестили. Она никогда не отлучалась из дому так надолго, а тут холода начнутся, трудно ей будет, и не только ей, вон сколько народу сейчас днюет и ночует на полях, уборка опять затянется до самого декабря, это уж как пить дать, сам тому свидетель, всю душу выматывает, сперва выполняй, потом перевыполний, а там, глядишь, какой-нибудь очень хороший человек с призывом выступит, чтобы до последней коробочки — будь она неладна, эта последняя коробочка под семью покровами снега!

«Видать, мне самому надо ехать к дочери, — решил Эломонов, — на Бинафшу-ханум надеяться не приходит-

ся, дел у нее по горло, ходит вся нервная, издерганная, то ли подборку вернули, то ли постановку отодвинули, ей сейчас не до дочери...»

Желая хоть немного отвлечься от грустных мыслей, Эломонов закрыл глаза. И в этот момент раздался бой часов. Эломонов насчитал девять ударов. «Врут, — подумал он, — Бинафша-ханум ровно в восемь выходит из дома, еще не было случая, чтобы она опаздывала на работу...» Он хотел было перевести стрелки часов назад, но поленился встать, лишь открыл глаза и продолжал лежать, разглядывая большую фотографию на противоположной стене, где была запечатлена Бинафша-ханум, еще просто Бинафша, молодая поэтесса, красивая, хрупкая, задумчиво глядящая куда-то в далекие дали, с высокой прической, с хорошо отточенным карандашом в руке... Лет двадцать назад такие прически были в большой моде во всем Оазисе благодаря несравненной Касыме, дикторше телевидения. «Ой, Бинафшахон! — восклицали подруги жены в те далекие времена. — Ой, душечка, вы так похожи на Касыму с телевизора, ну как две капли воды, такая же красивая, такая же обаятельная, берегитесь, душечка, вас могут и перепутать с ней, ведь у нее столько поклонников!..» Признания подруг льстили Бинафше, но она делала обиженный вид и говорила: мол, не я, а она похожа на меня. А подруги хохотали — им было приятно дружить с молодой поэтессой, да еще такой веселой и остроумной!

Боже, как летит время!

Где теперь те смешливые подруги жены? Где та Касыма, мечта влюбленных? Разве теперь кто-нибудь узнает Касыму в солидной тетке, которая раз в неделю появляется на экранах телевизоров, чтобы рассказать детям сказку про страшных драконов? Глядя на эту полную женщину, заполнившую собой весь экран, Эломонов с тоскою думает о другой Касыме, о Касыме двадцатилетней, о высокой ее прическе и двух завитушках, змеившихся некогда у маленьких ушей красавицы. Такое чувство, будто тебя обокрали. «Надо же, брат Эломонов, — говорит он самому себе, — ты же никакой не бабник, Эломонов, а ведь если признаться, к ней был далеко не равнодушен!..»

Во времена их знакомства Эломонов был еще молодым, но довольно опытным руководителем. Чуть ли не каждый год по новой должности, он уже тогда достиг той степени, когда людей его положения нет-нет да при-

глашают на телевидение с тем полушутливо-полусерьезным предлогом, что, мол, надо хоть изредка показаться народу, дабы он имел возможность поближе узнать лучших своих сыновей, — и так до тех пор, пока у новичков эти выступления не войдут в привычку.

Беседы перед камерой очень нравились Эломонову, нравились своей неторопливостью и торжественностью. Нравились еще тем, что его частенько узнавали в разных учреждениях, узнавали и на улице, с ним раскланивались совершенно незнакомые люди, и эти взаимные поклоны были исполнены той особой чинности и почтительности, что начисто отметали дешевый восторг узнавания, который бывает при встрече с каким-нибудь артистом или писателем. Ему нравилась молоденькая звонкоголосая дикторша Касыма, в устах которой мгновенно оживали скучные цифры, касающиеся, скажем, темпов роста сельского и городского населения данного региона, равно и вытекающих отсюда перспектив комплексного развития всех отраслей производства, включая и местную промышленность, и конкретных указаний по поводу учета дальнейшего увеличения трудовых резервов. Обо всем этом она рассказывала и расспрашивала с неподдельным интересом и не забывала под конец поблагодарить Эломонова:

— От имени многочисленных наших зрителей, Саидмурад Замонович, большое вам спасибо за столь интересную беседу!

— И вам спасибо, Касыма-ханум.

— Желаем вам новых успехов в вашей сложной и ответственной работе...

На этих словах софиты и прожекторы угасали и при тусклом будничном свете дежурных ламп Касыма, милая собеседница, опять становилась далекой и недоступной. Разложив листы текста, она клала их в микрофонную папку, сухо прощалась и уходила.

Однажды после очередной такой беседы Эломонов чуть задержался на студии — редактор передачи пригласил его на пиалушку чаю. Когда он вышел из студии и направился к стоянке служебных машин, заметил под сенью большой чинары Касыму. В черной шубке и в белом пуховом платке, она показалась Эломонову еще красивее. Кажется, Касыма была чем-то озабочена. Вдруг он понял, что она ждет именно его, Эломонова. Понял это и явственно услышал, как бешено заколотилось сердце. «Везет же тебе, брат Эломонов, — быстро пронеслось

в мозгу. — Касыма тебя ждет... сама ждет! Да такая женщина не приснится и тем, кто поважнее тебя!..»

И он забыл о Бинафше, своей жене. Образ Бинафши быстро растворился в черных глазах Касымы, в ее жгучих локонах, растворился, растаял и вовсе исчез.

Только теперь он понял, как правы были подружки Бинафши — жена действительно чем-то была похожа на Касыму, но эта была более хрупкой, нежнее, посвежее. Оттого ли, что они похожи друг на дружку, Эломонов не почувствовал стыда. Мысленно он уже взял на себя грех, но дальше не переступил, не смог переступить, и, может быть, то, что он не смог переступить, и осталось самым большим его грехом.

Касыма робко окликнула его: «Товарищ Эломонов...» «Пожалуйста, Касыма-ханум, идемте, — пригласил он, — пожалуйста, садитесь в машину». Касыма подошла, села. «Может, поедем куда, — предложил Эломонов, — ресторан, кафе?..» Касыма не ответила, лишь улыбнулась. Эломонов положил руку на плечо водителя: «Поехали, Вася-джан, вези нас куда-нибудь». Вася весело кивнул, включил скорость, и поехали. По дороге сердце Эломонова забилося еще чаще. «Лишь бы инфаркт не хватил, — со страхом подумал он, — легко ли сказать, сама Касыма сидит рядом, та самая красавица, на которую каждый вечер смотрят миллионы людей, весь цветущий Оазис. Потом... разве инфаркт разберет, кто ты да откуда, схватит да скрутит — и поминай как звали!..»

Вася быстро доставил их в маленький загородный ресторанчик. Эломонов вышел из машины и, не смея глядеть в глаза Касымы, тихо пригласил: «Пожалуйста, Касыма-ханум, на чашечку кофе...» И столько робости было в его голосе, что Васе стало жалко своего шефа. «Какой ты, однако, наивный человек», — посмеялся он про себя, посмеялся, но не осудил Эломонова; и потом, спустя годы, когда они расстались и каждый ушел в свою сторону, Вася всегда хорошо отзывался о своем бывшем начальнике: «Было в нем что-то от святого, бедняга даже лишней квартирки не имел, а ведь мог бы, стоило только пожелать!»

Вася остался на улице сторожить машину. Эломонов и Касыма вошли в ресторанчик. Метрдотель, узнав Касыму, сразу засуетился, повел гостей к столику подалее от оркестра, отдал распоряжение сразу двум официанткам. Пока женщины принимали заказ, он сам принес вино. «Старинной выдержки, — сказал он, — вот,

можете убедиться, нарочно не вытер пыль с бутылки». Эломонов, отдавая дань его предупредительности, изящно пошутил: «Уж не джинн ли запрятан в столь древнем сосуде?» — «О да, — воскликнул метрдотель, — он самый, добрый и веселый!» Сказав это, он вытер бутылку специально прихваченной мокрой салфеткой, затем протер сухой — целых пять салфеток ушло на эту волшебную процедуру. Налив вино в хрустальные фужерчики, метрдотель пожелал приятной беседы и удалился.

Касыма осушила подряд два фужерчика. И Эломонов последовал ее примеру. Вино оказалось действительно превосходным, со слегка терпким букетом каттакургани и дарои, издревле славившихся сортов местного винограда. Касыма быстро опьянела и спросила, томно закатив огромные черные глаза: «Можно ли сразу перейти к цели, товарищ Эломонов?» Эломонову вдруг стало жарко, он весь покраснел и сказал: «Полно, Касыма-ханум, цель никуда от вас не убежит, пожалуйста, забудьте обо всем, сейчас нам принесут что-нибудь вкусенькое, я давно не бывал в ресторане, всё дела да заботы...» Касыма не согласилась: «Нет, товарищ Эломонов, мне необходимо высказаться, пока совсем не опьянела. Муж мой, которого я выбрала из тысячи молодых, оказался просто тряпкой!» Эломонов такого никак не ожидал, он даже стал заикаться от удивления: «К-как это так, К-касыма-ханум, разве вы з-замужем?..» — «Да, — ответила Касыма, — уже два года, как замужем, у нас маленький ребенок, живем в маленькой комнатушке, к тому же золовка приехала, учится в институте, вот и живем все вместе, и это так тягостно и мне, и бедному моему мужу, товарищ Эломонов, не по-мусульмански все это!..»

Эломонов тоже был охвачен приятной хмелью, поэтому он не особенно вник в смысл признаний Касымы, осушил свой фужерчик до дна, закусил не менее терпким, чем вино, пучком базилика и небрежно сказал: «Нет, Касыма-ханум, по-моему, вы не правы, нет здесь никакого суеверия, все сказанное вами сводится к нормам обычной общественной морали и никак не относится к мусульманству, как таковому». Касыма, кажется, и в самом деле находилась в безысходном положении, слова Эломонова вызвали у нее лишь брезгливую досаду, и она пошла напролом: «Я о другом мусульманстве, товарищ Эломонов, из-за этой золовки мы не имеем возможности быть мужем и женой, причем тут ваши нормы, ведь мы еще совсем молодые!»

Еще не было случая, чтобы женщина говорила с Эломоновым столь цинично и неприкрыто. Он всерьез рассердился: «И вы считаете ваше поведение мусульманским, Касыма-ханум?» Касыма не поняла: «Какое еще мое поведение?» Эломонов растерялся, почувствовал себя виноватым, но все же сказал правду: «То, что вы здесь со мной... разве это хорошо?» Касыма не выдержала упрек и со слезами на глазах спросила: «Что мне еще делать, товарищ Эломонов? Нет у меня иного выхода, кроме как...» Эломонов расчувствовался, но не удержался от очередного упрека: «Я-то думал, Касыма-ханум, вы умнее». Касыма заплакала. «Зачем вам мой ум, товарищ Эломонов? — сказала она. — Посоветуйте, как мне быть. Хотите, стану вашей любовницей?»

Будьте моим другом, Касыма-ханум!..

Так сказал тогда Эломонов Касыме, дикторше телевидения, первой красавице Оазиса. И до сих пор, стоит только вспомнить эти слова, ему становится жутко стыдно. Ночью, за столиком укромного загородного ресторанчика, в обществе красивой женщины, за бутылкой чудесного вина... о какой еще дружбе тут может быть речь?

«Надо же, брат, — удивляется Эломонов по сей день, — какое это коварное слово — «друг»!»

Некая Хасият, подруга Эломонова по школе, затем и по институту, подруга, которая обнадеживала его долгие годы, пока не вышла замуж за Сатымбека, сына председателя суда Джамолова, грустно признавалась ему: «Дорогой мой Саид, я вас очень и очень уважаю, поверьте, но сердцу разве прикажешь, давайте останемся друзьями на всю жизнь...» А сама, пока не вышла замуж, страстно целовалась с «другом»: летом — в кишлаке, у родничка; зимою — в городе, на берегу мерзлой речки. Терлась пунцовой щечкой и всем прочим!..

Вспомнив это, Эломонов горько усмехнулся, обозвал себя болваном. Но отступать было уже поздно, и он повторил недавно сказанное: будьте моим другом.

Касыма опустила глаза и согласно кивнула: «Ладно, товарищ Эломонов, пусть будет по-вашему, лишь бы муж ничего не узнал».

Эломонову показалось, что он вот-вот сойдет с ума. «Наверно, я очень глуп, Касыма-ханум, — сказал он с отчаянием, — иначе сумел бы быть понятным. К черту дружбу, скажу вам попроще — будьте мне сестрой, будьте мне хамширой!»

Касыма недоверчиво посмотрела на него: нет ли тут подвоха? Эломонов еще больше смутился и объяснил суть нечаянно оброненного персидского слова: мол, шир — это молоко, хамшира — это сестра родная, вскормленная одной грудью, а материнское молоко — это самое чистое и благословенное на свете!..

Он произнес это, словно причитание, тоненьким, совершенно несолидным голосом.

Но и теперь Касыма не поверила искренности Эломонова. Даже тогда, когда он отвез ее домой в другой конец города, она ему не поверила и спросила: «Мне самой позвонить, товарищ Эломонов?»

Эломонов твердо отрезал: «Не смейте мне звонить!»

Проехав одну остановку, он решил отпустить водителя: «Поезжай, Вася-джан, я хочу немного прогуляться пешком».

Вася не согласился: «Нет, Саидмурад Замонович, вы немного выпили, вдруг встретятся знакомые...»

Эломонов рассердился: «Поезжай и больше не смей меня учить, Вася. Знакомые не съедят меня, ведь и мне дозволено ходить пешком!»

Вася, простая душа, понял его по-своему: «Не горюйте, Саидмурад Замонович, подумаешь — дикторша! Не эта, так другая, есть и покрасивше, пускай уходит. Вы же серьезный человек, Саидмурад Замонович, не по вас такое дело, заводить любовницу, это уж по нашей части, нам, трудягам, такое не возбраняется!..»

Эломонов, вне себя от ярости, заорал на водителя: «Езжай, Вася, чтоб тебя с любовницей!..»

Вася не обиделся, уехал. Эломонов пешком вернулся домой. По дороге его настроение мало-помалу улучшилось. «Женщине надо помочь, — подумал он, — она красива, притягательна. Раз я чуть не соблазнился, так другой не станет ее жалеть, это уж точно. Женщине с ребенком и мужем не подобает так позориться, ведь мне ничего не стоит ей помочь, подниму трубку и скажу, чтобы повнимательней рассмотрели заявление гражданки Суннатовой, а те, кто ведают жилплощадью, редко бывают безгрешными, они не станут возражать хотя бы потому, что такая просьба даст им возможность понадеяться на мою поддержку в трудный час. Касыме нужно помочь. Глупо, конечно, сравнивать, но ведь и мы сами когда-то опирались на чью-то помощь. Теперь редко кто вспомнит имя покойного Хушвакта Давлатова, но лет десять назад не было на Оазисе человека именитее

его. И мне он помогал, и Шамси Тураеву, и Ашурбеку Джураеву. Многих он поддерживал в свое время, а теперь, глядишь, его самого нет, а ученики все в добром здравии, каждый занимает ответственный пост».

Через месяц после той встречи Касыма со своим ребенком и мужем переселилась в новую квартиру в центре города, с видом на новую телебашню. Она в тот же день позвонила Эломонову, поблагодарила его и сказала, что она перед ним в вечном долгу, так что... Но Эломонов не дал ей договорить: «Я не беру взятки, товарищ Суннатов, и то, чем вы хотите меня одарить, я возвращаю вашему мужу».

Так он сказал Касыме и бросил трубку, хотя это стоило ему большого труда. Хотелось, чтобы этот знакомый тысячам и тысячам звонкий голос, ставший вдруг дрожащим, полный нежной благодарности и трепета, звучал до бесконечности. Но Эломонов осилил себя и бросил трубку. Потом он долгие месяцы ждал ее звонка. Ему звонило много красивых женщин, но большей частью они были чьими-то секретаршами. Касыма же больше не позвонила...

Встреча с Касымой, если серьезно подумать, была не таким уж значительным событием в его жизни. Да какое там событие, просто случайность, но стоит об этом вспомнить, как на душе Эломонова становится светло и невольное думается: «Надо же, пощадил такую красавицу, совесть, значит, была!»

Он боится дальнейших раздумий. При долгом обдумывании ему начинает казаться, что это была не совесть, а суеверный страх перед красивой женщиной, иначе бы тоска по несостоявшемуся флирту не жила в нем по сей день.

Это он понял полгода назад, когда слегка простудился и целую неделю просидел дома. Было скучно. При нынешней должности гостей у него заметно поубавилось. Поговорить с женой тоже не было возможности — она заперлась в кабинете и писала новую пьесу. Эломонову надоело вконец слоняться по огромной квартире, и он пошел к Буюку Пулатову, соседу из третьего подъезда. Пулатов тоже был драматургом и возглавлял один из местных театров. Оказалось, он только что закончил новое произведение.

— Ради вас так старался, дорогой сосед, — пошутил

он, — скоро поставим пьесу, и вы получите место в первом ряду партера.

Эломонов поздравил его и поинтересовался, о чем пьеса.

— Как всегда, о хлопке, — ответил Пулатов. — Интереснейший сюжет о том, как девушка-хлопкороб после уборки урожая поехала в Москву в числе передовиков сельского хозяйства, а там посетила выставку и полюбила одного молодого молдаванина, словом, тема более чем актуальная, о любви и дружбе...

— И он увезет девушку к себе домой? — спросил Эломонов.

— Несомненно, — был ответ.

Эломонову почему-то жалко стало героиню.

— Зачем вы бедную девушку отдаете чужому? — сказал он. — Я очень уважаю молдаван, вот возьмем товарища Виеру — хороший кадр, успешно руководит трестом, но вы, Буюкджан, ничего не сказали о профессии своего героя, может, это нехороший молдаванин?

— Профессия у него самая почетная, — ответил Пулатов, — парень из потомственных земледельцев, зовут его Василе, передовой виноградарь, и его, как и нашу героиню, наградили путевкой за лучшие показатели. Надеюсь, теперь вы не будете возражать?

Но Эломонову все равно было не по себе, что Пулатов так легко распоряжается судьбой девушки.

— Поймите, Буюкджан, — сказал он, — мне жалко эту девушку, пускай она остается дома и продолжает собирать хлопок, наверно, и здесь нетрудно будет подыскать ей жениха из передовых виноградарей?

Пулатов молча слушал его и вдруг засмеялся.

— Вот вам и сила искусства, Саидмурад Замонович! — воскликнул он. — Ведь эта девушка — всего лишь плод моего воображения, а вы сразу ее заревновали! Каково, а?

Эломонов устыдился своей недогадливости и признался, что Пулатов прав и что действительно смешно ревновать ту, которая не существует на самом деле.

— Нет, девушка существует, — возразил ему Пулатов, — поскольку сей образ есть типизированный сгусток героизма наших девушек-механизаторов, что равносильно фактическому существованию. Такая у нас интересная работа, Саидмурад Замонович, — добавил он, довольный произведенным эффектом. — Главное в ней — это возможность вариаций, где ты сам и за бога, и за пророка,

не говоря уже о разноликости паствы. Стоит мне захотеть, в данном случае — и вам, и мы поменяем девушку-хлопкороба на парня-хлопкороба, и тогда уже не она, а он поедет в Москву на выставку и полюбит такую хорошую молдаванку, как, скажем, Сафия Ротору!

— Наверно, как София Ротару, — не удержался Эломонов поправить соседа-драматурга, на что тот недовольно ответил: мол, это не суть важно, главное заключается в том, что она является молдаванкой.

— Захочу, пьесу переделаю в фильм, — заявил он уже без злости, — но и тут необходимо показать трудовой процесс более опосредованным путем, поскольку само хлопковое поле в натуральном его виде почти непригодно для художественных съемок — пыль, жара, комарье проклятое, смрад всяких пестицидов и гербицидов. А столица тем хороша, что там есть где укрыться, климат умеренный, да и самим киношникам в Москве дышится легче, нежели в знойном полевом стане какой-нибудь бригады номер пять.

Эломонов уже заскучал от мудреных речей соседа, он перевел взгляд на телевизор, который работал в углу комнаты, прислушался... Вихрем кружившиеся танцовщицы исчезли с экрана. Вместо них появилась Касыма и, взяв по левую сторону куколку с косичками, по правую — куколку в халатике и тюбетейке, начала свой знаменитый зачин: мол, было ли не было, наяву или во сне, некогда, в незапамятные еще времена, когда волк был кухмистром, медведь — банщиком, сокол — ябедой, ястреб — стражником...

— Неправильно, — поморщил нос Пулатов. Оказывается, он тоже слышал зачин сказки. — Нет у людей элементарной грамоты. Правильней будет, если сокол — стражником, ястреб — ябедой...

— Это же мелочи, Буюкджан, — сказал Эломонов, защищая Касыму. — Не стоит расстраиваться.

— Нет, это большая ошибка. Сокол — стражником, ястреб — ябедой.

— Почему именно «ябедой»? — спросил Эломонов.

— Не знаю, — ответил Пулатов. — Но все равно нельзя нарушать зачин. Надо полагать, что ястреб чуть мельче сокола-стражника, потому и может быть ябедой. Понимаете, он весом меньше сокола, следовательно, и характера соответствующего...

Эломонов не стал с ним спорить, кивнул, будто согласился. Между тем зачин сказки кончился, и Касыма

начала излагать несчастливую судьбу маленькой русалочки.

— Ерунда все это, к тому же вовсе не национально, — опять поморщил нос Пулатов. — Наши дети не знают русалочек. Причиной тому — отсутствие моря в данной местности. Аральское не в счет, оно давно уже не море, все мелеет и мелеет... Просто соленая лужа, где не то что русалочка, но даже обыкновенный сом скоро перестанет водиться!..

— Но это же сказка, Буюкджан, — тихо возразил Эломонов. — При чем тут Аральское море? Андерсена даже я знаю, детям своим читал...

— По-моему, детям лучше рассказывать про наших местных фей-пери или же про мальчика с пальчик. Вы согласитесь со мной, Саидмурад Замонович, зачем нам эти русалочки?

— Нет, и чужие сказки нужны, — не согласился Эломонов. — Ведь вы сами недавно говорили о дружбе народов.

— Я говорил о фактической дружбе, Саидмурад Замонович. Сказки же, должен вам заметить, большей своей частью сочинены в старые времена, они не отличаются особой идейной последовательностью. Позвольте вас спросить, товарищ Эломонов, вот вы, что вы лично понимаете о дружбе народов?

Эломонов, не ожидая такого вопроса, растерялся.

— Вот... была война... — сказал он чуть спустя. — Мы сплотились, как братья... Или берем недавние землетрясения, когда мы вместе отвратили беду.

— Правильно, — сказал Пулатов. — Вот это и есть настоящая дружба. Я именно об этом и написал.

— Нет, вы написали о выставке, Буюкджан, — возразил Эломонов. — Мне кажется, для того чтобы показать дружбу народов, необязательно женить один народ на другом. И без этой женитьбы можно любить.

— Вы что, товарищ Эломонов, против смешанных браков? — спросил Пулатов не без угрозы. — Удивляюсь, как вас такого столько лет держали на ответственных постах!

Упоминание о бывших постах сильно задело Эломонова, но он не выдал себя, а лишь грустно заметил:

— Ваши понятия о дружбе и любви несколько примитивны, дорогой Буюкджан.

— Не хуже ваших, однако! — разозлился Пула-

тов. — Я имею пять книг о любви. Написал семь пьес — все о любви. И вообще... Какое вы имеете право называть меня примитивным?

Эломонову почему-то смешно стало от гневной тирады соседа. Уж очень домашний был вид у Пулатова — в ярком халате из бекасама, с новым шелковым поясом через левое плечо, с узорчатой пиалушкой в руке, из которой не забывал хлебать чаю даже тогда, когда злился. Чтобы не рассмеяться, Эломонов опять посмотрел в телевизор, на увядшее лицо Касымы и тяжело вздохнул. «Ведь какая была красавица, — подумал он с грустью, — а что осталось?..» Казалось, она рассказывает не о бедной русалочке, которая превратилась в морскую пену, а о себе самой. И он не заметил, как у него вырвалось:

— Вот я, Буюкджан, я очень тоскую по ее молодости...

— О чем вы? — не понял Пулатов. — По чьей молодости?

— Тоскую, говорю, — повторил Эломонов и взглядом показал на изображение Касымы.

Пулатов удивленно посмотрел на Эломонова и расхохотался.

— Ну вы даете, товарищ Эломонов! — воскликнул он и ударил себя по колену. — Надо же, а? Тоскует?.. По ее молодости? Ну и весельчак вы, я вам скажу! Вспомнили, вижу, бурное свое прошлое? Ну-ка, рассказывайте, сосед, что у вас с ней было, рассказывайте, товарищ Эломонов, не стесняйтесь!..

Пулатов вплотную приблизился к нему, готовясь слушать.

— Нечего рассказывать, — сказал Эломонов. — Просто тоскую — и все.

— Нет, товарищ Эломонов, раз начали, так рассказывайте, — не унимался Пулатов. — С виду вы такой святой, ну прямо агнец! Но мы вас знаем, товарищ Эломонов, зна-а-ем, каким вы были проказником!..

— Зачем вы так? — обиделся Эломонов. — Вы же меня совсем не знаете.

Увидав, что Эломонов не склонен к шуткам, Пулатов сразу поостыл.

— Извините, Саидмурад Замонович, — сказал он. — Я просто пошутил. Сказать по правде, вы тоскуете по апогею человеческого духа, имя которому — прекрасное! Мы, труженики пера, хорошо знаем эту великую тоску.

— Прекрасное, говорите? — переспросил Эломонов. — Вы имеете в виду женскую красоту, Буюкджан?

— И не только ее, товарищ Эломонов...

— Объясните, Буюкджан.

Пулатов объяснил... Он протянул правую руку вперед и, опустив большой палец вниз, прочертил в воздухе изящный кружочек, равный примерно окружности лежавшей перед ним пиалы с чаем: прекрасное — это нечто такое... очень тонкое и нежное тоже счень, наличие которого утверждается лишь при восприятии высокого духа, только так, и никак иначе... Но Эломонов, к стыду своему, ничего не понял. Ему опять стало грустно.

Пулатов встал и выключил телевизор.

— Не обижайтесь, сосед, — сказал он Эломонову. — Мне пора за работу сесть.

Эломонов простился с ним и вернулся в свою квартиру. Когда он вошел, Бинафша-ханум сидела на своем любимом фигурном диванчике, в голубом шифоновом платье, источающая густой аромат французских духов. И она, сияя от радости, одарила мужа лучезарной улыбкой, что бывало крайне редко, разве что по большим праздникам. Эломонов сказал:

— Вижу, и вы закончили новую пьесу, ханум?

— О да, мой принц, — ответила Бинафша-ханум счастливым голосом, — из двух действий и одиннадцати картин. Вот ее примут, и я вас завалю звонкой монетой!..

Эломонов не имел обыкновения тратить деньги жены, поэтому позволил себе снисходительно улыбнуться:

— Благодарю вас, ханум, но пока вы мне объясните, что такое прекрасное, а вот наш сосед, хоть он и семь пьес написал, не смог это сделать.

Бинафша-ханум почему-то зарделась и кокетливо замахала рукой:

— О нет, мой принц, я уж давно не блещу той красотой!

— Да я не о том, ханум, — опрометчиво сказал Эломонов, — я о красоте вообще.

Такая бестактность, понятное дело, не могла не обидеть Бинафшу-ханум.

— Что вы морочите себе голову подобными вещами, — сердито сказала она, — зачем вам красота и все прочее, когда вы одеты и обуты? Зачем, когда вы ничего в ней не смыслите? Обойдетесь и без прекрасного, ведь вы не собираетесь писать роман?

— Нет, не собираюсь, — миролюбиво ответил Эломонов, — не мое это дело.

— И правильно делаете, — не преминула Бинафша-ханум еще раз уколоть мужа, — с вас хватит и одного заявления!

— Увольте, ханум! — вспыхнул и сам Эломонов. — Доколе могут продолжаться эти ваши упреки?

— Всю жизнь, — заявила Бинафша-ханум и топнула ногой. — Если хотите, и на том свете!..

Эломонов понял, что назревает скандал, и предпочел за благо пройти в кабинет и запереться. Там он убрал со стола пишущую машинку Бинафши-ханум, положил перед собой чистый лист бумаги и начал его заполнять размашистыми подписями. Эта привычка помогла ему рассредоточиться, отдохнуть от грустных мыслей. Ее он перенял у своего друга Шамси Тураева, с кем работал бок о бок много лет, пока того не перевели в Бухару. Тураев был веселого нрава человек, все шутил: «По пустякам не нервничайте, Саидмурад Замонович, забот в этом мире никогда не убавится, вы с одной покончите, так вторая появится, давайте же оставим работу и тем, кто придет после нас, будьте выше всяких сплетен и склок, не горячитесь и не спорьте, вот вам пример в пользу моих слов: жили на свете Дидро и д'Аламбер, оба французы, оба великие, всю жизнь только и делали, что спорили между собой, а кончилось тем, что оба померли. Так что, Саидмурад Замонович, садитесь за стол и упражняйтесь в подписи, дело это не лишено практической пользы, это, если хотите, целое искусство, ведь подпись человека есть своего рода зеркало его души, стоит мне посмотреть на чью-нибудь подпись, так мигом скажу, как он чувствовал себя в тот момент, когда водил пером, не дрожала ли при этом его рука, хорошо ли он сидит на своем месте. Так-то, Саидмурад Замонович, слушайте моего совета, закрепите свой росчерк — и никогда не пожалеете».

Эломонов, держа красный карандаш прямо, стал подписываться толстыми, но одинаково изящными линиями. Затем, заполнив лист, выругался:

— К черту подпись, ежели она не имеет уже никакой силы!..

Сломал карандаш и выбросил в угол. В это время из-за дверей донесся приглушенный голос жены:

— Не обижайтесь, Саид-ака, вы же не ребенок. Вот,

товарищ Суюмов выступает... тоже о красоте, о внутренней красоте...

Эломонов через силу улыбнулся:

— О кишках, что ли?..

— Профессор говорит о душе, это вы о кишках думаете!..

Эломонов пожалел о сказанном и добавил:

— Простите меня, ханум, я, кажется, недостоин быть мужем поэтессы, да еще красавицы...

— Полно, Саид-ака, не подхалимничайте, я вас уже простила.

Так сказала Бинафша-ханум и тихонько постучала в дверь. И стук этот показался Эломонову несколько игривым, пожалуй, даже шаловливым... Он смягчился, скомкал и выбросил в корзину бумагу с подписями и пошел открывать дверь. Бинафша-ханум была одета уже в другое платье, сиреневое, тоже из шифона, на шее — украшения, кои она надевала только тогда, когда писала стихи. Вся такая нежная и нарядная, будто сказочная фея, отворившая в полночь двери спальни сказочного царевича, она вошла, нет, вплыла в объятия мужа. Эломонову ничего другого не оставалось, как обнять ее.

— Не надо, Саид-ака, — сказала Бинафша-ханум смущенно, — разве так можно, ведь мы уже бабушка и дедушка...

И голос ее, вкрадчивый и нежный, и тело ее, такое мягкое и податливое, показались Эломонову такими прекрасными, что он чуть не задохнулся от нахлынувшего волнения. Закрыв глаза, но почему-то представил в объятиях не жену, а Касыму, ту, давнишнюю Касыму, двадцатилетнюю красавицу. Что-то больно резануло по сердцу. Эломонов застонал и сквозь щемящую боль и тоску опять подумал о жгучих завитушках Касымы и пробормотал:

— А что, ханум, если... если вы завьете себе волосы? Бинафша-ханум резко отстранилась от мужа.

— Что-о? — гневно спросила она. — Завитушки? Вы, Эломонов, хотите, чтобы я стала похожа на какую-нибудь кокотку?!

Эломонов покраснел — жена будто прочла его мысли, хотя он никогда не позволил бы называть кокоткой несравненную Касыму двадцатилетней давности.

— Почему же? — попытался он возразить. — Можно быть кокоткой и без всяких завитушек...

— Хотите сказать, что я уже кокотка?

— Нет, ханум, ничего я не хочу сказать, к примеру только...

— Может, вспомнил какую-нибудь любовницу с завитушками?

— Зачем вы так, ханум, — несмело возразил Эломонов. — Вы же знаете, что у меня нет и не было любовниц. Может, и было, что смотрел на красивых женщин, но я ни на минуту не забывал о чести нашей семьи.

— Замолчите, Эломонов! Не хочу с вами разговаривать!

Бинафша-ханум отвернулась от мужа. Хоть она и отвернулась, Эломонов почувствовал, что последние его слова понравились жене. Он взял ее за плечи и повернул к себе. Бинафша-ханум улыбнулась, убрала седую волосинку с лацкана пиджака мужа и тихо произнесла:

— Я знаю, Саид-ака. Простите, я немного погорячилась...

Саидмурад Эломонов, единственный сын галатепинского пастуха Замона Эломонова, несмотря на солидную должность в горисполкоме и тайную надежду о дальнейшем росте, был довольно неприметным и нерешительным человеком и долгое время оставался вне поля зрения прекрасного пола. Когда они познакомились с Бинафшой-ханум, ему было немногим за тридцать. Случилось это в здании местного театра, на поэтическом вечере, организованном по его же инициативе. Молодая, бойкая Бинафша прочла тогда на одном дыхании целых пять стихотворений, тогда как другие поэты, смущаясь и заикаясь, прочли лишь по одному, от силы по два... Зал ей щедро аплодировал. Лица юных студенток, заполнивших зал, светились доброй завистью к поэтессе. «Запомните ее, товарищ Эломонов, — шепнул ему Имам Ходжаев, лысый старик поэт, который вел этот вечер, — запомните Бинафшу, это и есть восходящая звезда нашей поэзии». Эломонов запомнил. И сразу же после вечера Имам Ходжаев привел Бинафшу к Эломонову и представил...

И они стали встречаться, сначала редко, а затем все чаще и чаще, чуть ли не ежевечерне. Зима уже кончилась, и было приятно ходить по тихим аллеям, пахнущим свежей листвой. Бинафша читала ему свои новые стихи о звездах, о ветрах, о речках и об утренней росе. Голос

у нее был приятный, с едва заметной хрипотцой, как, впрочем, и у многих поэтесс ее поколения. От ее странноватых, но одинаково красивых слов, от ее нежных придыханий между междометиями Эломонова охватывала доселе незнакомая дрожь, он чувствовал себя так, будто попал в Эдем, и думал про себя: «Надо же, брат, а ведь ты мог бы прожить всю жизнь и не знать всего этого чудесного!..»

Прошла весна, прошло лето, а осенью Эломонов решил раскрыться своим друзьям, как он сам тогда выразился, на предмет выбора: мол, не исключена возможность законного брака с рекомендуемой особой. Те долго не стали думать и сказали: «Ты, Саидмурад, никакой не Юсуф Прекрасный, чтобы выбирать женщин, она молода и миловидна, одно только плохо, что хрупка, но ты же не собираешься запрягать ее в арбу. Женись, Саидмурад, пускай она народит тебе кучу детей. Ерунда, что стишки пишет, может, еще и образумится».

Словом, друзья не возражали против его выбора. Но Эломонов еще целый год провел в размышлениях. Свою медлительность он объяснял финансовыми затруднениями: мол, денег маловато для хорошей свадьбы. Назвать истинную причину своей нерешительности он просто не мог. Дело в том, что Бинафша однажды в пылу откровенности нечаянно призналась ему, что до него она дружила с одним из своих коллег, неким Усманом Асимом. «Поэт он, может, и неплохой, — сказала она, — но сам — подлец подлецом, вообще, все поэты такие же, один другого краше...» — «Одумайтесь, Бинафша, — сказал ей Эломонов, — нельзя же из-за одного нехорошего человека ругать всех поэтов, ведь вы сами поэт...» — «Нет, я — поэтесса, — гордо ответила Бинафша, — поэтессы лучше поэтов, бог наделил их особой чуткостью и милосердием, хотя, по правде сказать, бог тоже большой подлец, иначе он повернул бы судьбу так, чтобы мы с вами встретились намного раньше». — «Полно, Бинафша, полно, мой цветочек¹, — сказал Эломонов, — как можно называть подлецом того, кто даже номинально не существует?» Бинафша чуть смягчилась. «Давайте забудем об этом, — улыбнулась она, — это я говорю о боге в смысле судьбы». — «Тогда можно, — согласился Эломонов, — в смысле судьбы еще можно говорить...»

Через некоторое время Бинафша опубликовала в тол-

¹ Бинафша — фиалка.

стом журнале большое стихотворение, которое называлось «Любовь» и имело под заголовком маленькое семипетитное посвящение: «Саидмураду Эломонову», что сделало их отношения достоянием гласности и ускорило дальнейший ход событий. Эломонову позвонил тогдашний первый человек Оазиса, ныне покойный Хушвакт Давлатов, и поздравил, как он выразился, «со счастьем быть объектом внимания молодой поэтессы» и намекнул, что ему, молодому ответственному работнику, тем более коммунисту, надлежит оправдать столь нежное доверие во избежание кривотолков. «Вы не думайте, Саиджан, что я вам навязываю вашу будущую жену как партийную нагрузку, — пошутил товарищ Давлатов, — нет, скорее всего, это общественное поручение, отеческий совет, если хотите, поскольку я наслышан о вашей нежной привязанности к молодой поэтессе, словом, я вас обоих люблю и буду рад вашему союзу».

Сыграли свадьбу... В первую ночь у невесты, несмотря на все ее старания, обнаружился крохотный изъян, который в иные времена привел бы к недоразумению: если не весь Оазис, то хотя бы мужа новобрачной, но Эломонов, хотя как муж немного и обиделся, побоялся разговоров и решил промолчать, а разводиться позже, как только случится другой, более или менее приличествующий, повод. К счастью, Бинафша больше никаких поводов не давала, ходила тихая, печальная, и весь ее вид говорил о том, что она не меньше мужа страдает за былую оплошность. Эломонов был человеком мягкосердечным, и ему ничего не оставалось, как пожалеть жену и забыть о своем недавнем решении.

Бинафша-ханум родила ему двоих детей — сына и дочь. Из сына сделали востоковеда, затем женили его и отправили на работу в одну из восточных стран. Теперь — черед дочери. Через год она окончит институт, а все без серьезных поклонников. Сам Эломонов, когда еще был при чине и почете, обратил внимание на двух молодых людей, работавших под его собственным началом, парни были порядочные, умные, с хорошими перспективами, он даже приглашал их к себе домой, знакомил с дочерью... Но парни эти почему-то не понравились жене, и она забрала их обоих: «Не годятся, Саидака, найдите жениха из хорошей семьи, а эти нам не равня, у одного отец чабаном умер, у другого — мать уборщицей в школе...» Эломонов попытался образумить ее: «Вы чабана и уборщицу оставьте в покое, ханум, я сам

родился и рос среди овечьего помета, а вроде ничего, на судьбу свою не жалуясь, вы посмотрите на них самих, ханум, это очень хорошие ребята, пожалесте потом!..» Но Бинафша-ханум была непреклонна: «Говорят, одному разбили нос, а он давай кричать: «Ой, моя спинушка!..» Так-то, Саид-ака, — подчеркнула Бинафша-ханум еще раз, — грош же цена вашим кандидатам, если у них за спиной нет влиятельного человека!» Эломонов рассердился: «Узко мыслите, ханум, вот у меня самого, не было же у меня никаких радетелей, сам всего добился, разве сейчас такое время, чтобы...» Бинафшахон лишь посмеялась его наивности: «То было раньше! День со днем не сходится, не дай бог, конечно, но вдруг с вами случится беда, посмотрим тогда, как вы будете плясать, ведь и у вас никого нет за спиной!..»

Видать, плохо тогда напророчила Бинафша-ханум. Настал такой час, когда на голову Эломонова посыпался град сплетен и насмешек. Большие были сплетни, с размахом и габаритом, как говорится, недаром Эломонов был чуть ли не самым известным человеком во всем Оазисе. Особенно замечательны были слухи о том, будто в квартире Эломонова нашли целый сундук золота, слиток на слитке, только без известного штампа, видимо, хозяин кустарей заставил поработать... Тогда Эломонов переживал самые черные дни, но при этих словах не удержался от смеха — ведь у него не то что слитка золота, даже золотых часов не было, а носил он старые, марки «Победа», которые еще в студенческие его годы подарил покойный дядя, подарил спьяну, но потом, протрезвев, устыдился обратно потребовать. Разумеется, он делал подарки жене и дочери по праздникам, но все золото могло бы поместиться на одной ладони, это вам еще не сундук золотых слитков. Слава аллаху, еще не запретили женщинам носить украшения.

Словом, весь Оазис был полон слухов о крезовских богатствах Эломонова. Все смотрели на него, все говорили о нем, и в один прекрасный день он заметил, что даже Хурсаной, родная дочь, тоже косится с явным подозрением, будто упрекает: мол, что ты, отец, кормил свое дитя нечестным хлебом?..

Лет двадцать тому назад Раим Хайбаров, бывший раис галатепинского колхоза, имел кратковременную беседу с Эломоновым по просьбе его тети и в заключение

говорил: «Саидмурадбай, тебе же самому лучше будет, если ты останешься при нынешнем своем скромном чине, жизнь — это все равно что полет птицы, да только птицы бывают разные, беркуту нужны высота и простор, и летает он далеко, а вот воробышку достаточно и того, что он может перелететь через дерево и сесть на соседнем. Я не знаю пока, что ты за птица, но, видать, коготь у тебя не очень-то крепкий. Твой отец Замонбай хоть и простой чабан, но был со сметкой, я что-то не вижу того качества у его сына. Слов нет, Саидмурадбай, ты уже научился начальническим повадкам, но этого еще мало, ты слишком мягок, чтобы быть большим начальником, пока еще ничего, но потом, когда ты достигнешь большего и будешь причастен к судьбам многих, когда тебе, такому большому, перестанут говорить правду, как же тогда тебе быть, сможешь ли сам, своим умом, отличить хорошее от плохого?»

Саидмурад Эломонов, молодой еще руководитель, полный надежд и энергии, хохотал тогда над словами Раима Хайбарова: «Вы просто спятили, почтенный, не мерьте всех по своему аршину, надо быть шире, уж очень много на свете добрых людей!..»

Раим Хайбаров эти доводы нашел разумными и сказал: «Ты прав, Саидмурадбай, и хорошие люди есть, но упаси боже даже от одного плохого человека!»

Саидмурад Эломонов опять захохотал. И, глядя на старое, сморщенное лицо Хайбарова, на его замусоленную тубетейку, снисходительно ответил: «Ваши понятия сродни вашей личности, почтенный, то есть они очень устарели, и никто не давал вам право разговаривать со мной в таком духе».

Раим Хайбаров сказал: «Опять ты прав, Саидмурадбай, никто не давал мне такое право, да вот только твоя тетя, Каромат, попросила меня поговорить с племянником и установить точную его цену. Как я мог отказать доброй женщине?»

Саидмурад Эломонов брезгливо поморщился и ответил: «Ваше мнение, почтенный, может, и имеет силу в Галатепе, но не за его пределами, со мной беседовали и другие люди, покрупнее и поумнее вас!»

Раим Хайбаров на это ответил так: «Саидмурадбай, те умные и крупные люди не сказали тебе всю правду, я прекрасно знаю, что мои слова уйдут на ветер, уж не ругай меня, если тебе не угодил. Есть у меня четверо сыновей, если хоть один из них прислушается к отцу — это-

го мне вполне достаточно, а теперь ты иди, Саидмурадбай, иди и впредь разговаривай только с теми крупными людьми!»

Саидмураду Эломонову захотелось наговорить ему много горьких слов, но он сдержался и молча вышел со двора Раима Хайбарова. Тот даже не встал его проводить, остался на высокой супе под старым тутовником, ветви которого были начисто вырублены для корма шелкопряда. Вернувшись к тете, он обругал ее за недоверие. Но она будто не слышала его, быстро расстелила дастархан, вынесла еду, сладости и, потчюя племянника, спросила: «Как, сынок, беседа твоя понравилась Хайбарову?» У Эломонова не хватило смелости сказать правду, и он пробормотал нечто мудреное: «Вроде того, тетя, вы же сами знаете, тетя, что он из тех, про кого сказано — с коня свалили, а с седла не сняли». Тетя не заметила его досаду, обрадовалась. «Я знала, что ты ему понравишься, — сказала она, — дай бог теперь удачи в промысле твоём, сынок, пусть звезда твоя воссияет ещё ярче, пусть твои враги будут в дреме, пока не вынули души из поганых их тел!..»

Раим Хайбаров был человеком гордым, со злой и твердой памятью, и он не простил Эломонову нанесенную им обиду, перестал его замечать. Так было до самой смерти старика. Бывало, они виделись у кого-нибудь на свадьбе или в трауре, Эломонов первым приветствовал его, но Хайбаров вместо ответного приветствия схидно посмеивался: «Да возвыситесь вам еще выше, Саидмурадбай! Каких-то лет двадцать человек был главой маленького Галатепе, а возомнил — всему свету голова». Да ладно, шут с ним, со стариком, его уже нельзя было переделать, но даже сыновья его избегали разговора с Эломоновым. Со старшим из них, Ташпулатом, Эломонов был немного знаком — видел на встречах земляков за пловом в чайхане, куда он регулярно ходил, пока занимал более скромные посты. Потом Ташпулата потерял из виду. «У младшего Хайбарова маленькая трагедия, — рассказывал ему Мурад, земляк из соседнего Джама, — сго невзлюбили старшие коллеги и могут вытурить из института». — «Почему же тогда ко мне не приходит? — недоумевал Эломонов. — Может, что и посоветовал бы, если не ему, так тем большим ученым?..» — «По той же простой причине, — объяснял Мурад из соседнего Джама, — что я никогда не буду просить вас, скажем, помочь с квартирой, хотя лет пятнадцать живу

по чужим углам, тяжело быть чьим-то должником, Саидмурад Замонович, и лишиться нормального сна, а младший Хайбаров, насколько я его знаю, большой любитель поспать по-человечески». — «А вы подействуйте на него, — сказал Эломонов Мураду из соседнего Джама, — вдруг он передумает и придет?» — «Поговорю, — пообещал Мурад из соседнего Джама, — но боюсь, что ничего не выйдет».

Долго ждал Эломонов тогда Ташпулата. В те дни Эломонов был в зените своей славы, его Оазис процветал, и ему ничегошеньки не стоило превратить маленькую трагедию Ташпулата в большой праздник, но тот так и не пришел... А предпринять что-либо самому в поддержку парня Эломонов не захотел — не позволило самолюбие.

Теперь, оглядываясь назад, Эломонов с горечью думает о покойном Хайбаре-старшем, полуграмотном и не менее упрямом, чем его старший сын, и признает, что старик, при всей его вредности, все-таки не был полным невеждой. Слова Раима Хайбарова сбылись полностью. Настал такой час, когда Эломонов действительно возвысился, и перестали люди говорить ему правду. Врагов еще можно понять, они из чувства мести не захотели сказать правду, но ведь друзья тоже молчали, уж они-то были людьми добрыми и могли бы смело заявить: открой глаза, Саидмурад, одной твоей честности мало, смотри в оба, дабы не надули тебя, простачка! Но они, странное дело, ничего не сказали. И те и другие любил хвалить Эломонова — это точно. Раз так, друзья, вполне резонно будет спросить: есть ли вообще разница между добрыми и недобрыми людьми?

Выходит, нет никакой разницы?

Правда, нашелся тогда один-единственный человек, чудаковатый тракторист из Хандалака, который осмелился сказать ему правду. Весь обросший, в замасленном комбинезоне и грязных сапогах, он ворвался в кабинет Эломонова. Секретарше, преградившей было ему путь, пришлось отступить из-за боязни испачкаться. Вошедший держал в руках нечто тяжелое, обмотанное старой тряпкой. Безо всяких приветственных церемоний он стал перед хозяином кабинета и заявил:

— Механизатор я, приехал в гости в ваш город, за запчастями приехал, вот и думаю: дай-ка я зайду и к Эломонову!

— Добро пожаловать, товарищ механизатор. — Эло-

монов встал и подал ему руку. Ему почему-то симпатичен был этот простоватый человек, нечаянно нарушивший казенную тишину его огромного кабинета. — Пожалуйста, садитесь.

— Времени нет, — отказался механизатор от приглашения. — Значит, Эломонов вы будете?

— Я самый, — улыбнулся Эломонов и тоже продолжал стоять. — Ну, товарищ механизатор, как вам трудится на хлопковом поле?

— Трудится хорошо, — ответил механизатор, — да вот дела совсем неважны.

— Ийя! — удивился Эломонов. — Интересно вы говорите, товарищ механизатор, разве там, где хорошо трудится, дела могут быть неважными?

— Это хороши наши дела, живых людей, — с досадой ответил механизатор, — а вот у умерших совсем неважно.

— Не понял?..

— Сейчас поймете, товарищ Эломонов. Сто двадцать человек из нашего кишлака не вернулись с войны. Мы, живые, хотели обрадовать души погибших, собрали деньги на памятник, но его так и не построили.

— Жаль, что так получилось, — сказал Эломонов. — Мы вам непременно поможем. Скажите, откуда вы сами?

— Из Хандалака... — сказал механизатор, чуть-чуть смущаясь. — Не думайте, что наш кишлак маленький, как хандалак¹, нет, назвали так просто потому, что эти дыньки получаютя слаще, чем где бы то ни было, земля у нас хорошая, товарищ Эломонов. А так кишлак наш большой, в последнее время совсем уже разросся. Сто двадцать наших парней погибло на войне, думали, хоть маленький памятник им поставим, деньги собрали, но их съел ваш зам... этот... Кошшаев Худоёр...

— Вы бы поосторожней в выражениях, — сказал Эломонов, не веря своим ушам. — Такие слова не делают чести передовому механизатору. Сами подумайте, такой авторитетный товарищ, как Худоёр Кошшаев, откуда он мог взяться в вашем... как его... Хандалаке?

— Кошшаев родом из Хандалака, — ответил механизатор. — Сперва он был такой же простой человек, как и я, потом он подрос, а так и в Хандалаке поработал порядочно.

¹ Сорт маленьких скороспелых дынь.

— Когда? Когда товарищ Кошшаев работал в вашем Хандалаке?

— Лет десять тому будет. Сначала учителем был, потом председателем стал, позже объявился здесь.

— А деньги когда он съел?

— И тому лет десять будет.

— Станный вы человек, товарищ механизатор, где вы были десять лет назад, почему раньше не приходили?

— Другие молчали, а я... у меня не было времени, товарищ Эломонов. До вас же далеко, километров полтора. Сегодня вот поругался с механиком, подлец он такой, запчасти не дает, ни мне, ни Вафо из соседней бригады, вот и не вытерпели, и вдвоем — айда!.. Вафо мне сказал: «Не шути с Кошшаевым, правой рукой Эломонова, они вдвоем могут и за решетку тебя посадить!» Но я его не послушался, пришел к вам. Ведь в Москву еще рано писать, товарищ Эломонов, если вам не верить, то кому еще можно верить? Плохо делаете, что пригреваете у сердца этого Худоёра. Он — змея, я вам скажу!..

Эломонов не знал, что ему делать. Спросил фамилию механизатора. Тот ответил вполне ясно: Самадов, Самадов Пулат. Спросил о плане колхоза — ответил, спросил про урожайность — опять-таки ответил. На пьяного вроде не похож, правда, говорит невпопад, но мысли вроде все понятные. Для серьезного разбора у Эломонова мало было времени — он должен еще завизировать некоторые бумаги, прежде чем отправить их в прокуратуру, сидеть в президиуме трех собраний, потом надо идти в театр, Бинафша-ханум просила, сегодня в полдень состоится первая репетиция ее новой пьесы, — словом, дел у него по самое горло... Пришлось взять бланк со своими титулами и написать несколько слов.

— Спасибо, что зашли, товарищ Самадов, — сказал он механизатору. — Берите эту бумажку и поезжайте в свой райисполком. Передайте председателю записку и мой личный привет, и он построит вам памятник, памятник получше, чем вы сами задумали.

— А Худоёр? — недоуменно спросил Самадов. — Деньги он не вернет, что ли? Это очень хорошие деньги, товарищ Эломонов, и не потому хорошие, что большие, а потому, что мы их собрали всем миром, у кого отец погиб, у кого сын, брат... Зачем нашему государству быть внакладе из-за Худоёра?

— Будьте уверены, товарищ Самадов, мы все уточ-

ним, — сказал Эломонов. — Если ваши слова подтвердятся, то Кошшаеву несдобровать. А вы продолжайте спокойно трудиться, доброго вам урожая.

Механизатор ушел от него довольный. Эломонов вышел из своего кабинета, поздоровался с очередью в приемной и открыл дверь своего заместителя. Кошшаев с кем-то говорил по телефону. Увидев Эломонова, он прервал разговор и поспешил ему навстречу:

— Слишком много чести для нас, Саидмурад Замонович, сказали бы секретарше, я бы сам вышел к вам...

Эломонов сел в кресло и спросил у своего заместителя, стараясь смотреть на него в упор:

— Вы в Хандалаке работали, товарищ Кошшаев?

— Да, — ответил Кошшаев. — Сперва учителем работал, затем короткое время был райсом... Потом перевели в район, пока не пригласили сюда.

— Пришел человек из Хандалака. Говорит, будто они собрали всем кишляком деньги на строительство памятника погибшим воинам, но эти средства съел мой заместитель.

— Что, поклясться мне? — спросил Кошшаев, бледнея.

— Клятва — вещь чрезвычайная, — сказал Эломонов, — она может и повредить, ведь у вас жена, дети. Есть такое поверье у народа.

— Тогда скажите Облокулу Бозоровичу, пускай заведет на преступника уголовное дело, — сказал Кошшаев обиженно. — Так за чем же дело стало, распорядитесь!

— Я еще не сказал, что вы совершили преступление, — смутился Эломонов. — Но сигнал остается сигналом. Пришел механизатор из Хандалака, Самадов его зовут.

— Самадов, говорите? — удивился Кошшаев. — Самадова я хорошо знаю. Это очень порядочный человек, зря говорить не станет. Похоже, дело серьезное, Саидмурад Замонович. Я не смею назвать Самадова клеветником, но...

— Короче, вы эти деньги не присвоили, так?

Кошшаев не ответил. Достал из кармана пиджака бумажник и протянул Эломонову маленькую пожелтевшую фотографию.

— Это мой отец, Саидмурад Замонович, — глухо проговорил он. — Звали его Кошшабай-большевик. С войны не вернулся. Мать умерла в пятидесятом году. Трое детей остались сиротами, сами себя взрастили. Хорошо,

что родились в наше время, иначе бы... Вы уж не обес­судьте, Саидмурад Замонович, если я скажу, что стар­шим из трех сирот был я сам и что основная тяжесть вы­пала на мою долю. Говорят же, судьба старшего — всех женить, младшего — всех хоронить...

— Не надо, Худоёрджан, — взмолился Эломонов. — Я вам верю.

— Нет, теперь дайте и мне высказаться, Саидмурад Замонович, — сказал Кошшаев. — На той проклятой вой­не мы потеряли двадцать миллионов человек. Сто двад­цать из них — из моего родного Хандалака. Сами по­думайте, Саидмурад Замонович, неужто я способен посягнуть на последнюю долю погибших, на долю более чем священную?!

Эломонов увидел полные слез глаза Кошшаева и от­вел взгляд в сторону.

— Полно, Худоёрджан, не расстраивайте меня, — ска­зал он, — и сами не мучайтесь. Если надо, мы примем меры к Самадову за злостную клевету.

— Пожалуйста, вы его не трогайте, — сказал Кош­шаев. — Думаю, эта мысль принадлежит не ему одному. Помнится, месяц назад, когда я был в Хандалаке, ко мне пришли почтенные старцы кишлака и немного пожалова­лись на своего нового председателя.

— Председатель плох, а в чем же тут ваша вина?

— Вы еще не знаете этих лукавых дехкан-земледель­цев, — грустно улыбнулся Кошшаев. — Это с виду они та­кие простоватые. Они хотят, чтобы я вернулся в родной кишлак и вновь стал у них председателем...

— О чем вы говорите, Худоёрджан, мы не можем вас отпустить!..

— Я и это говорил им, чуть ли не на коленях умолял, но они даже слушать не хотят. Теперь, как сами видите, клеветают на меня... с добрым умыслом.

— Ийя! — удивленно воскликнул Эломонов. — Значит, все эти слова есть своего рода тактика?

— Угадали, — подтвердил Кошшаев. — Тактика, хотя и не очень чистая в смысле выбора средств. Они надеют­ся, будто из-за этого наговора могут меня уволить с ны­нешней работы и забрать к себе в председатели... Я по­нимаю, Саидмурад Замонович, суть их желания вполне положительна, разумеется, в масштабах маленького Хан­далака. А с этим Самадовым, если признаться, мы учи­лись в одной школе, он не лишен дара лицедейства, не­даром был первым среди членов местного драмкружка!..

— Вот это да! — сказал Эломонов с умилением. — Чудесный у нас народ, Худоёрджан! И главное — с большим юмором! Надо же, а? Любят человека — и клеветают на него! Где еще такое можно увидеть, кроме как у нас на Оазисе? Поклеп из-за добрых намерений! Так вроде называется?..

— Вам лучше знать, Саидмурад Замонович, — скромно ответил Кошшаев. — И они по-своему правы, хотя я не могу похвастать, что мне много удалось сделать для родного Хандалака, недолго там проработал, всего семь лет... А здесь, сами понимаете, надо думать шире и не об одном только Хандалаке, но в душе патриотом своего родного кишлака я все же остался.

— Вы правы, Худоёрджан, надо думать шире, — согласился Эломонов. — Но, при всей своей благожелательности, ваши односельчане поступают неправильно. Мы не можем свои кадры раздаривать колхозам, им и здесь работы хватает. Потом, согласитесь, здесь гораздо больше возможностей, здесь вы принесете более ощутимую пользу обществу, нежели в своем кишлаке. У меня к вам просьба, Худоёрджан, передайте своим односельчанам, чтобы впредь действовали поосторожней, добрые намерения добрыми намерениями, но все же некрасиво наговаривать в адрес руководящих кадров. Учреждение наше более чем серьезное, и мы должны беречь как зеницу ока его честь и славу.

— Я учту, — пообещал Кошшаев. — Передам вашу просьбу, думаю, они поймут. Займусь и вопросом памятника. Деньги давно уже собраны, они находятся у одного надежного человека, надо поторопиться со строительством. Теперь другой вопрос, Саидмурад Замонович, который требует вашего мудрого совета... Что, если мы действительно поможем им заменить председателя?

— Неужто он так уж плох?

— Хуже некуда, Саидмурад Замонович. Народ им недоволен. Хотели обратиться с коллективным заявлением, но я еле отговорил.

— Тогда дела плохи, надо им порекомендовать хорошего человека, — сказал Эломонов. — Может, у вас есть кто на примете?

— Есть. Младший брат товарища Олджабаева, но дело не в родстве, сам он очень достойный человек.

— Порекомендуйте, — разрешил Эломонов. — Если он понравится людям, то мы не станем возражать.

— Сделаем так, чтобы он понравился, — улыбнулся

Кошшаев. — Но вы, Саидмурад Замонович, пожалуйста, забудьте про шуточку Самадова. Гад буду, если посягну на те деньги, ведь тогда зависнет надо мной вечное проклятие двадцати миллионов погибших!..

Эломонов так и запомнил на всю жизнь: вечное проклятие двадцати миллионов погибших. Но пока оно зависло над Кошшаевым, тот еще три года жил в свое удовольствие. За это время он сделал брата Олджабаева председателем колхоза в Хандалаке, а тамошнего кассира посадил в тюрьму, обвинив его в хищении средств для постройки памятника. И много чего он еще успел сделать, о чем стало известно лишь позже, на судебном разбирательстве, которое длилось чуть ли не два месяца.

Эломонов помнит и второй приезд механизатора Самадова, который заступился за арестованного кассира, но он, помня слова своего заместителя, опять-таки не поверил ему.

— Оставьте вы эти шуточки, товарищ Самадов, — сказал тогда Эломонов. — Мне уже докладывали, памятник погибшим воинам уже построен.

— Памятник построили, — подтвердил механизатор, — но построили его за счет государства.

— Главное, памятник уже есть, — сказал Эломонов, желая быстрее закончить разговор. — Виновники уже наказаны. Вы лучше скажите, как работает ваш новый председатель?

— Мы его работу толком еще не увидели, — ответил Самадов. — Пока строит себе хоромы, как отстроится, тогда и посмотрим, на что он способен. Но, товарищ Эломонов, кассир наш пострадал зря, детей у него много, сам он инвалид, без одной ноги, мы уже отказались от тех денег, но ваш зам никак не соглашается.

— И правильно делает, — сказал Эломонов. — Среди жертв войны, кому вы воздвигли памятник, есть и его отец — Кошшабай-большевик.

— Как? — удивился Самадов. — Кошшабай-керосинщик умер же в пятьдесят шестом году. Да не был он на войне. Вы посмотрите на метрику Худоёра, он же сорок третьего года рождения. Откуда ему было родиться, если Кошшабай-керосинщик был на войне?..

— Надо знать меру, товарищ механизатор! — одернул его Эломонов, краснея от гнева. — Вы не клеветеете на

товарища Кошшаева! Он уже раз за вас заступился, а вы...

С этими словами он нажал кнопку вызова. Вошла секретарша.

— Скажите, Хадича-апа, пускай войдет следующий! — велел ей Эломонов, затем обратился к Самадову: — Я думал, вы порядочный человек, товарищ Самадов, но, вижу, жестоко ошибался. Идите. И больше не приходите сюда с подобной чепухой!..

— И я думал, что вы порядочный, товарищ Эломонов, — сказал Самадов, побледнев от обиды. — Но вы оказались не лучше Худоёра, этого сына блуда!

— Уходите! Грош цена вашему лицедейству! — закричал Эломонов. — Идите, мне вам нечего больше сказать!..

— Зато мне есть что вам сказать! — ответил ему Самадов. — Я еще вам доскажу, товарищ Эломонов, что о вас думаю, доскажу, только в другом месте!..

И действительно, через три года Самадов досказал недосказанное и сделал это в совершенно другом месте — в кабинете прокурора Облокула Бозорова, куда Эломонова пригласил следователь по особо важным делам, приехавший из центра для расследования дела Кошшаева.

— Эломонов виноват не меньше Кошшаева, — заявил тогда Самадов следователю из центра. — Я ему говорил, что за птица этот Худоёр, дважды говорил, но он выгнал меня из своего кабинета. Эломонов знал, что кассира несправедливо арестовали. Вон кассир наш сам здесь сидит, инвалид войны, недавно помиловали, но отсидеть-то два года он отсидел. Вот вы, Холмат-ака, скажите этим людям, разве вам не было обидно зря отсидеть два года за решеткой?

Самадов повернулся в угол кабинета, где, поставив рядом костыли, сидел пожилой человек. Тот ничего не сказал, лишь слегка махнул рукой — жест этакого богача, потерявшего одного барана из тысячной отары.

— Вот вы, товарищ прокурор-ака, — обратился теперь Самадов к Облокулу Бозорову, — спросите-ка товарища Эломонова, что он на это скажет?

Облокул Бозоров, многолетний друг Эломонова, тяжело вздыхая, спросил:

— Самадов правду говорит, Саидмурад Замонович?

— Правду, — признался Эломонов. — Самадов говорит одну только правду.

— Значит, вы и раньше знали о проделках своего заместителя Худоёра Кошшаева?

— Нет, не знал, — ответил Эломонов. — Самадов мне говорил правду, но я ему не верил, думал, что он шутит.

Тут следователь из центра не выдержал, громко постучал карандашом по столу:

— Будьте посерьезней, товарищ Эломонов!

— Я серьезно говорю, — сказал Эломонов. — Я действительно думал, что Самадов шутит.

— Люди добрые! — воскликнул Самадов, вскочив с места. — Подумайте сами, как я, простой механизатор, могу шутить с Эломоновым! Я шучу со своей ровней, но не с Эломоновым же! Что я, с ума сошел?!

Следователь из центра опять посмотрел на Эломонова:

— Что вы на это скажете?

Эломонов не смог ответить.

Когда Самадов и пострадавший кассир ушли, в кабинет ввели Кошшаева. Тот мельком взглянул на Эломонова и усмехнулся. Эломонов на какой-то миг потерял контроль над собой и закричал вне себя от ярости:

— Ты не человек, Кошшаев! Да накажет тебя бог за то, что ты осквернил память двадцати миллионов погибших!

Все посмотрели на него как на полоумного. Лишь один Кошшаев сохранил спокойствие.

— Что это вы о боге да о боге, Эломонов? — спросил он, смеясь. — Вы же убежденный атеист.

— Дьявол, вот кто ты! — застонал Эломонов. — Любой атеист станет верующим, если встретится с таким клятвопреступником, как ты!

— Я никакую клятву не преступал, Эломонов, — спокойно ответил Кошшаев. — Вы же сами говорили, чтобы я не клялся. Помните, клятва — вещь чрезвычайная, может и повредить, помните, есть такое поверье?

Эломонов и рта не сумел раскрыть. Почувствовал острую боль под ложечкой и, весь скрюченный, покрытый холодным липким потом, медленно сполз на устланный коврами пол...

Пришел в себя в маленькой больнице за чертой города и увидел над собой лица кардиолога профессора Ахмеджана Касымова и своего лечащего врача.

— Вы серьезно заболели, Саидмурад Замонович, — тихо сказал ему профессор. — Строгий постельный режим, никаких резких движений.

Эломонов целый месяц пролежал в больнице. При выписке ему вручили путевку в санаторий. Но он отказался от путевки, позвонил в центр и, получив подтверждение своих полномочий, серьезно засел за дело Кошшаева. В обвинительном акте, представленном прокуратурой, было указано, что Кошшаев имеет два особняка. Эломонову удалось отыскать и третий его особняк. Поехали туда и увидели настоящий дворец, в котором насчитали двадцать две комнаты и еще четыре зала, облицовывающие собой каждое время года в отдельности. Дом был передан детсаду. Чтобы укомплектовать новый детсад из двадцати двух комнат, гороно потребовалось чуть ли не полгода. Примерно в то же время нашелся еще один дом, который был построен Кошшаевым специально для его младшего сына-третьеклассника. Из милиции позвонили и спросили: «Что с этим дворцом будем делать, товарищ Эломонов?» Эломонов посоветовался с товарищами и дал указание: отдать кому-нибудь из представителей народа. Вскоре нашли такого представителя. Им оказался слесарь, который помимо своей почетной профессии имел еще девять сыновей и семь дочерей. Новый особняк был оформлен на его имя. Не прошло и недели, как слесарь прибежал и стал просить о выселении. «Не могу, товарищ Эломонов, — взмолился он, — стены все разрисованы, всюду лепка, цветочки, зеркала, как я заплачу, если дети разобьют все это? Ведь их у меня целых шестнадцать штук!» — «Пускай разобьют, — разрешил Эломонов, — отныне дом в полном вашем распоряжении». Слесарь не согласился. «Боюсь я там жить, — сказал он, — понимаете, товарищ Эломонов, боюсь. Мне бы в панельный дом... ну, с этими обоями и тараканами, а тут... тут пристало бы жить только ханам». — «Ханы — ангелы в сравнении с Кошшаевым! — закричал Эломонов с обидой. — Ханы те хоть и подлецы были, но строили у всех на виду, а у этого дьявола все втихую. Живите там себе спокойно, товарищ слесарь, у вас шестнадцать сыновей и дочерей, это за их счет Кошшаев строил свои хоромы!»

То лето было богато собраниями. Эломонову полагалось присутствовать на них на всех. Он и присутствовал, сидел по-прежнему в президиумах, но чувствовал себя не так уютно, как бывало раньше. Казалось, все на него тыкают пальцем: вот он, покровитель Кошшаева! Шаткость его положения угадывалась во всем. Теперь при встрече с ним даже самые близкие друзья отводили гла-

за, взаимные поклоны и рукопожатия были лишены прежней гибкости и крепости.

Однажды, зайдя в сберкасса, он вдруг понял, что слухи о его «деяниях» дошли и сюда. Кассирша, обычно такая приветливая, даже не поздоровалась с ним, долго щелкала счетами и ту маленькую сумму, которую Эломонов просил, отдала с таким видом, будто оторвала от собственного сердца.

Эломонов не выдержал, позвонил прокурору.

— Облокул Бозорович, — сказал он, — мы с вами давно знакомы, окажите такую милость, пускай кто-нибудь да придет меня допрашивать, а то эти сплетни совсем доконали!

Прокурор был добрым человеком, он сразу понял состояние Эломонова, к тому же такое дело намечалось в ближайшем будущем, поэтому он завтра же прислал молоденького следователя, недавно окончившего университет. Было бы большим преувеличением сказать, будто беседа со следователем является усладой души, но Эломонов этого пытливого и энергичного паренька принял, как родного сына. Тот долго не стал церемониться, сразу же заявил:

— Вы подозреваетесь в злоупотреблении служебным положением, Саидмурад Замонович, лично я к вам лояльно отношусь, и мой долг — выяснить истину, так что будете со мной бороться. Перед нами два пути: снять подозрение или превратить его в обвинение.

Следователь понравился Эломонову. Глядя на его угловатую фигуру и более чем скромный наряд, Эломонов решил, что на паренька вполне можно положиться, видать, не из сынков, и на учебу он поступил по собственному выбору, без чьей-либо помощи. Вызвав секретаршу и заказав ей крепкий чай, Эломонов обратился к пареньку:

— Смелее, товарищ следователь, пусть вас не смущает этот кабинет и то, что я до сих пор сижу в нем, плюньте и на все прочее, спрашивайте, мне нечего от вас скрывать.

Тут следователь немного смутился и признался, что это первый в его жизни самостоятельный допрос.

— Чувствую, — улыбнулся Эломонов, — товарищ Бозоров послал вас на предварительную разведку, а там, если что всплывет, он пошлет другого, более опытного бойца, но вы не смущайтесь, я ведь на вашей стороне,

надеюсь, мы тому матерому следователю никакой работы не оставим.

Они беседовали без малого пять часов. Следователь исписал целую стопку бумаги, дал подписать Эломонову. Вскоре после его ухода позвонил прокурор:

— Кошшаев надул нас всех, товарищ Эломонов!

— Что, из тюрьмы, что ли, сбежал? — спросил Эломонов. — Можете говорить попонятней?..

— Он брал взятки и от вашего имени, — сообщил прокурор упавшим голосом. — Я не должен был говорить об этом, но... Словом, сейчас мне принесли целую папку новых материалов.

Эломонов так растерялся, что уронил трубку из рук, затем торопливо поднял ее и сказал дрожащим голосом:

— Я никогда не брал взятки, товарищ Бозоров...

— Знаю, знаю!.. — резко сказал прокурор. — Мы арестовали самого шайтана, но друзей его оставили на свободе. Будет повторный суд. Дело я дошлаю на следствие. Будьте начеку, не исключено, что он и вас причислит в сообщники.

— Думаю, он не посмеет, — сказал Эломонов. — Надо быть бессовестным, чтобы...

— Как вы глупы, Эломонов, о какой совести вы говорите! — нервно засмеялся прокурор. — Вы хоть даете себе отчет, что все-таки произошло? Вы же сами чуть не превратились в его хвост! Где были ваши глаза, на каком месте? Как вы не раскусили его раньше? Ведь он играл вами, как куклой! Кем вас еще можно называть после всего этого? Дурак тот, кто выдвинул вас так высоко, с вас было достаточно какого-нибудь райисполкома, а вы вон где оказались! Первый человек Оазиса!

Эломонов молчал. Сидел не шевелясь, боялся — вдруг сердце вновь схватит?

— Что вы молчите? — с тревогой спросил прокурор. — Вам нездоровится?

— Ничего, товарищ Бозоров, я вас слушаю.

— Поймите, мне нелегко, Саидмурад, — сказал прокурор сочувственно. — Я даже начал сомневаться, верить вам или нет. Скажите, что теперь делать?

— Я подам заявление, — тихо сказал Эломонов.

Придя вечером домой, Эломонов застал Бинафшу-ханум разгневанной. Видимо, она уже знала все — и о беседе со следователем, и о подаче заявления.

— Единственная дочь на выданье, вы о ней хоть подумали? — с ходу накинулась она на мужа. — Надо было просить, товарищ Эломонов, поплакаться, наконец! Столько лет работали как вол, а теперь!..

— Вы очень точно сказали, ханум, — невесело улыбнулся Эломонов. — Работал действительно, как вол, — пахал, не разбираясь, где земля мягче, а где одна твердь. Только теперь я понял, чью все-таки землю пахал, теперь, когда весь оброс паршой и двинуться с места не могу! Безмозглый вол пахал, а другие урожай собирали!..

Бинафше-ханум, хоть и была она поэтессой, метафоры мужа ничуть не понравились.

— Ну почему? — спросила она, топнув ногой. — Как они могли вас снять с работы?!

— Никто меня не снимал с работы, ханум, — рассердился Эломонов. — Меня могут уволить, потому что я сам подал заявление.

— Вы что, с ума сошли? Где это видано, чтобы человек сам подавал заявление, вы же не инженеришка какой-нибудь?!

— Поймите же, ханум, иначе я не мог, мне было стыдно! — прокричал Эломонов. — Какая тут разница, подал я заявление или сами меня попросили? Результат-то один! Что надо было делать, сидеть нагло после всего этого в том же кресле как ни в чем не бывало? Так, по-вашему, я должен был поступить?

Бинафша-ханум совсем растерялась, сидела, будто окаменела. Потребовалось время, чтобы выйти из оцепенения и пойти в другую комнату — принять лекарство.

— Саид-ака, — спросила она, вернувшись к мужу, — вы сами-то хоть знаете свою вину?

— Кошшаев брал взятки.

— Кошшаев?! — воскликнула Бинафша-ханум. — Быть этого не может!

Она прекрасно знала об аресте Кошшаева, потому последние ее слова неприятно поразили Эломонова.

— Всех гуртом забрали, — сказал он со злорадством, которое никак не вязалось с теперешним его состоянием. — Олджабаев оказался его дядей, Неккадамов — сватом. С директором шелкомотальной они были неразлучные друзья, имели одну любовницу. Этого вам достаточно? Или продолжить список?..

— Виновникам не избежать наказания, — изрекла Бинафша-ханум, — но вы...

— Никаких «но»! — сказал Эломонов. — Все трое были моими работниками.

— Как? — не поняла Бинафша-ханум. — Двое же из них из другой организации?

— Разве дело в организации, ханум?! — в сердцах ответил Эломонов. — Дурак я, без ножа меня зарезали! Вы хоть помните, что Кошшаев был первым моим заместителем?

— Такой человек! — ахнула Бинафша-ханум. — Ведь он наизусть знал всего Хайяма! Как это он мог, Саид-ака!..

— Не человек, а скотина! — выругался Эломонов. — Так-то, ханум, ваш бывший сокурсник оказался шкуркой, взяточником!

— Упрекаете? — сказала Бинафша-ханум, бледнея. — Ну и что, если я порекомендовала его вам? Откуда мне было знать? Это вам надлежало хорошенько проверить его, вы же ему полностью доверяли!..

— А как же иначе? Он и от моего имени брал взятки!

Бинафша-ханум этого никак не ожидала, она сразу сникла, загрустила.

— Брал, так брал проклятый Кошшаев, при чем тут вы? — заплакала она. — Выходит, вас приравнивают к взяточнику?!

— Что вы несете?! — разозлился Эломонов. — Кошшаев в камере сидит, а я, слава аллаху...

— И вас уже допрашивали?

— Допрашивали, но это не значит, что я уже в тюрьме. Думаю, вы знаете разницу между следствием и арестом?

— Нету никакой разницы! — сказала Бинафша-ханум, всхлипывая. — Останемся теперь на голом месте! Были бы вы хоть добытчиком, как другие!..

— Не говорите так! — одернул ее Эломонов. — Не к лицу вам подобные разговоры, вы же поэтесса, ханум, а поэзия...

— Да плевать я хотела на вашу поэзию! — перебила его Бинафша-ханум, еще больше распаляясь. — Вы даже взятки брать не умеете, боитесь!

— Я ничего не боюсь...

— Боитесь! Если бы не боялись, я уверена, тоже брали бы!

Эломонов не поверил своим ушам — так легко было это сказано.

— Да я презираю такое! — закричал он. — Столько

лет живу на белом свете, а ни разу не взял чужого рубля, все зарабатывал собственным горбом, все!.. Уж в чем, но в этом вы не можете меня попрекнуть, ханум. Какой я, однако, дурак, понадеялся, что хоть вы посочувствуете мне, жена ведь как-никак, стихи еще о сердце пишете!..

Бинафша-ханум ничего не сказала, вышла из комнаты.

В ту ночь они легли порознь, Бинафша-ханум — в спальне, Эломонов — в кабинете. Включив настольную лампу с бумажным колпаком, которую суеверно хранил со студенческих еще времен, он долгое время сидел за столом молча и неподвижно, до онемения в суставах, затем лег, но лампы не выключил. Нестерпимо хотелось плакать. Он и всплакнул, когда в квартире все затихли. Однако Бинафша-ханум не спала. Услыхав всхлипывания мужа, за полночь она толкнула дверь...

— Заперто, — подал голос Эломонов. — Пожалуйста, оставьте меня одного.

— Ну что вы так вздыхаете, Саид-ака? — заботливо сказала она. — Все еще образуется.

— Это вам показалось, — сказал Эломонов, уткнувшись лицом в подушку. — Простите, ханум, но я, кажется, немногo простыл...

Бинафша-ханум еще немного постояла за дверью, затем удалилась, шлепая задниками тапочек. Эломонов затих. Через минут двадцать он опять услышал шаги.

— Саид-ака... — робко позвала Бинафша-ханум.

— Да.

— Кажется, я что-то не то сказала... Пожалуйста, простите...

— О чем это вы?

— Да вот... насчет поэзии...

— Хотите, чтобы я забыл об этом? Так я вас понял?

— Я нечаянно, Саид-ака... Не дай бог, вдруг вы еще расскажете кому чужому!..

— Успокойтесь, ханум. Посудите сами, как я могу другим рассказывать такое, честь-то у нас с вами вроде одина.

— Простите, Саид-ака. Я знаю, вы благородный человек. Не обижайтесь на меня, я же не со зла...

— И вы не обижайтесь, ханум, иначе я не мог.

— Вы правильно поступили, Саид-ака, и другой советливый человек точно так же сделал бы на вашем месте.

— Спасибо, ханум.

— Просто вы немного поторопились, Саид-ака. Вы честный человек, поэтому мне до слез жалко вас, кому вас еще жалеть, если не мне, жене вашей?..

— Благодарю, Бинафша-ханум.

— Еще не поздно, Саид-ака, может, обратно возьмете свое заявление?.. Мало ли что мы делаем сгоряча, думаю, вас поймут...

Эломонов обеими руками схватился за голову. Хотелось кричать благим матом, но он удержался, стиснул зубы и молчал.

— Согласитесь, Саид-ака, — вкрадчиво сказала Бинафша-ханум. — Я вам желаю только добра.

Эломонов не ответил.

— Подумайте, Саид-ака.

— Подумаю, ханум, — сказал Эломонов, желая лишь скорей отвязаться от жены.

Бинафша-ханум отошла от двери. Через некоторое время из кухни донеслась пулеметная дробь пишущей машинки. «Железная баба, — подумал Эломонов, — стихи пишет...»

На сегодняшний день Эломонов служит редактором многотиражки строителей. Должность совсем маленькая, «нулевая», как он ее называет про себя, в сравнении с прежним постом, но зато и забот здесь гораздо меньше. Всю работу делают трое его сотрудников, люди опытные, знающие. Хамрокул, самый молодой из них, в полдень в каждую пятницу приносит ему на подпись пахнущий свежей типографской краской листок. Эломонов подписывает. Осталась у него старая привычка — вздыхать, подписывая документы. Тогда он уставал от одних только подписей, так много было разных бумаг. Но Хамрокул эту его безобидную привычку понимает по-своему и каждый раз, когда Эломонов вздыхает, он спрашивает:

— Ну что, шеф, опять вспомнили?

— О чем же я должен был вспомнить, Хамрокулджан? — удивляется Эломонов.

— О чем же еще, конечно, о былых славных временах! — отвечает Хамрокул.

— Когда вы наконец научитесь уважать других? — сердится Эломонов. — Вам еще расти и расти, милый мой, вы окончили журфак, самый что ни на есть гуманитарный факультет, а все с шуточками!..

— Не хочу я больше расти. Дома головой потолка достигаю — дальше некуда.

— Я же не виноват, что так строят, — говорит Эломонов. Он чувствует, что несет чушь, но никак удержаться не может. — Я о росте в другом смысле, Хамрокулджан.

— Как не виноваты, когда виноваты, — не унимается Хамрокул. — Вы же утверждали им проекты?

Эломонов молчит. Получится еще больший абсурд, если он начнет объяснять, что проектами занимался его бывший заместитель по строительству.

— Чутьочку бы изменить характер, и вы стали бы чудесным человеком, — говорит он немного спустя. — Повторяю, вы еще совсем молоды, вам еще расти надо...

— Какой есть, такой и есть. Я не желаю большего, слишком это хлопотно, шеф, — улыбается Хамрокул. — У меня к вам просьба. Это на тот случай, если я дам дуба раньше времени. Пожалуйста, не забудьте тогда поместить в газете некролог: мол, Хамрокул Каршиев начал с того, что был нормальным человеком, а кончил тем, что стал литсотрудником еженедельного листка. Годится, шеф?

— Не стоит думать о смерти, — отвечает Эломонов как можно спокойней, хотя на душе кошки скребут.

Ему не хочется спорить с этим долговязым нахалом. Мысль Хамрокула вполне понятна: мы работаем как негры, а ты, подлец, даром зарплату получаешь!

Эломонов, который в свое время смело разговаривал со многими именитыми людьми, почему-то теряется перед обыкновенным литсотрудником. И всякий раз, как только Хамрокул выходит из кабинета, его начинает разбирать злость и он поднимает трубку.

— Товарищ Мухаммад Шокиров, — говорит Эломонов в другой конец провода, — моя просьба остается в силе, пусть меня отправят агрономом в самый захудалый колхоз, не могу я здесь работать!

Товарищ Мухаммад Шокиров бесстрастно спрашивает:

— Вы сперва объясните, товарищ Эломонов, почему это вы там не можете работать? Может, чем поможем?

Эломонов называет причину:

— Да мне стыдно перед сотрудниками, товарищ Мухаммад Шокиров, стыдно делить их честный хлеб!

Но товарищ Мухаммад Шокиров не хочет ему верить:

— Бросьте вы это, товарищ Эломонов, вы же не де-

вица, чтобы смущаться! Столько лет управляли Оазисом, неужто теперь не можете справиться с тремя лишь сотрудниками? — В голосе товарища Мухаммада Шокирова слышится явная усмешка.

Эломонов не выдерживает и кричит:

— Да не с тремя, а с одним не могу поладить, остальные двое лучше, но этот один!..

Тут товарищ Мухаммад Шокиров непременно возмутится, голос его станет сухим и строгим:

— Вы что, товарищ Эломонов, надо мной издеваетесь? Где мы вам еще найдем место, где двое хороших против одного плохого? Не будьте таким неблагодарным, товарищ Эломонов! Поработайте пока, а там, может быть, и придумаем что-нибудь вместе с товарищем Бакировым.

— Когда? — спрашивает Эломонов. — Знайте, мне уже свет не мил, товарищ Мухаммад Шокиров! Уберите меня отсюда, ведь я диплом имею, учился на агронома!

— К чему такой пессимизм? — невозмутимо отвечает товарищ Мухаммад Шокиров. — Наберитесь терпения, всему свой час.

И каждый раз после очередной пустой беседы Эломонов проклинает себя за малодушие, что не послал товарища Мухаммада Шокирова ко всем чертям. «Это и есть последнее мое пристанище, — думает он с грустью, — дальше уже ничего не будет, и никакой надежды, иначе бы этот Мухаммад Шокиров, третьестепенный функционер, не смел бы разговаривать в таком тоне». Вспоминает, как два года назад этот самый товарищ Мухаммад Шокиров на цыпочках входил в его кабинет, весь олицетворение почтительности и скромности, с папкой документов, дожидаящихся его, товарища Эломонова Саидмурада Замоновича, подписи, и сокрушенно качает головой: вот как оно бывает, ведь день-то со днем не сходится!..

Но он постепенно привык к своей новой работе. Переживал, конечно, по-прежнему сильно, но старался не подавать вида. Отношения с подчиненными заметно улучшились. Все они трое были женаты, имели по несколько детей, жили мирно, работали на совесть. Со временем Эломонов привык и к ершистому нраву Хамрокула. Знающие люди тихо намекнули ему, что парень сам надеялся занять пост редактора многотиражки, а тут он, Эломонов, нагрязнул... Узнав эту крохотную тайну, Эломонов долго не мог избавиться от чувства неловкости

перед Хамрокулом. «Странно устроен мир, — думалось ему, — Хамрокул мечтает об этом месте, а я не знаю, как от него же избавиться!..»

Правда, здесь его одолевала страшная скука. Особенно тяжело было первое время. Привыкший к огромному кабинету с не менее огромной приемной, всегда полной народа, теперь он часами сидел в одиночестве, глядя на один-единственный телефонный аппарат на голой поверхности стола: хоть бы кто позвонил! Нет, телефон молчал — ему уже не звонили. Оттого ли он не мог сразу отпускать редких своих посетителей? Сам чувствует, что это глупо, но перебороть себя не может, хочется поговорить, и он задерживает человека чуть ли не насильно. И между разговором, боясь, что тот станет проклинать его за попусту траченное время, спрашивает: может, у вас заботы какие, товарищ такой-то? Посетитель, разумеется, поблагодарит его и скромно промолчит о собственных заботах. Но Эломонов опять настаивает: а вдруг, мало ли чего?.. Разве найдется в мире человек, кто избавлен от забот, их у всех полон рот. Как говорится, уж в чем, а в недостатке у нас достаток. Вот и придется человеку назвать свою заботу... Одному требуется тысяча штук кирпича, другому — кубометр древесины да бочонок дефицитной краски, третий не знает, где бы запчасти к машине достать, еще кому-то нужно быстрее оформить себе пенсию, у кого больная мать, которую надо устроить в лучшую больницу... Хотя ни одна из этих проблем ни раньше, ни теперь не входила в его компетенцию, Эломонов помогает посетителю с их решением. Ему нравится помогать людям, он весь цветет, когда это удается сделать. Эломонову пока не смеют отказывать — механизм прежнего авторитета действует вполне сносно, хотя и по инерции. В таких случаях любой посетитель, минутою назад изнывавший от его нудной и нескончаемой любезности, принимается благодарить: «Спасибо, Саидмурад-ака, спасибо, товарищ Эломонов, за вашу доброту и бескорыстную помощь!» Эломонову лестно слышать такие слова, и он, смущенный, но очень довольный, отмахивается от похвал: незачем благодарить, товарищ такой-то, ведь это такая ерунда, пожалуйста, заглядывайте почаще, посидим, поговорим...

Естественно, такие люди не могут не заходить к Эломонову хотя бы из чувства признательности. Они и заходят, беседуют с ним, играют в шахматы, утешают и, сами того не замечая, начинают его любить.

Многотиражка принадлежит строительному объединению. Это, пожалуй, самая большая организация всего Оазиса, вращающаяся миллионами, насчитывающая в своем штате пятьдесят тысяч человек рабочих и служащих. Руководит объединением Чоршанбиев, молодой и энергичный человек. Его здесь любят за скромность. Дел у руководителя невпроворот, но и о газете он не забывает, помогает, чем только может. Условия в редакции самые наилучшие. Однажды Бинафша-ханум пришла посмотреть новое место работы мужа. Увидев его просторный кабинет, обставленный новой мебелью, с двумя мощными кондиционерами на двух широченных окнах, она была немало удивлена.

— Недурно, — сказала она. — Вроде и шторы новенькие.

— Совершенно новые, — подтвердил Эломонов. — Не хватает только приемной и секретарши. С другой стороны, это даже к лучшему, ханум, не будете меня ревновать.

— Еще чего! — рассмеялась Бинафша-ханум. — Я вас никогда не ревновала.

— Правильно делаете, — сказал Эломонов, хотя в душе немного обиделся.

— Оказывается, мир полон подхалимов и блюдолизов, — заметила Бинафша-ханум. — Где же теперь те люди, которые толпились перед вашей дверью? Никого ведь?

— Нет, ханум, — возразил Эломонов, — просто здесь другой масштаб работы, очень узкий круг вопросов, следовательно, нет того большого потока посетителей.

— При чем тут какие-то масштабы, — сказала Бинафша-ханум, морщась от досады. — Скажите проще: перевелась людская благодарность. Вы мне все уши прожужжали — интересы масс, интересы народа!.. Где же ваш народ?

— Они же еще не народ, ханум, а всего лишь кучка... этих... — Эломонов никак не мог подобрать подходящее название, в голову лезли одни непристойности, и он бесильно улыбнулся, покачал головой. — Ну этих... стремянных!.. Лизунов этаких!..

— Чему вы смеетесь? — не поняла Бинафша-ханум. — Другой на вашем месте заплакал бы!..

— Вполне может быть, — бодро ответил Эломонов и получше сел в кресле, как в былые времена, выправив осанку. — Но это другой человек, ханум, а не я. Теперь

уже поздно жалеть о чем бы то ни было. Критика была правильной, я ее полностью признал и, слава богу, стерпел, не умер еще... И дальше буду терпеть.

— У вас не осталось ни капельки гордости, Эломонов!

Эломонов ничуть не обиделся, продолжал улыбаться. Бинафша-ханум еще минут пять просидела сердитая, но разговор не клеился, и она ушла — ей надо было идти на радио читать свою новую поэму. Как только жена вышла из кабинета, Эломонов начал смеяться вслух. Такое с ним случилось впервые за весь год, как он ушел с прежнего поста. «И действительно, — подумал он весело, будто это его вовсе и не касалось, — действительно, как еще можно попристойней называть тех бездельников, которые увивались вокруг в те времена, ведь они так нагло лезли, лизали, облизывались и при этом сладко жмурились!..»

Где они теперь? Исчезли? Не-ет, их не истребишь! Они живучи, гады! Теперь они морочат голову другим, тем, кто пришел после тебя, ведь нельзя об этом сказать им самим, чего доброго подумают еще: какой, мол, сукин сын, наскипидарили ему, а теперь бог весть какую чепуху городит про честных людей!.. Если б не это, можно было бы составить целый список лизунов и вручить тем, чьи пятки нынче в большом почете! С другой стороны, нельзя винить в неосведомленности тех людей, на кого молятся бывшие друзья, ведь и я сам в свое время верил лишь официальным спискам, ведь и мне никто не говорил: мол, Эломонов, берегись такого-то и такого-то. Раим Хайбаров тысячу раз оказался прав, я был всего лишь воробышком, а метил на орлиную высоту, да крыльшки подвели!..»

Месяца два назад Чоршанбиев, то ли кто сверху подсказал, то ли по собственному разумению, вызвал Эломонова и дал ему новую «Волгу». Эломонов прекрасно знал, что в объединении таких машин пруд пруди, минимум десяток автобаз имеется, но все-таки жест молодого начальника подействовал на него как оскорбление, он весь покраснел, хотел отказаться, отказаться резко, без обиняков: мол, я еще не доехал до того, чтобы при жалкой многотиражке разъезжать на персональной машине, но все же не смог, принял машину, побоялся обидеть своим отказом молодого начальника, который ему нравился, отчасти потому, что хотелось улучшить отношения с женой, сам черт не поймет этих женщин, а вдруг

Бинафша-ханум дуется из-за машины, которую у него отобрали, ведь это она большей частью разъезжала на ней по своим бесчисленным редакциям.

И вечером того дня он впервые за последний год вернулся домой на «Волге». Легкий ветерок приятно холодил лицо. Сидя на заднем сиденье, Эломонов весь расслабился и позабыл о недавней неловкости перед молодым начальником. Когда машина свернула на улицу, где он жил, Эломонов весело приказал шоферу.

— Посигнальте, Кулмухаммадбай, в нашей махалле много детей.

Кулмухаммад не заметил на улице никаких детей, но взрослые там были. Он понял своего начальника и весело воскликнул:

— Посигналим, Эломонов-ака, уж это-то мы как никто умеем! Вот как мы посигналим!.. Теперь длиннее!.. А теперь еще длиннее-е-е! Прекрасно!.. Смотрите, Эломонов-ака, разве это люди — рассыпались, словно курицы!..

И сам Эломонов — да простится ему такая слабость! — рассмеялся от души:

— Живите тысячу лет, Кулмухаммадбай, вы просто нутро мое!..

К сожалению, Бинафша-ханум не увидела, как они лихо подкатили к подъезду. Эломонов отпустил шофера и поднялся на свой этаж. Жену застал в кабинете. Грызая карандашиком, она задумывала свое новое стихотворение.

— Что за шум несусветный? — сердито спросила она, не отрываясь от бумаг. — Что, не могли призвать таксиста к порядку? Или этот придурок не знает, что за люди живут на этой улице?

— Это был не таксист, — улыбнулся Эломонов. — Это Кулмухаммад, двадцать четыре — двадцать четыре.

Бинафша-ханум с интересом взглянула на мужа и чуть смягчилась:

— Вы на чьей машине приехали, Саид-ака? — спросила она. — Номер вроде знакомый.

— На своей персональной, — ответил Эломонов. — На службе выделили.

— Скажи, какая щедрость! — не поверила Бинафша-ханум. — А служите вы где, все еще там или за день успели продвинуться?

— Служу там же, — сказал Эломонов. — Там и дали машину.

Бинафша-ханум почему-то не обрадовалась этой новости.

— Экая несправедливость! — сказала она, захлопнув свою толстую тетрадь. — Нам, бедным, никто не дает машину.

— Зачем так?.. — смущенно ответил Эломонов. — Ведь это все равно, ханум, что вам дали, что мне... Вместе будем разъезжать.

— Странно!.. — сокрушенно покачала головой Бинафша-ханум. — Ведь и мы работаем не меньше вашего...

— Ну это, ханум, зависит от того, каков размах у каждой организации. У строителей иные условия, иные возможности. Думаю, ваши сравнения не совсем уместны.

— Не нравится? — вспыхнула Бинафша-ханум. — Я вам сказала правду. На казенных машинах разъезжают те, у кого вес и положение.

— Не знаю, как насчет положения, — шутливо возразил Эломонов, — но вес свой я сохранил прежний.

— Ладно уж, — улыбнулась Бинафша-ханум, сменив гнев на милость. — Раз дали, пользуйтесь на здоровье. Да и мне машина нужна будет. Думаю, ее не отберут у вас?..

— А не лучше ли вам ездить на «Жигулях», — не выдержал Эломонов. — Уже два года, как перегнали к своей матери и поставили на прикол. Новая машина, даже смазка еще не сошла...

Бинафша-ханум на миг растерялась, но только на миг, и громко засмеялась:

— Вы что, Саид-ака, сердитесь?.. Ведь машина принадлежит Сабирджану. Вот вернется сын из-за границы, сам будет на ней ездить.

— Могли бы подарить своим братьям, пускай они ездят. Сабиру нетрудно будет купить, там вроде неплохо платят, оттуда все возвращаются на новеньких «Волгах».

— Сама знаю, что Сабирджан купит другую машину, — сказала Бинафша-ханум. — Я думала дать эту машину в приданое за дочерью, только вы никому не рассказываете, пока это тайна!..

— Вы сперва ей мужа найдите!

— Муж найдется, — ответила Бинафша-ханум. — Чем наша дочь хуже других? Красотой бог ее не обделил, умна, воспитанна, до диплома один шаг... И по-узбекски говорить умеет.

— А я, дурак, не знал, что знание родного языка ста-

ло достоинством! — съязвил Эломонов. — Но, ханум, произношение у вашей дочери просто дрянь.

— Можно подумать, что вы враг собственной дочери! — заметила Бинафша-ханум.

— А сами-то вы что за чепуху несете! — рассердился Эломонов. — Откуда у вас такие точные планы — приданое, машина?.. Вдруг жених уже имеет машину?

Бинафша-ханум расхохоталась:

— Какой же вы, однако, жмот, Эломонов! — воскликнула она, трясаясь от смеха. — Ладно, так и быть, машину мы себе оставим, сами будем разъезжать, хотя... Я уже закончила новую пьесу, «Капризная невеста» называется. «Невесту» отдам самаркандскому театру. А здесь наш сосед Пулатов собирается ставить мои «Струны сердца». Так что спокойная старость вам обеспечена, мой принц. Хотите, я вам куплю «Волгу»?

— Я не умею водить машину, ханум, — сказал Эломонов. — Если честно, нам следовало бы немного помогать близким. У меня родственников уже не осталось, у вас они есть. Отдайте часть своих гонораров своим братьям, двое из них еще не имеют жен, пускай на свадьбу тратят, дом себе обставят.

Бинафша-ханум задумалась.

— Тогда «Жигули» придется обратно взять, — сказала она.

— Делайте как хотите, тем более они ею не пользуются. Но, ханум, еще раз повторяю, я совсем не умею водить машину.

— Это совсем не обязательно, наймете шофера.

— При теперешнем моем положении? Ведь смеяться будут, ханум!

— Какой вы, однако, шепетильный, Эломонов! — фыркнула Бинафша-ханум. — Ладно, я сама буду водить.

— Это еще можно, — облегченно вздохнул Эломонов. — Вы еще можете учиться, ханум, мне уже поздно, надо было в молодости...

— Действительно, вам уже поздно, — согласилась Бинафша-ханум. — Я еще успею. Ведь я моложе вас на десять лет.

Эломонов густо покраснел, заподозрив в словах жены скрытый намек. Так уж получилось, что он после всех скандальных историй, инфаркта и прочих неприятностей вот уже около года не притрагивался к жене. Если подумать, он вроде и забыл об этой стороне супружеской жизни. Каждый вечер возвращается нервный, недо-

вольный, усталый скорее от своей бездеятельности, нежели от работы. Наспех поужинав, садится перед телевизором, сидит до одурения, осталась давняя привычка следить за событиями, никак не может отучиться, хотя сознание собственной причастности к происходящему давно уже улетучилось. Остался от того сознания разве что легкий дымок, и то подавляемый усмешками над самим собой. Досмотрев последний выпуск новостей, он еле доплетается до спальни, коснется головой подушки и тут же засыпает мертвецким сном. Благо у Бинафшиханум есть занятия поважнее, иногда она до рассвета засиживается в кабинете над своими стихами и пьесами, пишет, печатает... «Надо бы бегом заняться, — подумал Эломонов, — вон Пулатов, сосед, каждое божье утро бежит за два квартала, зимою в проруби купается, здоров как бык, щеки красные, словно гребешок петуха, да и с женой у него отношения куда получше, не зря хвастает, шельмец, мол, бег ему покрывать помогает и расстояния, и все прочее...»

Часы пробили одиннадцать. Эломонов все еще лежал в постели, думал. Наконец он решил, что надо действовать, не к лицу ему засиживаться в редакции многотиражки, было бы другое дело, если бы он работал в сельхозуправлении, как-никак имеет диплом агронома. На товарища Мухаммада Шокирова надеяться не приходится, лучше вручить заявление об уходе Чоршанбиеву и обратиться к Бакирову ему самому, минуя всяких там товарищей мухаммадов шокировых, небось не откажет? Разумеется, попросить надо с достоинством, просто и прямо: мол, эта работа не по моей части, дайте другую... Вообще, было бы в самый раз вернуться навсегда в Галатепе. Но об этом можно лишь мечтать — Бинафшаханум ни за что не согласится покинуть город. Будь она педагог или врач, быстрее нашлась бы работа в кишлаке, а так, поэтессе, драматургу... Нет, Бинафшуханум не уговоришь, она не из тех женщин, кто за мужем и в огонь и в воду. Прошла молодость, угасла любовь, этот бесценный дар и все такое, хотя, если подумать, она оказалась нужнее в поздние лета, нежели в молодости. В молодости ты ни о чем не думаешь, ты любим, ты силен, мир так светел, а жизни конца-края нет, кругом одни цветочки, ни одной колючки, томные глаза, медоточивые уста... Кто ты, чей ты сын, с кем и куда ты идешь,

сможешь ли вообще вернуться с того пути? Эти вопросы, кои веками были основой основ человеческого бытия, никак не вяжутся с молодостью, они рождаются потом, когда ты почти прожил свою жизнь, когда ты уже отчужден от родного очага, от законов твоих предков. Теперь лишь тело твое принадлежит Галатепе — больше ничего. Настанет день, когда ты покинешь его, и односельчане повезут твою оболочку на родину, чтобы предать земле рядом с могилой отца. Это святой их долг. Галатепинцы еще никогда не оставляли своих мертвецов в чужих городах и селах. Может, Бинафша-ханум не отдаст твое тело? Нет, почему же, отдаст, конечно, кому мы нужны мертвецами?!

«Не получилось у нас семьи, — подумал Эломонов с грустью, — той семьи, в которой я родился и какую я видел в детстве сплошь и рядом, где были одни интересы и одна честь для всех ее членов. Семья должна чтить единый закон, с двумя законами — это уже не семья, а некий сосуд, треснувший и побывавший в руках лудильщика, где заклепками — общая кровля, общий дастархан, общие доходы и расходы, общие дети... Кто-то да должен уступить другому. Раньше я хотел, чтобы все было по-моему, а где и уступал, то с видом эдакой широкой натуры, теперь я уже во всем уступаю, но только не знаю, кому я уступаю, за какие заслуги. И вообще, кто она такая, Бинафша-ханум, с которой я прожил вместе целых двадцать пять лет? Ведь я ее так и не раскусил до конца, видать, для того, чтобы понять жену, мало знать, сколько родинок на ее теле!..»

Часы пробили половину двенадцатого. Эломонов взял телефонный аппарат с тумбочки на постель и набрал номер гаража.

— Мавлонбек, это вы?.. Как ваше здоровье, как дома, дети, старики?.. Вас беспокоит товарищ Эломонов. Пожалуйста, вышлите ко мне Кулмухаммада.

Диспетчер, кажется, был не в духе и ответил недовольным голосом:

— Уже два часа, как ваш Кул¹ выехал из гаража. Наверно, левачит по дороге.

— Стыдно, Мавлонбек! — рассердился Эломонов. — Не смейте называть человека рабом! И я не рабовладелец, к вашему сведению!

¹ Игра слов: «кул» означает «раб». Кулмухаммад — раб Мухаммада.

1

— Что вы, товарищ Эломонов, это вас вовсе не касается, — прохрипел диспетчер. — Это мы любя так его называем, длинное у него имя, вот и приходится сокращать... Наверно, гоняет по городу, на чай зарабатывает...

— Думаете?.. — спросил Эломонов, затем, чуть подумав, решил защитить своего водителя. — Эх, чуть было не забыл, Мавлонбек, ведь вчера я сам разрешил ему отлучиться часа на два, кажется, у него какой-то родственник женится. Память у меня неважная стала, Мавлонбек. Вы не знаете, бак у него хоть полный?

— Не могу знать, — ответил диспетчер. Затем, перебросившись с кем-то несколькими фразами, сообщил: — Говорят, до горла подзаправился, Саидмурад Замонович. Что, дальняя поездка?

— Это я на всякий случай, — сказал Эломонов. — Ладно, будьте здоровы, Мавлонбек.

Он положил аппарат обратно на тумбочку. Решил при возможности слегка пожурить Кулмухаммада за опоздание, но, чуть подумав, отказался от этой мысли: нет, нельзя его ругать, в семье у него целых одиннадцать душ, сам и жена не в счет, она дома с детьми занята, он весь день за рулем. У иных шоферов доходы куда лучше, у них план, рейсы, всякие там тонно-километры... Откуда взяться деньгам у персональных водителей, было бы другое дело, если бы им давали премии за то, что возили жену начальника по базарам не один, а два раза в день.

Эломонов вскочил с постели, потянулся. Сделал несколько приседаний. В чашечках коленей проснулась легкая боль, которая тут же прошла. Затем он прошел в ванную и побрился. Увидав на груди несколько седых волосинок, он загрустил. «Быстро же бежит время, — подумал Эломонов, — будто вчера был юношей, будто вчера!..» Хотел было взять пинцет, который жена забыла на полочке, но удержался, протянутую руку положил на грудь и сильно потер — к черту, все равно назад возврата нет! Минут пять простоял под душем, надев на голову резиновый колпак. Шум воды действовал успокаивающе, грусть его отошла, и он начал тихонько мурлыкать, пока не перешел на старинный напев:

О скажи, прекрасная, из каких ты краев?..

Фергана ли, Ташкент ли, Коканд ли — родина твоя?..

Дважды он повторил этот бейт, пока наконец не во-

скликнул про себя: «Надо же, брат Эломонов, вон куда тебя занесло! Сколько бейтов я знал, даже в школьной самодеятельности участвовал, до войны еще было, но сколько уже лет, как я совсем перестал петь... Жаль, что этот бейт не спел в свое время Бинафше-ханум, тогда я не знал ее настоящего имени, все ее звали Бинафша, Бинафшахон, Бинафша-ханум, и в печати она выступала как Бинафша, а звали-то ее в самом деле Санобар. Узнал я это лишь в загсе, когда подали заявление. Мать ее зовет чуть по-другому — Санавар, но ей самой это имя не нравится: оказывается, «Санобар» созвучно с «самоваром», наверняка так в школе ее дразнили. И у нас в школе была Санобар, ребята никак не давали ей покоя: «Санобар сидит у самовара, Санобар пьет из самовара...» А так имя очень древнее и хорошее, и смысл у него хороший: санобар, сарв — кипарис. Стройное имя, оно бы очень шло Бинафше-ханум. Тогда ее привел ко мне Имам Ходжаев, лысый поэт с лицом младенца, представил... «Бинафша», — сказала она и подала руку. «Эломонов, — представился я и тоже подал руку. — Мне очень понравилась ваша декламация, Бинафшахон, — сказал я ей, — вы хорошо читали, позвольте же теперь узнать, откуда вы родом?» Она в ответ улыбнулась: «Скажите сперва вы, Саидджан-ака». Оказалось, она меня знала по имени. Я немного растерялся, хотел было назвать свой кишлак, но подумал про себя: откуда, мол, знать такой красивой девушке забытое богом Галатепе, оно ведь не было указано ни на одной карте, даже самой крупномасштабной. Это потом, когда я уже занимал посты, все разом заговорили о нем, вплоть до Мурада из соседнего Джама, который не смог доучиться на философа и утешился тем, что занялся описанием галатепинцев, часто путая их со своими односельчанами. Но тогда Галатепе не было столь известным, потому я назвал самый близкий к нему город: «Я родом из Каттакургана, Бинафшахон». — «О, тогда мы с вами земляки, Саидджан-ака! — воскликнула девушка. — Мои Хатирчи совсем рядышком, странно, что мы до сих пор не знали друг друга!..»

На душе Эломонова посветлело от воспоминаний. Боже, как здорово было в те годы, когда они катались на лодке на лунной глади озера, гуляли под ручку по берегу речки — опять при луне. Да и не только при луне, были и темные аллеи городских парков, где Бинафша читала ему свои стихи, читала долго и упоенно, прерывая

чтение лишь на те мгновения, когда она позволяла Эломонову поцеловать ее только в щечку...

«Кажется, я сам стал мнительным после ухода с поста, — подумал он, — незачем сваливать всю вину на Бинафшу-ханум, ведь и у нее забот своих хватает, работа у нее действительно трудная, умственная». Раньше Эломонов как-то всерьез и не воспринимал писательское занятие, но теперь, изрядно прожив рядом с поэтессой, понял, что оно вконец изматывает душу. Бинафша-ханум часто жалуется на сердце. Эломонов призывает ее пожалеть себя: «Ну зачем так терзать себя, ханум? Нельзя так много писать, оставьте и на завтра». Но Бинафша-ханум его не слушается, продолжает писать, и до тех пор, пока не падает на диван в полном изнеможении, схватившись за сердце...

Надо беречь друг друга, подумал Эломонов и решил впредь быть позаботливей. Исполненный этого благостного чувства, он поискал глазами, чем бы вытереться. Все полотенца лежали в корзине нестираные. Но Эломонов не стал расстраиваться, опять оправдал жену вечной ее занятостью. Весь мокрый, он прошел в спальню, достал из шкафа чистую простыню, расстелил на тахте, затем лег и, ухватившись за краешек простыни, покатился на другой конец тахты и оказался обмотанным с ног до головы, словно запеленатый младенец. Эломонов захихикал от удовольствия.

— Вот мы и вернулись в младенчество, брат Эломонов, — сказал он вслух, — ни рукой ни ногой не двинуть, и как только ребенок терпит такое? Хотя, если подумать, ему гораздо легче, ведь младенцу еще неведома жизнь без пеленок, откуда ему знать цену свободы и движения!

Эломонову стало забавно от подобных мыслей, и он громко рассмеялся. Смеясь, покатился обратно и высвободился от «пеленки». Подобрал более сухой конец простыни и начал вытирать лицо.

Через полчаса он вышел на улицу. Снег усилился и бил косо, подгоняемый встречным ветром. Эломонов поднял воротник пальто и увидел соседа Буюка Пулатова, который разогревал мотор своей машины.

— Может, подбросите, сосед? — крикнул Эломонов.

— Э, товарищ Эломонов, как же иначе? — ответил Пулатов. — Вас и дожидаемся!..

— Кулмухаммад что-то опаздывает, — сказал Эломонов, подойдя к соседу.

— С такими надо немедленно расставаться, товарищ Эломонов, — строго сказал Пулатов. — И часто он так опаздывает?

— Нет, обычно он не опаздывает. Человек он вроде неплохой...

— Я пока сам вожу свою служебную, — сказал Пулатов. — Трех водителей сменил, неважные оказались ребята. Теперь жду, может, четвертый окажется более-менее порядочным...

— Это вы зря, Буюкджан, — покачал головой Эломонов. — Теперь вам дадут «штрафника».

— Как? — не понял Пулатов.

— Очень просто. Вам не следовало так часто менять водителей. У них есть такой уговор, Буюкджан: тем, кто их часто меняет, они посылают самого упрямого и ленивого водителя. Это как бы в наказание за вашу чрезмерную разборчивость.

— А я откажусь, — сердито сказал Пулатов. — Не нужен мне никакой «штрафник», я сам буду водить!..

— Не стоит самому, Буюкджан. Я попробую поговорить с директором автопарка.

— Вас он послушается? — недоверчиво спросил Пулатов.

— Думаю, да.

— Что мы стоим, товарищ Эломонов, садитесь, — засуетился Пулатов. — Сейчас мы мигом доставим вас на работу.

Эломонов сел в машину.

— Вижу, вы хорошенько выспались, товарищ Эломонов, — сказал Пулатов, когда они выехали на большую дорогу. — Выглядите свежо. Вообще, бесподобная у вас работа, товарищ Эломонов, поделитесь и с нами своим секретом, может, заваялась где еще одна штатная единица?

— Нет, Буюкджан, не стоит она вашей мечты, уж очень скучная работа, — смеясь, ответил Эломонов. — Я вижу, вы и зимою ходите в тубетейке, Буюкджан, разве не холодно?

Пулатов, держа руль правой рукой, левой рукой снял тубетейку, положил ее рядом, почесал лысую макушку, затем тубетейку обратно водрузил на голову.

— Холод нас боится, товарищ Эломонов, — сказал он

весело. — Даже в Сибирь на гастроли ездил в тюбетейке, в самые январские морозы! Все артисты были в шапках, а я — в тюбетейке! Тамошние люди рты разинули, особенно женщины! Чуть не умерли от восхищения, все в один голос говорили: «Ну и темперамент у вас, Буюк-акаджан!..»

Эломонову не понравилось, что Пулатов в Сибирь ездил в тюбетейке.

— Врите, Пулатов, но в меру, — сказал он. — Так уж вам и сказали — «акаджан»!

— Профессия у нас такая, товарищ Эломонов, не можем без гиперболы, — улыбнулся Пулатов. — Вообще-то, я начинал как юморист. А юмор, как понимаете, не обходится без преувеличений. Никто не любит открытую критику, и вы вынуждены сами придумывать. Писал юморески, разные миниатюрки, затем и рассказы... Потом, как вам уже известно, перешел целиком к пьесе.

— Наверно, это более спокойный жанр? — предположил Эломонов.

— Трудный жанр, товарищ Эломонов, хоть и спокойный, но очень трудный, особенно когда дело касается артистов. Они — народ упрямый, своенравный, нужно иметь железные нервы, чтобы держать их в правильном русле. Много у них всякой отсебятины, а я никак не могу допустить подобное неуважение к искусству. Какой толк от того, что ты пишешь пьесы, если они норовят порвать ожерелье из твоих слов, кои ты нанизал бессонными ночами? Я очень строг, товарищ Эломонов, когда дело доходит до чистоты текста.

— Вы очень складно говорите, Буюкджан, — сказал Эломонов. — Жаль, что я не очень-то понимаю ваши заботы.

— Надо почаще ходить в театр, — заметил Пулатов. — Раньше вы ходили, теперь совсем перестали.

— То было по долгу службы, Буюкджан.

— Скоро поставим пьесу вашей супруги, непременно приходите.

— Если найду время, то обязательно...

— Было бы желание, товарищ Эломонов, а время всегда найдется. Кстати, разные тут слухи ходят, будто вас опять повесить собираются... Это правда?

— Ложь, разумеется, — ответил Эломонов с напускным безразличием. — Где вы только успели услышать такую чушь, Буюкджан?

— В театре, где же еще, — сказал Пулатов. — Только там и услышишь все новости.

— Бе! — скептически бросил Эломонов, а у самого по всему телу пробежала сладостно-щемящая боль. — Разве мертвые воскресают, Буюкджан!

— Ну это как понимать, товарищ Эломонов. Говорят же, один мертвый лев лучше тысячи живых мышей.

— Он же мертвый, Буюкджан.

— Откуда вы знаете, — улыбнулся Пулатов заговорщицки, — может, он просто притворяется?

— Наверняка врут, — робко заметил Эломонов, боясь вспугнуть шевельнущуюся было надежду.

— В театре ничего зря не говорят, товарищ Эломонов.

Пулатов замолчал. Эломонов беспокожно ерзал на месте, словно его посадили на раскаленные угли. Хотелось порасспрашивать еще, но он не решился: а вдруг этот Пулатов вздумал подшутить над ним?

«Спокойней, — сказал Эломонов самому себе, — ты уже не юнец безусый, испытал, как горек сей мед!..» Сказать это сказал, но успокоиться никак не мог. Он еще раз подозрительно взглянул на Пулатова: вид у того был вполне серьезный — ни тени усмешки. «Конечно, он мне не очень по душе, — рассудил Эломонов, — но человек вроде совсем невредный, уже лет двадцать сидит в директорском кресле, а не успел заразиться театральными замашками, ходит в тубетейке на бритой голове, да и нрава он вроде безупречного, во всяком случае, я еще не слышал, чтобы Пулатов менял жен или заимел любовницу... Выходит, он сказал правду?»

То ли от белизны свежего снега, то ли настроение у него было к тому подходящее, улицы показались Эломонову светлыми, праздничными. И люди были красивые, особенно женщины в белых пуховых шالях, катившие детские коляски. Казалось, они не шли, а легко парили в воздухе. На них Эломонов смотрел с нежностью, глаза его увлажнились от умиления, и ему на миг показалось, что он видит наяву пухлых младенцев-мальчиков, укутанных в такие же теплые белые шали, какие были на головах их матерей. Почему именно мальчиков, он не смог бы ответить, то было суеверие, жившее у него в крови.

Когда они свернули к зданию строительного объединения, Пулатов опять заговорил:

— Теперь, если понадобится, и нам протянете руку помощи, товарищ Эломонов.

Эломонов ничего не ответил. В другое время он непременно одернул бы Пулатова: мол, что вы, друг мой, подлизываетесь? Но на этот раз промолчал. После недавнего разговора Пулатов казался ему самым сведущим человеком в мире.

Машина остановилась у парадного подъезда объединения. Пулатов вылез из машины первым, помог выйти и Эломонову. Поблагодарив Пулатова, Эломонов начал подниматься по ступенькам. У входа сидел старик вахтер за маленьким столиком. При виде Эломонова он встал:

— Вас спрашивали, раис-бобо.

— Кто спрашивал?

— Не могу знать. Выпросил у меня ключ, теперь сидит в вашем кабинете. Я ему заварил чай. Говорит, по важному делу...

Эломонов ускорил шаги. Приближаясь к концу длинного коридора, где находилась редакция многотиражки, почувствовал, как бешено колотится сердце. «Кто же ко мне мог прийти, — думал он, — вдруг это какой-нибудь ответственный товарищ с важной вестью?..» Он подошел к своему кабинету, остановился, придал лицу беззаботный вид и решительно взялся за ручку двери. Открыл дверь и замер от удивления — в его кабинете в легкой чалме-симаби, в тонком, без подкладки, халате поверх чего-то основательно теплого, в новых блестящих ичигах и галошах, весь такой чистенький и благообразный, весь такой городской... сидел Ибодулло Махсум! Сидел и пил чай. Когда дверь открылась, он спокойно повернулся.

— Ты что окаменел, Саидбай? — спросил он. — Или меня не хочешь узнавать?

— Здравствуйте, Махсум-ака, — сказал Эломонов краснея.

Ибодулло Махсум встал и подошел к нему. Обнялись по-мужски крепко, не касаясь щеками.

— Добро пожаловать, Махсум-ака!

— Как твое здоровье, Саидбай? Как дети? Все живы-здоровы?

— Спасибо, Махсум-ака. У меня все в порядке. Как вы сами-то, как в кишлаке?

— Что с нами делается, живем, Саидбай. Там, в Галатепе, почтенный Хуччи передает тебе привет.

— Спасибо ему, пусть еще сто лет проживет.

— Это он отправил меня послом, Саидбай, и с очень добрыми полномочиями.

— Очень хорошо, что с добрыми полномочиями, — ответил Эломонов ему в тон. — Что вы стоите, садитесь, Махсум-ака.

Ибодулло Махсум сел. Эломонов снял пальто и шапку, спрятал их в шкаф, затем взял стул и уселся рядом с гостем.

— Не могли сразу ко мне домой приехать? — спросил он с легким упреком.

— Мог, да не смог, — ответил Ибодулло Махсум. — Ты, конечно, извини, но я жены твоей немного побаиваюсь.

Эломонов сделал вид, что не расслышал.

— Добро пожаловать, — сказал он, все еще улыбаясь. — Каковы же ваши добрые полномочия, может, дела какие?

— Ну вот, сразу о делах! — воскликнул Ибодулло Махсум. — Или государственные люди ни о чем другом не могут говорить?

— Это вы зря, Махсум-ака, в те дела мы уже не вмешиваемся, — сказал Эломонов. — Теперь вот... здесь... Работа спокойная...

— Эту твою новую контору я бы сам не нашел, — заметил Ибодулло Махсум, оглядывая кабинет. — Ташпулат помог, дай бог ему премного счастья.

— Какой Ташпулат? Не Хайбарова ли сын?

— Он самый, старший сын Хайбарова. Сам он не согласился остаться, пришлось отпустить.

— Мог бы и остаться, — обиделся Эломонов, — давно мы с ним не виделись. Ташпулат, мне кажется, излишне упрямый парень, боюсь, как бы это ему не повредило.

— А ты не бойся, Саидбай. У них в роду все такие: упрямые, но справедливые. Мне показалось, Ташпулат не хочет тебя видеть. Может, ты чем его и обидел? Глупость какую сказал?.. Ну, тогда, когда ты был еще в небе? Подумай, Саидбай. Как-никак Назар Махдум придется тебе дальним родственником, такое вполне могло случиться!..

— Нашли с кем сравнивать, — шутливо отмахнулся Эломонов. — Что, нет у вас на примете другого хвастуна?

— Зачем далеко ходить, Саидбай? — не унимался Ибодулло Махсум. — Родня он тебе или нет? Ветви хоть и разные, но дерево-то одно?

— Странно вы рассуждаете, Махсум-ака. Давайте вернемся к Ташпулату, уж его-то я никогда не обижал.

— Не стоит грустить, Саидбай, всем мил не будешь. На, лучше чаю попей.

Эломонов взял пиалу с чаем, хлебнул разок из-за приличия и поставил на краешек стола. Ибодулло Махсум стал внимательно разглядывать его, пока не спросил:

— Ты что, Саидбай, решил разбогатеть? Смотри, костюм твой вроде совсем обносился...

— Что вы, Махсум-ака, — ответил Эломонов, краснея. — Никогда не замечал за собой желаний разбогатеть.

— Я вот сейчас подумал, ведь ты и раньше, когда еще был на коне, получше не одевался...

— Руководителю скромность не помешает, — смущенно объяснил Эломонов. — Ведь люди ему во многом подражают, берут с него пример, оценивают его действия, манеры...

— К чему теперь излишняя скромность, когда тебя уже скинули с поста? — спросил Ибодулло Махсум. — Теперь-то можешь получше одеваться? Вон твоя жена, как она наряжается, каждую неделю видим ее по телевизору, учит наших дочерей, как подобает себя вести!..

— У женщин это чуточку по-другому... — замялся Эломонов. — Женщина всегда должна быть нарядной, есть в этом некоторые эстетические особенности...

— Ладно, не оправдывайся, — махнул рукой Ибодулло Махсум. — Это я так, к слову... Значит, мы там, в Галатепе, начали большой той¹. Потому я здесь, тебя пригласить.

— Поздравляю, — сказал Эломонов без особого энтузиазма, затем почувствовал, что нужно бы улыбнуться, и улыбнулся. — Поздравляю, Махсум-ака. Хорошее дело вы задумали. Раз вы начали той, нам остается потуже подпоясаться и быть у вас на службе на том торжестве. Скажите, может, чем и помогу?

— Нет, Саидбай, мы не собираемся прыгнуть выше головы. И заботы наши соответственные, такие, что стыдно взваливать на плечи других. Просто я приехал тебя пригласить. Вчера еще приехал, переночевал у Ташпулата, сам знаешь, отец у него недавно умер, надо было заполучить его согласие на наш той, поскольку он самый старший среди сыновей покойного.

¹ Той — пиршество по особо торжественному случаю.

— Наверно, года три тому будет?..

— Ты не понял, Саидбай, — сказал Ибодулло Махсум. — Такие люди, как покойный Раим, стояли того, чтобы по ним сто лет держали траур. Ты тут, в своем городе, не знаешь, сколько хороших людей не стало в Галатепе. Недавно пастух Хасан скончался...

— Жаль... Бедный Хасан-ака... Он так и не женился?..

— Не женился, Саидбай. Никого он не оставил после себя. У младшего брата шестеро детей, слава богу, хоть они скрасили последние его дни. Скоро и мы уйдем, вот почему я приехал к тебе. Надо почаще бывать в Галатепе, а то молодежь может и не узнать тебя, когда нас не станет. А той делает почтенный Хуччи, обрезание младшего его внука. Ты сам хоть делал обрезание своему сыну?

— Делал, — ответил Эломонов. — Помните, устроил тогда в Галатепе маленький той?

— Помню. Но ты тогда мастера не приглашал.

— Остальное было здесь, в городе. Бинафша-ханум настояла, чтобы все это сделал хирург. Потом на меня клеюзы писали: мол, Эломонов держится старых обрядов.

— Пускай пишут, — усмехнулся Ибодулло Махсум. — При чем тут старые обряды? Знаешь, что мастер делает после обрезания? Он относит кусочек плоти на кладбище и хоронит его там, чтобы потом и тело человека возвращалось туда же. Ты смысл улавливаешь?

— Вроде да. Значит, почтенный Хуччи сперва приглашает тех, кто в трауре?

— Те, кто в кишлаке, они уже дали свое согласие на той. Остались двое — ты и Ташпулат. Тетя твоя хорошая была женщина, мягкая, добрая, тебя вот вырастила...

— Я скоро поеду в кишлак, Махсум-ака. Надо справиться годовщину ее смерти. А вы пока скажите почтенному Хуччи, что Саидмурад всегда желал ему добра, пусть он начнет и довершит той благополучно. Где жизнь, там и смерти не миновать, нельзя, чтобы доброе дело приостановилось из-за меня.

— Нет, Саидбай, так не годится, — запротестовал Ибодулло Махсум. — В субботу сам приедешь с Ташпулатом на пиалушку чая к почтенному Хуччи.

— Ладно, — согласился Эломонов. Согласился и тут же вспомнил, что обещал жене съездить вместе на Хатирчи, к ее родственникам, но почему-то не испытал большого желания поехать туда. — Ладно, Махсум-ака,

непрерывно поедет. Ждите нас в субботу. Кстати, у самого у вас никаких просьб?

— Лишь бы ты сам был жив да здоров, этого мне достаточно, Саидбай.

— Пожалуйста, Махсум-ака, говорите смелее... Может, вы внукам своим дом строите? Могу помочь со стройматериалами, все по закону, по своей цене...

— Полно, Саидбай, не морочь себе голову такими пустяками, — сказал Ибодулло Махсум. — Мы уже постарели, если нам что и нужно, так только две крепких жерди для носилок, чтобы отправиться в последний путь. Слава аллаху, в саду у меня много молодых тополей.

— Нет, Махсум-ака, нельзя говорить такое! — возразил Эломонов. — Вы еще долго будете жить. Не дай бог, конечно, но если вдруг заболите, то приезжайте прямо ко мне, покажу самым лучшим врачам.

— Спасибо, Саидбай, на добром слове. Но и у нас хорошие доктора, все свои, галатепинские, и взятки они не берут.

Эломонов хотел было возразить: мол, и тут, в городе, никто не берет взятки, но не успел — в кабинет шумно ворвался Кулмухаммад.

— Мы уже здесь, Эломонов-ака! — крикнул он еще с порога. — Можете повелевать, как только душа ваша пожелает!.. — Вдруг он заметил гостя. — А-а, Махсум-бобо! — воскликнул он радостно, подошел к Ибодулло Махсуму и стал трясти его руку. — Хорошо выглядите, Махсум-бобо, небось жена хорошо ухаживает?..

— Не жалуясь, — улыбнулся Ибодулло Махсум. — Есть в тебе что-то от Нурума Крикуна. Часом, не племянник?

— Зачем вам племянник Нурума Крикуна, когда перед вами родной его сын! — ответил Кулмухаммад и хлопнул по плечу Ибодулло Махсума так, что бедный гость покачнулся.

— Не знаю, как с умом, но с силушкой у тебя все в порядке, — заметил Ибодулло Махсум смеясь.

Эломонову стало стыдно за выходку Кулмухаммада. Столько водителей он видел на своем веку, но такого еще не встречал. Такой вот уникам, ни с кем не церемонится.

— Что вы так опаздываете, Кулмухаммад? — строго спросил он. — На чаевые потянуло?

— Нам чаевые не нужны, Эломонов-ака! — нахмурился Кулмухаммад. — Если человеку по пути, то берем,

грех скрывать, но так, нарочно левачить — такого нам не надо. Здесь работа спокойная, да и семья рядом, сидим и тихонько баранку крутим. Есть немного сбережений, еще до вас поднакопили, с дальних еще рейсов. Пока их хватит на жизнь, растянем да дотянем, если тратить по-скромному, а там, глядишь, и дети подрастут, сами станут зарабатывать, будет чем кормиться на старости лет...

— Ладно, ладно, оставим этот разговор, но больше не опаздывайте, Кулмухаммад, — смягчился Эломонов. — Мне было неудобно. Соврал диспетчеру, защищая вас.

— Ваша жена, — сказал Кулмухаммад, — ваша жена наказала вчера захватить за ней рано утром. Я думал, вы знаете.

Эломонову неловко стало перед гостем, он украдкой посмотрел на Ибодулло Махсума, но тот смотрел в окно, будто ничего и не услышал.

— Впредь посоветуйтесь со мной, — опять повысил голос Эломонов. — Машиной распоряжаюсь я, а не жена.

— Договорились, — согласился Кулмухаммад. — Наше дело маленькое, Эломонов-ака, забот и того меньше. Сидим себе, крутим баранку, а колеса сами находят дорогу!..

Эломонов ничего не сказал. Спрашивать, куда Бинафша-ханум поехала рано утром, было несколько неудобно, еще шофер подумает, что он не совсем доверяет жене. Кулмухаммад, будто угадав его мысли, объяснил:

— Значит, мы на базу поехали, Эломонов-ака. Там ваша жена купила уйму полотенец. Я спрашиваю, зачем вам так много, уж не на портянки ли товарищу Эломонову-ака, а она давай сердиться и называть меня недотепой. Но за службу подарила одно полотенце, мировой класс, озеро на нем нарисовано, лебеди плавают! В машине оставил, хотите посмотреть? Я мигом принесу...

Эломонов готов был сквозь землю провалиться от стыда перед Ибодулло Махсумом.

— Я лучше посмотрю те, которые жена домой увезла, — сказал он с раздражением.

— Но они вам должны понравиться, хорошие полотенца, озеро такое, лебеди плавают!..

— Покороче, Кулмухаммад, — перебил его Эломонов. — Вы лучше скажите, как у вас с горячим.

— Полный бак, Эломонов-ака. Мы любим во всем порядок, за что диспетчеры нас не любят. Поедем куда-нибудь?

— Пока еще неизвестно. Побудьте поблизости, вдруг еще понадобится.

— Если вам не срочно, то я Махсума-бобо отвезу на автостанцию. Или он останется?

Эломонов посмотрел на Ибодулло Махсума:

— Надеюсь, мы вместе пообедаем, Махсум-ака?

— Нет, лучше я поеду, Саидбай, — сказал Ибодулло Махсум. — В другой раз.

Эломонов вышел провожать гостя. Хотелось сказать ему что-то приятное, но он не смог это сделать, постеснялся Кулмухаммада, глупо, как показалось Эломонову, улыбающегося в стороне.

— Ты обязательно приезжай, Саидбай! — наказал Ибодулло Махсум, садясь в машину.

— Обещаю, Махсум-ака.

Кулмухаммад завел мотор, машина круто рванулась с места и понеслась. Эломонов загрустил. «Старый уже, а из такой дали приехал, — подумал он, — все же они меня помнят, считают своим. Поеду, непременно поеду, нельзя допустить, чтобы нить родства оборвалась, ведь я все равно вернусь туда, непременно вернусь...» Неожиданно он представил себя мертвецом. Представил, но почему-то не испугался. И увидел у своего изголовья не жену свою, не сына или дочь, а Ибодулло Махсума плачущего...

Эломонов вернулся в свой кабинет в подавленном состоянии. Не успел еще сесть, как затрещал телефон. Эломонов поднял трубку и услышал сиплый бас свата Остонова:

— Вы про нас совсем забыли, Саидмурад Замонович! Вот я решил сам позвонить, надеюсь, не помешал? Как ваше самочувствие?

— Спасибо, хорошо, — сказал Эломонов без особого воодушевления. — Есть какие новости из-за границы?

— Есть, конечно! — радостно сообщил Остонов. — Вчера от зятя моего письмо получил. Слава богу, все они живы-здоровы, привет передают. А что новенького у вас?

— Все по-старому. Собираюсь съездить в кишлак, скоро годовщина смерти тети...

— Не забудьте и нам сообщить точную дату, Саидмурад Замонович. Может, нужна будет моя помощь?

— Спасибо, товарищ Остонов, но ничего нам не надо.

— Саидмурад Замонович, дорогой сват, — сказал Остонов, чуть понизив голос, — у нас тут разные слухи ходят... Может, это правда?..

— Я не знаю про ваши местные слухи, — хладнокровно ответил Эломонов.

— Знаете, Саидмурад Замонович?!

— Я ничего не знаю, товарищ Остонов.

— Не-ет, знаете!.. Не может быть, чтобы вы сами не знали, уж от свата-то своего могли бы и не скрывать!..

— Пока ничего определенного. Мы с вами, товарищ Остонов, как говорится, люди мобильные, легки на подъем, раз сочтут нужным, то...

— Честно говоря, и у меня спрашивали. — Остонов перешел на громкий шепот. — Неделью назад спрашивали. Разумеется, мое мнение мало что решает, но все же... Я прямо так и заявил, что вы к подлецу Кошшаеву никакого отношения не имеете.

— Вот и зря, товарищ Остонов. Уж кто-кто, но я имел к нему самое прямое отношение. Я сам его на работу принимал, надеюсь, вы это понимаете?

— Такой грех есть у каждого из нас, Саидмурад Замонович. Я знаю вас как честного человека.

— Я бы охотно поверил, если бы вы назвали меня простачком, товарищ Остонов. После всего того, что произошло, даже я стал ученым, так что не обижайтесь, если позволю себе не поверить даже своему свату.

— Не скромничайте, Саидмурад Замонович! — засмеялся Остонов. В трубке зазвенело от его смеха. — При чем тут сват? Я, может, и не дотяну до звания соратника, но буду вправе называть себя вашим учеником. Думаю, я не одинок в своем уважении к вам, Саидмурад Замонович, поверьте, у вас много учеников...

— Ладно, товарищ Остонов, — сказал Эломонов, почувствовав внезапное раздражение. — Оставим этот разговор до лучших времен, может, вы зря стараетесь... — Он бросил трубку.

Вот уже добрых полгода прошло, как сват не подавал никаких вестей, а сегодня вдруг позвонил сам, неужто он учуял что-то интересное?

Эломонова вновь охватило чувство тревожного ожидания.

Опять зазвонил телефон. Он поднял трубку и услышал полузабытый голос:

— Позвольте засвидетельствовать мое почтение, Саидмурад Замонович...

— Некому засвидетельствовать, — сказал Эломонов. — Он вышел в магазин, свежее пиво привезли.

— Товарищ Эломонов, вы же не пьете!.. — отчаянно возразил голос.

— Пью, да еще запоем!

Бросив трубку, Эломонов зло рассмеялся: лизун несчастный! Так, значит, есть доля истины в словах этого беса Пулатова? Сердце Эломонова сжалось от волнения, застучало в висках. Он почувствовал, что ему нельзя оставаться одному, и поспешно нажал на кнопку вызова. И стал ждать с нетерпением. На прежнем посту не успевал он вызвать, как появлялась секретарша с ручкой и блокнотом. Однако здесь у него не было ни приемной, ни секретарши, а звонок был установлен в большой комнате напротив, где сидели трое его сотрудников.

Минут через двадцать открылась дверь, и на пороге показался Хамрокул.

— Слушаю вас, товарищ Эломонов! — ехидно сказал он и застыл, подперев головой верхнюю часть дверного проема.

— Проходите, Хамрокулджан, садитесь.

Когда сотрудник сел, Эломонов понял, что ему нечего сказать Хамрокулу, и беспокойно заерзал на месте.

— Расскажите, Хамрокулджан, какие у нас новости? — спросил он наконец.

— Новостей нет, — ответил Хамрокул.

— Блх! — пришлось удивиться Эломонову. — Почему же, Хамрокулджан? Ведь у нас, хоть и маленькая, но самостоятельная организация, как это так — никаких новостей?

— Это точно, что организация, но новостей — никаких. То, что было, мы уже сдали в набор, если удосужитесь, подпишите завтра не позднее полудня.

— Вы бы почаще заходили ко мне, Хамрокулджан, — искренне сказал Эломонов. — Поймите, мне тут скучно одному, скоро неделя будет, как мы с вами не виделись. Или вы гнушаетесь моего общества?

— Ну вы как ребенок, товарищ Эломонов! — досадливо поморщился Хамрокул. — С какой стати я буду к вам заходить, если нет никаких новостей?

— Разве нельзя просто поговорить, Хамрокулджан? Вы просто зайдите и расскажите, как идут дела, новости всегда будут, если не у нас, так в городе.

— А если и там их не окажется, — усмехнулся Хамрокул, — что тогда делать?

— Тогда вы скажете, что и в городе никаких новостей, и уйдете восвояси! — не выдержал Эломонов.

Он почувствовал тупую боль в груди и, пытаясь расслабиться, откинулся к спинке кресла. Вытер со лба выступивший холодный пот.

— Не смею вас больше задерживать, Хамрокулджан, — тихо промолвил он. — Можете идти. Но только знайте, я не держу зла на вас. Если вы так желаете занять это кресло, то потерпите, обещаю вам, скоро его получите...

Хамрокул притих. Внимательно посмотрел на Эломонова и увидел, как тот изменился в лице, будто постарел на целых десять лет.

— Никак, вам нездоровится, Саидмурад-ака? — засуетился он. — Я сейчас воды принесу.

— Не утруждайтесь, Хамрокулджан, сейчас пройдет...

Хамрокул торопливо вышел и принес стакан воды.

— Спасибо, Хамрокулджан, — сказал Эломонов, сделав маленький глоток. — Уже немного отпустило.

— Простите, Саидмурад-ака, я не думал...

— Пустяки, Хамрокулджан, — слабо махнул рукой Эломонов. — Ладно, вы идите работайте.

— Вижу, и вам нелегко, Саидмурад-ака, — сказал Хамрокул с сочувствием.

Эломонов взялся за подлокотники кресла и сел поудобней, выпрямившись.

— Может... просьба у вас какая? — спросил он. — Не стесняйтесь, Хамрокулджан, говорите.

— Э, дались вам эти просьбы, Саидмурад-ака! — сказал Хамрокул. — Думайте лучше о своем здоровье.

— Как у вас с квартирой?

— Квартира у меня есть. Хорошая квартира. Еще в прошлом году получил. По очереди... товарищ Шарипов помог.

— Шарипов — хороший парень, из наших кадров, — заметил Эломонов с гордостью.

— И мы все — ваши кадры, Саидмурад-ака, — сказал Хамрокул, пожалев его. — Вам бы лучше отдохнуть. Мы сами справимся со здешними делами. Поезжайте домой, Саидмурад-ака, отдохните, завтра я сам привезу вам газету на подпись.

— Дома мне скучно, Хамрокулджан, — признался Эломонов. — Жена на работе, дочка на хлопок уехала... Сын за границей работает...

— Если я понадобится, сразу позовите, Саидмурад-ака.

Хамрокул ушел. Неплохой вроде парень, подумал о нем Эломонов, правда, несколько упрям, но сам он совсем неплохой, и нельзя вменять ему в вину мечту об этом кресле, ведь человек целых пять лет проучился, надеялся, ему даже не снилось, что на это место могут назначить другого.

В душе Эломонова опять затеплилась надежда, которую заронил сосед Пулатов. Чтобы не волноваться, он бросил таблетку под язык. Лекарство быстро подействовало. Напрягшиеся были мышцы вновь расслабились, биение сердца пришло в прежний ритм. «Не торопись, брат Эломонов, — сказал он себе, — не торопись, если дела пойдут в гору, то Хамрокула оставишь вместо себя, он лучше тебя справится...»

Эломонову стало жаль, что у него нет родного брата или сестры, с кем бы он мог делиться своими радостями и горестями, ничего не утаить, не бояться, что засмеют. Он был единственным в семье сыном. Потом умерли родители, умерли их малочисленные родственники. До недавнего времени была в живых единственная тетя, сестра отца, и вместе с ней — единственный повод, чтобы заезжать в родное Галатепе. Только теперь он понимает, как ему дорога была эта старая женщина, сыновья которой погибли на войне, и как он мало заботился о ней. Действительно, что он сделал для нее, если не считать те три-четыре платка да несколько отрезвов простого ситца, которые возил ей в подарок тайком от жены? Покойная радовалась, словно ей не платок поднесли, а целый тюк китайского шелка. И со слезами принималась благодарить: «Спасибо, сынок, но ты это зря, незачем было тратиться, ведь я пенсию получаю, много ли старушке надо, достаточно было и того, что я вижу тебя целым-невредимым!..»

Тетя была скромная женщина, и ее скромность порою смахивала на полную утерю всякого достоинства. Все плакала от радости, хотя, в сущности, не было никакой радости. А ведь она была родной тетей Эломонова, вместо отца и матери, имела полное право просить, требовать. Думаешь теперь обо всем этом, и самому хочется плакать, а ведь стоило сперва осыпать ее седую голову золотом и только потом завязать теми дешевыми платками!

Но Эломонов опоздал — тети уже нет в живых. Скоро

годовщина ее смерти. После того как справили семь дней и сороковины, вот уже сколько месяцев он не находит возможности съездить в Галатепе. Хорошо, что сегодня Ибодулло Махсум приехал напомнить. Надо ехать. Надо решиться. Забот никогда не убавится. То о сыне думаешь, то о дочери, ради них и в огонь, и в воду, оценят они — хорошо, не оценят, то бог с ними, поймут попозже, когда им самим придет черед все это испытать на себе...

Эломонов смахнул две слезинки, выступившие на глаза. «Ладно, — сказал он со вздохом, — пусть все будут живы-здоровы, дабы испытать свой удел...»

В это время позвонила Бинафша-ханум. Голос ее показался чрезмерно усталым:

— Вы на базар съездили, Саид-ака, ведь сегодня ваша очередь?..

— Нет, — ответил Эломонов. — Мне что-то нездоровится, ханум, может...

— Не врите, Эломонов!

— Лучше завтра пойду, ханум. Ведь холодильник еще полный, я вчера смотрел...

— А свежие овощи? — недовольно спросила Бинафша-ханум. — Лентяй вы, Эломонов. Ладно, на базар можете не идти, только не забудьте о просьбе Сабирджана.

— Не забуду, — пообещал Эломонов. — Кстати, маленькая такая новость, ханум. Утром я разговаривал с Пулатовым, не знаю, откуда он взял, но он мне сказал один секрет. Похоже, меня опять будут приглашать...

— Правда? — спросила Бинафша-ханум. — Он так и сказал?

— Но это пока лишь предположение, — ответил Эломонов. — Ладно, ханум, позвоните попозже, может, что и выяснится.

— Вы будете у себя? — трепетно спросила Бинафша-ханум.

— Да, буду здесь, — ответил Эломонов, затем слегка пожурил жену: — Вы неправильно выразились, ханум, чуточку по-русски. По-узбекски человек бывает не у себя, а в конкретном месте, скажем, в кабинете.

— Извините, Саид-ака.

— Ничего страшного, ханум.

— Саид-ака-а...

— Слушаю вас, ханум.

— Если вам нездоровится, может, за книгой пошлете

кого-нибудь другого, ну, легкого на подъем?.. Ведь поездка дальняя?

— Нет, я сам съезжу, — ответил Эломонов. — Пока, ханум.

Эломонов отодвинул телефон подальше от себя. Оглядел свой кабинет. На этот раз вид кабинета не вызвал у него грусти. «Кабинет как кабинет, — подумал он, — очень даже неплохой, как раз соответствует посту занимающего его человека».

Опять зазвонил телефон. Однако Эломонова он занимал сейчас меньше всего.

«Поеду в Галатепе, — решил он про себя, — поеду, соберу народ, справлю годовщину смерти тети и скажу им: не обессудьте, дорогие, что я оказался вдали от вас, судьба, значит, у меня такая, но я никогда не забывал вас, не забуду и впредь, помогу, чем только могу, хотя от меня теперешнего будет мало проку... А ведь помогал им, — вспомнил Эломонов, — раньше это было легче делать, я занимал большой пост, меня слушались, поддерживали. Ведь еще ни один галатепинец не упрекнул меня: мол, ты, Саидмурад, сын пастуха Замона, задрал свой нос. Они еще не сочинили про меня анекдоты, уж на это галатепинцы большие мастера, вон сколько историй гуляет по кишлаку про прокурора Хасанбека, сына Назара Махдума, а у того, считай, и вины-то особой нету. Только и было, что он, недавний выпускник юридического, свеженький еще следователь, выпил лишнего на чьем-то пиршестве, был за это избит родным дядей и заявил под хмельком: «Подлые галатепинцы, гад буду, если не пересажаю вас всех!» Хасанбек весь в отца, рассказывают теперь, недаром ведь сказано: мол, выйдет богатырь из цыган, так он первым делом разрушит свою же кибитку. Это у Хасанбека в крови, ведь и сам Назар-то Махдум, когда младшего брата Абдуллу, того самого, который потом избил своего племянника, выбрали председателем колхоза, пошел в конюшню, выбрал там лучшего колхозного скакуна и целыми днями гарцевал по улицам Галатепе, заявлял каждому встречному, что раз младший брат стал председателем, то у него, у Назара Махдума, еще больше прав хозяйничать, ведь он старше Абдуллы на целых два года».

Слава богу, отец у Эломонова был простым чабаном, никогда не задавался, никому слова грубого не сказал,

да и он сам никогда еще не кичился, даже когда занимал самый большой пост во всем Оазисе. Был в Галатепе над речкой плохонький мост, каждую весну уносило его селем, люди отстраивали его заново — до следующей весны, пока не набегит очередной сель. Эломонов помог своим односельчанам построить другой, огромный, на бетонных сваях, такой, что выдержит любой потоп. Когда здание старой школы, со времен еще Раима Хайбарова, начало оседать, он помог им со строительством новой трехэтажной школы. Проект новой школы был предназначен для Шоркудука, но Эломонов заступился за своих земляков. И о Шоркудуке он не забыл, на следующий же год добился того, чтобы им тоже выделили средства. Эломонов помнит, как Кошшаев, подлец, выражал свои сомнения по поводу трехэтажной школы: «Уж не скажут ли, Саидмурад Замонович, что вы занимаетесь местничеством?» И говорил об этом не раз и не два, будто его так сильно заботила честь своего начальника. Оказалось, он тогда угрожал этими словами, хотел напомнить: будь поосторожней со мной, Эломонов, и мы знаем твои грешки! Потом, когда пришло время, Кошшаев рассказал о том проекте и на суде. И Эломонов подтвердил его слова, признал, что нет здесь никакой клеветы. «Кошшаев прав, — сказал он, — я эти средства действительно отдал галатепинцам, в одном только он не прав, я ни копейки из этих денег не присвоил, и мне ничуть не стыдно, что помог своим землякам, потому что в Галатепе живет семь тысяч душ, вдвое больше, чем в Шоркудуке, школа была им нужнее. Да, я люблю свое Галатепе, будь моя воля, я бы давно превратил его в цветущий город!» — «О нет, граждане! — закричал Кошшаев в ответ. — Никакой это не патриотизм, это что ни на есть махровое местничество, нет, еще хуже, это есть настоящий эмиризм, раньше так делал бухарский эмир, — будучи из племени кенагас, он и помогал своим кенагасцам! Вот и ответьте мне, граждане, доколе может продолжаться приоритет этих зарвавшихся галатепинцев, эти феодально-родово-племенные различия? Куда они ведут наш прекрасный Оазис? Значит, есть среди нас место для эмиров, а нам, простым смертным, детям простых смертных, нет никакого места?» — «Какой из меня эмир? — горько засмеялся Эломонов. — Надо бы говорить попроще, Кошшаев, да, признаю, заступался я за своих земляков, пусть это будет моей виной, но ты, Кошшаев, не принес пользы даже своему родному киш-

лаку, ты обирал людей из Хандалака, обирал, как только мог, обирал не только живых, но и мертвых, и на те деньги, которые ты съел и даже не поперхнулся, могли бы процветать десять таких кишлаков, как мое Галатепе, но ты, Кошшаев, оказался чудовищем, и ничего у тебя не зеленело и не цвело, ты все поглощал в себя, теперь уже поздно выдавливать! И мне обидно, Кошшаев, что стал куклой в твоих руках! Вот за это следует меня наказать!» — «Вам легко, гражданин Эломонов, — усмехнулся Кошшаев, — ваша вина не подходит ни под какую статью! Вы просто монстр, гражданин Эломонов! Это вы меня сделали таким!»

Судья призвал подсудимого к порядку, но Кошшаев уже ничего не слышал. «Эломонов! — крикнул он. — Ты сейчас спасаешь собственную шкуру и смешиваешь меня с дерьмом, однако я тебя пожалею, не скажу про твои грехи, даже сотая доля которых обеспечила бы тебе вышку!..» Это было сказано с такой уверенностью, что Эломонов растерялся, не в силах вымолвить ни слова. Тогда прокурор спросил у Кошшаева: «Что вы этим хотите сказать, подсудимый?» — «Ничего особенного, — нагло усмехнулся Кошшаев, — вы уже обладаете достаточным количеством улик, чтобы посадить меня за решетку, гражданин прокурор, все остальное — наша с Эломоновым тайна, о которой никто не должен знать». Прокурор повторил свой вопрос. Но Кошшаев больше ни слова не сказал, продолжал усмехаться, глядя Эломонову в глаза. Поднялся легкий ропот в зале. Эломонов не выдержал и сам обратился к Кошшаеву: «Может, ты скажешь, и мы разделим вину?» Кошшаев не согласился: «Нет, ты это узнаешь потом, пока запомни одно, сейчас я спасаю тебя, запомни и запасись терпением и благодарностью, ведь я скоро вернусь!..»

Потом, когда наступил перерыв между судебными заседаниями, Эломонов добился встречи с Кошшаевым в тюрьме. Чуть ли не со слезами умолял его, взывая к откровенности. «А вы ни в чем не виноваты, Эломонов, — сказал Кошшаев с улыбкой, — я просто пытался оклеветать вас, буду и впредь, придется вам потерпеть...» — «А какую, — спросил Эломонов, — вы преследуете при этом цель?» — «Цели никакой, — небрежно ответил Кошшаев, — такая вот душевная потребность — оклеветать вас». — «Я знаю, подлости вашей нет границ, — сказал Эломонов, — но подумайте, как вы сумеете убедить суд, ведь нужны доказательства?» — «Вы очень

наивны, — засмеялся Кошшаев, — я и не думаю ничего доказывать, я уже сделал свое дело, вы должны доказывать свою невиновность, попробуйте, может, это вам удастся?»

Слава богу, суд оставил без внимания недвусмысленные намеки Кошшаева. Но нашлись люди, которые с тех пор стали косо поглядывать на Эломонова. Кошшаев действительно добился своего — не сумел Эломонова зачислить в сообщники, но очернить его все-таки успел.

Только Эломонов один знает, как он страдал в те дни. Какие только опасные мысли не приходили ему в голову. Он стал даже подумывать: может, и не стоит дальше-то, ведь все вроде кончено?.. К счастью, тогда ему позвонил Сабирджан из своей далекой восточной страны. До сих пор остается гадать, откуда он узнал про отцовские неприятности, но сын позвонил и поддержал Эломонова: «Держитесь, отец, все это преходяще, я знаю, что вы честный человек». Эти-то слова и успокоили тогда Эломонова. Благодарный сыну, он чуть не расплакался. «Когда ты вернешься, Сабир? — спросил он. — Мне трудно без тебя, было бы лучше, если бы ты хоть эти дни был со мною рядом. Я очень одинок, сын, мне не с кем поделиться, дома две женщины, твои мать и сестра, не могу же я у них просить совета, чего доброго, еще испугаются и упадут в обморок. Скорей приезжай, сын, к черту эту границу, приезжай!» — «Непреренно приеду, — обещал ему сын, — ваш внук Алик все дедушку требует, да и жена очень соскучилась по вас, ей уже надоели все эти пустыни и газопроводы. Даст бог, мы скоро увидимся, а вы мужайтесь, отец, не поддавайтесь грустным мыслям, не подайте сгоряча какое-нибудь заявление, вы еще очень и очень пригодитесь нашему Оазису!..»

Эломонов лишь тогда почувствовал, что Сабирджан давно уже не тот увлекающийся юнец, которого он так любил опекать и оберегать. Это был мужчина, самостоятельный и довольно проницательный, иначе бы он не догадался, что отец собирается подать в отставку. Эломонов написал ему подробное письмо, объяснил свое положение, еще раз попросил поскорее приехать.

Сабирджан не приехал. Кажется, потом написал матери, почему он не смог приехать, то ли контракт не кончился, то ли сам не захотел. Месяца два назад он прислал еще одно письмо, опять на имя матери, и попросил

выслать ему старинную рукописную книгу бог весть какого века — для научной работы. Бинафша-ханум так и объяснила мужу: «Науку свою сделает там, за границей, потом приедет и сразу защитит диссертацию». Теперь у Эломонова новая забота — искать ту старинную книгу. Долго расспрашивал про нее, но не нашел. Неделю назад ему вроде и сказали адрес, где следует искать ту книгу, но это очень далеко, к тому же называли баснословную сумму. Бог с ней, с суммой, деньги всегда можно найти. Эломонов не знает старой письменности, вот и боится, вдруг всучат ему не ту книгу. Сперва надо уточнить, что именно предлагают. Иначе не будет жизни от Бинафши-ханум.

Эломонову по душе, что Сабирджан наконец-то решился всерьез заняться наукой. Теперь можно и не беспокоиться за судьбу сына. А раньше были причины для такого беспокойства. Дело в том, что Сабирджан, вполне сносно учившийся на востоковеда, неожиданно заразился живописью. Эломонов сперва отнесся к занятиям сына довольно снисходительно. Ладно, думал он, пусть увлекается, пусть он там зарисует те места, куда его пошлют переводчиком, а мы тут будем смотреть их у себя, в кругу семьи. Сам он не разбирался в тонкостях живописи, но рисунки Сабирджана нравились ему точностью изображаемого. Стены комнаты сына были увешаны бесчисленными портретами его преподавателей и сокурсниц... Однажды Сабирджан написал портрет Шамси Тураева, приехавшего в гости из Бухары. Увидев свое изображение, Тураев был очень обрадован, он даже похвалил Сабирджана: «Да-а, товарищ Эломонов, есть у вашего наследника определенный талант, он еще будет расти, так что хлебом вы на старости лет уже обеспечены, а наш с вами святой долг — помогать молодому человеку с его ростом». Эломонов хорошо знал привычку своего приятеля всегда и все преувеличивать, поэтому лишь слегка махнул рукой и сказал: «По мне, лучше бы он зарабатывал свой хлеб посредством изучаемого им языка, товарищ Тураев».

Вскоре Сабирджан закончил большой портрет Бинафши-ханум. Неизвестно, как это там унюхали, но буквально через неделю директор музея литературы пришел просить эту его работу. Эломонов понял, что дело принимает серьезный оборот, отозвал сына в сторону и попытался с ним объясниться: «Знаешь, я тут занимаю более чем ответственный пост, а теперь, если мы вручим

портрет матери музеем, могут сказать, что это сделано не без нажима с нашей стороны, подумай, сын, может, стоит немного подождать?» — «При чем тут вы, — засмеялся Сабирджан, — при чем тут ваш престиж, отец?» Эломонова так и подмывало сказать: мол, что у тебя еще есть, кроме моего престижа? Но промолчал, побоялся обидеть сына. Выразил свои сомнения и директору музея, но и тот не захотел его слушать. «Вы зря сомневаетесь, Саидмурад Замонович, — возразил он, — народ очень даже правильно нас поймет, ведь Бинафша-ханум наряду с тем, что является супругой такой выдающейся личности, как вы, одновременно считается и самой известной поэтессой нашего благословенного Оазиса, наши певцы поют ее песни, наши театры показывают ее пьесы, и совсем недурно будет, если мы ее портрет выставим на самом видном месте в нашем музее, тогда все поклонники ее музыки могут лицезреть любимую поэтессу, а женщины всего Оазиса будут брать пример со счастливой ее судьбы!»

Словом, музей забрал портрет за щедрое вознаграждение. По случаю этого события Сабирджан созвал своих друзей и дал маленький банкет. Эломонов был немало удивлен, увидев среди ровесников сына и своего заместителя Кошшаева:

— Смотри-ка, Худоёрджан, а мы и не знали, что вы человек искусства!

— Впредь будете знать, — пошутил Кошшаев. — Нам, разумеется, далеко еще до людей искусства, но все же я имею к нему самое прямое отношение, ведь моя дочь тоже рисует. Это она меня привела сюда. Зовут ее Шодия. — И он показал на девушку в зеленых джинсах со спущенными на плечи волосами.

— Вай, Худоёрджан, вы еще скрывали от нас такую красавицу! — воскликнула Бинафша-ханум, присутствовавшая при этом разговоре. — Какой вы, однако, нехороший! Так, значит, мы уже не друзья и зря пять лет вместе учились?

— Почему же зря, уважаемая Бинафша-ханум, — сказал Кошшаев. — Никогда не поздно творить добрые дела.

— Ну признайтесь, Худоёрджан, вы же скрывали ее от нас? — не унималась Бинафша-ханум. — Мы сколько раз к вам в гости ходили, а дочку вашу ни разу не видели!

— Вы ее просто не заставляли дома, уважаемая Бинаф-

ша-ханум, — сказал Кошшаев. — Она училась в Москве, недавно вот окончила институт и вернулась. Теперь все зависит от вас...

Бинафша-ханум поняла его намек, хотела было сказать нечто приятное, но, взглянув в сторону сына, увидела с ним рядом дочь товарища Остонова — свою будущую невестку — и, желая выйти из неловкого положения, громко засмеялась:

— Ой, Худоёрджан, ведь сын меня продал! Закрыв глаза и продал меня какому-то лысому человеку!

Кошшаев, кажется, был осведомлен об истории ее портрета, он улыбнулся и спросил:

— Ну, я думаю, хоть дорого он вас продал?

— Очень дорого, Худоёрджан! — радостно сообщила Бинафша-ханум. — За целых семьсот рублей!

— Скряги! Так мало дали?!

— Почему же? Разве плохо, когда за изображение столько платят?

— Ваше изображение тоже бесценно, уважаемая Бинафша-ханум, а вы сами... Вы сами — целое состояние, сокровище, и счастлив товарищ Эломонов, который получил такое сокровище. Что вы на это скажете, Саидмурад Замонович, ведь я правду говорю?

— Ну, вы более сведущи в этих делах, товарищ Кошшаев, — смутился Эломонов. — Искусство слова — не наш удел, помню, в школе по литературе одни тройки получал, вы лучше спросите меня про хлопок и кукурузу.

— Не скромничайте, товарищ Эломонов. Вы хорошо знаете две великие реалии нашей жизни. Сами подумайте, разве искусство может продвинуться вперед, если оно не будет черпать силы из хлопка и кукурузы?

— Так-то оно так, но незнание искусства — большой для нас минус.

— Полно, Саидмурад Замонович, вы просто недооцениваете себя. Кто у нас руководит развитием нашего Оазиса? Вы ведь?..

— Вообще-то вы правы, но тут...

— Не возражайте, Саидмурад Замонович, я знаю, что я прав. Так что и искусство наше находится в ваших руках, от вас зависит — тормозить сей механизм или дать ему зеленую улицу.

— Вы несколько утрируете, товарищ Кошшаев, у нас есть отличные работники, которые в тысячу раз лучше меня разбираются в искусстве, я им полностью доверяю, во всяком случае, не мешаю работать...

— Ну что я вам говорил! А вы еще возражаете, Саидмурад Замонович! Раз не мешаете, значит, способствуете развитию искусства. Выходит, я прав?

Эломонов уже устал от мудреных сентенций Кошшаева, он не стал дальше спорить, а лишь кивнул головой, как бы соглашаясь. Кошшаев на минуту оставил его, пошел к группе молодых художников, выпил с ними по рюмке, затем вернулся к Эломонову, держа на блюдечке две рюмки коньяку:

— Пропустим по глоточку, Саидмурад Замонович?

— Мне нельзя, — отказался Эломонов. — Завтра рано нужно вставать. Поеду в Коксу. Там совхоз «Прогресс» выполнил план по бахчевым культурам.

— Значит, поздравлять их едете?

— Какие тут могут быть поздравления? — не понял Эломонов. — На дворе только апрель, а у них уже дыни и арбузы поспели. Чудеса, да и только!

Кошшаев поставил блюдечко на столик, задумался.

— Думаете, приписки? — спросил он.

— А что еще может быть?

— Коксу... Совхоз «Прогресс»... Случайно, там директором не товарищ Усманов?

— Он самый. Знаете, Худоёрджан, он вначале был мне очень симпатичен, молодой, энергичный, красиво говорит...

— Не сердчайте, Саидмурад Замонович, он мне и по сей день симпатичен. Туда вы можете и не ехать. Усманов честно выполнил свой план. Помните, к нам в столовую еще в январе привезли свежие арбузы?

— То, мне говорили, от хозяйства Тулкунова?

— От Тулкунова — тоже. Но добрую половину поставил товарищ Усманов. Вы просто упустили из виду, что он построил у себя тепличное хозяйство с площадью целых пять гектаров.

— А я не знал, не докладывали...

— Ничего удивительного, товарищ Эломонов. Оазис наш большой, не за всеми уследишь. Так что ваша поездка откладывается.

— Тогда мы пошлем туда журналистов. — предложил Эломонов, — Пусть опишут инициативу.

— Не стоит, Саидмурад Замонович. Нельзя баловать людей. Нет ничего выдающегося в том, что совхоз «Прогресс» среди зимы отправляет горожанам свежие дыни и арбузы. Выделять их ни к чему, такое у нас должно стать нормой. Будет лучше, если вы как-нибудь при

случае устно выразите свое расположение к товарищу Усманову, тогда он будет еще энергичнее работать.

— Вы правы, Худоёрджан.

— Вот видите, Саидмурад Замонович, — улыбнулся Кошшаев, — я вас избавил от лишних хлопот с этой поездкой. Разумеется, Усманов будет меня проклинать до самого Судного дня, что я лишил его такой чести, но, думаю, может и отпустить мне грех, если мы сейчас выпьем по рюмочке за здоровье таких предприимчивых хозяйственников, как товарищ Усманов!

— Избавить меня от лишней поездки избавили, но, вижу, все же нет мне от вас спасения, товарищ Кошшаев! — весело рассмеялся Эломонов.

— И не будет! — ответил Кошшаев, тоже смеясь.

— Взяли, Худоёрджан?

— Взяли, товарищ Эломонов!..

И они выпили тогда за здоровье Усманова. Выпили, закусили и надолго забыли об этом, до тех самых пор, пока Кошшаева не приговорили к пятнадцати годам и пока Эломонов, уже разжалованный, не узнал, что в Коксу не было никакого тепличного хозяйства, если не считать маленького парника площадью двадцать квадратных метров на опытном участке местной школы, и что Кошшаев не был ни кумом, ни сватом Усманову, а лишь получил некую свою «долю» за срыв «опасной поездки Эломонова».

Но тогда до всего этого было далеко. Был мягкий апрельский вечер с открытыми настезь окнами, тихо и приятно звучала музыка, молодежь прогуливалась по огромной квартире, шутили, смеялись, и казалось, не было жизни конца. А Худоёр Кошшаев, высокий, стройный, с благородной сединой в висках, вкрадчиво говорил:

— У вашгo сына точный глаз, Саидмурад Замонович. Я вот думаю, что ему не помешало бы всерьез заняться и скульптурой. Сейчас, сами понимаете, большой спрос на памятники...

— Я так не думаю, Худоёрджан, — сказал ему тогда Эломонов. — Незачем разрываться на части, достаточно и того, что он занимается одним видом искусства. Ему еще надо стать и хорошим востоковедом.

— Вы — отец, вам решать... Кстати, мне необходим ваш совет, Саидмурад Замонович. — Кошшаев чуть понизил голос: — Приходили сватать нашу дочь, но мы с женой без вас ничего не можем предпринять.

— Что я могу посоветовать, Худоёрджан? — улыбнулся Эломонов. — Найдите ей ровню и выдавайте замуж. Нечего тут раздумывать, сами понимаете, это такой товар, который не должен залеживаться.

— В том-то и дело, что они ей не ровня, — пробормотал Кошшаев. — Я вот, Саидмурад Замонович, гляжу и гадаю, что это за девушка стоит рядом с Сабирджаном?.. Из чьей она семьи?

Эломонов почувствовал в голосе своего заместителя явную неприязнь, и это ему не совсем понравилось.

— Дочь товарища Остонова, — сказал он. — Зовут ее Ойджамал, очень умная и порядочная девушка.

— Какой еще Остонов? — спросил Кошшаев, недоумеая. — Уж не тот ли горилла из Кассана?

— Это вы зря, Худоёрджан. Оскорбляете ответственного товарища.

— Извините, Саидмурад Замонович... Но, согласитесь, ведь он вылитый мавр, у него даже на лопатках шерсть растет, я сам видел, в Ялте вместе отдыхали, женщины на пляже шарахались от него!..

— Ну вы даете, Худоёрджан! — засмеялся Эломонов. — Шарахались, но потом подходили, так ведь?

— Подходили, — признался Кошшаев. — Но это волосатое чудовище их даже близко не подпускало.

— Вот видите, и это говорит в пользу товарища Остонова. Значит, он порядочный человек, хороший семьянин. Что до растительности на его теле, так это сущая ерунда, это даже украшает мужчину, если хотите знать. Вы лучше посмотрите на его дочь, Худоёрджан, на Ойджамал посмотрите, ей так подходит это имя, ведь она действительно лунолика!..

— Глаза у нее больно уж выпученные.

— Нет, вы не правы, Худоёрджан, это просто большие прекрасные черные глаза, она их унаследовала от своих предков, ведь в ее жилах течет и арабская кровь. Вот ее и хотим сосватать за нашего сына, если, разумеется, товарищ Остонов на это согласится...

— Согласится, куда он денется!.. — недовольно буркнул Кошшаев. — Это вы хорошо задумали, Саидмурад Замонович, но способен ли товарищ Остонов оценить по достоинству такого свата, как вы? Ведь это на всю жизнь, Саидмурад Замонович, такое родство-то?.. Простите меня за откровенность, если скажу, что мы с женой тоже хотели бы видеть Сабирджана своим сыном, только и ждали, пока Шодия вернется из Москвы...

— Какая оказия! — сказал Эломонов, как бы сожалея. — Что же теперь делать, Худоёрджан? Честно говоря, мы тут уже обо всем договорились с товарищем Остоновым. Я ценю вас и вашу семью, но что теперь скажет товарищ Остонов, если я нарушу наш уговор, который, как вы знаете, дороже отца?

— Разве нельзя?

— Нельзя, Худоёрджан, никак нельзя. Я сожалею, но уже не в силах что-либо изменить... Надеюсь, к вам еще придут более достойные сваты, дочь у вас хорошая, видная...

Эломонов говорил неправду. Не было тогда никакой договоренности с товарищем Остоновым. Просто он знал, что тот не прочь с ним породниться. Что до дочери Кошшаева, то он опять говорил неправду, она ему ничуть не понравилась, показалась несколько развязной. Еще он заметил, что Бинафша-ханум небезразлична к Шодии, и в душе у него зародилось сомнение, а вдруг они тайком от него сговорились? И он оказался прав — той же ночью, когда гости ушли и они остались дома одни, Бинафша-ханум заговорила о Шодии.

— Как вам дочь Худоёра, Саид-ака? — спросила она. — Мне она очень нравится, высокая, статная, вот нам бы такую невестку!

— Ей-богу, смешная вы, ханум, — проворчал Эломонов. — Зачем вам ее высокий рост?

— И лицом она хорошая, разве не заметили? Она же красавица!

— И еще в этих брючках, вся обтянутая...

— Ну вы консерватор, Саид-ака! Что же в этом плохого?

— Все у нее выпирает, даже то, что...

— Значит, есть чему выпирать!..

Бинафша-ханум весело хохотнула. Эломонов покраснел от смущения, затем, чуть подумав, нашел другой довод:

— И она, оказывается, рисует. Два художника на одну семью... не многовато ли?

— Стоит ей родить двоих детей, так сразу забросит живопись.

— Не обманывайте, ханум, ведь вы сами не забросили свои стихи после двух родов!..

— Мой пример не столь типичен, — с достоинством ответила Бинафша-ханум. — И мать Шодии хорошая женщина, директором ювелирного работает, весь город

ее знает. Месяц назад мы с ней коснулись этой темы... Она искренне надеется, что мы с ними породнимся. Думаю, они будут в справедливой обиде, если мы откажем, ведь вы с Кошшаевым работаете дверь в дверь, видите чуть ли не каждую минуту...

— Я не числюсь в должниках у Кошшаева, — сказал Эломонов. — Ничем ему не обязан. Пусть он знает свое место.

— Но, Саид-ака, все же...

— Никаких «но», — перебил ее Эломонов. — Я не собираюсь породниться с Кошшаевым, мне его дочь вовсе не нравится. Думаю, и сыну она не понравится.

— У вас есть другой вариант?

— Мой вариант вы прекрасно знаете, ханум, незачем притворяться.

Эломонову вдруг захотелось показать жене, насколько он тверд в своем решении. И тут же, лежа в постели, потянулся и взял телефонный аппарат с тумбочки себе на живот, позвонил Остонову и дал ему указание:

— Пожалуйста, Шоймардон Аббосович, подготовьте вашу дочь Ойджамал к свадьбе.

Остонов спросонья ничего не понял, затем, когда до него дошло, сразу оживился:

— Э-э, Саидмурад Замонович, за нами дело не станет, бараны уже откормлены, хоть сейчас под нож, приданое тоже готово, хотя... думаю, два дня хватит, чтобы восполнить кое-какие упущения, так что, Саидмурад Замонович, приглашайте на пиршество весь Оазис!

— Боюсь, вы все испортите своим бахвальством, — одернул его Эломонов, — оставьте вы эти байские замашки, все будет в меру, и мы тут поможем со средствами, думаю, незачем нам справлять сразу две свадьбы — у вас и у меня, хватит и одной, место выберем нейтральное, в каком-нибудь кафе, и чтобы все было скромно, человек сорок — пятьдесят самых близких...

При этих словах Остонов совсем упал духом.

— Как же так, Саидмурад Замонович, — запротестовал он, — мы же дочь свою выдаем лишь один раз замуж, сколько лет лелеяли ее, мечтали, и вдруг — пятьдесят человек?

— Мечтайте, но не размечтайтесь, Остонов, — все так же строго сказал Эломонов, — мы с вами ответственные работники, а не любители роскошных свадеб, и нам безразлично, какой мы пример подадим другим.

После этого разговора Бинафша-ханум дней десять не разговаривала с мужем. А тем временем свадебные приготовления шли полным ходом, правда, без ее участия. И тут Бинафша-ханум поняла, что молчанием делу не поможешь, и стала всячески ублажать мужа, лишь бы уговорить его изменить свое решение. Но Эломонов твердо настоял на своем. Свадьба была сыграна на Майские праздники. И первый раз за все время супружества он поступил так, самостоятельно провернул такое большое дело, не посоветовавшись с женой, и, как выяснилось впоследствии, поступил правильно.

Через год у них родился внук. К тому времени Сабирджан уже окончил университет, однако что-то не торопился устроиться на работу. Правда, изредка рисовал, но все остальное время был занят маленьким: то ему игрушки приносит и сам с ним играет, то жену с подругами отправляет в кино, а сам принимается стирать пеленки... Это обстоятельство сильно огорчило Эломонова. Он бы рад был видеть сына заботливым семьянином, но Сабирджан, при всем его старании, менее всего походил на отца, в его поступках проглядывало нечто ребяческое, незрелое. Даже на базар за покупками ему не хотелось идти, посылал туда или жену, или сестру, и вплоть до того, что отца однажды просил купить ему лезвия, а сам сидел и дурачился с сынишкой — то корову бодливую изображает, то козу шкодливую... Эломонов не выдержал, позвал его как-то вечером в кабинет и спросил:

— Что дальше-то будем делать, сын, когда ты будешь зарабатывать свой хлеб, мужчина как-никак?

— Я не подозревал, что мы вам в тягость, — обиделся Сабирджан, — ладно, помогите с квартирой, будем отдельно жить.

— Ты глуп, сын, — сказал ему Эломонов, — дети никогда не будут в тягость родителям, живите здесь, места тут всем хватит, а я лишь хочу спросить, займешься ли ты наконец своим делом, ведь целых пять лет проучился?

— Я решил всерьез заняться живописью, отец, — ответил Сабирджан, — думаю, это и есть мое настоящее призвание. Вы только согласитесь, отец, и я первым делом напишу ваш портрет...

Эломонов задумался. Сам он не мог решить этот вопрос. Нужен был совет дельного человека. И тогда он назначил прием некоему Рафаилу Джабраиллову, который

слыл самым опытным искусствоведом во всем Оазисе. Когда он пришел к нему, Эломонов спросил:

— Вы, товарищ Джабраилов, знаете художника по имени Сабирджан Эломонов?

— Знаю, — ответил тот.

— И хороший он художник?

— Разве ваш сын может быть плохим художником, товарищ Эломонов! — воскликнул Джабраилов. — Думаю, до академика он дотянет, техника у него совсем недурная.

— Меня не академик, а мой сын интересует, товарищ Джабраилов. Вы мне честно скажите, настоящий ли он художник?

— Ваш сын, товарищ Эломонов... — замялся Джабраилов. — Думаю, ваш сын...

— Да, да, товарищ Джабраилов, именно так — мой сын! — рассердился Эломонов. — Это мой сын, и потому я смею вас спросить — сможет ли он стать настоящим художником? От ваших слов зависит вся его дальнейшая судьба, товарищ Джабраилов. Подумайте и скажите правду, я буду вам очень благодарен.

— Пожалуй, ему не стоит заниматься живописью, — вынужден был признаться Джабраилов. — Не обижайтесь, товарищ Эломонов, но ваш сын просто дилетант, я не вижу его душу. Будет лучше, если он перестанет рисовать...

Эломонов поблагодарил и отпустил Джабраилова, слегка озадаченного столь странным приемом.

Через месяц после этого разговора Сабирджан со своей маленькой семьей был отправлен в одну из восточных стран, в ту самую, чей язык он изучал в течение пяти лет учебы. Судя по письмам невестки, он окончательно забросил живопись и решил заняться наукой. Теперь вот просит выслать ему ту старинную книгу, которую надлежит Эломонову достать хоть из-под земли...

Целый час просидел он в томительном ожидании. Телефон на столе периодически позванивал, но Эломонов не брал трубку, боялся, вдруг не та окажется весть... Так и сидел, пригвожденный к креслу, пока не вошел Хамрокул.

— Почему вы трубку не поднимаете? — удивленно сказал он. — Начальник вызывает.

— Какой начальник? — спокойно спросил Эломонов.

— Наш начальник, какой же еще, — ответил Хамрокул, не удержавшись от смеха. — Вообще-то, товарищ Эломонов, зря вас спустили к нам, здесь явно не те масштабы, иначе бы прореагировали на звонки местного начальства.

— Вы правы, Хамрокулджан, — засмеялся и Эломонов, — мне тут нечего делать. Думаю, скоро уйду от вас...

— Оказывается, вас разыскивает товарищ Изкуаров, — таинственно сообщил Хамрокул.

— Кто же это мог быть? — спросил Эломонов бесстрастным голосом. — Вы, случайно, не знаете его?

— Случайно знаю. Следовательно!

— Бх! — воскликнул Эломонов. — Следовательно, да еще Изкуаров! Надо же, Хамрокулджан, какое чудесное совпадение!¹

— Разве вы не знали?

— Имя его знал, а вот фамилию забыл, — сказал Эломонов. — Поверьте, Хамрокулджан.

Хамрокул не поверил. Они с минуту молча разглядывали друг друга.

— Оставим Изкуарова, Хамрокулджан, — начал Эломонов. — Я вот серьезно подумал и решил, что я тут совсем лишний. Плохой из меня газетчик, Хамрокулджан, вернее, никакой не газетчик. Говорят же, даже воробья и то должен резать мясник. Поговорка, может, и не совсем удачная, но, надеюсь, вы меня поняли...

— И куда же вы решили перейти?

— Пока неизвестно, — ответил Эломонов. — Но я твердо решил уйти отсюда. Стыдно, что я сижу тут эдаким огородным пугалом.

— Правильно решили, Саидмурад-ака. Я давно хотел вам сказать об этом.

— Но не сказали же! Или испугались?

— Нет, постеснялся, потому что...

— ...потому что сами хотите занять мое место?

Хамрокул не ответил, отвел глаза.

— Смелее, — подбодрил его Эломонов. — Все сказанное тут останется между нами.

— Ну как вам сказать... Ведь я этому учился...

— Молодец! — сказал Эломонов.

Хамрокул не понял, что означает это — одобрение или упрек. Он вымученно улыбнулся и проговорил:

— Не сочтите за наглость, Саидмурад-ака...

¹ Изкуар — сыщик.

— Вижу, вы просто трус,— сказал Эломонов.— Хорошо держались, а под конец все же струсили. Я в вас разочаровался, Хамрокулджан, вам не следовало идти на попятную.

— Ведь мы маленькие люди, Саидмурад-ака, какой с нас спрос...

— Вот это-то и плохо, Хамрокулджан, очень плохо, я этого больше всего и боялся,— сказал Эломонов.— Вы мне уже неинтересны. Но не бойтесь, уговор есть уговор, свое место я оставлю именно вам. К тому же меня следователь разыскивает.— Он кивнул на зазвонивший телефон.— Вам ужасно повезло, товарищ Каршиев...

Хамрокул был в явном замешательстве. Когда Эломонов поднял трубку, он отвернулся, будто не желая подслушивать чужой разговор.

— Слушаю,— сказал Эломонов в трубку.— Товарищ... Изкуаров?.. Извините... Так и скажите — Избосаров...¹ Очень уж схожие фамилии, немудрено и спутать... Я не нарочно, товарищ Избосаров... Да, да, я вас помню, только вот фамилию вашу подзабыл... — Эломонов немного послушал и улыбнулся.— Вот именно, я на этот счет был совершенно спокоен, хотя вы... — Он посмотрел на Хамрокула.— И у меня тут сидит один такой скептик, тоже не хочет ни во что верить... Да, он еще молод, примерно вашего возраста, надеемся, он еще будет расти... Нет, вы попроще говорите, товарищ Избосаров.— Лицо Эломонова приняло серьезное выражение.— Я сам знаю свою вину. Суд тут ни при чем... Дело не в приговоре, товарищ Избосаров... Не надо, товарищ Избосаров, вы слишком сладкоречивы, а это вовсе не к лицу следователю... Да, так... Это ваш долг, товарищ Избосаров, и вы правильно поступили... У меня прекрасная квартира, но это далеко не каменный дом на все сто тысяч. Имеем машину, она совсем еще новая, потому что никто на ней не ездит... Жена зарабатывает двести рублей в месяц плюс кое-какие гонорары, дочери платят стипендию, то ли пятьдесят, то ли шестьдесят, я сам, когда занимал пост, получал вдвое больше, чем они, вместе взятые. Подсчетам поддается, товарищ Избосаров? Даже излишки будут? Нет, товарищ следователь, вы упустили из виду те две или три тысячи, что ушли на ремонт квартиры, помогали сыну с невесткой, разные подарки... Ведь меня раньше часто приглашали в гости, не идти же

¹ Избосар — буквально: идущий следом.

с пустыми руками!.. Я очень рад, что внесена ясность, товарищ Избосаров... Благодарю вас за звонок. Заходите как-нибудь в гости, уж теперь-то я могу вас пригласить на пиалушку чаю... Желаю вам здоровья и удачи...

Закончив разговор, Эломонов потер себя по груди, словно силач после долгой борьбы, затем повернулся к Хамрокулу.

— Избосаров хороший парень, — сказал он. — У него мертвая хватка.

— Допрос уже кончился? — спросил Хамрокул.

— Это не допрос, Хамрокулджан, — ответил Эломонов. — Допросы давно уже кончились. Этот Избосаров довольно цепкий человек, но еще не успел избавиться от юношеской непосредственности.

— Наверно, еще не научился брать, — предположил Хамрокул.

— Не будьте таким циником, Каршиев, — строго заметил Эломонов. — У нас много честных юристов. Я лишь сказал, что Избосаров показался мне несколько наивным. Он все допытывался, на какие средства сколочено то маленькое состояние, которое я нажил за многие годы работы.

— Крепкий орешек, — улыбнулся Хамрокул. — И как же вы от него отделались?

— Вы зря смеетесь, Хамрокулджан. Если бы вы тоже покупали вещи за настоящую цену, то и вашей маленькой зарплаты хватило бы на многое. А Избосаров не знает всего этого, мало у человека жизненного опыта.

— Да-а, престиж — это уже есть целое состояние, — задумчиво протянул Хамрокул.

— Вижу, вы все поняли. Так-то, Хамрокулджан, учитесь, пока я жив. Сегодня у меня хорошее настроение. Даже жену свою слегка пожурил. Вы жену свою ругаете?

— Да, бывает, — сказал Хамрокул. — Вообще-то, мы живем очень дружно.

— Счастливый человек. Однако стоит вам занять мало-мальски значительный пост, вы уже не можете пререкаться с женой.

— Не понял, — пробормотал Хамрокул. — Неужто это так обязательно — ругаться с женой?

— Конечно, не обязательно, но иногда ведь так хочется, — улыбнулся Эломонов. — Ну что, согласны вы на пост редактора? Могу рекомендовать!..

Хамрокул задумался и сказал:

— Я журфак кончал, постараюсь, Саидмурад Замонович...

— Это совсем другой разговор, — сказал Эломонов. — Теперь я могу перейти на другую работу.

— Вы, Саидмурад Замонович, человек обиженный, хоть и виду не подаете, — сказал Хамрокул, осмелев вдруг. — Если опять вернетесь к большой деятельности, сможете ли... без этой злости?..

— Не бойтесь, Хамрокулджан, я никому не буду мстить. Ладно, теперь вы сходите в типографию, узнайте, как идет набор. Надеюсь, вы не возражаете, если и этот номер подпишу я сам?

Хамрокул вышел из кабинета несколько ошарашенный. Эломонову даже стало его жалко, хотя, если признаться, жила в нем глубоко затаенная обида на парня за вечные его усмешки. «Уж ты-то мог бы быть смелей, — грустно подумал Эломонов, — тебе же легче, ты еще можешь спорить, спорить хотя бы со мной, а мне-то каково при моем теперешнем положении, с кем я могу еще спорить, кроме как с самим собой? Ты умен, Хамрокул, ты советуешь, чтобы я не обозлился вконец, и что же теперь мне делать — вечно и всюду кланяться всем в ноги? А вдруг мне еще повезет и другие начнут кланяться? Разве такое исключено? Ведь ты первый сломался, как только я сообщил о своем переходе на другую работу. Даже не спросил куда. Ведь ты еще не успел стать *стремянным*, Хамрокул? И вообще, нужно ли это тебе, честному, прямому парню? У меня были такие стремянные, что могли бы совратить даже самого бога! Помню, поехал я однажды в далекий горный кишлак, название которого оказалось несколько странным — Кампир-улди¹. Вот и решил я, глупец, неосторожно пошутить, что, мол, тут должно быть страшновато пожилым женщинам. Через год узнал, что Кампир-улди успели переименовать в Замонобад. Я не стал спрашивать причину, она и так была ясна, но сами они долго объясняли: мол, де, Саидмурад Замонович, выполняя ваши мудрые пожелания, мы позаботились о том, чтобы наши старушки вовсе не умирали, а всласть пользовались всеми благами нашего светлого времени. А о том времени, что означало имя моего покойного отца, не было сказано ни слова! Был еще случай, когда я выехал на нивы, увидел богатый хлеб и сказал: «Да возвыситься вашему

¹ Буквально: старушка померла.

хирману, добрый у вас нынче урожай, хлеб — всему голова, ничто, даже картошка, не заменит его». И мои стремянные позаботились о том, чтобы через неделю я мог увидеть над тем же током огромное алое полотнище: «КАРТОФЕЛЬ НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ХЛЕБ!» Слава богу, хоть не было внизу моего имени. Так в чем же моя вина? Ведь я такой же обыкновенный человек, как и все вокруг, могу хорошо или плохо говорить, никому и никогда не давал клятвы всегда и везде изрыгать одни мудрости! Теперь я хоть могу над этим посмеяться, но тогда не мог, вот это-то и обидно сейчас. Смейся я тогда, меня бы сочли легкомысленным и перестали бы уважать, и потому я ходил такой серьезный, сосредоточенный, и походка у меня была иная, важная, величественная, голос — с хрипотцой, тихий, но властный, а лицо — словно суровый фасад дома, к которому боязно даже подойти. Весь этот маскарад стоил мне долгих и мучительных упражнений, я годами, десятилетиями учился выглядеть именно таким — эдаким надутым индюком! И настал день, когда мой внушительный фасад легко дал трещину вместе с моим сердцем, было стыдно и больно, но эта боль не помешала мне посмеяться над своей участью, я наконец прозрел и узнал всю целебность смеха, и было вдвойне обидно, что уже поздно применять эти знания...»

Сочиняя заявление в полстраницы, Эломонов вдруг заметил, что он уже разучился писать: буквы — мелкие, строчки — кривые, как говорится, прополз пьяный муравей по бумаге... Лишь подпись внизу — плод долгих лет выучки! — получилась четкой, изящной, с завитушками.

Он взял заявление и поднялся наверх к начальнику объединения. Запыхался, пока одолел четыре этажа, остановился у какого-то стенда и отдышался, делая вид, будто рассматривает фотографии.

В приемной сидели два молодых парня и пожилой управляющий трестом. Эломонов поздоровался с ними и присел в кресло поближе к двери кабинета. В углу комнаты девушка-машинистка печатала какой-то текст. Когда она посмотрела на Эломонова, ему стало неловко — вот уже около года секретарши больших начальников смотрели на него с некоторой жалостью. «Наверно, я выгляжу жалким, — подумал Эломонов, — забился тут в угол с листком бумаги, этаким просителем, жаждущим

аудиенции, благо хоть эти двое парней не знают меня, а с управтрестом раньше встречались, скромный человек, года три назад был у меня на приеме, и фамилия у него созвучна с моей, то ли Омонов, то ли Омонкулов, ах, да, Джомонкулов, Джомонкулов... А эта секретарша... как же ее звали?..»

Эломонов уже однажды спрашивал, как ее зовут, но сейчас никак не мог вспомнить. Посмотрел на нее украдкой: невзрачнейшая, чем-то похожа на Хадичу-апа, на его бывшую секретаршу, только эта еще совсем молодая. «Хадича-апа родилась в год мыши, как и я, — подумал Эломонов, — значит, она была старше меня на двенадцать лет — на целый цикл. Вообще, все мои секретарши были старше меня самого, не было ни одной молодой, боялся я, что ли?..»

В это время дверь кабинета открылась, и вышел какой-то старик. Туда вошли ждущие очереди молодые люди. Джомонкулов беспокойно заерзал, затем вынул из кармана флакон с белой жидкостью и выпил, налив на маленькую пластмассовую ложечку.

— Желудок мучает, Саидмурад Замонович, — пожаловался он, облизывая ложечку. — Хочу взять отпуск и ехать в Ессентуки.

— Правильно делаете, — сказал Эломонов, чтобы как-то поддержать разговор. — Здоровье нужно беречь.

Джомонкулов спрятал в карман лекарство и ложечку.

— Вижу, и вы заявление написали? — Он кивнул на бумагу, что Эломонов держал в руке. — Тоже в отпуск и на курорт?

— Я на курорт езжу летом, — ответил Эломонов. — Это совсем другое заявление.

— Тогда прошу прощения, — смутился Джомонкулов. — Признаться, Саидмурад Замонович, я порядком устал, сами понимаете, у нас работа нервная, склочная. Строители, одним словом...

— Я по профессии агроном, товарищ Джомонкулов, мало разбираюсь в вашей области.

— Знаю, Саидмурад Замонович, но вы всегда помогали нам. Помните, я к вам приходил, когда заказчики затеяли с нами ненужную тяжбу?

— Кажется, вы тогда победили? — спросил Эломонов наугад, хотя он никакую такую тяжбу не помнил.

— С вашей помощью, Саидмурад Замонович, — улыбнулся Джомонкулов, затем заботливо спросил: — Как ваши дела? Здоровье?.. Здоровье ваших родных?..

— Спасибо, товарищ Джомонкулов, все живы-здоровы.

— А мы слушаем песни вашей супруги. Слышал, что у нее новая книга вышла, да не знать боли пишущим ее рукам!..

— Да, вышла.

— Наверно, нелегкое это дело — писать стихи? — спросил Джомонкулов. — Я вот столько лет живу на свете, но даже заявление толком не могу написать, все не вяжется, а ведь это стихи!..

— Зато вы хорошо строите, товарищ Джомонкулов, каждому — свое.

— Вы не поверите, товарищ Эломонов, в молодости я целые поэмы наизусть знал, у деда своего научился, но как только запрягся в эту арбу, так даже книжки читать нет времени, — сказал Джомонкулов, вздыхая. — Теперь вот собираюсь в отпуск, надо подлечиться... Вас хоть не беспокоит желудок?

— Пока не беспокоит.

— Ну у вас же был нормальный режим, Саидмурад Замонович, — сказал Джомонкулов с завистью. — Годовой свой план мы выполнили на все сто пять процентов, думаю, и мы теперь пригоди для курортов?

— Поздравляю, товарищ Джомонкулов.

— Когда же вас будем поздравлять, Саидмурад Замонович? — спросил Джомонкулов. — Надеюсь, скоро?

— В газетном деле нет особо твердого плана, — ответил Эломонов. — Сами знаете, тут точный график — и никаких перевыполнений.

— Вы меня не поняли, — обиженно сказал Джомонкулов. — Газета — это одно, а я о другом спрашиваю.

— Даст бог, все будет... — неопределенно ответил Эломонов и внимательно посмотрел на Джомонкулова: с чего он вдруг, знает что-нибудь или просто издевается? Но на широком загорелом лице Джомонкулова не было ни тени усмешки, глаза его смотрели прямо и честно. Эломонов немного успокоился.

Молодые люди, вошедшие в кабинет, вышли оттуда и передали секретарше какие-то бумаги.

— Будем считать, что вы уже в отпуске, — с улыбкой обратилась секретарша к Джомонкулову. — Посидите немного, пусть сперва зайдет Саидмурад Замонович.

— Право, мне неудобно, — смутился Эломонов.

— Что же тут неудобного, идите, Саидмурад Замоно-

вич, — поддержал секретаршу сам Джомонкулов. — Правильно говорит дочка, мне совсем не к спеху.

— Благодарю вас, товарищ Джомонкулов, — сказал Эломонов и встал.

— У меня к вам просьба, — сказал Джомонкулов. — Вы почти всюду побывали, Саидмурад Замонович, вдруг у вас старые знакомые в Ессентуках, не дадите ли их адрес?..

Эломонов остановился у двери и оглянулся.

— Жаль, но у меня нет друзей в Ессентуках, товарищ Джомонкулов, — сказал он, грустно улыбаясь. — Вы лучше спросите у товарища Тайлокова, кажется, и у него болит желудок.

— Скажет ли? — нерешительно спросил Джомонкулов.

— А вы попросите от моего имени. Из наших кадров, обязательно скажет.

Эломонов вошел в кабинет. Чоршанбиев работал. При виде Эломонова он торопливо встал и вышел из-за стола. Поздоровались.

— Рад вас видеть, Саидмурад Замонович, — сказал Чоршанбиев и подал стул: — Пожалуйста, садитесь.

— Нет, мне некогда сидеть, — отказался Эломонов. — Сотрудник наш сказал, что вы меня разыскивали.

— Да, спрашивал... Но вы сперва садитесь, Саидмурад Замонович... Я хотел вас поздравить, что наконец избавились от этого Избосарова. Не сглазить бы, но вы прекрасно выглядите!

«Значит, выгляжу совсем неважно, — подумал Эломонов, — а так вроде хорошо выспался, наверно, у меня бледный вид, всему виной этот бес Пулатов, его недавние слова, кажется, я немного заволновался...»

— Да вы садитесь, Саидмурад-ака, — повторил просьбу Чоршанбиев.

Эломонов не сел. Протянул ему заявление. Чоршанбиев быстро пробежал глазами по бумаге.

— Что это? — удивленно спросил он. — С чего вы вдруг так решили, товарищ Эломонов? Или мы провинились в чем?

— Вы тут ни при чем, — ответил Эломонов. — Если честно, то эта работа не по мне, Насырджан. Такое чувство, будто ем чужой хлеб. Вот и решил уйти, пока не совсем усыплена совесть, чего доброго, могу еще и привыкнуть. Стыд сродни смерти, так ведь говорят, Насырджан?..

— Тут дело одними пословицами не решается, товарищ Эломонов, — посерьезнел Чоршанбиев. — Думаю, надо подождать. Потом, что это значит — уволиться по собственному желанию? Не мне вам объяснять, что существуют другие формулировки, скажем, перевод на другую работу, и так далее. Может, еще чуточку потерпим? Ведь никогда не поздно оформлять подобные бумаги...

Эломонов в душе согласился с Чоршанбиевым, понял, что поторопился с заявлением, но теперь было поздно изменить решение, иначе Чоршанбиев мог бы подумать, что все это было не всерьез, что Эломонов решил просто-напросто испытать, чего он вообще стоит.

— Согласитесь, Насырджан, уволить меня по собственному желанию.

— Я так не могу, товарищ Эломонов, — не согласился Чоршанбиев. — Не могу вас так легко отпустить, за это меня не погладят по головке. Как-никак вы все еще значитесь в списках.

При этих словах Эломонову стало обидно до слез. «Как ты еще наивен, — подумал он с горечью, — уж давно все переместилось в тех твоих списках, я раньше был в первых рядах, а теперь... И как непросто все это тебе сказать, хотя бы потому, что ты еще совсем молод, ты еще нигде не спотыкался, следовательно, можешь и не понять».

— Я вас очень прошу, Насырджан. Оформите мое увольнение по собственному желанию. За все остальное отвечу сам. Ведь и у меня могут быть свои желания. Считайте, что именно этого я больше всего хочу — уволиться по собственному желанию. Вы говорите о списках, пусть я вылечу из них ко всем чертям, но дальше так не могу, буду нужен, так вновь занесут в списки, дайте мне отсюда уйти, сами знаете, я ничего не воровал, не развратничал, правда, был глуп, доверял всем без разбору, но за это уже наказан достаточно...

Чоршанбиев больше не стал спорить, молча взял заявление и наложил резолюцию.

— Если не возражаете, то я сдам свои дела Каршиеву, — сказал Эломонов. — Инициативный молодой человек, энергичный, хорошо знает газетное дело.

— Я согласен, — ответил Чоршанбиев. — Только вы заранее предупредите его, пускай не надеется на персональную машину.

Эломонова будто током ударило, он быстро взглянул на Чоршанбиева, но обиду проглотил... Что он мог ему сказать, если уже однажды молча принял милостыню в виде новенькой «Волги»?

— Машину сегодня не могу сдать, — сказал он чуть спустя. — Есть кое-какие дела, надо поездить...

— Еще целую неделю машина будет в вашем распоряжении, — сказал Чоршанбиев. — Можете спокойно пользоваться. Думаю, вас без машины не оставят, Саидмурад Замонович...

Последняя фраза озадачила Эломонова. Лицо Чоршанбиева было по-прежнему бесстрастным. «Хитрит, — подумал Эломонов, — не может быть, чтобы слухи обошли его, наверняка что-нибудь да знает, а вот виду подавать не хочет».

Потом Чоршанбиев проводил его до самых дверей приемной. Эломонов и в этом увидел некий добрый признак.

Он спустился вниз и открыл дверь большой комнаты, где сидели его сотрудники. Увидев Эломонова, все трое встали.

— Я уволился, товарищи, — сообщил Эломонов.

Сотрудники уставились на него: двое — с удивлением, а третий, Хамрокул, — с тревогой и волнением. Кажется, он даже немного побледнел.

— У меня маленькая просьба, — сказал Эломонов ему. — Отнесите мое заявление в отдел кадров, пускай оформят приказом.

Хамрокул взял заявление.

— Так быстро, товарищ Эломонов?.. — выдавил он из себя.

— Чего ждать? — бодро ответил Эломонов. — Мне было приятно с вами работать, товарищи. Думаю, наше сотрудничество на этом не кончится...

Сотрудники вежливо заулыбались. Видимо, они не первый раз слышали эти дежурные слова.

«От каждого уволившегося редактора, — подумал Эломонов. — Я это, конечно, зря, надо было попросе...»

— Ключ я оставляю в дверях, Хамрокулджан, — сказал он. — С товарищем Чоршанбиевым мы уже договорились. Можете сегодня же приступить к работе. Правда, машины у вас не будет. Сами понимаете, она была при-

креплена ко мне исключительно в лечебных целях. — Тут Эломонов заставил себя улыбнуться. — Не стали приглашать постороннего человека, вы — свой кадр, хорошо знаете коллектив, так что, товарищ Каршиев, остается вам только дерзать...

Хамрокул опустил глаза. Эломонов улыбнулся и тем двоим, слегка наклонил голову, мол, и вам очень признателен, и вышел.

В своем кабинете, правда, уже бывшем, снимая с вешалки пальто и шапку, он рассудил, что Ибодулло Махсум все-таки был прав, одежда совсем износилась, от шапки из голубой смушки осталось одно только название, завитушки совсем распрямились, готовы выпасть с корнем... «Ладно, — вздохнул он, — не стоит огорчаться, лишь бы голова была цела, а шапка всегда найдется». Он взял лежавший на столе толстый кожаный портфель, подошел к двери, остановился, чтобы последний раз обозреть свой кабинет — просторный, с высокими потолками, с удобной мебелью, двойные окна, новые шторы... И на какой-то миг ему стало жалко, что он оставляет его навсегда.

— Прощайте, — сказал он вслух, — да умножится добро на свете!..

Закрыв дверь на ключ и бодро зашагал по коридору. Звуки шагов гулко отдавались от стен. Удивился, вспомнив, как недавно запыхался, поднимаясь на четвертый этаж. «Нет, Эломонов, есть еще силы, есть, значит, и жизнь...»

Увидев в коридоре молодого человека лет тридцати пяти, он обрадовался, будто встретил родного отца.

— Здравствуйте, Нуриллоджан! — воскликнул он. — Как вы поживаете? Давно я вас не видел! Слышал, что вы перешли в исполком, и обрадовался, ведь рост наших кадров и есть наш собственный рост!..

Молодой человек не понял его радости.

— Товарищ Эломонов? — удивленно спросил он. — Значит, вы здесь?

Эломонов хотел было сказать, что уходит отсюда, но небрежный тон молодого человека быстро остудил его пыл. В это время открылась какая-то дверь слева, и оттуда позвали:

— Сюда, Нурилло Набиевич!..

Молодой человек направился туда, даже не попрощавшись. Эломонов один остался в длинном пустом коридоре. «Вот как меняются люди, — подумал он с горь-

кой обидой, — а был такой любезный, чуть что — за советами бегал, а теперь, выходит, большим человеком стал? Я, дурак, еще обрадовался ему! Спасибо, хоть узнал меня, Нурилло Набиевич! Зря ты, все-таки зря думаешь, что Эломонов больше уже не воскреснет. Нет, Нурилло Набиевич, Эломонов еще не умер, мы еще с тобой встретимся!..»

Эломонов сам испугался последней мысли. «Уймись, Саидмурад, — сказал он себе самому, — надо быть шире, такие были всегда, будут и впредь, не обращай на них внимания, иначе Хамрокул окажется прав, станешь ты злопамятным и еще начнешь мстить...»

Кулмухаммад сидел в проходной и распивал чай со стариком вахтером. При виде Эломонова он залпом осушил свою пиалу и встал.

— Хозяин идет, отец, — сказал он вахтеру. — Дальше вы сами... Что, Эломонов-ака, в поездку?

— Пока оставим поездку, — ответил Эломонов. — Есть кое-какие дела в городе.

— Я к вашим услугам, Эломонов-ака, с ветерком доставлю!

— Меня радует ваша вечная готовность, Кулмухаммад, — улыбнулся Эломонов. — Но сегодня особенно не будете гнать, на улице гололедица...

Они вышли на улицу. И сразу холодный ветер ударил в лицо. Эломонов быстро застегнул пуговицы пальто, поднял воротник. И увидел, как на обочине улицы затормозил красный «Москвич».

— Жена ваша приехала, Эломонов-ака, — сообщил Кулмухаммад. — И как раз вовремя успела, а то могли бы и уехать.

И действительно, в эту секунду открылась дверь машины и вышла оттуда Бинафша-ханум. Порывшись в сумочке, она рассчиталась с шофером и направилась сюда. Эломонов поспешил к ней и увидел, что она явно не в духе.

— Я только собрался на поиски той книги, ханум, — солгал он жене. — Боюсь, вы зря трудились, я ничего не забыл.

Бинафша-ханум зло посмотрела на него, но ничего пока не сказала.

— Что-нибудь случилось? — забеспокоился Эломонов.

— А он еще не знает! — усмехнулась Бинафша-ханум. — Пошли!

Она взяла мужа за руку и потащила за собой к белой «Волге», где уже сидел Кулмухаммад.

— Поехали в издательство, — сказал Эломонов водителю.

— Нет, в театр, — сказала Бинафша-ханум. — Вы знаете, где находится театр муздрамы?

Эломонов удивленно посмотрел на нее:

— Разве вам не на работу?

— Сперва надо в театр... Вы когда говорили с этим Пулатовым?

— Утром... Где-то около одиннадцати, нет, пожалуй, двенадцати... Почему вы спрашиваете, ханум, что-нибудь случилось?

— О святая простота! — сокрушенно покачала головой Бинафша-ханум. — От кого вы узнали про те слухи? От Пулатова?

— От него, — ответил Эломонов, чувствуя, как холодеет сердце. — Потом... вроде и наш сват Остонов намекнул на это...

— Я уже позвонила Пулатову. Говорит, что пошутил, чтобы ему перевернуться!..

— Ых! — сказал Эломонов. — Как это так, ханум, я ведь ему поверил и... Нет, ханум, не может быть, ведь он вроде неплохой человек, не станет же обманывать!..

— Сейчас мы это проверим, я устрою вам обоим очную ставку!

Эломонову вдруг стало плохо, он откинулся головой на спинку сиденья.

— Не надо, — взмолился он. — Я вас очень прошу, ханум, давайте не поедем туда, пусть все пропадает пропадом!.. Ведь стыдно...

— А вот и поедем! — твердо заявила Бинафша-ханум.

Кулмухаммад, молчавший до сих пор, вмешался в их разговор:

— Не надо так дергать мужа, Бинафша-апа. Вообще-то, это факт, что ходят слухи о его повышении...

— А вас не спрашивают! — резко оборвала его Бинафша-ханум.

— Полно, ханум, — сказал Эломонов. — Нельзя так разговаривать с человеком, он же за рулем!..

— Спасибо, Эломонов-ака, но вы за меня не беспокойтесь! — сказал Кулмухаммад. — Рука у нашего брата крепкая. Такая вот работа, мало кто не нервирует нас, а вот вынуждены не делать аварию, ведь за спиной —

целых одиннадцать детей. Что, по-прежнему едем в театр?

— Нет, — сказал Эломонов. — Подбросим Бинафшаханум на ее работу.

Бинафшаханум молчала.

— Пускай Пулатов и обманул, ханум, — сказал Эломонов, повернувшись к ней. — Пускай его, шутника... Ничего страшного не случилось, мы же не останемся на голом месте...

Бинафшаханум резко оглянулась. Глаза ее были полны презрения.

— Не пойму, — сказала она, — не пойму, как вас такого могли столько лет держать на посту, такого болвана!..

— Да уймись вы наконец! — вспыхнул Эломонов, задетый за живое. — Сколько еще можно меня пилить? Не скажу, что был хорошим, но ведь и мошенником я не был! Раньше вы со мной так не говорили, да, да, раньше вы на это не осмеливались! И Пулатов не мог так подшутить надо мной!..

— Вот как вы заговорили! — удивилась Бинафшаханум. — Если вы все это понимаете, так зачем же тогда заявление написали? Ведь никто у вас не отбирал пост, а сами сдали, собственноручно, ничего себе не оставили. Не дай бог, ваш преемник еще обидится! Так что потерпите теперь, мой милый! Потерпите, еще не то увидите!..

— Я-то терплю, но, вижу, вы не можете!..

— О-хо-хо!.. — картинно воздела очи Бинафшаханум. — Надо же, а? Гнев-то какой праведный! Да мне, если хотите знать, все до лампочки! Слава богу, есть у меня свое место в жизни, на судьбу свою не жалуюсь!..

Кажется, разговор супругов надоел Кулмухаммаду, он резко затормозил:

— Я выйду, Эломонов-ака, — сказал он. — Поговорите одни, потом позовете.

— Не будьте столь щепетильны, Кулмухаммад, — сказал ему Эломонов. — Поехали, мне нечего от вас скрывать.

Кулмухаммад ничего не сказал и сразу дал большой газ, видимо, он уже позабыл, что за спиной у него все одиннадцать детей.

— Самое страшное — вы научились врать, Эломонов. — Бинафшаханум возобновила разговор. — Сколько

уже обещаете съездить за книгой для сына? Я уже устала твердить об этом каждый день!..

— Ради бога, ханум!.. — взмолился Эломонов. — Я действительно собираюсь туда съездить, но не знаю старую азбуку, вы же опять рассердитесь, если я привезу не ту книгу.

— Вы же еще не съездили, а только говорите! — в сердцах сказала Бинафша-ханум. — О такой ли участи я мечтала? Что ж, придется смириться, вы уже конченный человек, Эломонов, теперь вся моя надежда на сына. Пусть это будет моя последняя просьба, сделайте такое одолжение, найдите ту книгу!..

Эломонов не ответил. «И вправду конченный человек, — подумал он о себе, — раз поверил этому Пулатову и лишился и этой маленькой должности, значит, песенка моя спета. Хорошо, хоть ей не сообщил об этом, а то...»

— Прихватите с собой кого-нибудь знающего, — сказала Бинафша-ханум. — Пускай прочтет и выберет ту книгу. Не покупайте по одному лишь названию, проверьте и то, что внутри, нельзя доверять этим книгопродавцам. Есть у вас кто-нибудь, умеющий читать по старинке?

— Знаю только Ташпулата Хайбарова, — сказал Эломонов. — Но не знаю, будет ли он со мною разговаривать. Он упрямый человек, весь в отца...

— Слушай-ка, какие еще новости! — воскликнула Бинафша-ханум. — Кто он такой, этот ваш Хайбаров, чтобы не разговаривать? Старьевщик, книжная мышь!.. Короче, вы найдете его и привезете мне книгу. Адрес его знаете?

— Не знаю, студентом вроде жил в общежитии...

— Что, вы в своем уме! Он уже давно не студент. Спросите у Мурада. Кажется, они дружат. Оба они лоботрясы, только и делают, что коптят небо. Помните, кто это сказал, что зарежет барана и устроит большой пир, если я перестану писать стихи? Это сказал тот самый ваш Мурад, запомните! Вы еще общаетесь с таким змеенышем! Сам писать не может и другим не дает!..

— Да он вроде и пишет... — несмело возразил Эломонов.

— Не пишет, а измывается над людьми! — сказала Бинафша-ханум. — Уже несколько раз ставили это ему на вид, а не унимается! Плохо он кончит, так ему и передайте!..

— Не могу, ханум, пускай его живет...

— Бойтесь? Значит, все могут насмеяться над вашей женой, и вы молчите?.. Знайте, он и вас ни в грош не ставит, этот ваш Мурад!

— Полно, ханум! — рассердился Эломонов. — Разве так можно, обо всем и... Надо же знать меру!

— Остановите здесь! — велела Бинафша-ханум водителю. — Больше я не могу с вами, Эломонов!

— Ведь еще далеко до вашей работы, — сказал Кулмухаммад с раздражением.

— Остановите!..

Кулмухаммад остановил машину. Бинафша-ханум вышла и сильно хлопнула дверью. Отошла прочь, даже не обернулась. На тротуаре, у газетного киоска, она обнялась с какой-то полной женщиной. Послышались возгласы, веселый смех. Эломонов смотрел им вслед, пока они не исчезли за дверьми здания напротив.

— Я не очень понимаю вашу жену, Эломонов-ака, — недовольно пробурчал Кулмухаммад. — То ей в театр надо, то на работу, а теперь...

— Здесь — поликлиника, — объяснил Эломонов. — У нее давление.

— Поликлиника, говорите? — удивился Кулмухаммад. — Почему ничего не написано?

— Это вовсе необязательно, Кулмухаммад. Те, кто сюда приходят, знают, что здесь поликлиника.

— Кажется, вы сами сюда не ходите?

— Я стесняюсь сюда ходить.

— Как? Тут, это... по женской, что ли, части?..

— Нет, мужчин тоже принимают. Я раньше ходил сюда, потом перешел в поликлинику наших строителей. Жена осталась здесь. Я бы тоже мог остаться, но не захотел: подумают еще, что это благодаря жене, в качестве члена семьи.

— Вообще, вы правильно поступили, Эломонов-ака. Дважды смерти не бывает, одной смерти не миновать. Чего тут бояться!

— Вижу, вам легко живется, Кулмухаммад, — вздохнул Эломонов. — Ладно, поехали, отложить поездку уже не удастся, сами всё видите...

Но Кулмухаммад не торопился ехать. Он достал из ящичка сигареты и закурил. Эломонов не знал, что он курит, потому и был неприятно удивлен: «Раньше, значит, хоть немного стеснялся меня, теперь нет в том надобности, все он слышал, можно и закурить». Кулмухам-

мад чуточку опустил стекло и выдохнул дым наружу. Эломонов съежился от холода и поднял воротник пальто.

— Вы не обидитесь, Эломонов-ака, если я вам скажу одну вещь? — спросил Кулмухаммад, бросив сигарету.

— Говорите, — сказал Эломонов. — Теперь я ни на кого не обижаюсь.

— Ладно, скажу... Вообще-то, вы зря взяли себе эту жену, Эломонов-ака. Надо было чуть попроще, из своих, галатепинок...

— Почему? — спросил Эломонов, хотя он прекрасно понял своего водителя. Обида на жену еще не прошла, и ему хотелось с кем-то ее разделить. — Ну, почему так считаете, Кулмухаммад?

— Э! Не пара она вам, так скажу... — ответил Кулмухаммад. — Вы ради нее все делаете, бегаєте, унижаетесь, и в воду, и в огонь!.. Если бы мы так делали, так жены наши носили бы нас прямо на голове, мало того, они бы!..

— Ведь она не желает мне зла, — смутился Эломонов. — Сердится, так это из-за сына... Ему нужна одна редкая книга, чтобы написать диссертацию. А тут еще дочь на выданье. И все эти хлопоты на плечах жены!..

— Лучше бы она сидела дома и вела хозяйство, — гневно сказал Кулмухаммад. — Да вот говорите мне, сын да дочь, сын да дочь, ладно, и мы понимаем, и у нас есть дети, ладно, сын — это ваш сын, дочь — это ваша дочь, надо их поддержать, но ведь душа-то проклятая, она ведь тоже ваша, Эломонов-ака! Пожалейте вы хоть душу-то свою! Вот вы бегаєте из-за них, высунув язык, а они вам, это... хоть спасибо скажут?! Не скажут ведь?

— Ну это вы хватили через край, — сказал Эломонов. — Хотя, признаю, они привыкли жить широко, когда я еще был на коне, вот и скучают по тем временам...

— Скажите, пускай потерпят! Не каждый же день есть сливки! Пускай привыкнут, чего им еще требуется?.. Говорят же, бей по зубам того, кто не ест, имея вдоволь всего, и того, кто обжирается, не имея ничего!..

— Правильно вы говорите, Кулмухаммад, но...

— Какое еще может быть «но»? — Шофер не дал Эломонову договорить. — Почему вы так дрожите перед же-

ной? Да вы бы ее розгами, да покрепче, чтобы неповадно было!.. Даже дурак понимает ваше положение. Вот когда Чоршанбиев выделил вам эту машину, ведь никто не захотел вам шоферить? Другое дело, если бы вы занимали должность, так они бы вас облепили, как мухи!

— А вы? — спросил Эломонов с горькой обидой. — Почему же вы согласились?

— Мы же не чужие вам, Эломонов-ака! Вы — из Галатепе, я — из Шоркудука, рукой ведь подать! В хорошие дни все пригожи, а в черный день — только свои!

— Спасибо, Кулмухаммад, за ваше сочувствие. Но, пожалуйста, хватит об этом, не мучайте меня больше, поехали!

— Нет, сперва вы меня дослушайте, — упрямо сказал Кулмухаммад. — Если вы умный человек и у вас осталась хоть капелька гордости, то откажитесь от этой жены. Еще не совсем поздно.

— Как вы смеете меня учить? — рассердился Эломонов. — Вы хоть подумайте, прежде чем говорить. Потом... не всегда жена была такой нервной, много у нас было прекрасных дней, как же я теперь откажусь от нее?.. Ведь ей совсем нелегко, ходит на работу и дома ни минуты не знает покоя, к тому же стихи сочиняет...

— Стихи сочиняет! — усмехнулся Кулмухаммад. — Когда женщина довольна мужем, не станет она сочинять никакие стихи, будет дома сидеть, ухаживать за мужем, за детьми, готовить чай, плов, встречать гостей, родственников!.. Вот моя жена... почему она стихи не сочиняет?

— У вас же большая семья, — улыбнулся Эломонов наивности Кулмухаммада. — У вас же целых одиннадцать детей...

— Так и вам надо было народить одиннадцать детей!

— Ну это было бы слишком... Да и времени у нас не было, работа, ответственность...

— Бросьте вы все это, Эломонов-ака! — разочарованно махнул рукой Кулмухаммад. — Вижу, с вами не потолкуешь! Я-то думал, вы меня послушаетесь, мы ведь не чужие. Но я зря старался, хотя, может, я и не прав, у вас, у начальников, своя жизнь, может, мы чего-то и недопонимаем. Поехали, Эломонов-ака! Скажите адрес вашего Мурада!..

Эломонов назвал адрес Мурада. Машина тронулась.

«Теперь все будут говорить со мной в таком же тоне, — подумал он, — потерял и то маленькое, что я имел, — написал заявление, и никто не водил моей рукой, все сделал сам, все сам...» Так он подумал, но не обнаружил на душе никакого сожаления, даже удивился — так легко ему дышалось теперь, легко и свободно, никакой ноши, никакой боязни, будто все вдруг стало на свое место, без нервов, без суматохи — хоть снова начинай свою жизнь!

Мурад охотно объяснил, где живет его приятель Ташпулат Хайбаров, даже начертил на бумажке, как туда подъехать. Эломонов эту бумажку вручил Кулмухаммаду и велел сперва заехать на базар за покупками.

Хайбаров жил на окраине города, в пятиэтажном доме в дальнем конце улицы, который стоял боком к кукурузному полю. Кулмухаммад остался внизу. Эломонов взял пакет с подарками и поднялся на третий этаж. Дверь открыла молодая миловидная женщина. Эломонов вспомнил, как года два назад ему говорили, что старший сын покойного Хайбарова все ходит в холостяках, хотя младшие уже женаты. И он подумал про себя, что, мол, наверняка это поллюбовница какая-нибудь, не станет же человек сразу жениться, раз столько лет терпел...

— Проходите, пожалуйста, — сказала женщина, когда он решил было извиниться и уйти. — Ташпулат-ака в кабинете с гостем. Вон туда, в самый конец коридора...

Эломонов вошел, снял пальто и направился в дальнюю комнату. Открыв дверь, он закашлялся от табачного дыма. В комнате сидели Ташпулат Хайбаров и незнакомый молодой человек и о чем-то оживленно говорили.

— Вы? — спросил Хайбаров, не веря своим глазам, и поспешно встал. — Саид-ака! Какой же добрый ветер занес вас сюда?

— Дела, Ташпулатджан, дела, — вымученно улыбнулся Эломонов. — Зачем душой кривить, вы меня не увидели здесь, если бы не дела...

— Садитесь, Саид-ака. Вы уж извините, у нас не очень-то прибрано. Не ждали гостей, а что до нашего друга, так он свой человек.

— Э, странно говорите, Ташпулатджан, никакой я не гость.

— Нет, вы уже гость, Саид-ака, сколько лет не виделись, страшно даже подумать! В кишлаке часто спрашивают про вас, а мне приходится лгать, будто мы с вами видимся каждый день...

Хайбаров подал ему стул, а сам пошел открывать форточку.

— Пускай проветрится... Кстати, я вас еще не познакомил, Саид-ака, это мой друг Эркин, молодой хирург.

— Докторов я уважаю, — сказал Эломонов и подал руку молодому человеку.

— Это Саидмурад-ака Эломонов, мой односельчанин, — представил его Хайбаров. — Вчера приходил Махсум-бобо. Он вас дождался, Саид-ака?

— Да, мы с ним виделись, — ответил Эломонов. — Хорошее дело они задумали, Ташпулатджан. В субботу приеду на машине и целый день буду в вашем распоряжении.

Хайбаров чуть прикрыл форточку и сел рядом с Эломоновым. В комнату вошла женщина, открывшая Эломонову дверь.

— Пожалуйста, Замира, приготовьте что-нибудь, — сказал ей Хайбаров. — Товарищ Эломонов пришел к нам.

— Добро пожаловать, — сказала женщина, заметно оживившись. — Мурад-ака часто говорит о вас.

— Вы, Саид-ака, вроде мой односельчанин, а водитесь с чужаком Мурадом, — пошутил Хайбаров.

— Мы же с ним старые приятели, — сказал Эломонов, смутившись. — Потом, он никакой не чужак, всего пять оврагов отделяют его Джам от нашего Галатепе.

Замира улыбнулась гостю и вышла из комнаты. Эломонов опять подумал: жена она ему или...

Из-за дверей послышался плач ребенка. Сомнения Эломонова рассеялись, и он, заметно просветлев, спросил:

— Кто это кричит, Ташпулатджан, наследник?

— Сын, — ответил Хайбаров. — Голосистый, черт, можно подумать, мечтает заменить Насима Хашимова¹

— У меня двое взрослых, — сказал Эломонов. — Сын работает за границей, женат, внука имеем... Сын собирается всерьез заняться наукой, как и вы, Ташпулатджан.

¹ Оперный певец, народный артист Узбекистана.

— Похвально, — отозвался Хайбаров. — Я слышал, что он востоковед?

— Да вот, собирается им статья...

— Значит, мы с ним почти коллеги.

— Вижу, число твоих коллег все увеличивается, Хайбаров, — заметил Эркин. — Что, хорошо платят?

— По-разному. Вообще восточный факультет считается более престижным, хотя, думаю, не всем интересно там учиться. Надеюсь, сын ваш сам выбрал эту специальность, Саид-ака?

— Нет, — ответил Эломонов. — Жена так захотела. Я мечтал, чтобы он стал агрономом.

— Это и понятно, вы же сами агроном, — улыбнулся Хайбаров. — Жена ваша, надеюсь, тоже востоковед, а поэзия, так сказать, второе увлечение?..

— Нет, она по образованию тоже литератор.

— А невестка ваша уж наверняка востоковед?

— Угадали!

— Тут, Саид-ака, нечего угадывать. Вот Эркин тут говорит, будто в последнее время слишком много развелось востоковедов, а по-моему, их ничтожно мало.

— Разве прием ограничен? — спросил Эркин.

— Нет, прием не ограничен. Но большую половину студентов составляют невесты.

— Интересно говорите, Ташпулатджан, — удивился Эломонов, — по-моему, все студентки потенциальные невесты, и нельзя их винить в этом.

— Я и не виню. Но многие из них поступают туда не ради востоковедения, а ради будущего востоковеда, с твердым наказом родителей подыскать себе жениха в течение пяти лет. Факультет-то престижный, там учатся сыновья больших людей!..

— А разве исключений не бывает?

— Бывают и исключения, Саид-ака. Года два назад ко мне приехала сестра с большим сыном, думала, брат тут самый важный человек и все мигом устроит. А брат оказался ни на что не способен. Эркина беспокоить было совестно, у него и без того мало времени...

— Уж для тебя оно нашлось бы у меня, Хайбаров, — недовольно сказал Эркин. — Подлец ты, никакой не друг!

— Ты не перебивай, — сказал ему Хайбаров. — Но мне тогда все-таки удалось устроить племянника в больницу. Оперировала его знаменитая женщина-хирург, профессор, заслуженная и все такое... Сестра была благодарна ей, в лепешку готова расшибиться, лишь бы угодить!

Слава аллаху, обошлось без подарков и прочих унижительных процедур. Женщина оказалась достойной, она сразу заявила, что ей ничего не нужно, кроме исцеления больного. И думаете, на этом все кончилось? Конечно, нет... И вот год тому назад сижу я, значит, на подоконнике в коридоре факультета, — поскольку я приглашенный и читаю студентам только лишь историю ислама, не имею привычку заходить в преподавательскую комнату, так, значит, я сижу на подоконнике, а ко мне подходит та самая женщина-профессор, уже не гордая, а вся какая-то сникшая, и просит... провалить ее дочь на экзаменах!

— Почему? — удивился Эломонов.

— Да вот потому, что ее дочь оказалась хорошей студенткой, старательно училась и в течение пяти лет учебы не подыскала себе жениха.

— Надеюсь, ты ее провалил? — спросил Эркин.

— Зачем же ее проваливать? — засмеялся Хайбаров. — Вот она-то и станет хорошим востоковедом. Хотя, если признаться, мне до сих пор стыдно перед ее матерью, уж больно хорошая женщина, умная, добрая, а просила такую малость!..

— Тебя не поймешь, Хайбаров, — сказал Эркин, — издеваешься или...

— Считаю, что все вместе... Случай вроде анекдотический, а все равно обидно, женщина-то действительно достойная. Может, у нее муж так захотел. Помню, меня, совсем тогда юношу, пригласил к себе один академик. Я сперва не понял, зачем я ему такой понадобился. Оказалось, у него была дочь, красивая, но очень стеснительная, а мать, не в пример ей, бойкая, она так начала расхваливать дочку, что даже такой дурак, как я, вмиг догадался обо всем. Дочь не выдержала, выбежала из комнаты. Но мне больше всего было жаль бедного академика, он весь покраснел, что его лицо, что мякоть спелого арбуза, все ерзал, не находил места... Тогда я и полюбил и его, и его дочку. Она, слава аллаху, вскоре вышла замуж за одного циркача, но академика я до сих пор продолжаю любить за то, что он умеет краснеть, такой вот несовременный человек. Вообще, Саид-ака, жены — большая сила. Вот у меня родился сын, еще двух лет ему не исполнилось, а Замира хочет, чтобы он непременно стал археологом. Но я постараюсь, чтобы он им не стал, хотя и очень уважаю археологов, работа у них тяжелая, грязная...

— Что, он у тебя белоручкой будет, боишься грязи? — усмехнулся Эркин.

— Нет, грязь я уважаю. А все потому, что нельзя так хотеть! Нельзя! Надо дать человеку жить своей жизнью! Мой отец не учил меня, как жить, а показывал. Разницу улавливаешь? Не обижайтесь, Саид-ака, но, боюсь, ваш сын не может стать настоящим знатоком Востока, потому что жена ваша так захотела!..

— Слушай, Хайбаров, надо иметь совесть! — запротестовал Эркин. — Человек пришел к тебе в гости, а ты ему одни гадости!..

— Ничего, Эркинджан, — пробормотал Эломонов, — мы ведь свои люди, отчасти он и прав...

— ...если не на все сто процентов, — сказал Хайбаров. — Думаю, теперь ваш сын, если не востоковедом, так кандидатом быть обязан.

Эломонов молча проглотил эту колкость. За дверью опять заплакал ребенок. «Трудно, — подумал Эломонов, — и Сабирджан был таким же плаксивым, но мы няньку нанимали...»

— Извините, чаем придется самому заняться, — сказал Хайбаров, вставая. — Человек свободы требует. Симфония разума, так вроде называется?..

Когда он вышел, Эломонов осмотрел комнату: кругом стеллажи с книгами, какие-то фотографии. Один шкаф был набит осколками битых сосудов, на верхней полке шкафа белели человеческие черепа. «Какое кощунство, — подумал Эломонов, — даже мертвым покоя не дают».

— Это не ради красоты, — объяснил Эркин, словно угадав его мысли. — Жена Хайбарова антропологией занимается.

Хайбаров принес чай и свежие лепешки.

— Сегодня у меня отгул, Саид-ака, — сказал он. — Вот Эркина позвал, чтобы не скучать одному.

— А Эркинджан где работает? — спросил Эломонов.

— В областной больнице, — ответил Эркин. — Но уже три месяца, как сижу дома.

— Навыки теряет, — пошутил Хайбаров. — Тоже заразился кандидатской болезнью. Зачем тебе диссертация, Эркин? Ты же хирург божьей милостью, так, во всяком случае, говорят...

— Хочу побольше получать, — ответил Эркин. — Детей надо кормить.

— У вас их много? — поинтересовался Эломонов.

— Пока шестеро. Бог даст, еще будут. Стране нужны рабочие руки. Вот и сажу дома, делаю детей и заодно забочусь о том, как бы в дальнейшем их прокормить. Полная диалектика.

— Мне нравится ход ваших мыслей, ведь и я намерен впредь домоседом стать, только вот до детей еще не додумался, — захихикал Эломонов. И в тот же миг возненавидел себя за этот смешок, хотя и понимал, что иного выхода у него нет и не будет, главное сейчас — понравиться этим молодым людям, которые могли бы годиться ему в сыновья.

— Вы вроде работаете, Саид-ака? — спросил Хайбаров.

— Работал, если то можно было назвать работой, — сказал Эломонов, краснея. — Вот и подал заявление об уходе. Теперь наверняка буду сидеть дома...

— Спасибо, что пришли, Саид-ака, — сказал Хайбаров, не вдаваясь в подробности. — В субботу обязательно поедем в Галатепе.

— Но пока я пришел с просьбой, — смущенно сказал Эломонов. — Сын за границей просит одну книгу, я вроде разыскал ее, пятьсот рублей запросили.

— Видать, книга действительно ценная, — рассудил Хайбаров. — Может, вы назовете ее?

— Название у меня в кармане, — сказал Эломонов. — Внизу нас машина ждет. Я совсем не знаю эту вашу арабскую вязь, вы бы не могли со мной поехать?

— Наверно, сегодня не смогу, — задумался Хайбаров. — Завтра — пожалуйста, но сегодня просто нет возможности.

— Я вас очень прошу, Ташпулатджан, да стану я вашей жертвой, только сегодня!..

— Неужели сегодня так обязательно? — спросил Хайбаров и посмотрел на Эркина.

— Очень даже обязательно, — торопливо сказал Эломонов, боясь, вдруг Эркин отговорит Хайбарова от поездки. — Туда ехать — всего три часа. Пожалуйста, Ташпулатджан, не откажитесь, вы умеете читать по старинке, не чужие ведь, куда мне еще идти за помощью?..

— Хайбаров не может поехать, — сказал Эркин.

Сам Хайбаров все еще был в нерешительности.

— Завтра поедем, Саид-ака, согласитесь — завтра, один день ничего не меняет.

— Вы же знаете мою жену, Ташпулатджан, — возмо-

лился Эломонов. — Если я не привезу эту книгу, дома будет страшный скандал.

Хайбаров его понял.

— Ладно, Саид-ака, — сказал он. — Ехать так ехать. А где же вы разыскали ту книгу?

— Есть такой кишлак, Ободон называется.

— Не Ободон, а Букабулок, — возразил вдруг Эркин. — Потом это уже не кишлак, а город. Два года, как его зачислили в города.

— Это старое название — Букабулок, — сказал Эломонов.

— Чудесно! — сказал Хайбаров. — Значит, книга ваша находится на родине нашего Эркина. Ведь ты оттуда, Эркин, может, вместе поедем, а?

— А свадьба? Мы же сегодня приглашены на свадьбу?

— Ничего страшного. Может, и в Ободоне попадем на чью-нибудь свадьбу.

— Не в Ободоне, а в Букабулоке, — поправил его Эркин. — Впрочем, мысль твоя не столь абсурдна. Меня Асадулла приглашает на завтра на той.

— Асадулла? Он же из Ободона! — оживился Эломонов.

— Асадулла из Букабулока. — Эркин упрямо гнул свое. — Асадулла Халимов. Вы его знаете?

— Да ведь этот Халимов из наших кадров! — гордо сказал Эломонов. — Как видите, всем нам по пути. Ведь это Халимов предлагал переименовать Букабулок в Ободон!

— Это у него от чрезмерной глупости, — сказал Эркин. — Ободонов у нас тысячи, а Букабулок был только один. Какое название вы уничтожили, разве такое найдешь в другом месте? ¹Согласитесь, давайте поедем туда все-таки завтра. И книгу я достану вам бесплатно, не может быть, чтобы у нас в Букабулоке были такие жмоты, наверняка вас посредники решили надуть! Ты, Хайбаров, уговори своего земляка, давай завтра поедем.

Эломонов посмотрел на Хайбарова.

— Может, вы позвоните своей жене, Саид-ака? — сказал Хайбаров. — Надеюсь, она поймет? Тут у нас друг

¹ Букабулок — бычий родник.

женится. Обидится, если мы не придем на свадьбу... Давайте поедем завтра?

— Завтра будет поздно, Ташпулатджан. Ладно, и завтра я приеду к вам, вместе еще раз поедем в Букабулок. Но книгу я должен купить сегодня.

— Сперва хоть назовите ее, Саид-ака! Можно подумать, вы собираетесь приобрести чуть ли не оригинал Корана! Кто автор этой вашей книги?

— Автор у меня в кармане, — сказал Эломонов. — Фамилия его, кажется, Термези...

— Какой из них? — оживился вдруг Хайбаров. — Автор из Термеза сразу и не сосчитаешь, а ваш который? Есть Ходжа Самандар Термези, который является автором книги «Дастур-ул-улум». Ее у меня нет, но можно найти в любой библиотеке, недавно ее издавали в новом шрифте. Еще двух-трех Термези я вроде имею здесь...

Эломонов торопливо вынул из бумажника клочок бумаги. Надел очки.

— «Термези, — прочел он. — «Китобулум»...

Хайбаров молча встал с места, пошел к стеллажам, взял оттуда старую, потрепанную книгу и, смахнув с нее пыль рукавом, положил перед Эломоновым:

— Вот вам ваша книга, Саид-ака. «Китоб-ал-улум». Термези. Полностью его имя и титулы звучат так — Мухаммад бинни Исо ат-Термези.

Эломонов, все еще не веря своим глазам, боязливо потрогал книгу.

— Ташпулатджан... — сказал он дрожащим голосом. — Тут... внутри, тоже Термези?..

Хайбаров расхохотался. Не удержался от смеха и Эркин. Глядя на них, и сам Эломонов заулыбался.

— Видать, здорово напугала вас жена! — сказал Хайбаров. — Не бойтесь, мы торгуем настоящими товарами!

От радости Эломонов даже немного прослезился, хотел достать кошелек, но вовремя удержался, заметив, как нахмурилось лицо Хайбарова.

— Я в вечном долгу перед вами, Ташпулатджан, — сказал он. — Вы мне сделали добро, я не из тех, кто это забывает...

— Оставьте, Саид-ака, — отмахнулся Хайбаров. — Ерунда все это. Но уговор остается уговором, вы завтра повезете Эркина на свадьбу.

— С великим моим удовольствием! — сказал Эломонов, затем обратился к Эркину: — Вы не знаете, отец

Ташпулатджана был мудрым человеком, жаль, что я не смог оценить его по-настоящему...

— Я вижу, Хайбаров, мы стали свидетелями большого события, — пошутил Эркин. — Может, стоит его отметить?..

Хайбаров улыбнулся и крикнул:

— Замира! Нет ли чего более интересного?

Замира словно того и ждала, через минуту занесла в комнату вазу с красными яблоками, бутылку вина.

— Только не увлекайтесь, — сказала она мужу. — Еще на свадьбу надо идти.

— Да мы только символически, — сказал Эркин, взяв бутылку в руки. — Что-то жена твоя стала скупая, Хайбаров. Тебе надо взяться за ее воспитание. В моем доме, чтобы не было подобных недоразумений, я всегда держу наготове охапку гибких ивовых прутьиков!..

Замира улыбнулась. Видимо, она уже привыкла к подобным разглагольствованиям друга мужа. Эркин открыл бутылку и разлил вино в фужеры. Из открытой двери послышался плач ребенка.

— Я пойду, — забеспокоилась Замира. — Про свадьбу не забудьте.

— Замирахон! — неожиданно обратился к ней Эломонов. — Пожалуйста, покажите мне сына.

Замира остановилась на пороге и посмотрела на мужа.

— Покажите, — улыбнулся Хайбаров. — Надеюсь, Саид-ака не сглазит?..

— Да нет у меня никакого сглаза! — воскликнул Эломонов. — Покажите его, Замирахон!

Замира вышла из комнаты и через некоторое время вернулась, держа на руках годовалого малыша с удивительно живыми глазами. Эломонов вытащил бумажник и сунул одну двадцатипятирублевку в ручку ребенка.

— Зря вы так делаете, — сказала Замира, почувствовав неловкость.

— Это не я придумал, Замирахон, — сказал Эломонов. — Подарок это, так сказать, за погляденье ребенка.

— Ладно, — сказал Хайбаров. — Ничего страшного. У Саида-ака честные деньги.

— Так ваш сын скоро капиталистом станет, — возразила Замира. — Вчера и Махсум-бобо десятку ему давал.

— Не бойтесь, из галатепинцев никогда не выйдут ка-

питалисты, — отшутился Хайбаров. — Что ты скажешь, сын?

Ребенок несколько мгновений слушал, как шуршит бумажка в его маленькой ручке, затем потерял к ней интерес и бросил на пол.

— Что я говорил! — засмеялся Хайбаров. — Деньги его ничуть не интересуют, весь в деда своего!

И тут Эломонов, во власти умиления, взял младенца из рук матери. Давно он не держал ребенка на руках, кажется, даже голова у него закружилась от запаха материнского молока, прижал к груди крохотное тельце, боясь его уронить...

— Да здравствует маленький Хайбаров! — сказал он весь в слезах. Ребенок не стал капризничать, даже наоборот — засмеялся. — Ведь это вылитый галатепинец! — воскликнул Эломонов. — Своего сразу признал! Дай бог ему счастливой жизни, пусть на земле воцарится вечный мир, чтобы век таких младенцев был целым и цельным!..

Замира взяла сына из его рук. Эломонов еще с минуту стоял так, задыхаясь от волнения, с протянутыми вперед руками, будто не замечая, что они у него уже опустели... Пришел в себя, когда Эркин слегка дернул его за рукав. Нехотя сел. Сел и увидел перед собой прозрачный фужер, полный янтарного вина. Сам не заметил, как взялся за фужер; он был холодным, содержимое его оказалось еще холоднее, и оно обожгло ему горло. Не успел он вспомнить про свое треснутое сердце, как осушил фужер, посмотрел на тамаду, желая сказать ему запоздалые свои извинения, но увидел, что тот опять наливает. Эломонову хотелось отказаться, замахать руками, но руки уже не слушались его, по всему телу разлилось приятное тепло, и ему подумалось, что он наконец-то обрел долгожданный покой, эту райскую благодать, а что до сердца, так оно выдержит, должно выдержать, пропади оно пропадом, если не выдержит столь радостные минуты!

— За вашего наследника, Ташпулатджан! — сказал Эломонов, поднимая фужер. — Назовите его имя, будем с именем!..

— У него очень простое имя — Урунбай, — сказал Хайбаров.

— За Урунбая! — Эломонов выпил. — Теперь вы его должны почаще возить в Галатепе. Вот мои дети не знают Галатепе, и мне обидно... Дети должны знать родину отца.

— Урунбай родился в самом Галатепе, Саид-ака. Тогда да был в экспедиции, а Замира жила в кишлаке.

— Вот у меня дочка растёт, Ташпулатджан, — разоткровенничался Эломонов. — И я хочу, чтобы мои внуки были галатепинцами. Вы можете посмеяться надо мной, но будь вы холостяком, я бы ее выдал за вас, Ташпулатджан! Вы мне нравитесь, Ташпулатджан!..

— Пожалуйста, Саид-ака, — смущенно улыбнулся Хайбаров, — давайте оставим эти разговоры. Право, мне очень неудобно.

— Нет, вижу, вы меня не поймете, Ташпулатджан, — сказал Эломонов упавшим голосом. — Я ведь действительно этого хочу, вот вы тоже постареете и поймете, что такое родная земля, отчий дом... А у меня нет уже отчего дома, Ташпулатджан, снесли его, дорогу там положили, я сам разрешил...

— Кишлак-то наш остался, Саид-ака, — тихо возразил ему Хайбаров. — Нетрудно там построить маленький летний домик, думаю, вам разрешат.

— Дачу, что ли? Нет, Ташпулатджан, не хочу я дачу! Не знаю, чего я именно хочу, а боль в душе никак не проходит. Так и быть, Ташпулатджан, вы хоть смейтесь надо мной или не смейтесь, но судьбу дочери я вручаю вам, подыщите ей жениха из Галатепе!

— Ну задали вы мне задачку, Саид-ака... — бессильно развел руками Хайбаров. — Ведь это просто так не решается. Правда, я мало кого знаю из молодых парней. Может, Мурада попросите?..

— И его попрошу, — сказал Эломонов. — Ведь много в Галатепе молодых людей, неужели я не достоин быть тестем одного из них?

— Да и здесь они есть, если подумать, наши студенты-галатепинцы, — сказал Хайбаров. — Умные есть ребята, видные, добрые... Но полюбит ли их ваша дочь?

— Полюбит, — уверенно ответил Эломонов. — Добро-го она полюбит.

— И в Букабулоке есть хорошие ребята, — неожиданно вмешался Эркин. — У самого трое братьев!..

— Нет, из Букабулока не годится! — запротестовал теперь Хайбаров. — Нам нужны свои, галатепинцы!

— Местничеством занимаетесь, товарищи! — покачал головой Эркин.

— Называй как хочешь! Мы же тут не посты какие-нибудь раздаем, не так ли, Саид-ака?

— Ваша правда, Ташпулатджан, — радостно кивнул Эломонов. — Даст бог, подрастет ваш сын, и тогда я сам подыщу ему невесту из Галатепе!

— Ну вы совсем помешались на своем Галатепе! — воскликнул Эркин. — Давайте о чем-нибудь другом, а?

— Что с нас возьмешь, Эркин, — засмеялся Хайбаров. — Галатепинцы, одним словом.

— Опять вы за свое!..

— Ей-богу, я вам подыщу в невестки самую красивую девушку из Галатепе! — повторил Эломонов свое обещание. — Пусть у вас будет еще десять сыновей, Ташпулатджан, я всем им подыщу по невесте!..

— Думаю, я не успею, — покачал головой Хайбаров. — Поздновато я женился, Саид-ака. Ходил в холостяках, никому не мешал, но от критиков спасу не было...

— Не надо так говорить, Ташпулатджан, можно подумать, что вы жалеете об этом.

— Нет, конечно, — улыбнулся Хайбаров. — Женильба мне очень даже понравилась. Давайте, Саид-ака, выпьем за вас!..

— Не-ет, только за вас!.. — горячо возразил Эломонов.

— За вас, Саид-ака, я сказал первый!

— У меня право старшего, Ташпулатджан!

Эркин, следивший за их забавным диалогом, разом разрешил этот спор:

— Давайте за меня, галатепинцы, за скромного букабулокца!

И они выпили. Эломонов протянул руку к вазе с красными яблоками, но разрезать их пожалел — уж больно красивы они были! — и закусил ломтиком лепешки. Эркин не стал даже закусывать, он лишь удовлетворенно крякнул и опустевшую бутылку пододвинул к Хайбарову. Тот опять позвал Замиру...

Домой Эломонов вернулся поздно. Несмотря на протесты, Кулмухаммад довел его под руки до самого лифта, завел туда и, нажав на кнопку нужного этажа, сам остался снаружи. Двери лифта плавно сошлись, и он начал подниматься. Эломонов закрыл глаза, прислонился к стенке и вдруг почувствовал, что лифт уже не едет.

— Что случилось? — раздался голос из пульты за его спиной.

— Извините... — пробормотал Эломонов, отпрянув от стенки. — Кажется, я нечаянно задел тут кнопку...

— Болван! — был ответ. — Уже полночь, а ты с лифтом поиграть вздумал, вот застрянешь сейчас и увидишь!.. Поменьше надо было пить!..

— Да я самую малость...

— Отключить на часок?

— Пожалуйста, не надо...

— Кто такой будешь?..

— Я — Эломонов...

— Э, простите, Саидмурад Замонович, — сказал голос, сразу смягчившись. — Я подумал, что вы из тех, кто шастает по ночам...

Эломонов нажал на кнопку пятого этажа. Лифт с гулом поехал вверх.

Квартиру свою он открыть не смог — дверь оказалась закрытой на цепочку. Позвонил и долго стоял в ожидании. Наконец в щели заблестели очки Бинафши-ханум.

— Простите, помешал вам работать...

Бинафша-ханум сняла цепочку и молча отошла. Эломонов вошел в квартиру, закрыл дверь на ключ. Снимая туфли, он нечаянно ударился головой об стенку.

— Вы что, пьяны, Эломонов? — спросила Бинафша-ханум, стоя на пороге кабинета.

Эломонов промолчал. Повесил пальто на вешалку, вытащил из кармана подаренную Хайбаровым книгу и протянул жене. Бинафша-ханум подошла и взяла книгу, полистала...

— И это все? — сказала она разочарованно. — Такая тонюсенькая?

— Все что есть. Я деньги предлагал, но Ташпулат их не взял.

— Смотри какой капризный! — воскликнула Бинафша-ханум. — Жалкий посредник, а еще нос воротит! Может, ему мало показалось? Сколько вы ему предлагали, десятку?

— Вы сперва выслушайте, ханум, прежде чем судить о человеке! — рассердился Эломонов. — Книга эта принадлежит ему самому, но он не взял ни копейки, задаром отдал!

Бинафша-ханум была слегка сконфужена, но все же не сдалась:

— Так бы сразу и сказали!

— Но вы же не даете мне сказать!..

Эломонов в сердцах махнул рукой и прошел в спаль-

ню. Лег и вытянулся на кровати. Из открытой двери донесся голос Бинафши-ханум:

— Есть вчерашний плов, подогреть вам?..

— Я сыт. Если нетрудно, поставьте чай.

Минут через пять Бинафша-ханум вошла в комнату и присела на краешек постели.

— Выпили! — сказала с упреком. — Умрете же, Эломонов?!

Эломонов вздрогнул. Посмотрел на жену. Лицо Бинафши-ханум было спокойным, как и ее голос.

— Я бы с удовольствием, — сказал он. — Я бы умер, да боюсь, что вы не станете меня оплакивать как следует.

— Напился, а еще какие-то претензии предъявляет!.. — сказала Бинафша-ханум и отвернулась.

Эломонов взял ее за руку и повернул лицом к себе:

— Что мне делать? Скажите, ханум, что мне делать, чтобы вам угодить, черт возьми?!

— Хоть бы устыдились!

— Кого стыдиться? Вас?

— Не меня, так людей!.. Вы бы хоть посмотрели на себя, Эломонов. Да вас никто ни в грош не ставит, над вами издевается даже этот Пулатов, ничтожная гнида! А этот Кулмухаммад прямо как бог, на шофера не похож, крутит вами как только хочет! Другой человек давно бы отказался от такого наглеца!..

— И это всё? — Эломонов резко встал и сел на кровати. — Довольно, ханум. С завтрашнего дня Кулмухаммад не будет приезжать. И вообще никто больше не будет сюда приезжать!

— И не надо вскакивать! Я вам не желаю зла.

— Оставьте меня в покое.

— Ого! — засмеялась Бинафша-ханум. — Знайте, Эломонов, я никогда не висела у вас на шее, в любую минуту можем разводиться!

— Я согласен, дети теперь взрослые...

— Я догадывалась, что вы только этого ждете! — закричала Бинафша-ханум. — Думали, дети подрастут и алименты можно не платить?

— Не бойтесь, ханум. Я вам буду выплачивать алименты, пока им не исполнится по сорок лет.

— Какой ужас! — взвилась Бинафша-ханум пуще прежнего. — Дура я, жизнь свою пустила на ветер! Из-за кого, спрашивается? Ведь я все ради вас, неверный вы человек!..

— Не надо, — сказал Эломонов. — Пожалуйста, не превращайте дом в театр.

Бинафша-ханум зыркнула на него со злостью, но все же посерьезнела.

— Вы попробуйте от меня так легко отделаться, Эломонов! — заявила она. — Я знаю, куда мне обращаться, на вас я найду управу!

— Не выйдет, — засмеялся вдруг Эломонов, почувствовав собственное превосходство. — Теперь у меня нечего отбирать, ханум. Подал заявление и уволился.

— Вот и прекрасно! Значит, есть правда на земле!

— И я считаю, что получилось прекрасно. Теперь я займусь своей агрономией. Если даже дадут какой-нибудь пост, так только по этой части.

— Вот вам теперь дадут пост! — Бинафша-ханум показала ему кукиш.

— Поближе, ханум, — хрипло сказал Эломонов. — Что вы стесняетесь, могли бы сразу под нос, чего церемониться?..

— Ссаид-а-ака... — Голос Бинафши-ханум задрожал. — Я... я нечаянно... Обидно ведь...

Она не договорила, упала на пол от сильной пощечины. Чуть придя в себя, она увидела над собой разъяренное лицо мужа и тут же прижала руки к бокам, боясь получить пинка, уткнулась лицом в ковер. Эломонову стало ее жалко. Бинафша-ханум, кажется, убедилась, что дело дальше одной пощечины не пойдет, перестала хныкать и закричала во весь голос:

— Бейте! Еще бейте! Чего вам жалеть, бейте, бейте же!.. Злодей! На женщину руку поднял! Ведь и его женщина родила! Несчастный феодал, узурпатор!..

— Вставай, попугай, хватит валяться. — Эломонов впервые в жизни назвал жену на «ты». — Да будет проклят день, когда судьба свела меня с тобой!

Он перешагнул через распластанное тело жены и сел на стул. Боязливо потрогал себя за грудь, нет, ничего вроде, боли нет...

— Бессердечный!.. — опять захныкала Бинафша-ханум. — Вы меня не любили, никогда не любили!

Эломонов не ответил. Опять прислушался к сердцу — оно по-прежнему не болело, билось сильно, учащенно, но не болело.

— Как я несчастна! Вы всю жизнь обманывали меня! Прожила жизнь, так и не познав настоящей боль-

шой любви! Вы меня никогда не любили, никогда, никогда!..

Эломонову показалось, что голос жены доносится откуда-то из далекой дали. И сама Бинафша-ханум виделась будто бы уменьшенной во сто крат, будто она была кукла, будто вся эта комната представляла собой некий игрушечный короб и кто-то невидимый задумал в нем игру...

— Любовь вам чужда! — сказала Бинафша-ханум. — Будем разводиться.

Эломонов молчал.

— Боже, какая я была наивная! — продолжала Бинафша-ханум. — Ведь мне надо было развестись намного раньше! Когда я еще была молодой, пока еще не растратила на вас все силы, всю красоту!..

— Еще успеете, — сказал Эломонов. — Ведь вы моложе меня на целых десять лет.

— Жалкий чинуша! — Голос Бинафши-ханум обрел прежнюю твердость. — Раньше вы думали о своей карьере, потому и молчали! Теперь вам легче, теперь вы можете отказаться от собственных детей! Вы просто-напросто предатель! Вы никогда не были мне верны!..

— Полно, ханум, я всегда был верен только вам, — ответил Эломонов. — Теперь мне обидно, что это было так.

— Ого! Оказывается, я совершала зло, а сама не догадывалась? — рассмеялась Бинафша-ханум. — Кто же та женщина, обделенная вашей любовью, позвольте узнать? Может, я еще попрошу у нее прощения?.. Вы бы хоть сейчас не врали, Эломонов! Если найдется на всем белом свете хоть одна женщина, кто вас может полюбить, я назову себя другим именем!..

— А вы давно уже называли себя другим именем, Бинафша-ханум, — съязвил Эломонов. — Кажется, вас раньше звали Санобар?

Бинафша-ханум эту колкость пропустила мимо ушей.

— Да кто же станет смотреть на вас на такого!.. — повторила она.

— Почему же? Очень даже смотрели!.. — Эломонов задумался: чем бы еще насолить жене? — Да вот, помню, одно время сама Касыма-ханум была безразлична ко мне. Но тогда я вроде о вас подумал, теперь же выходит, что зря... А ведь она была совсем еще молоденькая!..

Бинафша-ханум не поверила ни единому его слову, опять рассмеялась:

— Касыма, говорите? Имейте же совесть, Эломонов! Назовите кого похуже, только не Касыму, ведь полно других красавиц в нашем городе!

Самоуверенность жены бесила Эломонова. «А что, — подумалось ему, — а что, если взять да поколотить ее по настоящему, не верит же, подлая!» Велико было искушение, и он поторопился выйти из спальни. Вошел в ванную, ополоснул лицо холодной водой. Желая вытереться, он увидел на вешалке новые полотенца с изображением лебедей. Усмехнулся — вспомнились слова Кулмухаммада. Эломонов достал из кармана чистый платок и вытер им лицо. Сквозь шум льющейся из крана воды послышался истерический смех Бинафши-ханум:

— ...И погубит вас ненависть людская! Мне-то что! Меня никто не станет винить! И дети будут на моей стороне! А вы уходите! Сейчас же уходите, идите к той самой Касыме, пускай ее муж продырявит вам башку!.. Идите!.. Вот будет потеха на весь Оазис!..

Эломонов не спеша завинтил кран, вышел из ванной и прошел в кабинет. Плотно закрыв дверь, он включил свою старую настольную лампу с бумажным колпаком и лег на низенькую кушетку рядом с письменным столом. «Некрасиво получилось, — подумал он, — зря я приплел сюда про Касыму, всего-то и было, что виделся с ней один-единственный раз, лет двадцать тому будет, может, и того больше. И кто же тянул меня за язык?.. Нет ничего пакостней, чем развод под самую старость, но это лучше, нежели жить так, как мы, — вместе, да порознь. Ведь она права по-своему, люди наверняка скажут, что я трус, боялся разводиться, пока занимал посты. Вот бы сейчас иметь самый что ни на есть большой пост, да отказаться от него вместе с женой в придачу!.. Ведь эта женщина ничуть не уважает меня, она так убеждена в моей ничтожности, что даже не допускает мысли, что я могу ей изменить!..»

Эломонов вынул из кармана лекарство и бросил таблетку под язык. Его мысли опять вернулись к Касыме: «А что было бы, если бы я женился на ней? Ведь я при желании мог это сделать, тем более она недвусмысленно предлагала себя, ну взял бы ее такую, отрубил бы потом кое-какие концы и узаконил бы положение современной одалиски штампом о новом браке, почитай, этот поступок облагородил бы нас обоих, да еще как!.. И получил-

ся бы эдакий романтичный Эломонов, который не побоялся (при его-то чине!) порвать с предрассудком, именуемым нелюбимой женой, обрел свободу и любовь, воспарил, как молодой орел, в безоблачные выси счастья!»

Что до мужа Касымы, то о нем он даже не думал. Если о ком и думал, так о детях. Еще не стерлось в памяти, как быстро он позабыл тогда о собственной жене, будто та растворилась в образе Касымы, ведь они в чем-то были даже схожи... Осмелся тогда Эломонов на какой-либо серьезный шаг, наверняка победила бы Касыма, она была моложе, красивее... Эломонов сейчас очень верил, что получилось бы именно так, и вера эта, подкрепленная обидой на жену, усиливалась с каждой минутой...

И он вдруг вспомнил, как Джабраилов, лучший искусствовед Оазиса, развелся с женой и женился на молоденькой художнице. Тогда его бывшая жена приходила жаловаться к Эломонову. И он пожалел несчастную женщину, потребовал к себе Джабраилова и слегка пригрозил ему: «Кто вам позволил издеваться над нашими женщинами — выгонять старую и жениться на молоденькой?» Джабраилов, обычно такой кроткий, не выдержал, взорвался: «А вам кто позволил лезть мне в душу, товарищ Эломонов, тем паче я не имею партбилета? Если вам так жалко эту женщину, пожалуйста, отдаю ее вам, попробуйте пожить с ней хотя бы недельку!» Эломонов ему не поверил: «Неужто она такая плохая, что не прожить с ней и одну недельку?!» Джабраилов горько усмехнулся: «Почему же? Ведь я прожил с ней целых двадцать лет!..» Эломонов чуть смягчился: «Хорошо, вы с ней развелись, не смогли поладить, но как объясните то обстоятельство, что вы, будучи в возрасте, женились на невинной девушке?» Джабраилов ответил: «Вы чуть преувеличиваете, товарищ Эломонов, не такая уж она девушка, успела побывать однажды замужем. Будьте же великодушны, позвольте мне с ней пожить, вдруг мне повезет, и я стану хоть немного счастлив, может, она и есть та самая женщина, которая предназначена мне судьбою?..»

Эломонов тяжело вздохнул. Все же плохо тогда обошлись с Джабраиловым, вlepили, бедному, выговор, но, слава богу, с ним ничего не случилось, все он стерпел со стойкостью старого мерина (именно так и окрестила его тогда одна начальствующая

особа) и живет себе спокойно со второй женой и тремя сыновьями. Теперь он ничуть не похож на того загнанного человека, худого как жердь, обросшего и облезлого, который был доставлен к Эломонову на прием. Он весь раздобрел, глаза оживились, смотрят прямо и смело... Выходит, он нашел ту самую женщину, что ему предназначена судьбой?..

Открылась дверь кабинета. Эломонов услышал нежный аромат духов. Повернувшись, он увидел жену, в ночной рубашке с кружевами, с распущенными по плечам волосами, прислоненную к косяку двери. Она подошла и присела на краешек кушетки.

— Идите, — сказал Эломонов. — Завтра поговорим.

Бинафша-ханум и не собиралась уходить.

— У меня есть одно предложение, Саид-ака, — мягко сказала она. — Кажется, теперь нам не миновать развода. Давайте разводиться, но не слишком оглашать все это, сами понимаете, разные есть люди...

Эломонов не ответил. Он понял, что это только начало разговора, а за этим что-то интересное...

— Пусть эта комната остается за вами, — сказала Бинафша-ханум. — Будете здесь жить. Думаю, и стол у нас будет общий. Разумеется, до того момента, пока Хурсаной замуж не выдадим. Я предлагаю пока не спешить с подачей заявления. Что вы на это скажете?

Эломонов опять не ответил.

— Если уйдете, вам же самим будет плохо, — продолжила Бинафша-ханум. — Сейчас просто некуда идти. Нужен минимум год, чтобы привести в порядок домик, который вы унаследовали от тети...

— Его уже нет, — ответил Эломонов, — на его месте дорогу проложили... Вы просто долго не были в Галатепе, потому и не знаете...

— Вот видите, у вас другого выхода нет, — сказала Бинафша-ханум. — Потом... я думаю, не к лицу вам возвращаться в Галатепе... Получается, что вы все потеряли: и работу, и семью, и дом. Понимаете, не с чем вам туда возвращаться!.. Подумайте, Эломонов... Почему вы молчите? Говорите же!.. Ведь я... я не могу разводиться просто так, без веской причины! У меня свой авторитет, что обо мне подумают в народе?

«Народ о тебе и не подумает, — сказал про себя Эломонов, — у народа есть заботы и поважнее тебя. Видишь ли, у нее авторитет, пускай авторитет будет твоим мужем, с меня довольно!..»

Бинафша-ханум опять начала уговаривать, убеждать. Эломонов даже не шелохнулся, продолжал лежать молча, прислушиваясь к сердцу, лишь бы оно не сдало... «Потерпи, — молил он, — не бейся так сильно, не стоит, потерпи, придут еще хорошие дни, может, и пригодишься!..»

— Неверный! Ведь я вас так сильно любила!

Эломонов, позабыв о сердце, удивленно посмотрел на жену. Та не выдержала, отвела глаза. Эломонов заметил, что губы ее ярко накрашены...

Он почувствовал, как сильно устал. «Ушла бы поскорее, — подумал, — ушла бы... заснуть бы... не проснуться... не видеть!..»

— Где моя любовь, где моя молодость? — продолжала вопрошать Бинафша-ханум. — Найдите мою любовь! Скажите, пусть ее мне найдут!

Эломонов не выдержал.

— Проще! — сказал он. — Можете хоть сейчас говорить человеческим языком?!

— Все равно не поймете!

Бинафша-ханум заплакала. Эломонов не поверил в ее искренность, не поверил даже тогда, когда две горячие слезинки упали ему на лицо.

— Вы уже конченный человек, Саид-ака! Теперь вы ни о ком не думаете: ни обо мне, ни о своих детях! Разве я виновата в том, что вас сняли с работы?.. Назло клопам постель не сжигают!..

— Я еще не совсем конченный человек, — ответил Эломонов. — Моя жизнь только начинается!

— Все равно конченный! — зарыдала Бинафша-ханум. — Подумайте хотя бы о детях, Саид-ака! Давайте не разводиться. Хорошо, во всем виновата я, только я, это я не смогла вас оценить... Поймите, Саид-ака, не могу я теперь разводиться... у меня имя... обо мне пишут... Пожалуйста, умоляю вас, не портьте хоть мою биографию!..

Эломонов возмущенно посмотрел на жену. Посмотрел и будто понял ту простую истину, которой он страшился всю свою жизнь...

— Убирайся, Санобар! — взревел он. — Нет, ты давно уже не Санобар, та, может, была лучше!.. Убирайся, Бинафша, убирайся к чертовой матери, чтобы глаза мои не видели!..

Утром он проснулся от укола в сердце. Посмотрел на часы. Было ровно десять. Из кухни доносился звон посуды. Эломонов удивился: может, дочь вернулась с хлопка? Подумал это и обрадовался. Но тут же услышал звонкий голос Бинафши-ханум:

— Вставайте, папочка! Хватит нежиться!..

Эломонов не ответил. Увидев зажженную лампу на столе, он вспомнил давнишнюю картинку: тогда, студентом еще, он снимал крохотную комнатку у старушки Адолат, была зима, а на столике горела эта самая лампа, было сыро и холодно, но ему казалось, что из-под ее бумажного колпака светило настоящее солнце...

В дверях показалась Бинафша-ханум с новым полотенцем через руку.

— Вставайте, — сказала она. — Идите умойтесь. Ну и дел вы натворили вчера, в полночь пришли пьяным и начали буянить, да так буянить!.. Если рассказать — сами не поверите!..

Бинафша-ханум звонко рассмеялась.

— Я помню, — сказал Эломонов сквозь зубы. — Я все прекрасно помню.

Бинафша-ханум чуть смутилась, потупила взор и проговорила:

— Ну... с кем такое не бывает, папочка... Вы же у себя дома... А за книгу большое спасибо!

Она подошла поближе и бросила полотенце на спинку стула. Эломонов только теперь заметил, какая она нарядная: в новом приталенном атласном платье, стройная, напудренно-напомаженная... по одной завитушке у каждого уха — вылитая Касыма-ханум!

Эломонов чуть не застонал от обиды.

— Подойдите поближе, — сказал он жене. Видя, как та стоит в нерешительности, повысил голос: — Подойдите, говорю!

Бинафша-ханум опасливо приблизилась.

— Нагните голову!

Бинафша-ханум послушно наклонила голову. Эломонов протянул руку и распустил ее прическу вместе с завитушками. Бинафша-ханум жалко улыбнулась, потерлась щекой об ладонь мужа... Эломонов не смог убрать руку, лишь отвернулся, ему стало горько...

Бинафша-ханум начала тихо плакать. Возможно, она бы перешла в рев, но в это время зазвенел телефон в прихожей. Бинафша-ханум вышла из кабинета и принесла аппарат, распутывая длинный шнур.

— Товарищ Мухаммад Шокиров, — тихо сказала она.

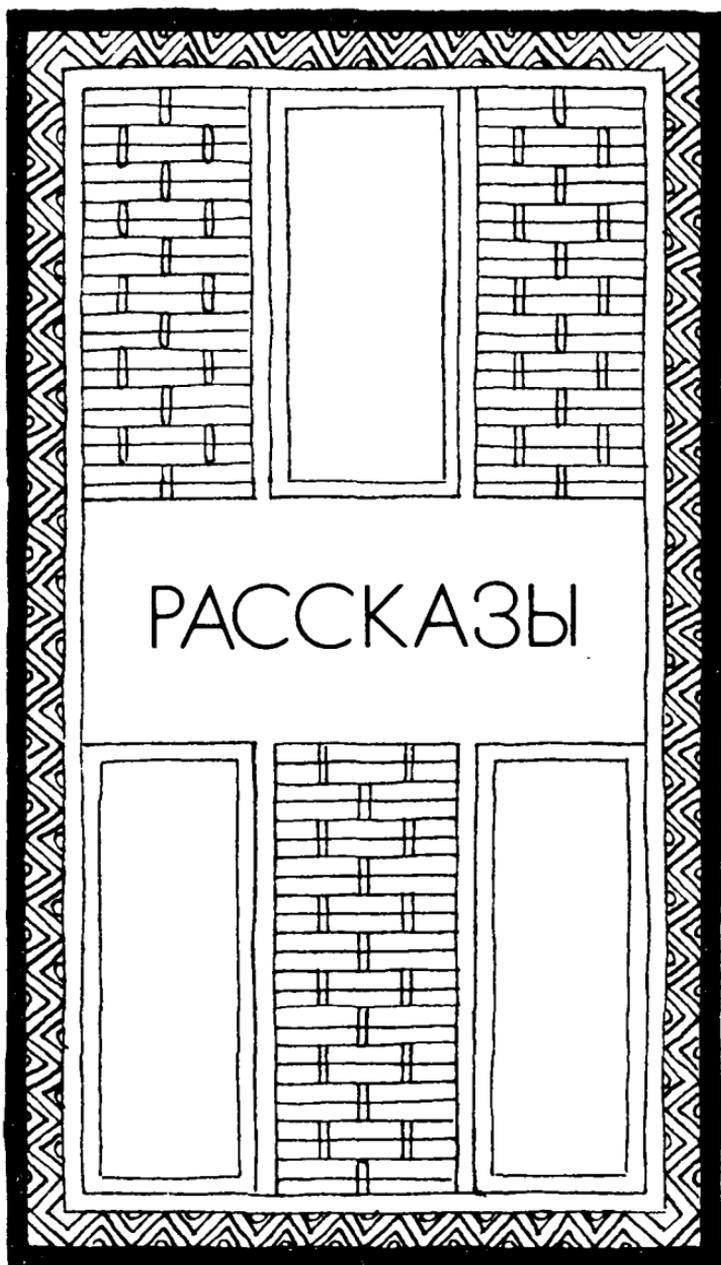
Эломонов взял трубку из ее рук и приложил к уху.

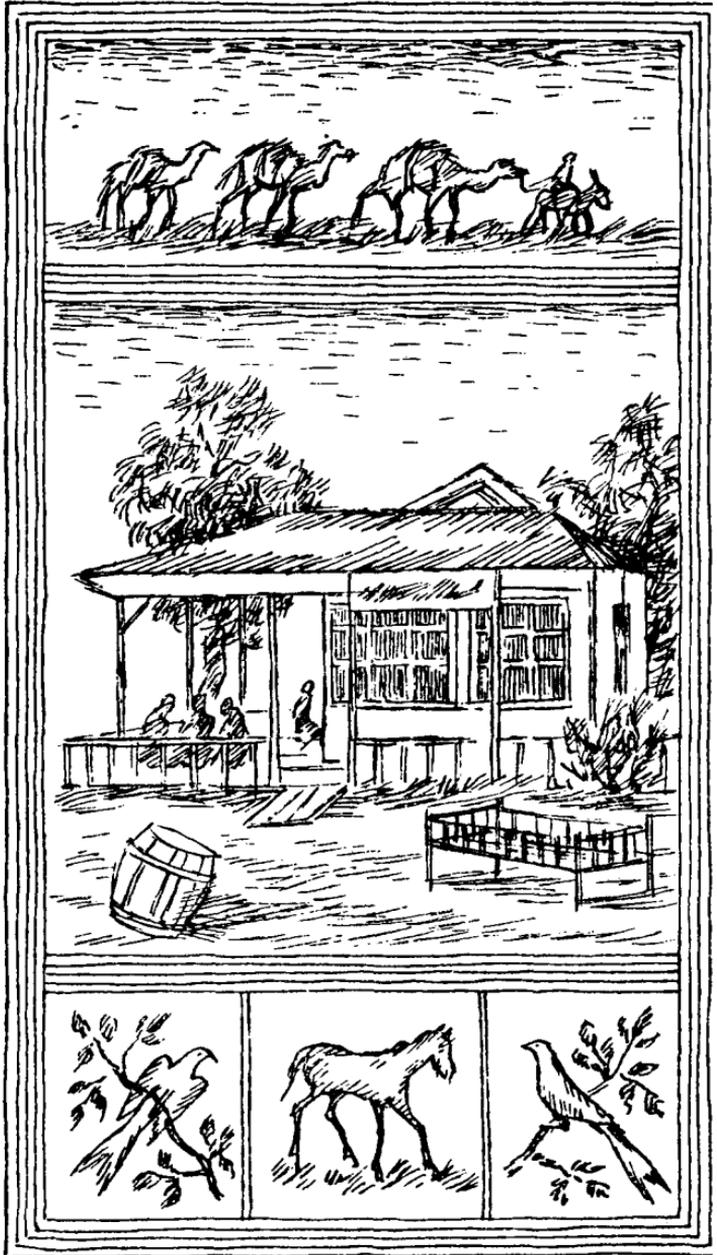
— Здравствуйте, Саидмурад Замонович! — послышался бодрый голос Мухаммада Шокирова. — Нехорошо, Саидмурад Замонович, вы про нас совсем позабыли! Как ваше самочувствие, как дома?..

— Я вас слушаю, товарищ Мухаммад Шокиров, — сухо откликнулся Эломонов. — Что вам угодно?

— Извините за беспокойство, Саидмурад Замонович, но товарищ Бакиров послал за вами машину. Пожалуйста, приезжайте...

Эломонов молча положил трубку. Посмотрел на жену. Бинафша-ханум, словно ничего не замечая, тщательно начищала висевший на спинке стула его парадный костюм...





ЦЕНА ОДНОГО ЖЕРЕБЕНКА

По всему Галатепе поползли слухи, будто старика Хуччи укусила собака и будто бы она была бешеная. Что собака укусила, галатепинцы убедились скоро, ибо старик Хуччи ходил с перевязанной рукой, а вот была она бешеная или нет, оставалось только гадать.

Никто из долгожителей селения не мог припомнить на своем веку ни одного взбесившегося человека. Правда, один из самых уважаемых галатепинцев, участник гражданской войны Касымов, на ежегодных собраниях колхоза частенько говорил о бешеных людях, но тут все было ясно, поскольку речь шла об эмирах, баях, басмачах и прочих, как он сам выражался, чуждых элементах, к тому же Касымов, дабы галатепинцы не поняли превратно, всегда добавлял: это я, мол, товарищи, говорю не в прямом, а в переносном смысле.

Был за всю историю только один серьезный случай, когда галатепинцы могли заговорить о бешеном человеке, но не заговорили. Случилось это давно, лет эдак тридцать тому назад, когда от Абдувахиды Праведного сбежала и вторая жена. Из-за ее коварства Абдувахид Праведный так загрустил, что вовсе перестал выходить со двора. Забрался в темный амбар и целыми сутками лежал, прижавшись грудью к сырой земле. Не ел, не пил, даже говорить ни с кем не хотел. И тогда люди стали подумывать: не тихое ли помешательство у Абдувахиды, не заболел ли он, так сказать, тихим бешенством. Один его родственник — имя не называют, — увидав, как Абдувахиду Праведному плохо, сжалился и, желая облегчить страдания больного, окропил его через сито колодезной водой. Говорят, холодная вода сразу помогла, Абдувахид Праведный встал, встал довольно резко и, кажется, слегка задел при этом своего сердобольного родственника, так что и того пришлось окроплять водой, правда, теперь уже не через сито.

Мы вспомнили об этом с единственной целью — еще раз напомнить, что в Галатепе, несмотря на все разго-

воры, еще ни разу не доводилось видеть бешеного человека. Бешеных собак видели. Бешеных ослов тоже видели. Видели бешеного бычка Манзара-палвана, которого он успел-таки освежевать, но в последний момент побоялся повезти на базар, пришлось всю тушу закопать в яму. Видели также пьяных верблюдов в разгар весны. Верблюды эти принадлежали арабу Узаку, который появился в наших краях в сорок первом году и возил колхозный хлеб в Каттакурган. Когда его караван из тридцати верблюдов выходил с галатепинского тока и двигался по кишлаку, все высypали на улицу посмотреть. Впереди каравана семенил маленький ослик со звонким колокольчиком на шее, за ним головной верблюд без колокольчика, но с сонной женой Узака, смуглой арабкой, на спине, а следом — еще двадцать девять навьюченных громадин да по несколько верблюжат по бокам. Фыркающая и плюющая, вздымая пыль до самого неба, шел этот караван в сторону далекого Каттакургана. В середине каравана ехал сам Узак на приземистом пегом коне, важный и сосредоточенный. Шли по кишлаку очень медленно, торжественно, а там, миновав последние дома, ученый ослик уже сам прибавлял прыти, и весь караван, нанизанный на ниточку степной тропинки, убыстрял ход. Звенели колокольчики, грузно покачивались горбы верблюдов, смуглая арабка дремала, а сам Узак чуть отставал от каравана и, обращаясь к чему-то неведомому впереди, затягивал персидскую песню:

Эй, сорбон, охиста рон, к'оромижонам меравад,
Он дил ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад...¹

Узак, когда пел, становился грустным-грустным. Казалось, этот араб, хоть он и поет на фарси, скучает по аравийской пустыне с пальмовыми оазисами. А так, несмотря на всю свою аравийскую грусть, Узак ни слова не знал по-арабски, говорил на смеси узбекского и таджикского, а на чистом фарси, как на языке более древнем и возвышенном, предпочитал только петь.

Галатепинцы так и не узнали, откуда пришел Узак и куда он исчез после войны. Некоторые даже думали, что верблюды эти у него краденые. Но заявлять никуда не заявляли. Тогда в Галатепе не было ни одной ма-

¹ Эй, караванщик, не гони так быстро, моя любимая уходит, Захватив мое сердце с собой, она уходит...

Шейх Саади

шины, а польза от каравана была слишком велика. К тому же мулла Данияр, один из тех мудрейших людей, которых Галатепе подарил миру во множестве, сам поручился за араба. Он рассудил, что одному вору не под силу было бы угнать сразу тридцать верблюдов, что еще ни один вор, будь он щедрее Хатама из Тая или даже самого Искандера Двурогого, не занимался столь благородным и богоугодным делом — бесплатно возить столько хлеба в трудное время войны. Мулле Данияру верили все честные люди не только в самом Галатепе, но и во всех одиннадцати кишлаках вокруг. Ему верил даже Касымов, бессменный секретарь сельсовета, честнейший человек, который сам признавался, что за всю свою жизнь соврал всего три раза, да и то в мрачные эмирские времена.

Но мы немножко отвлеклись. Вернемся к главному — к верблюдам Узака. Так вот, эти верблюды, смиренные с виду, весной становились просто страшными. Огромные, злые, они сновали по улицам кишлака, плюя на всех и вся белой пеной. Жил Узак в наших краях ровно шесть лет, и шесть раз в разгар весны ему приходилось переселяться в глубину Джамской степи и там пережидать, пока у верблюдов не кончится сезон любви. Не то плохо, что верблюд влюбленный, а то, что он совсем пьянеет от своей любви. Влюбленный верблюд, хоть он и не бешеный, ничем не уступает бешеному, и лучше не попадаться ему на глаза.

Когда старика Хуччи укусила собака, галатепинцы собрались в чайхане Барота Кривого и долго говорили о верблюдах. Вспомнили покойного Саттара, который так и умер без одного, левого, уха, откушенного пьяным дромадером Узака. От верблюдов незаметно перешли на бешеных ослов, потом на бешеных собак... Вспомнили два-три случая, совсем маловажных, и на этом разговор оборвался. До старика Хуччи так и не дошли. Теперь все уже думали о нем, но говорить не решались. Только Назар Махдум, сын муллы Сунната, осмелился говорить. Но сказанное им прозвучало так дико, что галатепинцы, ставшие свидетелями этого безрадостного пророчества, хотели бы поскорей его забыть. «Нечего больше гадать! — сказал Назар Махдум. — Придется сыну Хуччи записаться цепью!..»

Когда эти слова передали старику Хуччи, тот беззлобно рассмеялся и так же беззлобно обозвал Назара Махдума плешивым ослом. Но с того дня люди почему-

то зачастили к нему, принялись расспрашивать о его здоровье, отчего старик насторожился, забеспокоился. До этого он как-то особенно и не тревожился. Ну, собака как собака, ну, укусила, на то и собака, чтобы кусаться... Он и к доктору не пошел, думал, день-другой, и заживет. А тут на тебе, зауважали вдруг, даже из Чонкаймыша один явился проведать. О своих галатепинцах и говорить нечего, прут целыми толпами, будто ты не сегодня, так завтра концы отдашь. Не понравилось старику Хуччи такое любопытство. Тебя спрашивают, а язык не поворачивается отвечать, будто ты провинился в чем, будто тебя в самом деле укусила бешеная собака, а ты, подлец, скрываешь это от честных людей. Так немудрено и взбеситься!..

Старику пришлось позвать на помощь своего друга Ибодулло Махсума.

— Мне с вами легче, Махсум, — сказал он. — Когда вы рядом, меня труднее вывести из себя...

У Ибодулло Махсума были кое-какие дела дома в огороде, но он не устоял перед просьбой, махнул рукой на огород и после небольшой перебранки с женой перебрался к старику Хуччи.

И вот уже четыре дня Ибодулло Махсум жил у своего друга. Они были, конечно, разные люди, но привычки имели совершенно одинаковые: оба вставали в пять утра, оба пять раз в день молились, и оба любили поговорить. Особенно понравилась такая совместная стариковская жизнь Хуччи — в присутствии Ибодулло Махсума никто не решился спрашивать его про бешеную собаку. И вообще, едва прошел слух о переселении Ибодулло Махсума, число сочувствующих старику Хуччи резко сократилось. А кто и приходил, тот вел себя осторожно, говорил только о постороннем и скоро уходил. Иные даже не говорили, а молча слушали рассказы Ибодулло Махсума и уходили. А потом и вовсе перестали приходить. В четверг вечером, когда друзья целый день просидели в тщетном ожидании гостей, Ибодулло Махсум ради приличия стал просить разрешения уйти к себе на ночлег. Но старик Хуччи, в свою очередь, горячо просил его остаться хотя бы еще на три дня. Ибодулло Махсум охотно согласился. Дело в том, что его все эти дни терзала одна мысль: кто же мог распустить слух о бешеной собаке? Раз слух есть, рассуждал Ибодулло Махсум, то должен быть и человек, который первым его пустил... Он внимательно вглядывался в каждого гостя старика

Хуччи, но пока ничего подозрительного не замечал. Были праздность, сочувствие, любопытство, и ничего больше. Но Ибодулло Махсум точно знал: тот непременно придет. Придет, чтобы хоть разок посмотреть на свою жертву...

И тот пришел в субботу после полудня. Старики сидели на просторном топчане в глубине сада. Ибодулло Махсум читал вслух книгу из жизни пророков, а старик Хуччи внимательно слушал его, даже боясь пошевелиться. Книга была очень интересная, особенно рассказ, когда проклятые крысы вконец продырявили Нуху ковчег и один только змей вызвался помочь несчастному пророку: закрыл своим телом огромную дыру, откуда била вода, и долго так лежал, распластавшись в лепешку, чтобы потом потребовать у бога в награду право питаться самым вкусным на свете мясом...

Старик Хуччи не первый раз слушал этот рассказ, знал, что ласточка, делая вид, будто хочет поцеловать язык шершню, целиком откусит его и сама вместо злобно жужжащего шершня ответит богу, что змею надобно питаться исключительно лягушачьим мясом, он все это давно знал и сейчас снова переживал за добрую ласточку, которой еще предстояло оставить пучок перьев из серединки хвоста в пасти змея, почуявшего подвох... Старик мысленно видел небольшое ласточкино гнездо под потолком своего дома. Ему сейчас хорошо было вот так вот сидеть — тихо, умиротворенно — и слушать голос друга, голос, который, казалось, шел откуда-то издалека... Он даже не заметил, что кто-то вошел во двор. Но Ибодулло Махсум был более чутким. Как только калитка открылась и послышался приглушенный кашель, он оторвал глаза от книги и увидел того.

— Пришел, — тихо сказал он старику Хуччи. — Я знал, что он придет.

Старик тоже посмотрел и увидел Турабая, базарного старосту, но пока не мог поверить, чтобы Турабай, их базарный староста, был тем.

— Вы только не уходите, Махсум... — взмолился он.

Между тем гость мелкими шажками приблизился к топчану, где сидели старики, мотнул в знак приветствия белой бородой, потом сполоснул руки из медного кувшина и вытер их шелковым поясом. Кажется, его ничуть не задела неприветливость хозяев, так и не вставших ему навстречу. Наконец Турабай снял галоши и в одних ичигах поднялся на топчан. Ибодулло Махсум

пересел поближе к своему другу. Турабай сел на его старое место, шепотом прочел аят из Корана и провел руками по лицу:

— Аминь! Аллах велик!..

Сидевшие молча последовали его примеру. После молитвы Турабай бросил шелковый пояс через левое плечо, придвинул к себе подушку и возлег на тюфяке. И начал теревить бородку. Эта бородка, как мы уже заметили, была совершенно белая, и оттого, что она была такая белая, смуглое лицо Турабая казалось почти черным. Нос его был довольно острый, но ничем не примечательный — такой нос мог бы иметь любой другой галатепинец. А вот глаза его действительно заслуживали внимания. Они были маленькие, очень острые да еще чуточку с прищуром. Когда эти глаза смотрели на тебя в упор, становилось не по себе...

О взгляде Турабая, как о всяком незаурядном факте, в Галатепе были свои суждения. Скажем, небезызвестный нам мулла Данияр считал Турабая самым великим грешником со времен последнего пророка. Мулла Данияр в силу своей лаконичности не стал особенно распространяться и разъяснять, почему да как, но даже те самые простые слова, случайно оброненные муллой, были выразительны. По его мнению, выходило, что человек, если он грешный, боится безгрешного, как самого бога, старается ему мстить за его добродетели и равно за предстоящие райские почести и смотрит на безгрешного таким коварным взглядом, какой найдется у одного только Турабая... Грешный человек всегда пытается вселить страх в безгрешного, хочет его заморозить, как, скажем, змей замораживает лягушку.

И вот теперь, полулежа на высоком топчане, Турабай для начала одарил старика Хуччи одним из своих испытанных взглядов. Но цели своей не достиг — старик Хуччи в это время смотрел в другую сторону.

Немного посидели молча. Потом старик Хуччи сам начал разговор.

— С добрыми вестями пришли, Турабай? — спросил он. — Давненько мы вас не видели.

— Вот, пришел... — сказал Турабай.

— Зачем же вы пришли? — спросил его Ибодулло Махсум.

После такого вопроса старик Хуччи вспомнил, кто здесь хозяин дома, и, делая вид, будто опирается на пра-

вую руку, слегка коснулся полы халата Ибодулло Махсума. Турабай это заметил, но виду не подал.

— Вот пришел... — снова сказал он.

— Добро пожаловать, Турабай, — сказал Хуччи, желая немного смягчить обстановку. — В последний раз на базаре я вас не видел, подумал, что вы заболели.

— Я никогда не болею, — ответил Турабай.

— Тогда почему же вас не было на базаре? — спросил старик Хуччи.

— Дела... — Ответ Турабая был краток.

— Дела, говорите? — вмешался Ибодулло Махсум. — Вечно-то вам не сидится, Турабай! А вот мы с почтенным Хуччи сидим и говорим о разном. Уже неделю сидим и говорим о разном.

— Хорошо говорить о разном, — отозвался Турабай. Тут он внимательно посмотрел на старика Хуччи. — Иду из мечети, — сообщил он как бы невзначай. — Там разговаривал...

Ибодулло Махсум понял, Турабай вот-вот упомянет о бешеной собаке, и решил его опередить:

— В мечети не разговаривают, Турабай. В мечети молятся.

— Это мы по дороге разговаривали, — сказал Турабай. — В мечети молились, а говорили по дороге.

— Это другое дело. Раз вы разговаривали, значит, были не одни? Кто же с вами был?

— Все очень достойные люди.

— Кто же это? — поинтересовался Ибодулло Махсум.

— Мулла Кудрат, — сказал Турабай. — Еще Назар Махдум был.

— Мулла Кудрат — сущий невежда! — отрубил Ибодулло Махсум. — Сбежал из медресе в первый же год, даже до «Хафтняка»¹ не дошел! А ваш Назар Махдум слишком много врет, и еще он ел свинину!..

— Нет, Махсум, не может быть, чтобы он ел свинину! — возразил старик Хуччи, не поняв, куда клонит его друг.

— Назар Махдум свинину ел!.. — упрямо повторил Ибодулло Махсум.

Турабай вдруг заметил, что его пересхитрили.

— Там был еще мулла Данияр, уж мулла-то Данияр — мудрый человек! — с вызовом сказал он.

¹ Буквально: «Одно из семи» — название седьмой, последней, части Корана, которая печаталась отдельной книгой.

— Да, мулла Данияр — мудрый человек, — охотно согласился Ибодулло Махсум. — Но он наверняка молчал. Мулла Данияр никогда не слушает глупцов. Или он вас слушал?

— Я ему ничего не говорил.

— Может, он сам что-нибудь вам сказал?

— Нет, он тоже ничего не сказал, — вынужден был признаться Турабай.

— Вот видите! — Ибодулло Махсум остался доволен ответом Турабая. — Мулла Данияр никогда не врет. Другим только дай языком почесать. Вот недавно одна цыганская собака пыталась укусить почтенного Хуччи. Даю голову на отсечение, об этом тоже говорили по дороге! Ведь говорили?

— Говорили, — признался Турабай. — Всякое говорили, Махсум, но я не очень-то им поверил...

— Вот это хорошо! — похвалил Ибодулло Махсум. — Вы поистине мудро поступили, Турабай! Не слушали, что говорят те глупцы!

Похвала Ибодулло Махсума ничуть не тронула Турабая. Он понял, его одурачили, как малого ребенка, и рассердился. А сам Ибодулло Махсум был доволен искусно проведенным боем, он даже подмигнул старику Хуччи: смелее, мол, опасность уже миновала. И старик Хуччи заметно приободрился и вынул из-за пазухи перевязанную чалмой руку. Что-то блеснуло в зрачках Турабая и тут же погасло. Старик Хуччи понял, он немного поторопился вынимать руку. Но теперь уже поздно было опять ее прятать...

И решил тогда старик Хуччи говорить исключительно мудрые слова и этим показать, что он совсем не бешеный. В пылу такого порыва он даже не заметил, как оперся левой рукой о тюфяк, и вдруг ощутил боль, такую сильную, что на лбу у него выступили капельки холодного пота. Турабай улыбнулся, довольный, чуть ли не счастливый, и бодро так спросил:

— Рана-то хоть неглубокая?

Старик Хуччи засуетился.

— Так уж получилось, Турабай, — заискивающе сказал он. — С виду собака вроде неплохая была. Наверно, я сам виноват...

— Разве вы сами просили ее укусить?

— Нет, не просил, — ответил старик Хуччи. — Я ничего не просил, но она укусила...

— Конечно, разве бешеная разбирает!..

Старик Хуччи даже не нашелся что возразить.

— Она не была бешеной, — вмешался Ибодулло Махсум. — Хорошая такая собачка, от цыган, кажется, отстала...

— Если хорошая, почему же тогда кусалась? — И Турабай засмеялся.

— Вы зря не смейтесь, — сказал Ибодулло Махсум. — Пускай каждый тащит свою арбу, вы не мешайте. И не надо быть злым, а то желудок испортится. Я вот совсем не люблю злиться. Если поговорить по-человечески, то и со змеем можно найти общий язык.

— Ну?.. — Турабай насторожился. — Вы так любите змей?

— Это я просто к слову, а если увижу змея, тут же размозжу голову!..

— И не жалко, Махсум?.. Ведь и змей — божья тварь, им же рожденная.

— Но аллах давно проклял змея. — Ибодулло Махсум и не думал уступать. — Шайтан вошел в него через рот и вышел из хвоста.

— Где? — Турабаю потребовались доказательства.

— У райских ворот, — тут же ответил Ибодулло Махсум. — Тогда змей сторожил райские ворота.

— Все равно змей — божья тварь!

— Нельзя же так, Турабай! — не выдержал старик Хуччи. — Как это вы можете защищать змея?!

Старик Хуччи был наивный человек, до того наивный, что ни разу в жизни не говорил аллегориями и не понимал, когда другие говорили ими. На этот раз он что-то уловил в споре двух людей, но не смог это зачитать в себе и тут же выпалил. Теперь же выходило, что он заодно с другом уподобляет Турабая змею. А как-никак старик Хуччи был хозяином дома и не имел права обижать гостя. Задумался старик Хуччи и решил, что надо бы немного поощрить Турабая, но так, чтобы это было не во вред Ибодулло Махсуму.

— Ваш отец, Турабай, был очень добрый человек, — начал он. — Я его хорошо помню, очень был добрый... Когда-то мы с ним за одним табуном ходили.

— И ваш отец был добрый человек, — ответил Турабай, хотя он никогда не видел отца старика Хуччи. — Говорят, он очень любил собак...

— Удел каждого predetermined самим аллахом, — сказал Ибодулло Махсум. — Каждому свое, никто больше своего не возьмет. Кто собак любит, кто лошадей...

— Вот я живу сам по себе, — сказал старик Хуччи. — Все мое богатство — конь да кусок бязи для савана.

— Конь у вас быстрый, мне за вас страшновато, — сказал Турабай.

— Хороший конь не осрамит своего хозяина, — ответил старик Хуччи. — Что седло моего коня, что ханские носилки — одно и то же.

— Турабай не разбирается в лошадях, почтенный, — сказал Ибодулло Махсум. — Вы его лучше про быков спросите. У него в хлеву целых три быка, и он их доит.

— Все равно вам надо быть осторожным. — Турабай слова Ибодулло Махсума пропустил мимо ушей. — Худо, если конь сбросит вас с седла. В старости кости плохо срastaются.

— Ничего, Турабай, до могилы уж как-нибудь доплетусь! Да и никто туда еще пешком не ходил!..

Старик Хуччи поднялся и, стоя тут же на топчане, крикнул в сторону дома:

— Эй, вы!..

Не прошло и минуты, как две его внучки принесли горячие лепешки и чай. Ибодулло Махсум взял у них чайники, помог расстелить дастархан, потом девочки удалились так же бесшумно, как и пришли. Старик Хуччи поставил две пиалы перед собой, а третью пиалу и чайник подвинул к Турабаю. Турабай поднял чайник, налил себе и, отпив два глотка, обратился к хозяину:

— А где же ваша жена?

— Моя старуха немного спятила, Турабай, — сказал старик Хуччи как бы себе в утешение. — Вот недавно опять обиделась и уехала к сестре.

Он хотел было еще пожаловаться на жену, но Ибодулло Махсум вовремя остановил его:

— Она что, опять обиделась на внуков?

Старику Хуччи ничего не оставалось, как кивнуть.

— А я подумал, что она поскандалила с Хуччи, — сказал Турабай.

— Что вы, Турабай!.. Нам с ней уже поздно скандалить, это всё внуки...

Старик Хуччи даже вспотел от собственной лжи. Он взял лежавшее на краю тюфяка полотенце и начал обмахиваться.

— Душный какой сегодня день, — как бы вскользь заметил Ибодулло Махсум.

— Да, Махсум, очень душный, — быстро согласился старик Хуччи.

— А я совсем даже не замечаю,— сказал Турабай.— Мне даже прохладно.

— Вы еще молодой,— ответил Ибодулло Махсум.— Вы этого не можете замечать.

Наступила пауза. Турабай повертел в руке пиалу, разглядывая узоры, затем положил ее на дастархан и устоялся на старика Хуччи. А тот поднял чайник разлить чай, но у него предательски задрожала рука, и он почти весь чайник пролил на дастархан.

— Она не была бешеной,— промолвил он упавшим голосом.

— А вы побольше чаю пейте, полегчает!..

— Пью, Турабай, вы же видите, пью...

И старик Хуччи стал пить нарочито шумно, дабы показать Турабаю, что он ничуть не страдает водобоязнью. Осушив пиалу тремя большими глотками, он сказал:

— Вообще, я не привык к чаю. За табуном долго ходил, а там родниковая вода. Родниковая, она хорошо утоляет жажду.

— Вы лучше уж про табун помалкивайте, Хуччи. Украл из табуна жеребенка.

— Нет, я его купил,— возразил старик Хуччи.

— Где? Случайно, не в Пайшанбе ли?..— усмехнулся Турабай.— Нет, Хуччи, вы его из табуна выкрали!..

Турабай отчасти был прав. Жеребенка Хуччи был вынужден скрыть от счетоводов поздней осенью, когда проверяли табун; не устоял он перед соблазном, уж очень понравился ему этот жеребенок, резвый, с тонкими ногами, с красивейшей, как ручка хивинского кувшина, шей. Второго такого Хуччи больше не видел ни в Пайшанбе, ни даже в самом Каттакургане. Жеребенок непременно стал бы первым скакуном, если бы не подрезали ему сухожилия. Скрыть жеребенка старик скрыл, но не решился пойти и заплатить за него в кассу колхоза. Там могли подумать, что он украл жеребенка, а теперь вот испугался и пришел каяться... Шли дни, недели, а старик Хуччи никак не решался заплатить, все мучился... И тогда он то ли в искупление своей вины, то ли себе в наказание поехал в Каттакурган, купил и пригнал оттуда жеребую кобылу. Весною, когда опять проверили табун, обнаружили эту, без колхозного тавра лошадь. Велев счетоводам оприходовать ее, председатель колхоза Хайбаров хитро так улыбнулся, кажется, он понял старика Хуччи...

Теперь, когда напомнили про того жеребенка, ко-

торый мог бы стать хорошим скакуном, но не стал, Ибодулло Махсум поднял руки и сказал:

— Пускай даже шербет станет ядом тому, кто подрезал жеребенку сухожилия, аминь!..

Ибодулло Махсум, а вслед за ним старик Хуччи провели руками по лицу. Турабай к ним не присоединился. Он сразу сник. Вспомнил ту далекую пору, когда, как назло, рано наступила весна, зацвел клевер, вспомнил лунную ночь, жеребенка, который топтал этот цветущий клевер. Турабай потом даже пожалел того несчастного жеребенка. Но дело было уже сделано. Жеребенок безжалостно топтал его клевер, а клевер этот только зацвел и позарез нужен был Турабаю — кормить быков... И ночь была светлая, лунная, и лезвие серпа так ярко и заманчиво поблескивало на меже, и все остальное располагало к тому, чтобы жеребенку непременно подрезать сухожилия на левой передней ноге...

— Спасибо вам, Махсум, — сказал старик Хуччи. — Вырастили-таки жеребенка. Ногу, правда, не вылечили, но... Пускай сам аллах вас благословит за это!..

— Не надо, почтенный, — скромно ответил Ибодулло Махсум. — Я человек не очень занятой, потому и выпросил у вас жеребенка. Жалко его стало, сами знаете, я ни разу даже его не оседлал. Вот и Турабай может подтвердить.

Турабай смутился.

— Что ж, такое бывает... — согласился он, потом совсем как-то неожиданно заявил: — Вот я обвинил Хуччи в воровстве, а ведь сам тоже не ангел. Украл тонну хлеба, когда на токе работал. У каждого есть свои грехи...

— Не знаю, Турабай, не знаю, никогда в жизни не воровал, — ответил старик Хуччи.

— Моя вина — растрата, а ваша... Про вашу мы уже говорили...

— Может, вы и мою вину назовете? — спросил Ибодулло Махсум.

Турабай замылся. К счастью, калитка сада вдруг открылась и вошел Эргаш, сын старика Хуччи, с книгами под мышкой. Он еще издали поздоровался кивком головы, потом, чуть приглядевшись, рассмотрел Турабая, которого никак не ожидал здесь увидеть. Слегка ошарашенный, Эргаш направился к топчану. Но подойти не успел. В открытую калитку вбежала тощая рыжая корова и бесцеремонно повернула прямо к цветнику, готовая вмиг разорить все, что с таким старанием вырастила же-

на Эргаша. Услышав шум, Эргаш обернулся и, покрепче зажав книги под мышкой, поднял с земли палку. Корова тем временем принялась за кущую межу базиликов с самого края.

Эргаш подкрался сзади и стукнул корову по крестцу. Ибодулло Махсум отвернулся, не желая видеть, как бьют животное. А Турабай привстал на колени и закричал:

— Сильнее, Эргашбек, сильнее!.. Перебейте чертовой корове ноги!.. Ага, по рогам ее, по рогам!.. Пускай больше не лазит в чужой сад!.. По бокам бейте, Эргашбек, по бокам, не так будет заметно!..

То ли Эргашу надоели крики Турабая, то ли стало жалко корову, но он отбросил палку, обошел корову со стороны дувалов и погнал к калитке. Корова напоследок вырвала с корнем пышный кустик недотроги у калитки и выбежала со двора...

Турабай сел.

— Хорошая корова, — сказал он.

Ему не ответили.

— Вообще это даже не корова, скорее, телка, — сказал Турабай. — Ее ко мне Касымов приводил. Она в этом году осталась яловой.

— И в будущем году останется, — сказал Ибодулло Махсум. — Походка у нее неважная.

— У Турабая есть три быка, — сказал старик Хуччи. — Касымов еще раз мог бы повести к нему.

— Он приводил, — сказал Турабай. — Но деньги не захотел платить.

— Вы за каждое покрытие сколько берете? — спросил Ибодулло Махсум.

— Три рубля, — ответил Турабай. — Три рубля за каждое покрытие. Быков кормить надо, Махсум.

— Это вы хорошо делаете, что держите быков, — сказал старик Хуччи.

— Кому что нравится, — вполне миролюбиво ответил Турабай. — Вот вы, Хуччи, коня держите, а я быков.

— Почтенный Хуччи сам кормит своего коня, — возразил Ибодулло Махсум, — а вы своих быков не кормите, они сами себя кормят.

— Кому что нравится, — повторил Турабай. — Вот Хуччи коня держит, а я быков.

— Зато на быках нельзя ездить, — сказал Ибодулло Махсум.

Сейчас ему очень хотелось чем-нибудь досадить Турабаю.

Турабай не смог ему возразить. Но тут совсем нестати влез старик Хуччи:

— А говорят, индусы ездят на быках.

— Ну что ж, — сказал Ибодулло Махсум. — Пускай кто и ездит на быках, но скакать на них никогда не сможет!

Теперь ему уже совсем нельзя было возразить.

Отец и сын прошли в глубь сада, под высохшую яблоню.

— Ну, отец, — спросил Эргаш, — с матерью скоро помиритесь?..

Он был учителем, и, когда о чем-нибудь спрашивал, левая бровь его чуть приподнималась и снова опускалась, описывая при этом маленькую дугу. Старик Хуччи молчал, учительский тон сына ему явно не нравился. Какое-то время он молча разглядывал носки своих ичигов, затем, увидев рядом топор, поднял его и вложил в развилку высохшей яблони.

— Не смей со мной так разговаривать, — хмуро сказал старик Хуччи. — Ты еще молод... И когда ты наконец вырубешь проклятую эту яблоню?! — вдруг закричал он и, схватив топор с развилки, сильно ударил им по сухому стволу. Топор был тупой, но старик Хуччи врубил его с такой силой, что уже не мог выволить обратно. — Может, мне и топор для тебя наточить?

— Я сам наточу, — ответил Эргаш.

Отец и сын немного помолчали, оба взвинченные. Наконец Эргаш решил отступить:

— Вы что-то хотели сказать, отец?..

Старик Хуччи недобро посмотрел на сына — тот сейчас очень мешал ему думать.

— Лишь бы не забывал здороваться со мной, большего мне не надо.

— Я устал от всего этого, отец!..

— Устал, значит?.. Что, может, саман месил?

— Нет, аистов пас!.. — не сдержался Эргаш. — Зачем вы надо мной издеваетесь?

— Разве я издеваюсь? — удивился старик Хуччи.

— А что же вы тогда делаете? — Левая бровь Эргаша опять поползла вверх.

— Да не играй ты своими бровями!.. — взорвался ста-

рик Хуччи. — Разве ты женщина? Мать тебя, кажется, родила мужчиной!..

Эргаш сильно обиделся на отца. Он даже решил было повернуться и уйти, но старик... «Старик ведь обидится, — подумал он. — И на том свете потом не простит...»

— Оставьте меня в покое, отец... — взмолился он. — Я уже не ребенок.

— Ты хуже ребенка! — сказал старик Хуччи. — С тем хоть можно говорить, а с тобой нет!

— Ну и не говорите! — не выдержал Эргаш.

— Я... я ведь могу проклясть!.. — пригрозил старик Хуччи.

— Делайте что хотите!..

Старик Хуччи погладил бороду, поглядел на разгневанное лицо Эргаша. «Сердитый!.. — подумал он, довольный сыном. — Весь в меня...»

— Ты меня не учи, — сказал он. — В любую минуту могу выгнать из моего дома.

Эргаш как-то не заметил, что отец уже смягчился и теперь говорит лишь для острастки.

— Пусть будет так. Вы уже со своими лошадьми, беркутами да собаками нас всех опозорили, отец! Все над нами смеются!.. Хоть бы этого своего коня продали, на что вам теперь конь, отец?

— Не называй меня отцом! — крикнул старик Хуччи, но тут же понизил голос, вспомнив, что Турабай недалеко, может услышать. — Аллах сам разберется, сын, кто прав, кто виноват... Шел бы лучше домой! — опять закричал он. — Иди домой, зарежь барашка, и пускай жена всю тушу кладет в казан!..

Эргаш растерялся. Давно он не видел отца в таком переменчивом настроении.

— Или мне самому пойти резать? — спросил старик Хуччи и посмотрел на свою перевязанную руку. — Мог бы, коль не рука... Может, схожу за мясником Бако?

— Нет, отец, дома есть мясо.

— Этого будет мало.

— Кому это такие почести? Уж не Турабаю ли? — удивился Эргаш.

— А кому же еще? Махсум мне друг, он одним моим хлебом доволен будет.

— Хорошо, — сказал Эргаш.

— Что «хорошо»?

— Хорошо, — повторил Эргаш.

Прежней обиды как не бывало. Он улыбнулся, думая о щепетильности отца, о его гостеприимстве, и даже пошутил:

— А за барашка-то мать платила...

— А я за нее калым платил, — сказал старик Хуччи. — Иди за ножом.

Эргаш покорно пошел за ножом.

Через три часа подали старикам на большом блюде жаркое из барашка, посыпав сверху слегка обжаренными кружочками лука. Начал еду Турабай, как и полагалось гостю. Ибодулло Махсум и сам старик Хуччи подождали, пока тот проглотит первый кусок, затем тоже засучили рукава и приступили к еде.

— Лук хорошо зажарили, — сказал Турабай, отправляя в рот второй кусок мяса. — Я очень люблю лук, Махсум.

— Я лук не люблю, но ем, — ответил Ибодулло Махсум.

— Я утром ел шурпу, — сказал Турабай, — но мясо этого барашка такое нежное и вкусное, что не могу отказаться. Хорошо, когда дома есть мясо барашка. Лежишь себе и ешь!.. Утром — барашек, днем — барашек, вечером — опять барашек!..

— Не вечно же есть одного барашка, — возразил старик Хуччи. — Надоест. Я вот и плов люблю.

— Все равно для плова нужен барашек, — сказал Турабай.

— И говядина сойдет, — опять возразил старик Хуччи. — Я вот, когда маленьким был, совсем не ел вареное мясо, сейчас все ем, и вареное, и жареное, все... Только мясо козы не люблю, от него плохо пахнет.

— Это от мяса козла плохо пахнет, — уточнил Ибодулло Махсум. — А так козье мясо тоже хорошее, почтенный.

— Лучше его не есть, Махсум.

— Ну, кому как, — сказал Ибодулло Махсум. — Вот Манзар-палван не любит плов. Люди едят, а он, как сирота, сидит в стороне и смотрит, как другие едят. Потом, когда блюдо опустеет, он соскревет пальцами со дна остывший жир и мажет свои ичиги.

— Все-таки мажет!.. — сказал Турабай, оторвавшись от еды. — Хоть какая-то польза есть!.. А так совсем неинтересно сидеть впустую — другие едят, а ты сидишь

и смотришь, как они едят. Я не люблю смотреть, как другие едят, мне самому хочется есть.

— Ешьте, кто вам мешает! — Старик Хуччи не понял недовольства Турабая. — Манзару-палвану легче, ему не хочется есть плов.

— А вы, Турабай, скажите жене, пускай кладет в еду побольше тмина и толченой мяты, — посоветовал Ибодулло Махсум. — И сердцу, и мозгам польза.

— Сердце у меня крепкое, Махсум!

— А мозги?..

Этого вопроса Турабай словно не услышал — он ел.

— Мята хороша, когда она только выпустила два лепестка, — сказал старик Хуччи. — Потом она начинает стареть. У меня был кот, который очень любил мяту. Дурной был кот, приучился лизать капли моей старухи. Они очень вонючие, эти капли, она принимает их, как только задумает ссориться. В другое время пузырьки валяются где попало, вот он и приучился... Потом, когда жена стала их прятать, кот повадился бегать к арыку, а там мята растет. Он возьмется лапками за стебелек, пригнет к себе и откусит лепесточек. Сколько раз срывался в воду из-за этой мяты, но так и не отучился. Представьте, Махсум, каково ему было, когда он подходил к арыку! Ведь кошки до смерти боятся воды!..

— Как и бешеные люди, — заметил Турабай.

Ответом ему было неловкое молчание обоих друзей. Старик Хуччи вытер руки и передал полотенце Ибодулло Махсуму. Тот тоже вытер руки и отстранился от еды. Недолгий мир опять был нарушен...

Теперь ел один только Турабай. Он взял блюдо за нетронутый край, спокойно притянул его к себе и с большим аппетитом продолжал есть. Ел он, сильно чавкая. Раньше, когда все ели, это было не так заметно.

— Не чавкайте, Турабай! — вдруг сказал Ибодулло Махсум.

Турабай не ожидал такого, он замер с большим куском мяса во рту. Хотел было выплюнуть, но нельзя — перед ним дастархан раскрыт, проглотить тоже нелегко. Бедный Турабай так и сидел в полной растерянности. Наконец он все же проглотил кусок, так и не разжевав его. Проглотил, запил двумя глотками остывшего чая, поставил пиалу на край дастархана и уставился на Ибодулло Махсума злым взглядом. Но тот спокойно выдержал испытание, даже улыбнулся.

— А что, если я вам скажу, Махсум... — начал Турабай.

— Скажите, Турабай, скажите...

— Может, ему лучше сказать после еды? — спросил старик Хуччи, который все-таки был очень обременен своей ролью хозяина. — Согласитесь, Махсум, пускай он скажет после еды...

— Нет, почтенный, пускай лучше скажет сейчас.

— Будь я малость помоложе, я бы вас избил, Махсум, — зло сказал Турабай, и ему сразу стало легче оттого, что он так сказал.

— А мне помог бы почтенный Хуччи, — пошутил Ибодулло Махсум, желая немного остудить свой гнев.

— Меня Усман Звездочет с сыновьями бил, — вспомнил вдруг старик Хуччи. — Он, косоглазый, не мог меня как следует разглядеть, так ему сыновья помогали. Целых три волкодава! Вы, Махсум, учились тогда в бухарском медресе.

— Сколько он ни учился, а муллой стать не мог, — сказал Турабай.

— Смог бы, да не стал, — сказал Ибодулло Махсум.

— Все равно я бы вас с радостью избил, Махсум...

— Вы, Турабай, лучше посмотрели бы на себя! — ответил Ибодулло Махсум. — У вас столько же силы, сколько у жертвенного козленка, будете бляеть, пока вам не приставят нож к горлу! Вы и одного хорошего щелчка не выдержите. Эх, немножко бы сбросить лет, я бы...

— Ну?

— Я бы вас ударил так, что искали бы вас за Коровьей вершиной!..

— Не слишком ли далеко? — ухмыльнулся Турабай. — Я вас никогда не любил, Махсум. Вы мне всегда завидовали.

— Да кто вы такой, чтобы вам еще завидовали?! — Старик Хуччи, покраснев, придвинулся к Турабаю поближе. — Махсум никогда не дойдет до такого унижения! Было бы кому завидовать!..

— Оставьте вы его, почтенный, — сказал Ибодулло Махсум. — Ему всегда не терпится кому-нибудь подрезать жилки.

Иногда Турабай сам удивлялся, как он быстро пасует при одном лишь упоминании о том жеребенке. Ведь, если серьезно подумать, нет человека на свете, кто не имел бы грехов. И так, слава богу, у Турабая их немало. Но о тех все уже знают, те грехи ему уже вроде простили.

Одна только история с проклятым жеребенком столько лет не дает покоя. Лучше однажды пройти через позор, чем вечно ждать, когда же раскроется твой грех. Позор ты будешь переживать один день, два, три... пусть месяц, пусть даже год, потом все забудется. А этот Ибодулло Махсум, кажется, догадывается и не перестает твердить о треклятых жилках да сухожилиях жеребенка. У того небось и кости давно сгнили! И какая, спрашивается, цена одному жеребенку, да еще хромоту! Уж лучше признаться, и сразу станет легче. Лучше уж один раз опозориться, чем терпеть без конца двусмысленные намеки Ибодулло Махсума!..

И Турабай решил опозориться.

— Плохо ли это, Махсум, когда подрезают жилки?.. — спросил он.

— Не знаю, мясником не был, — ответил Ибодулло Махсум.

— А что, если все-таки взять да подрезать сухожилия какому-нибудь коню? — Турабай медленно, но неотвратимо подкрадывался к цели. — Ну, скажем, подрезать серпом сухожилия у коня нашего Хуччи.

Конь был уже назван, Хуччи назван, назван серп, теперь Турабаю оставалось только добраться до сухожилий того жеребенка. Но тут старик Хуччи испортил все дело, — услышав про своего коня, он так и взвился.

— А вы полегче с моим конем, Турабай! — сказал он. — Полегче!

«Дурак! Он даже узнать не хочет!» — Обиде Турабая не было конца.

— Рука-то ваша больше не годится для скачек! — крикнул он.

Старик Хуччи хотел было спрятать раненую руку под полу халата, но Ибодулло Махсум произнес:

— Вы что же, почтенный, боитесь?..

— Я что-то не возьму в толк, как она может быть не бешеной. — Турабай опять принялся за старое. — Разве цыгане дураки, чтобы оставлять здоровую собаку? Здоровых они всегда берут с собой. Ведь вы знаете, они и у нас частенько крадут хороших собак. А эту собаку вдруг взяли да и оставили. Выходит, она точно была бешеная...

Доводы его прозвучали так убедительно, что старик Хуччи не на шутку струсил.

— Я ничего такого за собой не замечал, Турабай...

— Не все же сразу, дорогой!.. — улыбнулся Турабай

наивности старика Хуччи. — Вроде бы у вас и аппетит пропал. Я видел, вы совсем мало ели. И еще меньше пили...

— Я воды не боюсь, — сказал старик Хуччи. — Сами видели, чай пью...

— Это я так, к примеру... Вот вы, Хуччи, могли бы, скажем, кого-нибудь укусить?

— Э, Турабай, зачем мне кусаться? — удивился старик Хуччи. — Я что, разве собака, чтобы кусаться?!

— Нет, нет, упаси меня аллах! — горячо возразил Турабай. — У меня и мысли не было сравнивать вас с собакой!

— А что же тогда? — обиделся старик Хуччи. — Я же вам не ровесник. На три-четыре халата больше вас сносил, Турабай. С чего это вы со мной так шутите?

— Я с вами не шутил.

— Значит, вы это всерьез сказали?

Турабай залился мелким смешком. Ибодулло Махсум вдруг поднял голову:

— Кажется, вы не рады, что почтенный Хуччи не заболел бешенством?

— Порази меня аллах на этом же топчане! — воскликнул Турабай и простер обе руки к небу. — Я об этом даже не думал, порази меня аллах!

— Нет, вы все-таки скажите, если бы он заболел, вы бы обрадовались? — опять спросил Ибодулло Махсум.

— Обижаете меня, Махсум, — сказал Турабай не очень уверенно. — Обидно мне...

— А вы в то место, где вам особенно обидно, посыпьте немного перчика, — посоветовал Ибодулло Махсум.

Великий гнев охватил Турабая при этой колкости! Вены на висках вздулись, белая бородка так и затряслась, темное лицо стало бурым... Сколько он ни сдерживал себя, не смог побороть гнев и вылил разом всю свою желчь, что накопилась за долгие годы:

— И вы уже бешеный, Махсум!

Выпалил это и собственными же ушами услышал, с каким отчаянным звоном лопнула струна, которая все время была натянута между ним и Ибодулло Махсумом.

Старик Хуччи резко вскинул глаза на друга: что же тот скажет теперь?..

— Пойдемте-ка, Турабай, разомнем ноги, — предложил Ибодулло Махсум. Лицо его было совершенно спокойным. — Надо же когда-нибудь размять ноги!..

Турабай понял его по-своему.

— Вы уже пожилой человек, Махсум, — сказал он. — Мне зазорно вас избивать.

— Другое дело есть, Турабай.

Турабай недоверчиво покосился на него.

— Нельзя ли, Махсум, завтра его обговорить? — спросил он.

Ответом Ибодулло Махсума было оскорбительное молчание. Турабаю пришлось встать и сойти с топчана.

— Вы свои галоши наденьте, Турабай, — сказал Ибодулло Махсум. — Мои еще новые, в них еще на свадьбы можно ходить.

Турабай совсем растерялся. Он с трудом вытащил ичиги из новых, блестящих галош Ибодулло Махсума и надел свою поношенную пару. Потом он поплелся следом за Ибодулло Махсумом к старой яблоне. Под яблоней они остановились. Ибодулло Махсум старательно подобрал полы халата, заткнул их за пояс и сделал шаг к Турабаю. Турабай отступил назад.

— Не шутите со мной, Махсум, это может плохо кончиться, я за себя не ручаюсь, — сказал Турабай и в подтверждение несколько раз топнул ногой.

— И вы со мной поосторожней... Бешеная собака ведь и меня тогда укусила, — предупредил Ибодулло Махсум.

— Пощадите себя, Махсум, неужели вам жизни своей не жалко? — сказал Турабай, отступая еще на один шаг.

— Хотите, Турабай, я вам сейчас перекушу глотку? — спросил Ибодулло Махсум. И, будто в доказательство своих слов, широко раскрыл рот и клацнул зубами. — Ну, хотите, я вам хотя бы горло перекушу?..

Турабай струсил. Отступил еще на два шага и воровато оглянулся на калитку. Но калитка была далеко. Вдруг он увидел топор в стволе высохшего дерева и в два прыжка оказался рядом с ним. Он ухватился за него и отчаянно повис на топорнице, но тщетно. Тогда он обреченно посмотрел на Ибодулло Махсума. Но тот уже не казался таким страшным, каким был минуту назад. Турабай осторожно обошел его и направился к калитке. Ибодулло Махсум молча последовал за ним. Турабай, стараясь не оглядываться, участил шаги. Оттого ли, что он был толстеньким, а халат на нем узок, или шел он быстрее обычного, но зад Турабая забавно ерзал под халатом. И в голову Ибодулло Махсума неожиданно пришла коварная мысль, отчего он хитро улыбнулся, взгля-

нул на свою правую ногу, потом на ерзающий зад Турабая, но все-таки сжалился, не поднял ногу... Хоть он и не дал Турабаю пинка под зад, но обрадовался диковинности посетившей его мысли и даже забыл, что они с Турабаем совсем недавно чуть ли не по-настоящему повздорили. Будто между мыслью дать пинка и недавней злостью не существовало никакой связи... Сказал, что перекусит горло, но сам не собирался этого делать, а вот и не говорил, будто даст под зад, но так и подмывает это сделать. Ибодулло Махсуму стало весело, он попытался придать своему лицу серьезное выражение, ну, хоть нахмуриться малость, что ли, на тот случай, если Турабай вдруг обернется, но нет, не удалось, и он заулыбался во весь рот.

Когда подошли к калитке, Ибодулло Махсум остановился. Турабай же убавил шаг только за калиткой, оглянулся и, не увидев преследователя, решил отдышаться. Постоял минуту-другую, но уже больше не смотрел в сторону Ибодулло Махсума. Потом он шлепнул три раза полу своего халата: мол, все, ухожу я из этого дома, впредь ни пылинки вашей на мне не будет — и ушел.

Ночью того же дня старик Хуччи решил уйти из Галатепе. Эта мысль пришла к нему не сразу. Сначала был страх, темный и тяжелый, как сама ночь, сон не шел, старик все ворочался в ночной духоте, голова разболелась невыносимо...

«Конечно, оно бы лучше остаться до конца днейazole своих... А вдруг они не посчитаются ни с каким родством, возьмут да привяжут цепью к дереву — так тебе и надо, бешеному!..»

И старик решил: лучше исчезнуть. Лучше побыть одному, схорониться где-нибудь подальше от глаз и ждать. Пронесет — хорошо, а нет... Тогда придется там и остаться, раз уж не удалось по-человечески умереть у себя дома...

Утром он был уже в пути. Пошел оврагами, чтобы не видели, как и куда он подался. Вскоре старик добрался до подножия горы, но не стал подниматься, поберег силы, выбрал тропинку через можжевельниковый лес на склоне. Но за склоном и эта тропинка полезла круто вверх, к перевалу на Чонкаймыш. Старик свернул чуть пониже и через три часа оказался в каменистой степи, кое-где покрытой жухлой травой. Галатепе остался далеко позади,

за белесым от можжевельника выступом горы. Старик Хуччи устал, он весь вспотел, тело ныло, давая знать о бессонной ночи... Зря он не поехал на коне, пожалел, не захотел и его сгубить. Да и зачем ему теперь конь? Было бы куда торопиться...

Вдруг послышался звон колокольчиков. Сперва старик подумал, может, это позвякивает козел, ведущий за собой стадо, но, сколько ни вглядывался, не увидел поблизости отару. Да и звон, то тише, то громче, шел не с горных пастбищ, а совсем с другой стороны — из глубины каменистой степи. Немного погодя наверху большого пологого холма показался всадник, вслед за ним выросли три верблюда. Старик Хуччи не верил своим глазам: как же так, ведь давно в этих краях нет ни одного верблюда, был один, которого колхоз купил у Мустафы, а Мустафа — у араба Узак, и того, считай, лет двадцать назад зарезали, а мясо бесплатно раздали тем сознательным колхозникам, что в рамазан пост не держали. А тут на тебе, сразу три верблюда...

Тем временем маленький караван приближался. Старик Хуччи узнал караванщика и будто остолбенел — это был давно пропавший Узак, о котором он только что подумал. И тот, кажется, узнал старика Хуччи, остановил лошадь. Верблюды за ним тоже стали. Затихли и колокольчики на их шеях.

— Мир вам, Хуччи! — сказал араб.

— Мир вам, Узак, — сказал старик Хуччи. — Я рад вас видеть, думал, больше не встречу...

— Еду в Каттакурган, — печально произнес араб. — Потянуло опять. Старый я стал...

Старик Хуччи сам видел, что Узак уже не тот, борода белая, неухоженная, лицо в рытвинах, засыпь туда горсть проса, ни одно зернышко не упадет.

— Болел я, Хуччи, — сказал Узак. — Оспа проклятая...

— А я вот решил уйти из Галатепе, — сказал старик Хуччи. — Собака меня укусила. Говорят, бешеная. Хотел ее приручить, гончая была, я-то думал, она хоть и цыганская, а привыкнет ко мне... У меня ружье есть, Узак, теперь вот хотел гончую. Сами знаете, жизнь моя прошла за табуном, все некогда было. Хотелось просто сесть на коня, взять с собой гончую, ружье и поехать на охоту, всегда хотелось... Только беркута у меня нет. Однажды даже купил птенца в Чонкаймыше, десять рублей отдал, думал, клюв затвердеет, охотиться можно будет, а он оказался просто коршуном...

— Да-а, это плохо, когда беркут оказывается коршуном, — согласился араб. — Это совсем плохо, Хуччи, коршун не годится для охоты.

— Знаю, знаю, — сказал старик Хуччи. — Да он и коршуном-то настоящим не успел стать. Я уехал в Пайшанбе, а дома его кормили соленым мясом... Может, это они не нарочно, Узак, но коршун умер. Жалко было птицу, хоть она вовсе и не беркут. И коня моего они не любят, Узак, всё требуют, чтобы я его продал, боятся, как бы не сбросил меня с седла в какой-нибудь овраг...

— Как они плохо думают о конях! — удивился Узак. — Нет, вы его не продавайте, Хуччи.

— А кому я его продам, когда он ко мне так привык!.. Вот недавно он заболел — долго стоял в стойле, — и я скормил ему пуд моркови, чтобы кровь очистилась... Нет, Узак, другие его не поймут, загубят... А дома на меня обижаются. Жена недавно уехала к сестре. Нет, это она не нарочно, давно хотела поехать, повидаться с сестрой. Но мы до того были в ссоре, и вот теперь все думают, что она сбежала. Не надо было ей уезжать сейчас. Ведь и без того люди смеются надо мной... Не везет мне...

— Моя жена всегда сидит дома, — сказал Узак. — У нее нет никого, сирота была, как и я... Вам, Хуччи, тоже надо было жениться на сироте.

— Я об этом думал, — сказал Хуччи. — Но она ведь хорошая... С другой мне было бы хуже; помните, ведь я целыми неделями ходил за табуном, редко приезжал в Галатепе, а она ничего, сидела, ждала...

— Теперь мы старые, — сказал Узак. — Нам теперь должно быть спокойнее.

— Не получается, Узак...

— Да, не получается. Вам, Хуччи, не надо было связываться с чужой собакой.

— Нет, она неплохая была... Дай, думаю, возьму и приручу. Махсум сказал, что она укусит, но я не послушался, теперь выходит, она была бешеной... Я не стал ждать, Узак...

— Ждать не надо, — согласился араб. — Я вот столько лет ждал, пока соберусь в Каттакурган, теперь старый стал... Помню, у вас был саврасый конь, сильный, вы на нем на скачках всегда первым приходили. Помните, под Коровьей вершиной... Там и сейчас скачут?

— Теперь редко скачут, Узак, — грустно ответил старик Хуччи. — И того саврасого уже нет. Теперь у меня

другой конь, пегий, как у вас тогда был... Вот решил я уйти, Узак. А то меня возьмут и привяжут к дереву. Я ведь сам их сажал, эти деревья, своими руками, а теперь... Нет, Узак, не могу я так. Лучше умереть где-нибудь в степи.

— А вы идите в Кызыл-Таш, — посоветовал Узак. — Там и вода есть. И камни кругом красные, и песок красный.

— Мне вода ни к чему, — сказал старик Хуччи.

— Все равно в Кызыл-Таше лучше. Я там всегда жил в белом шатре. Камни красные, песок красный, а шатер весь белый. Я бы опять поставил там свой шатер, но годы уже не те. Хоть в Каттакурган съезжу, и то хорошо. Не могу я дома сидеть, Хуччи. А три дня назад совсем немоготу стало, взял трех верблюдов и поехал!.. Думаю, послезавтра вечером буду в Каттакургане. Пораньше нельзя, верблюды уже старые.

— Зачем вам три верблюда, Узак? — спросил старик Хуччи. — Груза-то у вас никакого!

— А как же без верблюдов? — удивился араб. — Без них и дорога не та, я ведь всегда с караваном ходил в Каттакурган.

— В Каттакургане хорошо.

— И в Кызыл-Таше хорошо, — сказал араб. — Лучше, если вы пойдете туда. Помню, вы там лошадей пасли.

— Давно это было, Узак. Ох как давно!..

— И сейчас еще не поздно. Идите в Кызыл-Таш. Нет, Хуччи, пешком долго туда идти, берите мою лошадь. И хурджуны берите, я на верблюде доберусь.

Старик Хуччи согласился. Узак вручил ему поводья от своей лошади, приказал головному верблюду припасть на колени и взобрался на него. Потом верблюд встал, и путники разошлись каждый в свою сторону. Отъехав немного, Узак окликнул старика Хуччи:

— Эй, Хуччи, я чуть было не забыл, ее зовут Санобар!..

— Кого? — не понял старик Хуччи.

— Вашу кобылу!.. — крикнул Узак уже с другой стороны холма.

В Кызыл-Таш старик Хуччи приехал ночью. Кобылу привязал к кустам тамариска, снял с седла хурджуны и отнес его к стене старого полуразвалившегося рабата — крепости. Сова, прокричавшая неподалеку над разва-

линами, учуяла человека и умолкла. В лунном свете старый рабат казался еще более громадным и зловещим.

Совсем не по себе стало старику Хуччи. Он подошел к кобыле, обнял ее за шею, прижался лицом к ее запутанной гриве. Кобыле это понравилось, она опустила шею еще ниже, затем, звеня уздечкой, кокетливо заржала. Старик Хуччи снял с нее удила, пустил пастись в одном недоуздке, а сам вернулся к стене рабата. Там он расстелил на голой земле халат и прилег отдохнуть.

Опять закричала сова. Сердце старика сжалось от грусти и тревоги, и он окликнул кобылу:

— Бех-бех, Санобар, бех-бех!..

Лошадь услышала, подошла к старику и стала шумно обнюхивать его лицо. Из ноздрей ее шел едкий запах степного горчка.

— Все мы умрем, Санобар, — печально сказал старик Хуччи лошади. — И я, и Турабай. Все... Выходит, зря мы обижали друг друга. Ведь никто не останется подпирать собой небо, ведь никто?.. Все помрут, и сам бог однажды помрет... Когда нет человека, зачем же ему быть? Как он обойдется без людей, скучно ведь одному?

— А мы? — спросила кобыла. — Мы-то останемся?

— А-а!.. — махнул рукой старик Хуччи. — О чем ты говоришь? Разве лошадь человек, чтобы...

Старик умолк. Понял, обидел он лошадь, и умолк.

— Слушай, Санобар, — сказал он немного спустя. — Мы ведь с тобой не пойдем друг друга. Я знаю одно, лошадь ли ты, человек ли, все мы в этом мире только в гостях. Нет у нас вечного дома. Каждый тут — гость. Надо ли нам тогда ссориться?

Кобыла обиделась. Резким движением головы она отбросила недоуздок и поскакала в степь. Старик Хуччи был напуган собственными же словами, не сразу даже заметил, что остался в полном одиночестве.

«Плохо я сказал, — подумал он. — Бога обидел... Не будь бога... ведь так нельзя, чтобы его не было!..»

Ему показалось, что мир уже осиротел без бога.

Дней через двадцать старик Хуччи живой и невредимый вернулся в Галатепе. Вечером того же дня в чайхане Барота Кривого он рассказал галатепинцам о своей встрече с Узакон и о кобыле Санобар.

Но те упорно не хотели ему верить, не верил даже сам чайханщик, который всегда и во всем соглашался со своими посетителями.

— Узак не такой дурак, чтобы на каждом шагу раздавать по лошади, — сказал Барот Кривой. — Почему он сам не заехал в кишлак, как-никак однажды уже отведал нашего хлеба?

— Он ехал в Каттакурган, — объяснил старик Хуччи. — Я шел пешком, и он дал мне кобылу и целый хурджун еды.

— А где же хурджун с едой? — осведомился чайханщик.

— Еду я съел, а хурджун забыл в старом рабате.

— Ладно, а где тогда лошадь?

— Она ушла в первый же вечер. Обиделась на меня и ушла.

Слова старика Хуччи вызвали лишь улыбку.

— Странно как-то получается, почтенный Хуччи, — сказал чайханщик, — все на вас обижаются и уходят. Жена ушла, теперь вот и кобыла ушла...

— Жена уже вернулась, — сообщил старик Хуччи. — Она погостила у сестры и вернулась.

— А вы сами не обиделись на нее, когда она сбежала? — не унимался чайханщик.

— Она никуда не сбежала, не такая она плохая, чтобы сбежать...

— А цыганская собака, она-то сбежала?

— Да, она сбежала, но я на нее не обижаюсь.

— Вы бы лучше еще чаю нам принесли, Барот, — сказал мулла Данияр чайханщику, а когда Барот Кривой ушел к своим самоварам, обратился к старику Хуччи: — Я рад вас видеть, Хуччи. Тут зря болтают, я верю, что Узак дал вам лошадь. Это очень хороший человек, и я рад, что он жив. Мне однажды приснилось, будто он умер...

— Нет, он живой, — сказал старик Хуччи. — Только немного постарел. Он очень хотел увидеть Каттакурган.

— А мы думали, что вы совсем исчезли, — сказал Назар Махдум. — Я даже собирался съездить к сыну, чтобы он объявил на вас розыск. Ведь Хасанбек теперь большой человек...

— Я никуда не исчезал, — возразил старик Хуччи. — Поехал на лошади в Кызыл-Таш. Очень умная была кобыла. Она даже говорить умела.

Все, кроме муллы Данияра и Ибодулло Махсума, засмеялись.

— Я ей сказал, что бог тоже умрет, — продолжал бедный старик Хуччи. — А она обиделась на меня и ушла — праведная оказалась.

Ответом был опять смех, дружный и веселый.

— Может, это была ваша жена, ведь и она на вас обиделась и ушла?.. — сквозь смех спросил чайханщик, стоя у самовара.

Старик Хуччи растерялся. Тут мулла Кудрат произнес грозно:

— Раз она заговорила, значит, в нее вселился шайтан. Вы гяур, Хуччи, истинно вам говорю, вы гяур! Только гяуры могут накликасть на себя столь великую беду! Горе, горе вам, Хуччи!..

Старик Хуччи умолк под огненно сверкающим взглядом муллы Кудрата. К счастью, Ибодулло Махсум — в который уже раз! — заступился за него.

— Запомните, Кудрат, шайтан ни в кого, кроме человека, вселиться не может, — сказал он. — Вы, Кудрат, неглупый человек, но плохой мулла. Разве вы не знаете, что лошади, как и вообще подобные твари, никогда не бывают корыстными? Зачем вам клеветать на бедную кобылицу? Аллах может все, и я нисколько не удивлюсь, если он превратил ту кобылицу в женщину!.. Вот даже ни на столько не удивлюсь! — И он показал кончик мизинца.

— Слышите, он опять взялся за старое, твердит о переселении душ! — закричал мулла Кудрат, призывая в свидетели муллу Данияра. — Вы слышали, почтенный, он говорит то же самое, что говорят буддисты! Мало было нам одного гяура, их уже стало двое, и Махсум туда же!.. Скажите, мулла, как он этого не понимает, ведь кобылица не может стать женщиной!..

— Ну, это как понимать... — неопределенно ответил мулла Данияр.

— Вы поймите, Данияр, кобылица никогда не станет женщиной!

— А почему же тогда жена шорника Мурада ржет, как кобылица? — спросил мулла Данияр.

Все, кто хоть немного знали жену шорника Мурада, подтвердили его слова. И, сколько ни думал мулла Кудрат, он не нашел достойного ответа.

С того дня мулла Кудрат стал очень мнительным — услышит женский смех и сразу настораживается. Гово-

рят, даже в смехе собственной жены стал подозревать какой-то подвох, и, стоит ей засмеяться, мулла тут же одергивает ее: «Чего ты ржешь, кобылица?» Она теперь уже не смеется, кому приятно прослыть кобылицей?.. Разумеется, никому. И вот жена муллы Кудрата научилась улыбаться беззвучно, одними уголками губ, печально и довольно-таки скучно.

Но, как говорится, каждому свое. Дело муллы — подозревать, его жены — не слыть кобылицей, а наше... Да бог его знает, какое наше дело! Мы тут вроде бы и ни при чем. Порассказали, и хватит.

СВАТОВСТВО

Фарангис

В чайхане Барота Кривого, куда пришел Ибодулло Махсум, было, как всегда, многолюдно. В тени и прохладе, под сенью огромных чинар и лип, некогда посаженных самим Раимом Хайбаровым, здесь каждый топчан представлял собой целый ансамбль, нет, больше того — настоящую картину, достойную кисти незабвенного Бехзада. Все тут чинно и красиво: цвета здоровой печени дастарханы из шерсти верблюдов местного араба Узака, веснушчато-румяные лепешки от Мамата-наввая, без единой трещинки или даже щербинки чайники и пиалушки, само плавное течение речи, грациозно-ленивые движения, не лишённые доли нарочитости, и конечно же сами галатепинцы, венцы всему ритуалу, — словом, тут царил полный покой и согласие, и невольно думалось человеку: куда же спешить, когда жизнь так прекрасна!..

Что и сказать, уютно было в чайхане Барота Кривого, на каждом ее топчане. Исключение составлял разве что топчан с левого края; он мог бы смотреться в том случае, если бы на нем сидели десять, пять, три... ну, хотя бы два человека, но там, к сожалению, сидел только один человек. Сам по себе топчан этот был ничем не хуже других, — может, даже лучше: с добрым паласом, с мягкими тюфяками и подушками, он мог бы смотреться даже с одним человеком, но, увы, этот единственный человек был немного пьян. Бутылки, разумеется, не было возле него, но, судя по тому, как человек морщился, когда подносил пиалушку к губам, вся беда была заключена в довольно объемистом чайнике перед ним. Кажется, другие его даже не замечали. Зачем, спрашивается, документать пьяному человеку, все равно ему ничего не втолкуешь; другое дело, когда он немного протрезвеет, тогда все можно: порицать, упрекать, можно и пожестче — погалатепински...

Поистине, язык без костей, мы слишком отвлеклись, вернемся теперь к Ибодулло Махсуму, нашему герою, которого оставили, едва только начали рассказ. Так вот,

когда он показался за оградой чайханы, Кривой Барот, несмотря на занятость, сам вышел ему навстречу и повел в самый почетный круг завсегдагаев, где уже сидели старик Хуччи, мулла Данияр, пастух Наим и прочие уважаемые галатепинцы. С ними был еще один человек лет сорока пяти, которого Ибодулло Махсум раньше как-то не знал, но в знак особого расположения к кругу поздоровался весьма любезно.

Не успел он еще занять свое традиционное место рядом с муллой Данияром, как возле топчана появился чернявый старичок и поклонился собранию.

— Отведайте и вы нашего чаю, — пригласил его Ибодулло Махсум.

— Нет, я только на минуту, Махсум. Вы тогда правду сказали, моя коза действительно принесла троих козлят, — радостно сказал старичок. — Вы точно угадали, Махсум!..

— При чем тут это, угадал или не угадал... — рассеянно ответил Ибодулло Махсум. — Она троих и должна была родить. По одной походке было видно.

— Все-таки вы угадали, Махсум, — не согласился старичок. — Надо же, сказали — и все вышло по-вашему... Может, и в следующем году, а?..

— Вам все мало, Атабай, — с легкой укоризной сказал Ибодулло Махсум.

— А вдруг?... — с надеждой спросил Атабай. — Скажите, Махсум, ведь ваши слова сбываются...

— Я вам не пророк, чтобы мои слова сбывались, — скромно заметил Ибодулло Махсум.

— А все-таки?... — не унимался Атабай. — Скажите, Махсум.

— Не будьте таким жадным, — одернул его старик Хуччи. — Коза ваша не выдержит. Подождите еще годик, а там видно будет... Как вы думаете, Махсум?

— Ваша правда, почтенный, там видно будет, — улыбнулся Ибодулло Махсум.

— Спасибо, Махсум, — поблагодарил Атабай. — Вы только не забывайте, Махсум!..

Ибодулло Махсуму не понравилась настырность Атабая, и он нахмурился:

— Лучше вы следите за своим сыном, Атабай. Может статься, что он уйдет с цыганами.

— Аллах с вами, Махсум, накаркаете еще! — испуганно всплеснул руками Атабай. — Как это он уйдет, когда такой послушный?..

— Послушный, слов нет, послушный, — сказал Ибодулло Махсум. — Но все же будьте начеку. Скажите, Атабай, вы за ним ничего странного не замечали? Ну, скажем, в зимнее время он не начинает чакнуть?..

— Зимой он худеет, — забеспокоился Атабай. — А что это могло бы означать, Махсум? Надеюсь, не хворь? Ведь и я худею зимой, но, слава богу, прожил вон сколько лет. Что это значит, Махсум?

— Цыганская тоска, вот что, — сказал Ибодулло Махсум. — Боюсь, он и вправду уйдет с цыганами. Видно, это у него в крови...

— Не может быть, — не поверил Атабай. — Мой прапрадед и тот не был цыганом.

— А его прадед? — спросил Ибодулло Махсум.

Атабай не нашелся что ответить, загрустил, и тут во всем его облике проступило нечто цыганское: то ли тоска по долгим скитаниям, то ли еще что-то, неизвестно что, но тоже цыганское.

— Что, он и вправду из цыган? — спросил пастух Наим, когда Атабай, не проронив ни слова, оставил чайхану. — Вот я не знал!..

— Да какой из него цыган! — улыбнулся Ибодулло Махсум. — Просто он какой-то жадный.

— Так и скажите, — облегченно вздохнул пастух. — Значит, его сын не уйдет с цыганами.

— Конечно, не уйдет, — ответил Ибодулло Махсум. — Впрочем, кто его знает... Что-то Мустафы не видно, почтенный? — обратился он к старику Хуччи, желая переменить разговор. — И на базаре его не было.

— Слег, — сказал старик Хуччи. — Нароботался, бедняга. Племянника хочет женить, а тот пьет не прося.

— Нет, сейчас не пьет, — сказал мулла Данияр. — Он уже исправился, говорят — недавно Турабая побил.

— Тогда другое дело, — смягчился старик Хуччи. — Турабай подрезал моему жеребенку сухожилия, сам признался, вот Махсум тому свидетель...

— У него собака пропала, — сообщил пастух Наим. — Целых два дня околичивался возле моего дома, будто это я украл его собаку.

— Ты выкрал двух овец, Наим, — заметил старик Хуччи. — Вот он и подозревает.

— Но когда это было, почтенный!.. — смутился пастух. — Ведь я тогда совсем молодой был.

— Собаку надо искать под Большим обрывом, — поспешил сказать Ибодулло Махсум, желая облегчить положение Наима. — Старый был пес. Добрая собака никогда не сдохнет на глазах у хозяина.

— Откуда это знать Турабаю!.. — сказал старик Хуччи. — Он же сам хочет жить вечно!..

— Грешно этого хотеть, — сказал мулла Данияр. — И так толком не знаешь, как достойно прожить те несколько десятков лет, что дарованы аллахом, а он чего захотел!.. Лишний день — лишние грехи!..

— Можно бы попробовать, если бы жизнь всегда была хорошей, — рассудил пастух Наим. — Но ведь она не часто нас балует. Вот спросите у Нурмата, — он показал на пьяного человека с крайнего левого топчана, — хочет ли он вечно жить? Боюсь, он не захочет...

— Точно, — поддержал его мулла Данияр. — Жена от него сбежала. Не хочет воротиться. Думаю, Махсум это знает?

— Это я ему предсказывал еще в позапрошлом году, — сказал Ибодулло Махсум. — А он не послушался, женился на ней.

— Паршивый пророк!.. — подал голос пьяный Нурмат со своего топчана, будто он услышал слова Ибодулло Махсума.

Услышав такую дерзость, Ибодулло Махсум лишь улыбнулся, дал знать, что он ничуть не обиделся. Тогда решились улыбнуться и другие — приятно было видеть подобное спокойствие. Не улыбнулся лишь Барот Кривой, хозяин чайханы. Он решительно направился к топчану, где сидел Нурмат.

— Пусть сидит, не трогайте его, Барот, — сказал Ибодулло Махсум.

Чайханщик, хоть и был не на шутку рассержен, повиновался, вернулся к самоварам.

— Ничего тут не поделаешь, — грустно сказал Ибодулло Махсум. — Она должна была сбежать.

— Сам он виноват, — поспешил успокоить его старик Хуччи. — Надо было жениться на другой. Вот я, бывало, целыми неделями за табуном ходил, а жена — ничего, сидела ждала...

— Это ваша жена, — сказал Ибодулло Махсум. — Нечего сравнивать.

— Все-таки, Махсум, — вмешался мулла Данияр, — вы не должны были говорить, что она сбежит от него, вот и сбылось...

— Паршивый пророк!.. — опять донеслось с топчана Нурмата.

— Жалко парня, — сказал пастух Наим. — Будь он из Сарсана или Чонкаймыша, было бы еще ничего, но ведь он свой, галатепинский...

— Что я еще могу? — сказал Ибодулло Махсум виноватым голосом. — Я бы сам рад, он мне не чужой, родной племянник!..

— Пес тебе племянник!.. — заорал Нурмат со своего топчана.

— Вы не серчайте, Махсум, похоже, он не выпался, — сказал старик Хуччи с явным смущением. — Вообще вам надо было помягче, мол, она может сбежать, мол, надо бы предотвратить, дабы беда какая не случилась, а вы, Махсум, возьми и скажи: жена твоя сбежит, Нурмат!..

— Разве она не сбежала? — спросил Ибодулло Махсум.

— Сбежала, — грустно подтвердил старик Хуччи.

— Разве я не был прав, почтенный?

— Вы правы, Махсум, тысячу раз правы, я еще не встречал человека правдивей вас, Махсум, но все же...

— И почтенный Хуччи прав, — сказал мулла Данияр. — Вы, Махсум, пожалуйста, не будьте впредь столь категоричны, попробуйте... Ведь ангелы разные бывают, и добрые среди них есть, есть и злые, чаще злые и говорят: «Да сбудутся слова твои!..»

— А зачем? — недоуменно спросил пастух Наим. — Зачем ангелам-то вмешиваться?

— Им аллах так велел, — уклончиво ответил мулла Данияр.

— Они же бесполые, — старик Хуччи рассудил чуть иначе, — оттого и такие, что бесполые, им, должно быть, все равно.

— Не грешите, почтенный, — слегка пожурил мулла Данияр старика Хуччи, затем вновь обратился к Ибодулло Махсуму: — Попробуйте говорить правду, Махсум, но чтобы она была чуть помягче...

— А что останется от правды, если она не твердая? — спросил Ибодулло Махсум. — И вообще, как прикажете ее смягчить?

— Не знаю как, но я уверен, это вам под силу, — кротко улыбнулся мулла Данияр. — Попробуйте, Махсум...

— Попробую, — мрачно пообещал Ибодулло Мах-

сум.— Не лучше ли будет, если я вообще говорить перестану?

Ему не ответили. По лицам галатепинцев можно было понять, что они стесняются говорить. Ведь это так трудно — сказать о своих добрых чувствах. Ибодулло Махсум живо себе представил, каково было бы ему самому, если бы его друг Хуччи вдруг перестал говорить — страшно даже подумать! Его охватила такая тоска, а затем и жалость к другу, что он чуть не прослезился...

— Дядя! — Грустные мысли Ибодулло Махсума опять были прерваны криком Нурмата. — Вы меня слышите, дядя?!

— Слышу, Нурмат, — мягко ответил Ибодулло Махсум. — Иди домой, отдохнуть тебе надо. Мы с тобой завтра поговорим.

Нурмат ему не возразил, попытался даже встать, только — тщетно. Тогда чайханщик сам поспешил ему на помощь.

— Вы уж не взыщите, — обратился Ибодулло Махсум к гостю, когда Барот Кривой и его помощник вывели пьяного Нурмата. — У нас свои дела...

— Нет, что вы, Махсум-бобо! — горячо возразил гость. — Я ведь не чужой, все понимаю.

С этими словами он поспешно взглянул на старика Хуччи. Тот его сразу понял.

— Наш гость из Шоркудука приехал, Махсум, — сказал старик Хуччи. — Зовут его Хаджикул, сын покойного Абдурахмана...

— Шорника Абдурахмана? — спросил Ибодулло Махсум.

— Нет, покойный шорник — он из Сарсана был, а наш гость из Шоркудука...

— Вы, почтенный, чуть ошиблись, покойный шорник родился в Шоркудуке, потом уже переселился в Сарсан, — возразил ему Ибодулло Махсум. — В Сарсане тогда своего шорника не было. Но в Шоркудуке остались еще четыре Абдурахмана, трое из них уже покойники. А он чей? Может, Абдурахмана Лопоухого сын?..

Гость смущенно кивнул — он сам был лопоухим.

— Хаджикул хочет жениться на Зубейде, вдове покойного Хазрата, — сказал старик Хуччи. — Но сперва хотел бы знать ваше мнение, Махсум...

— Ну что ж, — одобрительно посмотрел Ибодулло

Махсум на гостя. — Не век же ей траур носить, хорошо он задумал, сын Абдурахмана...

— Его отец был хорошим табунщиком, — сказал старик Хуччи, — что означало высшую похвалу в его устах.

— А у него самого конь есть? — поинтересовался Ибодулло Махсум.

— Есть, — ответил гость. — Он, может, не такой хороший скакун, как у почтенного Хуччи-бобо, но тоже очень добрый...

— Такого скакуна, как у Хуччи, нигде не найдешь, — сказал мулла Данияр.

Старик Хуччи аж зацвел от удовольствия.

— Хороший он парень, Махсум, вы уж поверьте мне, — сказал он. — Дай бог ему счастья с Зубейдой!

— Я согласен, — сказал Ибодулло Махсум. — У нас хоть один шоркудукец теперь будет. А то все галатепинцы да галатепинцы. Нам очень не хватает тихих людей, почтенный.

— Он хотел бы ее увезти к себе, — сказал мулла Данияр.

— Лучше, если Зубейда здесь останется, — рассудил Ибодулло Махсум. — Она женщина, ей трудно будет среди чужих...

— Я же мужчина, Махсум-бобо... — несмело возразил гость.

— Это мы еще посмотрим, — оборвал его Ибодулло Махсум. — Сиди и молчи, пока мы сами все не решим.

Гость умолк.

— Хаджикул правду говорит, — заступился за гостя мулла Данияр. — Мужчине не подобает селиться в доме жены. Вы мудры, Махсум, но на этот раз не правы. Это в вас другой человек, просто галатепинец говорит. Неужели вы сами не чувствуете, что не правы?

— Чувствую, — признался Ибодулло Махсум. — Просто Зубейду жалко стало. Ладно, так и быть. Когда он ее хочет увезти?

— Скоро, Махсум, очень скоро, — неопределенно ответил старик Хуччи. — Только и осталось, что идти ее сосватать...

— Я-то думал, вы уже все уладили, — разочарованно сказал Ибодулло Махсум.

— Мы вас ждали, Махсум, — смущенно сказал старик Хуччи. — Без вас мы не решаемся.

— Думаете, она согласится?

— Мы это хотели спросить у вас, — ответил мулла Данияр. — Как вы думаете, Махсум, она согласится?

— Не знаю, — сказал Ибодулло Махсум.

— Как это так, Махсум, — обиженно сказал мулла Данияр, — вы всё знаете, а это не знаете?

— Не знаю, — упрямо повторил Ибодулло Махсум. — Я об этом ни разу не думал.

— Как же тогда быть? — забеспокоился старик Хуччи. — Я ведь ему обещал...

— Боюсь, не получится, — сказал Ибодулло Махсум.

— Может, мне идти?.. — несмело спросил мулла Данияр.

— Нет, мулла, неловко будет, если вам откажут, — рассудил Ибодулло Махсум. — Лучше я пойду.

Все заулыбались, даже сам гость, который, позабыв всякое приличие, вскочил на ноги, но тут же был вынужден сесть — так строго посмотрел на него Ибодулло Махсум.

— Вы его простите, Махсум, — сказал старик Хуччи. — Он еще молодой, вот и торопится...

Ибодулло Махсум осушил пиалу, затем не спеша встал и сошел с топчана. Когда он надевал галоши, мулла Данияр не выдержал и спросил:

— Как думаете, Махсум, прок будет?..

Ибодулло Махсум не ответил.

Походка Хаджикула была очень неуверенной, робкой. Видно, что его занимает не походка, а нечто другое, более важное. В сравнении с ним Ибодулло Махсум выглядел просто молодцом. Красивый скакун Хаджикула, что был под ним, как бы украшал его, придавал особую значимость возложенной на него миссии.

С большой улицы они свернули на улочку справа, которая вела вдоль дувалов, затем плавно спускалась к речке, а там, перейдя через мостик, превращалась в плотно сбитую тропинку, что все тянулась да вилась по берегу.

Всю дорогу им попадались люди. При виде женских и детских головок, то и дело выраставших над дувалами, Хаджикул весь съеживался, озирался.

Когда осталось шагов сто до заветных ворот, он остановился. Ибодулло Махсум был вынужден слезть с коня и взять его за руку.

— Не смущайся, — сказал он и увлек жениха за собой.

— Может, в другой раз?..

Но Ибодулло Махсум не захотел его слушать. Вскоре они дошли до ворот.

— Видишь? — показал Ибодулло Махсум полуразрушившиеся дувалы двора. — Плохо, когда в доме нет мужчины.

Хаджикул ничего не ответил. Ему неприятно было думать о муже Зубейды, пускай даже о покойном.

Ибодулло Махсум привязал коня к железной скобе на створке ворот и негромко постучался. Ответа не последовало.

— Может, я все-таки пойду... — несмело сказал Хаджикул.

— Заладил себе, пойду — не пойду!.. — Ибодулло Махсум начал сердиться. — Будь добр немного постоять, ты что, жениться пришел или кокетничать?

Хаджикул покорно замолчал. Ибодулло Махсум постучался сильнее.

— Эй, есть живая душа?!

Во дворе залаяла собака. Одна створка ворот медленно отворилась, и в проеме показалась голова мальчика одиннадцати-двенадцати лет. Ибодулло Махсум отстранил его и вошел во двор. Хаджикул последовал за ним.

Собака, привязанная под тенистым карагачом, залаяла еще громче. Зубейда, видимо, не ждала гостей, она убирала навоз в открытом хлеву. Посмотрела в сторону ворот, узнала гостей и вся зарделась. Лопата с грохотом упала из ее рук. Две курицы, что клевали в яслях, испуганно вспорхнули и перелетели через плетеный забор, кудахча и поднимая пыль. Женщина закашляла, взялась за ручки тачки и высыпала ее содержимое обратно на землю — потом, поняв, что сделала, она покраснела пуще...

— Добро пожаловать, Махсум-бобо, — смущенно сказала она, когда вышла из хлева. — Пожалуйста, к супе проходите. Как поживают ваши, как невестка, сына она родила?..

— Нет, дочку, — сказал Махсум. — У них на роду все такие — сперва десяток девочек и только потом одного мальчика... Будем ждать, Зубейда.

Под карагачом жалобно заскулила собака.

— Вы садитесь, — сказала Зубейда, все еще обращаясь к одному только Махсуму. — Я сейчас, отнесу еду собаке...

Ибодулло Махсум прошел и сел на супе. Хаджикул не сдвинулся с места, смотрел словно замороженный на красивый стан вдовы, идущей к очагу. Зубейда быстрыми движениями сняла с очага маленький казан, перелила его содержимое в собачью посудину и направилась к карагачу. Почуяв еду, собака завиляла хвостом.

— Садись, сын Абдурахмана, — сказал Ибодулло Махсум.

Хаджикул нехотя сел.

— У нее собака почти не лает, — сказал он грустно.

— А кто это лаял, когда мы вошли, не муж ли твоей младшей тетки! — рассердился Ибодулло Махсум. — Неблагодарный же ты человек!.. Я знал еще деда твоего, всю жизнь он носил одну-единственную пару сапог, и те были ему малы, но — ничего, терпел, ни разу не говорил, мол, они мне ноги жмут... Ты что воротишь нос, пока еще неизвестно, согласится ли она вообще!..

Хаджикул молчал, боясь сказать лишнее: жалко было бы потерять такую женщину, которая, надо заметить, могла соперничать по стати (да и по другим статьям!) и с иной юной красавицей.

— Иди принеси воды, — приказал Ибодулло Махсум мальчику, который безучастно стоял возле супы.

Мальчик принес кувшин с водой и полотенце.

— Хороший кувшин, — сказала Ибодулло Махсум, вытирая руки. — Небось от покойного остался?

— Его, — сказала Зубейда. — Если понравился, можете взять.

— У меня свой, хивинский, — сказал Ибодулло Махсум. — Оставь его себе, может, на старости лет намазы будешь совершать.

— Когда это будет!.. — сказала Зубейда.

— Очень скоро, — строго ответил Ибодулло Махсум. — Сколько сейчас тебе лет?

— Тридцать семь, — сказала женщина.

— Тридцать восемь, — уточнил Ибодулло Махсум. — В пятницу это было, отец твой пришел ко мне, сказал: дочка у меня родилась. В тот самый день, когда рыжую корову почтенного Хайбарова укусила змея... Ты меня не проведешь, Зубейда!..

Женщина опустила глаза.

— Ладно, не смущайся, садись на супу, — сказал Ибодулло Махсум. — И сыну скажи. Есть одно дело, обговорить его надо. Вот этот человек, зовут его Хаджи, сын покойного Абдурахмана Лопоухого, приехал из Шорку-

дука. Одинокий, как и ты, Зубейда. Вот мы решили тебя выдать за него замуж, за сына Абдурахмана.

— Я не думаю выходить замуж, — сказала Зубейда краснея.

— Ты сперва послушай, отказать всегда успеешь. Ну, давай поднимись на супу, — приказал Махсум. Затем, когда женщина села, продолжал: — Скажи, Зубейда, что ты вообще хорошего на свете видела, кроме нескольких лет жизни с этим, аллах меня простит, нити-ком?..

— Он был мой муж, — сказала Зубейда.

— Дай мне сперва сказать, разве я не прав, он только и знал, что ночами напролет молился, вот бог и забрал к себе...

— Не говорите о нем так!.. — обиделась Зубейда.

— Ладно, оставим его, — согласился Ибодулло Махсум. — Теперь скажи прямо, хочешь ли выйти замуж, только не тни, сразу отвечай.

— Не хочу, — сказала вдова.

Ибодулло Махсум не поверил ей, немного подумал и решил пустить пробный шар.

— Раз ты не хочешь, — начал он, — раз не хочешь, почему сказала «да» той свахе, что послал этот человек? Ведь сперва женщин посылают?

Зубейда с укором посмотрела на Хаджикула: эх ты, все успел выложить!..

Ибодулло Махсум повторил свой вопрос.

— Я не говорила «да», Махсум-бобо, — раскололась наконец Зубейда. — Баба я, одним словом... Немного пожаловалась на свою жизнь, а она, ведьма, возьми да прими это как согласие.

— А теперь скажи ты, сын Абдурахмана, — обратился Ибодулло Махсум к Хаджикулу, — она сказала твоей свахе «да»? Сказала или нет?

Хаджикул растерялся, он с мольбой посмотрел на Зубейду и пробормотал:

— У вас один ребенок, у меня тоже... Вот... браком бы сочетаться...

— О браке еще рано говорить, — сказал Ибодулло Махсум. — Ты сам с ней хоть говорил?

— Говорил, Махсум-бобо, — признался Хаджикул.

— Ну, а что ты на это скажешь? — спросил Ибодулло Махсум у Зубейды.

— С базара он возвращался, попросил воды напиток, — сказала женщина и вся покраснела.

— Не за водой же одной он пришел, — улыбнулся Ибодулло Махсум. — Вон сколько людей на дороге, у них он ничего не просит, идет от базара совсем в обратную сторону, чтобы напиться, странная у него жажда!..

— Плохо быть вдовой, Махсум-бобо, — сказала Зубейда. — Только и думаю, как бы на языки не попасть. Поплачу, так сразу скажут, мол, выставляет свое вдовство напоказ; засмеюсь, так скажут — мужичка, мол, захотела, сука. Трудно мне, Махсум-бобо!..

Женщина опустила голову. Глядя на нее, Ибодулло Махсум немного загрустил.

— Чего тут скрывать, вы уже договорились между собой, — сказал он немного спустя. — Теперь послушаем из твоих уст, Зубейда. Скажешь «да», так мы выдадим тебя замуж за него. Вроде неплохой человек, тебя не тронет, а если что, так мы пойдем всем кишляком и переколотим весь Шоркудук, за это я ручаюсь.

— Я никого и пальцем не трогал, — заверил его Хаджикул.

— Это правда, — сказал Махсум. — Шоркудукцы, они народ мягкий, никогда не дерутся, только вот плохо, что они друг на друга разные бумажки пишут. Ну, скажи, дочка, ты согласна?

— Не знаю, что и сказать, — смутилась Зубейда. — Я ведь не одна, у меня сын... Как я сама могу, если он не скажет?..

Ибодулло Махсум посмотрел на сына Зубейды. До этого он как-то и не думал о нем, а теперь, заметив его, задумался — дело принимало совсем неожиданный поворот.

— Как сына-то зовут? — спросил он.

— Сайфуль-Мулюк, — не без гордости ответила женщина.

— Чудное имя, — сказал Ибодулло Махсум. — Небось отец его так назвал?

— Он, — сказала Зубейда. — Покойный три ночи кряду листал свои книги, пока не нашел это имя. Он еще совсем маленький, Махсум-бобо, ему бы воспитателя хорошего...

— Ты его не вмешивай, — нахмурился Ибодулло Махсум. — Скажи, сама хочешь, а сына оставь. Ну что, сын Хазрата, поедешь в Шоркудук?

— Шоркудук далеко, — сказал мальчик.

Ибодулло Махсума неприятно поразил его ответ, так

вяло было это сказано. Он повнимательней разглядел мальчика: странный такой, огромные ясные глаза, длинные, загнутые кверху ресницы, хилый и бледный, вылитый отец, будто его не мать, а сам Хазрат родил.

— Шоркудук не край света, — недовольно сказал Ибодулло Махсум. — Я тебя спрашиваю, выдадим ли маму замуж?

— Не знаю... — все так же вяло сказал мальчик.

— Что это с ним, Зубейда? — все больше удивляясь, спросил Ибодулло Махсум.

— Он у нас немного стеснительный. Это пройдет, будет как меч острым парнем!..

— Что-то не похоже... Или ты сама его запугала?

— Что вы, Махсум-бобо, как вы могли подумать такое!..

Но Ибодулло Махсум пребывал в явном недоумении.

— Послушай, сын Хазрата, хочешь, мы выдадим твою маму замуж за этого дядю, за шоркудукца? — Мальчик молчал. Сидел и сопел. Ибодулло Махсум, потеряв терпение, собрался встать. — Мальчик согласен, теперь можешь увезти, Хаджи.

— Вы не уходите, Махсум-бобо!.. — смешалась вдова. — Ведь Сайфу ничего не сказал...

— Разве он ослушается тебя?..

— Я его не научила, бог свидетель, не научила!.. — с отчаянием сказала Зубейда. — Вы на меня клеветеете, Махсум-бобо!..

Ибодулло Махсум сильно оскорбился, так и зыркнул глазами: будь на месте Зубейды мужчина, тому явно бы не поздоровилось. Но он сумел-таки проглотить обиду.

— Не мое дело это, Зубейда, — сказал он тихо. — Вот с сыном и решайте. Не по своей воле я пришел. А коли пришел, надо было спросить... Тебе надо выйти замуж, ты еще молода. Ну, что будем делать, Сайфуль-Мулюк, будем выдавать твою маму замуж? За этого человека, за шоркудукца, за сына Абдурахмана?

Сказал он это зло, с намерением оскорбить, взбунтовать мальчика: пускай он будет ругаться, пускай заплачет, лишь бы не молчал. Но мальчик даже не шелохнул, был нем, немее прежнего.

— У этого человека нет гордости, Зубейда, — заключил Ибодулло Махсум.

Сказал просто, без желания обидеть женщину, но той

от этого не стало легче. Готовая разрыдаться, она с трудом глотнула слезу.

— Махсум-бобо, — жалобно промолвил Хаджикул. — Махсум-бобо!..

— Замолчи же!.. — закричал Ибодулло Махсум. — Думаешь, у тебя у одного только болит!..

Наступила тишина. Все молчали, только вот мальчик сопел и изредка шмыгал носом... бледненький, с длинными ресницами, с тоненькими губами. Подумать только, его мать замуж отдают, а он хоть бы что сказал, и не похоже, что скажет, сидит себе, да моргает, да шмыгает носом! Обидно...

— Что будем делать, Сайфиджан? — спросила Зубейда. — Скажи, дадим согласие Махсуму-бобо?

Спросить она спросила, но сама испугалась: вдруг сын скажет «нет»?! Она на все была согласна: выйти замуж, уехать в Шоркудук... Но все же спросила, пускай он что-нибудь да скажет, пускай даже откажет, она все равно не будет его слушаться, сделает, как ей одной хочется, это даже лучше, если сын откажет, тогда никто не подумает, что она одна, без покровителя. Как бы не так, есть, есть у нее покровитель, ее сын, ему уже двенадцать лет, с ним должны считаться, пускай он им откажет, дай бог, чтобы он отказал, она уверена, сын им откажет, они еще долго будут упрашивать ее, молить на коленях будут!..

— Скажи, сынок, что будем делать?

Мальчик молчал.

— Отвечай же, язык, что ли, отрезан? — Зубейда захрипела, тяжелый комок подступил к ее горлу.

— Оставь, Зубейда, успокойся, — сказал Ибодулло Махсум. — Он еще маленький, смущается...

— Нет у него стыда, Махсум-бобо!.. — плача, сказала Зубейда. — Маму замуж хотят выдать, а он молчит!.. Не сын, а слюнявый теленок, хуже теленка... Я — как коза без хозяина, всяк хочет ею владеть! Лезут в мужья... кому только не лень. А этот теленок только и знает, что сопит... Он хуже этого пса на привязи, тот хоть оберегает меня!.. А этот, этот!..

Зубейда, вне себя от ярости, набросилась на сына, успела его ударить два раза, но тот с неожиданной для него резвостью вскочил и побежал к дому.

Женщина разрыдалась. Ей из дома вторил сын своим ревом, тоже неожиданно громким. Хаджикул сидел будто на иголках. Ибодулло Махсум, обычно такой невоз-

мутимый, тоже не знал, что теперь делать. Успокоить вдову, утешить? Но это не представлялось возможным. Женщина рыдала вовсю, потеряв присущую ей вдовью гордость, лицо ее стало несчастным, некрасивым, будто вся уродливость пережитых бесчисленных дней одиночества вдруг проступила наружу.

С минуту продолжалась эта сцена, пока вдова не взяла себя в руки и не вытерла слезы краешком платка.

— Я от вас не ожидал такого, Махсум-бобо! — простонал Хаджикул. — Думал, вы мне поможете, так бы я сам...

— Хватит, сын Абдурахмана, а то худо будет!.. — гневно отрубил Ибодулло Махсум. — Разве не видишь? Что тут еще можно говорить! И у тебя нет стыда. А ты выдал бы, не будь она стара, свою мать за первого же встречного, и ты не пикнул бы!..

Хаджикул, весь багровый от обиды и возмущения, встал с места.

— Иди принеси дастархан, жена Хазрата, — велел Ибодулло Махсум Зубейде. — Нельзя уходить из дому, не отведав хлеба.

Женщина принесла дастархан с лепешками.

— Терпи, дочка, я тебя понимаю, но терпи, — глухо сказал Ибодулло Махсум, не смея смотреть ей в глаза.

Вдова грустно кивнула.

Ибодулло Махсум отломил кусочек лепешки, отправил его в рот и встал. Когда он вышел за ворота, Хаджикул отряхивал своего коня. На этот раз он не предложил Ибодулло Махсуму коня и сам на него не сел. Пошли рядом, молча. Так шли до самого пустыря за двором старика Хуччи.

— Ты ищи себе жену в самом Шоркудуке, Хаджи, — сказал Ибодулло Махсум. — Вдовы Галатепе не подойдут тебе, гордость им не позволяет. Бог свидетель, я хотел, но все вышло иначе... судьба, значит. Между нами не должно быть зла, сын Абдурахмана. Если ты хочешь поминать мою мать, то только здесь, я не люблю, когда меня за глаза честят.

Хаджикул недобро посмотрел на него, но ничего не сказал.

— Если хочешь, отведи душу прямо сейчас, — посоветовал Ибодулло Махсум. — Я тебе ничего не скажу.

Только не вздумай ругаться по дороге, конь тебя сбросит с себя.

Хаджикул не удостоил его ответом, сел на коня и по скакал. Через метров сто конь вдруг споткнулся и чуть было не выбросил хозяина из седла. Хаджикул сумел остаться в стременах и резко оглянулся назад.

— Что я тебе говорил!.. — сказал Ибодулло Махсум. — Смотри, впереди много обрывов!..

Хаджикул улыбнулся жалкой улыбкой и несмело дернул за уздечку коня. Ибодулло Махсум еще долго стоял, глядя ему вслед, очень даже долго — так медленно теперь шел конь Хаджикула.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПОВЕСТИ

Кроткий Мустафа. <i>Перевод В. Коткина</i>	7
Возвращение в Галатепе. <i>Перевод К. Хакимова</i>	89
Отставной. <i>Перевод автора</i>	244

РАССКАЗЫ

Цена одного жеребенка. <i>Перевод В. Коткина</i>	369
Сватовство. <i>Перевод автора</i>	398

Мухаммад-Дост М.

**М 92 Возвращение в Галатепе: Повести, рассказы.
Пер. с узб.— М.: Советский писатель, 1987.— 416 с.**

Мурад Мухаммад-Дост известен в Узбекистане как прозаик и кино-сценарист. Он — автор четырех книг, изданных на узбекском языке. Русские читатели знакомы с его творчеством по рассказам и повестям, вышедшим в разное время в журналах «Дружба народов», «Звезда Востока».

Герои книги «Возвращение в Галатепе» — веселые, остроумные, трудолюбивые люди из горного кишлака. Автор увлекательно повествует о сегодняшнем узбекском селе, о традициях и обычаях его обитателей.

М $\frac{4702570200 - 411}{083(02) - 87}$ 349 — 87

ББК84.Уз7

МУРАД МУХАММАД-ДОСТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЛАТЕПЕ

Редактор Э. О. Амитов
Худож. редактор Ф. С. Меркуров
Техн. редактор Л. П. Полякова
Корректор С. Б. Блауштейн

ИБ № 6132

Сдано в набор 07.04.87. Подписано к печати 12.11.87. Формат 84 × 108^{1/32}.
Бумага тип. № 2. Гарнитура Таймс. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,84.
Уч.-изд. л. 23,34. Тираж 30 000 экз. Заказ № 962. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград,
П-136, Чкаловский пр., 15.

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

ШАГИНЯН М. Семья Ульяновых: Романы. — М.: Советский писатель, 1987 (IV кв.). — 30 л.: ил. — (В пер.): 3 р. 100 000 экз.

Роман-хроника о семье Ульяновых строго документален. Он основан на огромной архивной работе, проделанной Мариэттой Шагинян в течение многих лет.

В книгу входят также размышления о личности Владимира Ильича Ленина, неповторимых чертах его характера, публицистическое осмысление ленинских идей, ставших знаменем социального прогресса целой исторической эпохи.

ГУСЕВ В. Легенда о синем гусаре: Роман. — М.: Советский писатель, 1987 (IV кв.). — 30 л.: ил. — (В пер.): 2 р. 100 000 экз.

Это роман об одном из интереснейших представителей декабристского движения — о М. С. Лунине.

Среди декабристов Лунин занимает особое место. Он понимал ограниченность их методов, стремился найти более глубокие и реальные средства борьбы. Лунин один из тех, кто и после 14 декабря сохранил пафос сопротивления и революционности, из «глубины сибирских руд» оказывал сопротивление николаевскому режиму. Статья Лунина «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года», написанная в Сибири, была опубликована Герценом в «Полярной звезде» и вызвала широкий отклик в свободомыслящей России.